95783

ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[11] 2002

НОВЫЙ РОМАН МИШЕЛЯ УЭЛЬБЕКА "ПЛАТФОРМА" / ИЗ КЛАССИКИ XX ВЕКА:
ПОЭЗИЯ ЭНДРЕ АДИ / СТИХИ МИРИАМ ВАН ХЕЕ / РОМАН ФРАНСИН ПРОУЗ
"ГОЛУБОЙ АНГЕЛ" / ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ: ЭССЕИСТИКА МАКСА БИРБОМА

Основан в 1891 году

“ИЛ” В 2003 ГОДУ

“Мао II” – роман американца ДОНА ДЕЛИЛЛО, повествующий о судьбе писателя в эпоху, когда террористы начинают активно претендовать на роль властителей дум.

“Поцелуй женщины-паука” – всемирно известный роман аргентинского писателя МАНУЭЛЯ ПУИГА; исполненная тонкого психологизма история, которая разворачивается в тесном пространстве тюремной камеры.

“Прелесть” – шедевр поэтической прозы знаменитого француза ПАТРИКА МОДИАНО.

“Карандаш плотника” – удостоенный крупнейших литературных премий роман МАНУЭЛЯ РИВАСА, одного из самых заметных испанских писателей поколения 40-летних.

“Мой собственный мир” – последняя книга ГРЭМА ГРИНА, составленная им из записных книжек, которые писатель вел на протяжении всей жизни.

“Юдифь” – повесть МИРО ГАВРАНА, одного из мастеров современной хорватской литературы, по-новому трактующая библейский сюжет о Юдифи и Олоферне.

“Чужие берега” – размышления южноафриканского писателя ДЖ. М. КУТЗЕЕ о творчестве великих русских писателей.

“Последний дворник” – повесть польского писателя ЯНУША ГЛОВАЦКОГО, сатирическая антиутопия, в которой живущий в США автор беспощадно высмеивает идиотизм современного мира.

“Людское клеймо” – жестокий, откровенный роман американца ФИЛИПА РОТА, где герои расплачиваются за отказ от собственного прошлого.

“Театр памяти” – документальная повесть итальянского писателя ЛЕОНАРДО ШАША, версия разгадки таинственной истории, на протяжении десятилетий не только волновавшей полицию и журналистов, но и вдохновлявшей писателей и кинематографистов.

“Пражские тетради” – документальный роман аргентинца АБЕЛЯ ПОССЕ, восстанавливающий самую загадочную часть биографии пламенного Че Гевары.

“На собственной шкуре” – роман немецкой писательницы КРИСТЫ ВОЛЬФ о разрыве времен, о конце ГДР, о конфликте между индивидом и обществом.

“Прекрасные души” – сатирическая повесть восходящей звезды французской литературы ЛИДИ САЛЬВЕР.

“Вспоминая Лампе” – роман молодого испанского писателя ХОСЕ ЛУИСА ДЕ ХУАНА, переносящий читателя в спокойный прусский городок XVIII века в дом профессора Иммануила Канта.

“Андре Мальро, жизнь” – фрагменты книги ОЛИВЬЕ ТОДДА об известном французском писателе и политике, чья судьба теснейшим образом сплелась с историей XX века.

Эссеистика А. ПЕРЕСА-РЕВЕРТЕ, Ч. МИЛОША, Ш. ХИНИ, Д. Г. ЛОУРЕНСА, Р. БРЮКНЕРА, Р. КАЙУА, Р. КАЛАССО, Э. САИДА.

Тематический номер *“НОВЫЕ АМЕРИКАНЦЫ”*, объединяющий авторов, которые родились за пределами США, но в последнее десятилетие приобрели известность как американские писатели.

Специальный номер, посвященный австрийской литературе, куда войдут роман КРИСТОФА РАНСМАЙРА **“Ужас льдов и мрака”**, эссе ПЕТЕРА ХАНДКЕ, **“Письма Фелице”** ФРАНЦА КАФКИ, стихи из наследия ИНГЕБОРГ БАХМАН и другие тексты.

Литературные гиды о творчестве ИТАЛО КАЛЬВИНО и ЭДМУНДА УИЛСОНА.

Постоянные рубрики журнала: “Документальная проза”, “Литературная биография”, “Вглубь стихотворения”, “Из классики XX века”, “Литературное наследие”, “ИЛ: истоки и история”, “Трибуна переводчика”, “Среди книг”, “Беседы”, “Комментарий”, “Курьер ИЛ”.

Подписаться на журнал можно в любом отделении связи по каталогам АПР (для регионов России, стран СНГ и Балтии) и Моспочтамта (для Москвы).

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: 70394 (на полгода); 72261 (на год).

А надежнее и дешевле подписаться прямо у нас, с получением номеров в редакции. Наш адрес: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41 (метро “Новокузнецкая”, “Третьяковская”). Тел. 953-51-47.

[11]

2002

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

3 Мишель Уэльбек. *Платформа*. Роман. Перевод с французского Ирины Радченко

139 Мириам Ван хее. *Стихи*. Перевод с нидерландского Д. Сильвестрова

144 Франсин Проуз. *Голубой ангел*. Роман. Перевод с английского В. Пророковой

Из классики XX века

229 Эндре Ади. *Стихи*. Перевод с венгерского и вступление О. Россиянова

Литературное наследие

234 *Макс Бирбом и его современники*. Эссе. Переводы с английского А. Ливерганта, А. Власовой. Елена Ерасова. *Маски Макса*

Подмостки

254 Наталья Старосельская. *Fabula rasa*

Среди книг

259 Елена Гальцова. *Между футуризмом и модерном: двуязычное издание Аполлинера*. Элина Драйтова. *Речевые действа Михаэля Ленца*

Курьер "ИЛ"

264

Авторы номера

269

© "Иностранная литература", 2002

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. Н. Словесный

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

А. М. Зверев
заместитель главного редактора

А. В. Михеев
ответственный секретарь

Общественный
редакционный совет:

С. С. Аверинцев
В. П. Аксенов
С. К. Апт
А. Г. Битов
П. Л. Вайль
М. Л. Гаспаров
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
В. В. Ерофеев
Д. В. Затонский
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
А. С. Мулярчик
Д. Б. Рюриков
М. Л. Салганик
Е. М. Солонович
П. М. Топер
Н. Л. Трауберг
М. А. Федотов
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили

Международный
совет:

Чингиз Айтматов
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Артур Миллер
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

О. Г. Басинская
А. Н. Власова
С. М. Гандлевский
Т. А. Ильинская
Т. Я. Казавчинская
И. В. Кивель
И. И. Кузнецова
А. Е. Соколинская
К. Я. Старосельская
Л. Г. Харлап

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры РФ и Министерства печати РФ.

Ежегодные литературные премии журнала
спонсирует МДМ Банк (Московский деловой мир).

Мишель Уэльбек

Платформа

Роман

Перевод с французского Ирины Радченко

Чем гнуснее жизнь человека, тем сильнее он к ней привязывается; он делает ее формой протеста, ежеминутной местью.

Оноре де Бальзак

Часть первая
Тропик Тай

1

ГОД назад умер мой отец. Существуют теории, будто человек становится *по-настоящему взрослым* со смертью своих родителей; я в это не верю — *по-настоящему взрослым* он не становится никогда.

Во время похорон в голову лезли разные гадкие мысли. Старый хрен умел устраиваться, пожил в свое удовольствие. "Ты трахал девок, дружок, — распалял я себя, — ты засовывал моей матери между ног свою здоровенную штуку". Само собой, я был на первах: не каждый день хоронишь родных. Я не видел его мертвым, отказался. К сорока годам я уже достаточно насмотрелся на покойников и теперь предпочитаю этого избегать. Я и домашних животных потому никогда не заводил.

© Flammarion, 2001
© И. Радченко. Перевод, 2002
Журнальный вариант. Полностью роман будет опубликован в издательстве "Иностранка".

И не женился тоже. Возможности предоставлялись хоть отбавляй, но я всякий раз уклонялся. А ведь я люблю женщин. Свое холостяцкое житье воспринимаю скорее с сожалением. Особенно на отдыхе неуютно. Когда мужчина в определенном возрасте отдыхает один — это настораживает: невольно думается, что он эгоист, к тому же, наверное, порочный; и возразить мне тут нечего.

С кладбища я вернулся в дом, где отец прожил последние годы. Прошла неделя, с тех пор как обнаружили тело. В углах комнат и вдоль шкафов уже скопилась пыль; в одном месте край окна затянулся паутиной. Время медленно вступало в свои права, а с ним энтропия и все такое. Холодильник оказался пуст. В шкафах на кухне лежали в основном пакетики готовых обедов для регулирования веса "Weight Watchers", коробочки ароматизированных протеинов, калорийные палочки. Жуя печенье с магнием, я прошелся по комнатам первого этажа. В котельной немного поупражнялся на велотренажере. В свои семьдесят с гаком отец был куда крепче меня физически. Час интенсивной гимнастики ежедневно, бассейн два раза в неделю. По выходным он играл в теннис и выезжал на велосипеде со сверстниками; кое-кто из них пришел проститься с умершим. "Мы все на него равнялись!.. — воскликнул пожилой гинеколог. — Он был на десять лет старше, а вверх по двухкилометровому склону минуту форы нам давал". Ах, отец, сказал я себе, до чего же ты был тщеславен! Краем глаза я видел слева другой тренажер — для накачивания пресса — и гантели. Воображению представился старый болван в шортах, с безнадежным упорством напруживающий мышцы; лицо морщинистое, а в остальном до крайности похоже на мое. Отец, отец, говорил я себе, ты построил свой дом на песке. Я продолжал крутить педали, но дышал уже тяжело, и ляжки побаливали, хотя выше первого уровня я не поднялся. Перед глазами стояла траурная церемония: я сознавал, что произвел прекрасное впечатление. Я узкоплеч, всегда чисто выбрит; годам к тридцати начав лысеть, стригусь с тех пор очень коротко. Костюмы ношу обычно серые, галстуки неброские и вид имею невеселый. Итак — безволосый, насупленный, очки в тонкой оправе, голова чуть опущена — я слушал весь ассортимент похоронных песнопений и чувствовал себя как рыба в воде — куда непринужденней, чем, скажем, на свадьбе. Поистине, похороны — это мое. Я перестал крутить педали, откашлялся. На окрестные луга ложилась ночь. Рядом с бетонной облицовкой котла бурело на полу плохо отмытое пятно. Здесь отца нашли с пробитым черепом, в шортах и спортивной рубашке "I love New York"[1]. По заключению судмедэксперта, смерть наступила за три дня до этого. Приписать ее несчастному случаю можно было только с большой натяжкой: поскользнулся, скажем, в лужице мазута или не знаю чего. Впрочем, пол был совершенно сух, а череп пробит в нескольких местах, даже мозг немного вытек — все указывало скорее на убийство. Вечером ко мне должен был заехать капитан Шомон из шербурской жандармерии.

Я возвратился в гостиную и включил телевизор "Sony 16/9" с диагональю экрана 82 см, трехмерным звуком и встроенным DVD-проигрывателем. На канале TF1 шла "Зена — королева воинов" — один из моих любимых сериалов; две мускулистые девицы в латах и кожаных мини-юбках размахивали саблями. "Твоему царствованию, Таграта, приходит ко-

1. "Я люблю Нью-Йорк" (*англ.*). (*Здесь и далее, кроме оговоренных случаев, – прим. перев.*)

нец! — провозглашала брюнетка. — Я Зена, воительница из Западных Степей!" Тут в дверь постучали; я уменьшил звук.

На улице совсем стемнело. Ветер тихо раскачивал деревья, стряхивая с мокрых веток дождевые капли. В дверях стояла девушка североафриканского типа, лет двадцати пяти. "Меня зовут Айша, — сказала она. — Я убиралась у месье Рено два раза в неделю. Я пришла забрать вещи".

"Что ж... — сказал я, — что ж..." И вместо приглашения войти чуть повел рукой. Она вошла, скользнула взглядом по экрану телевизора: воительницы теперь сражались врукопашную у самого кратера вулкана; некоторых лесбиянок подобное зрелище, наверное, возбуждает. "Извините, что беспокою, — сказала Айша, — я на пять минут".

"Вы меня не беспокоите, — ответил я, — меня на самом деле ничего не беспокоит". Она покачала головой, словно бы что-то поняла, и посмотрела мне в лицо: должно быть, сравнивала с отцом и, возможно, пыталась через внешнее сходство уловить внутреннее. Затем она развернулась и стала подниматься на второй этаж, где помещались спальни. "Не торопитесь, — проговорил я сдавленно, — сколько нужно, столько и оставайтесь". Она не ответила, не замедлила шаг; может быть, она меня даже и не слышала. Я опустился на диван, обессиленный очной ставкой. Надо было предложить ей снять пальто; обычно, когда люди входят в дом, им предлагают снять пальто. В эту минуту я ощутил, что в комнате жуткий холод — влажный, пронизывающий, как в склепе. Включать котел я не умел, да и пробовать не хотелось; мне следовало уехать сразу после похорон. Я нажал третью кнопку и как раз успел к заключительному туру "Вопросов для чемпиона". Когда Надеж из Валь-Фурре объявляла Жюльену Леперу, что собирается побороться за чемпионское звание в третий раз, на лестнице появилась Айша с легкой дорожной сумкой через плечо. Я выключил телевизор и шагнул к ней. "Жюльен Лепер меня поражает, — сказал я. — Даже когда ему ничего не известно о городе или поселке, откуда кандидат родом, он исхитряется сказать несколько слов о департаменте, о районе, климат хотя бы приблизительно описать, природу. А главное, он знает жизнь: кандидаты для него обычные люди со своими трудностями и радостями. Они ему по-человечески близки. Он умеет разговорить любого без исключения, и тот расскажет вам о своей профессии, семье, о своих пристрастиях — словом, обо всем, что составляет его жизнь. Кандидаты у него, как правило, либо поют в хоре, либо играют в духовом оркестре, участвуют в организации праздников, занимаются разными благотворительными делами. В зале часто сидят их дети. Создается впечатление, что люди счастливы, и оттого сам чувствуешь себя счастливее и лучше. Вы не согласны?"

Она посмотрела на меня без тени улыбки; волосы у нее были забраны в пучок, лицо почти не накрашено, одета скорее строго — серьезная девушка. Она постояла в нерешительности, потом сказала тихим, хрипловатым от робости голосом: "Я очень любила вашего отца". Я не нашелся, что ответить: ее слова показались мне странными, но, вполне вероятно, искренними. Старик многое мог бы рассказать: он путешествовал, бывал в Колумбии, Кении или где-то там еще; носорогов в бинокль видел. При встречах он только иронизировал, что я, дескать, выбрал чиновничье благополучие. "Тепленькое местечко", — приговаривал он, не скрывая презрения; с родственниками всегда сложно. "Я учусь на медсестру, — продолжила Айша, — но, поскольку я ушла от родителей, мне приходится подрабатывать уборкой". Я ломал голову в поисках подоба-

ющего ответа: может, следовало ее спросить, сколько стоит жилье в Шербуре? В итоге я предпочел сказать "Н-да..." тоном человека, знающего жизнь. Похоже, ее это удовлетворило, и она направилась к двери. Я приник к стеклу и увидел, как ее "фольксваген-поло" разворачивается на глинистой дороге. На третьем канале шел телефильм из сельской жизни — надо думать, девятнадцатого века — с Чеки Карьо в роли батрака. Дочь хозяина — хозяина играл Жан-Пьер Марьель — в перерывах между занятиями фортепьяно позволяла себе некоторые вольности в общении с обольстительным поденщиком. Встречались они в хлеву; я уже погружался в сон, когда Чеки Карьо деловито сорвал с нее трусики из органзы. В последнем кадре, который я увидел, камера скользнула на сбившихся в кучку свиней.

Проснулся я от холода и боли; как видно, я лежал в неудобной позе и теперь не мог повернуть шею. Поднимаясь, я закашлялся: в ледяном воздухе дыхание превращалось в сгустки пара. К моему удивлению, по телевизору шла "Ловись, рыбка" — передача первого канала; стало быть, я просыпался или, по крайней мере, сознание мое прояснялось настолько, что я смог переключить программу — этого я напрочь не помнил. В передаче говорилось о сомах, гигантских рыбах без чешуи, которые из-за потепления климата все чаще встречаются в наших реках; особенно им нравится селиться вблизи атомных электростанций. Репортаж усиленно развеивал расхожие мифы: взрослые сомы и в самом деле достигают трех, а то и четырех метров в длину, в Дроме якобы даже замечены особи, превышающие пять метров, — это все вполне правдоподобно. А вот хищными их считают совершенно ошибочно, и на купальщиков они никогда не нападали. Между тем укоренившиеся в народе предрассудки распространяются и на любителей сомовьего лова; обширное племя рыбаков с предубеждением относится к их малочисленному братству. Ловцы сомов болезненно воспринимают предвзятость и надеются, что эта передача изменит представление о них. Да, конечно, с точки зрения гастрономической похвастаться им нечем: мясо сома ни в каком виде не пригодно в пищу. Но зато какая великолепная рыбалка: сравнимая в некотором роде с ловлей щуки, она развивает в вас интеллектуальные и спортивные качества одновременно и потому заслуживает большего числа поклонников. Я прошелся по комнате, но нисколько не согрелся — о том, чтобы лечь в постель отца, не могло быть и речи. В конце концов я сходил на второй этаж за подушками и одеялами и как мог устроился на диванчике. На титрах к "Правде о сомах" я выключил телевизор. Стояла глубокая непроглядная ночь и такая же глубокая тишина.

2

Все когда-нибудь кончается, и ночь тоже. Из оцепенения, в котором я пребывал подобно ящерице, меня вывел четкий звонкий голос капитана Шомона. Он извинялся, что не успел зайти накануне. Я предложил ему выпить кофе. Пока грелась вода, он раскрыл на кухонном столе портативный компьютер и подключил принтер. Таким образом, мои показания он сможет сразу распечатать и дать мне на подпись; я одобрительно крякнул. Жандармерия в наши дни перегружена административными хлопотами, и ей, увы, не хватает времени на исполнение своих первей-

ших обязанностей — на уголовные расследования; такое впечатление я вынес из соответствующих телепередач. Он согласился, и даже с жаром. Одним словом, допрос начался в обстановке взаимопонимания и доверия. Радостно чирикнули включившиеся "Windows".

Смерть наступила 14 ноября, поздно вечером или ночью. В тот день я был на работе, 15-го тоже. Разумеется, я мог сесть в машину, приехать сюда, убить отца и в ту же ночь вернуться. Что я делал вечером и ночью 14 ноября? Ничего, насколько я помню; ничего примечательного. Во всяком случае, мне ничего не запомнилось, а ведь и недели не прошло. У меня не было постоянной сексуальной партнерши, не было закадычных друзей — оттого и вспомнить нечего. День прошел, и ладно. Я сокрушенно взглянул на капитана Шомона: мне хотелось ему помочь, подсказать хотя бы направление поисков. "Сейчас посмотрю в записной книжке", — засуетился я. Я не ожидал в ней что-нибудь увидеть, но, как ни странно, обнаружил записанный на 14-е число номер мобильного телефона, а под ним имя: "Корали". Какая еще Корали? Всякая ерунда понаписана.

— Голова совсем дырявая, — констатировал я, виновато улыбаясь. — Не знаю, может, я был на каком-нибудь вернисаже.

— На вернисаже? — Он терпеливо ждал, занеся пальцы над клавиатурой.

— Да, я работаю в Министерстве культуры. Готовлю документацию по финансированию выставок, иногда концертов.

— Концертов?

— Концертов... современного танца... — Я был близок к отчаянию, сгорал со стыда.

— Короче, работаете на культурном поприще.

— Ну да... Можно сказать и так.

Он смотрел на меня серьезно и доброжелательно. О существовании некоего культурного сектора он представление, пусть смутное, но имел. По роду занятий Шомон встречался с самыми разными людьми, и ничто в жизни общества не осталось ему совсем уж чуждым. Жандармы, они в известном смысле гуманисты.

Дальше беседа потекла по накатанному руслу; мне доводилось видеть нечто подобное по телевизору, и я чувствовал себя подготовленным к диалогу. У вашего отца были враги? Насколько мне известно, нет; о друзьях, по правде говоря, мне тоже ничего не известно. Что касается врагов, отец не такая значительная фигура, чтобы их иметь. Кому выгодна его смерть? Разве что мне. Когда я приезжал к нему в последний раз? Вероятно, в августе. В августе в министерстве делать особенно нечего, но коллеги вынуждены идти в отпуск из-за детей. Я же остаюсь на работе, наедине с компьютером, а числа 15-го прибавляю денек-другой к выходным и в это время навещаю отца. Хорошие ли у нас были отношения? Что сказать? И да и нет. Скорее нет, но я ездил к нему раз или два в год — это уже неплохо.

Он кивнул. Судя по всему, дача показаний подходила к концу, а мне хотелось сказать еще что-нибудь. Я испытывал к капитану необъяснимую, безотчетную симпатию. Но он уже заправил бумагу в принтер. "Отец много занимался спортом!" — выпалил я. Капитан взглянул на меня выжидающе. "Нет, ничего, — пробормотал я, разводя руками, — я только хотел сказать, что он занимался спортом". Капитан Шомон досадливо отмахнулся и запустил печать.

Подписав показания, я проводил его до дверей. "Понимаю, что разочаровал вас как свидетель", – сказал я ему. "Свидетели всегда разочаровывают", – ответил он. Некоторое время я обдумывал этот афоризм. Перед нами лежали бесконечно унылые поля. Усаживаясь в свой "пежо 305", капитан Шомон пообещал сообщать о ходе расследования. В случае смерти прямых родственников по восходящей линии государственным служащим предоставляется трехдневный отпуск. Я вполне мог возвращаться не спеша, закупить здешних камамберов, но ничего такого делать не стал и выехал сразу на парижскую автостраду.

Оставшийся свободный день я ходил по турагентствам. Туристические каталоги нравились мне своей абстрактностью и умением сводить все на свете к череде счастливых мгновений и соответствующих расценок; система звездочек, обозначавших степень счастья, на которую вы вправе рассчитывать в том или ином месте, представлялась мне подлинной находкой. Сам я не был счастлив, но счастье ценил высоко и все еще мечтал о нем. Английский экономист Маршалл представляет покупателя рациональным индивидом, стремящимся максимально удовлетворить свои потребности исходя из финансовых возможностей; Веблен анализирует воздействие социальной среды на процесс приобретения (в зависимости от того, желает ли индивид с этой средой идентифицироваться или, напротив, от нее отмежеваться). Коупленд же при определении покупательной способности учитывает категорию продукта или услуги (текущая покупка, запланированная покупка, целевая покупка); а вот из модели Бодрийяра–Беккера следует, что потребление само по себе есть производство знаков. В глубине души я чувствовал, что модель Маршалла мне ближе.

Вернувшись на работу, я заявил Мари Жанне, что нуждаюсь в отпуске. Мари Жанна – это моя коллега, мы вместе готовим документацию к выставкам, вкалываем на благо современной культуры. Ей тридцать пять лет, у нее гладкие светлые волосы и бледно-голубые глаза; о ее личной жизни мне ничего не известно. На служебной лестнице она стоит чуть выше меня, но предпочитает этого не показывать и всячески подчеркивает, что в своем отделе мы работаем сообща. Если нам случается принимать по-настоящему важную персону – представителя Управления изобразительных искусств или члена кабинета министров, – она никогда не забывает упомянуть, что у нас единый коллектив. "А вот и самый главный человек в нашем отделе! – произносит она, заходя ко мне в кабинет. – Он жонглирует цифрами и сметами... Без него я как без рук". И смеется; важные посетители тоже смеются, по крайней мере счастливо улыбаются. Улыбаюсь и я – уж как умею. Пытаюсь вообразить себя жонглером; но на самом деле тут достаточно владеть простыми арифметическими действиями. Хотя Мари Жанна в буквальном смысле не делает ничего, ее работа сложнее моей: ей необходимо всегда быть в курсе новейших течений, движений, тенденций; взвалив на свои плечи тяжкое бремя ответственности за культурный процесс, она ежеминутно рискует, что ее заподозрят в косности или даже обскурантизме; ограждая себя от подобной напасти, она тем самым оберегает и вверенный ей участок. Поэтому она постоянно поддерживает контакты с художниками, галерейщиками и редакторами журналов, о которых я понятия не имею; телефонные разговоры с ними наполняют ее радостью, ведь современное искусство она любит искренне. Сам я тоже ничего против него не имею: я не из тех, кто ставит *ремесло* превыше всего и жаждет воз-

врата к традиционной живописи; я веду себя сдержанно, как и подобает человеку, чья профессия — управленческий учет. Вопросы эстетики и политики — это не для меня; не моя забота вырабатывать и утверждать новые концепции, новое отношение к миру; я завязал с этим еще в ту пору, когда спина моя только начинала горбиться, а лицо грустнеть. Я насмотрелся выставок, вернисажей и выдающихся перформансов и пришел к окончательному заключению: искусство не может изменить жизнь. Мою уж точно нет.

Мари Жанна знала, что у меня горе; она встретила меня сочувственно, даже руку на плечо положила. Мою просьбу об отпуске сочла естественной. "Тебе необходимо подвести итоги, Мишель, — рассудила она, — заглянуть в себя". Я попытался представить себе, как я буду это делать, и подумал, что она, скорее всего, права. "Проект бюджета докончит Сесилия, — продолжила она, — я с ней поговорю". О чем это она и какая такая Сесилия? Я огляделся по сторонам, увидел эскиз афиши и вспомнил. Сесилия была толстая рыжая девица, беспрестанно поедавшая шоколад "Кэдбери" и работавшая у нас всего месяца два — то ли по временному соглашению, то ли вообще по программе трудоустройства безработных, короче — мелкая сошка. А известие о смерти отца, действительно, застало меня за подготовкой бюджета выставки "Руки вверх, проказники!", которая должна была открыться в январе в Бур-ла-Рен. Речь шла о заснятых при помощи телеобъектива зверствах полицейских в департаменте Ивелин; однако зрителям предлагались не просто фотодокументы, а некая пространственная, так сказать, театрализованная композиция, к тому же полная намеков на различные эпизоды сериала "Полиция Лос-Анджелеса". Обычному в таких случаях социальному обличению автор предпочел пародию. Словом, любопытный замысел, притом не слишком дорогой и не слишком сложный; даже такая бестолочь, как Сесилия, вполне могла справиться с проектом бюджета.

Обычно после работы я отправлялся на пип-шоу. Это обходилось мне в пятьдесят франков, иногда в шестьдесят, если срабатывало не сразу. Вид курчавых лобков в движении хорошо прочищает мозги. Противоречивые тенденции в современном видеоискусстве, бережное отношение к культурной традиции и поощрение новаторства... — все это мигом улетучивалось из головы под воздействием примитивной магии колыхающихся передков, и я спокойненько опорожнял свои яички. Сесилия же в это время лопала шоколадные пирожные в ближайшей к министерству кондитерской; мотивировки у нас были весьма схожие.

Отдельный кабинет за пятьсот франков я брал редко, только в тех случаях, когда мой дружок совсем сникал, когда я ощущал его капризным, никчемным придатком, вдобавок пахнущим сыром; в такие дни мне требовалось, чтобы девушка взяла его в руки, повосхищалась, пусть неискренне, его мощью и богатством семени. Так или иначе, я возвращался домой не позднее половины восьмого. Перво-наперво смотрел "Вопросы для чемпиона", автоматически записывавшиеся на видео, затем переходил к новостям. Ситуация с коровьим бешенством меня мало беспокоила — питался я в основном пюре "Муслин" с сыром. Вечерние программы шли своим чередом. Когда имеешь сто двадцать восемь каналов, скучать не приходится. Заканчивал я часам к двум турецкой музыкальной комедией.

Несколько дней я прожил относительно спокойно, а потом мне снова позвонил капитан Шомон. Оказалось, дела продвинулись и предполагаемый убийца найден; собственно, уже и не предполагаемый: он сознался. Через два дня они намеревались провести следственный эксперимент. Желаю ли я на нем присутствовать? Да, разумеется, ответил я.

Мари Жанна одобрила мое мужественное решение, сказала что-то об испытании трауром и загадке наследственных связей; она произносила подобающие случаю слова, запас которых невелик, но это и не важно: я чувствовал в них искреннюю теплоту, что было удивительно, но приятно. До чего же все-таки женщины любвеобильны, думал я, садясь в поезд на Шербур, они даже на службе стремятся установить сердечные отношения, им трудно существовать в мире, лишенном эмоций, они в нем чахнут. В этом их слабость и причина многих неприятностей, недаром психологические странички "Мари-Клер" постоянно твердят об одном и том же: необходимо четко разграничивать работу и эмоции; только женщинам это плохо удается, о чем с не меньшим постоянством свидетельствуют документальные страницы того же журнала. Когда миновали Руан, я стал перебирать в уме подробности дела. Великое открытие капитана Шомона заключалось в том, что Айша имела "интимные отношения" с моим отцом. Как часто и насколько интимные? Этого он не знал, но для дальнейшего расследования оно и не понадобилось. Один из братьев Айши признался вскоре, что пришел к отцу и "потребовал объяснений", но разговор принял дурной оборот; потом он ушел, а старик остался лежать на бетонном полу котельной "как неживой".

Следственным экспериментом руководил суровый сухонький человечек во фланелевых брюках и темном поло, с лица которого не сходила саркастическая усмешка; но капитан Шомон сразу отобрал у него бразды правления. Живой, подвижный, он встречал участников, находил приветливое слово для каждого, разводил всех по местам; он прямо-таки лучился счастьем. Подумать только, первое же дело об убийстве он раскрыл менее чем за неделю; в этой жуткой и банальной истории он оказался единственным героем. Айша сидела на стуле сникшая, удрученная, с черным платком на голове; она едва взглянула на меня, когда я вошел; на брата не смотрела вовсе. Тот сидел между двух жандармов, уперев взгляд в пол. Безмозглое животное — я не испытывал к нему ни малейшего сочувствия. Он поднял голову, встретился со мной взглядом и наверняка понял, кто я. Надо думать, его предупредили о моем приезде: по его примитивному разумению, мне надлежало ему отомстить, отплатить за кровь отца. Между нами установилась особого рода связь; сознавая это, я смотрел ему в лицо не отводя глаз; я медленно проникался ненавистью, и от этого приятного и сильного чувства мне становилось легче дышать. Будь я вооружен, я бы его прикончил не раздумывая. Убийство подобной гадины не просто не казалось мне преступлением, но представлялось поступком положительным, благотворным. Жандарм начертил мелом какие-то отметки на полу, и эксперимент начался. По словам обвиняемого, все произошло очень просто: во время разговора он погорячился и резко толкнул отца; тот упал навзничь и раскроил себе череп об пол; сам же он испугался и убежал.

Разумеется, он лгал, и капитан Шомон без труда вывел его на чистую воду. Осмотр черепа убедительно доказывал, что жертва подверглась избиению; судя по характеру ушибов, отца били ногами. Его возили лицом по полу так, что один глаз почти вылез из орбиты. "Не помню, — сказал обвиняемый, — я был не в себе". Глядя на его жилистые руки и тупое

злобное лицо, всякий охотно в это верил; он действовал непредумышленно, а когда отец ударился головой об пол, впал в бешенство от вида крови. Простая и убедительная система защиты: он выкрутится на суде, получит несколько лет условно, не более того. Капитан Шомон, удовлетворенный результатами своей деятельности, готовился подвести итоги. Я поднялся со стула, подошел к окну. Вечерело, брели на ночлег овцы. Они тоже тупые, может, еще тупее, чем брат Айши, но в генах у них агрессивная реакция не запрограммирована. В свой последний вечер они заблеют от страха, у них учащенно забьется сердце, ноги отчаянно задергаются; потом грянет выстрел, жизнь улетучится, а тело превратится в мясо. Мы пожали друг другу руки и расстались; капитан Шомон поблагодарил меня за то, что я приехал.

На другой день я встретился с Айшой: агент по недвижимости посоветовал мне произвести в доме полную уборку, прежде чем его придут смотреть первые покупатели. Я передал ей ключи, затем она отвезла меня в Шербур на вокзал. В лесу уже воцарялась зима, над изгородями висел туман. Рядом с Айшой я чувствовал себя напряженно. Она совокуплялась с моим отцом, что порождало между нами совершенно неуместную близость. Поразительная, в общем-то, история: серьезная с виду девушка, да и отец менее всего походил на соблазнителя. Значит, он все-таки обладал некими привлекательными чертами, которых я не сумел разглядеть; в сущности, я и лица-то его не мог как следует вспомнить. Люди живут и друг друга не видят, ходят бок о бок, как коровы в стаде; в лучшем случае бутылку вместе разопьют.

"Фольксваген" Айши остановился на вокзальной площади; понимая, что на прощание надо бы сказать какие-то слова, я протянул: "Н-да..." Прошло еще несколько секунд, потом она заговорила глухим голосом: "Я уеду отсюда. Один знакомый может устроить меня подавальщицей в Париже; продолжу учебу там. Все равно в семье меня считают шлюхой". Я понимающе помычал. "В Париже больше народу", — выдавил я наконец. Сколько ни напрягался, ничего другого о Париже придумать не смог. Убожество реплики ее не смутило. "Дома меня ничего хорошего не ждет, — продолжала она, сдерживая злость. — Мало того, что они нищие, они еще и кретины. Отец два года назад совершил паломничество в Мекку, и с тех пор с ним говорить невозможно. А братья — того хуже: один другого тупее, только и знают что хлещут пастис и воображают себя при этом носителями истинной веры; меня же обзывают стервой, потому что я предпочитаю работать, все лучше,чем выйти за такого же, как они, идиота".

"Да, мусульмане, они вообще-то не очень..." — тут я замялся. Потом взял сумку и открыл дверцу. "Думаю, у вас все наладится", — пробормотал я не слишком уверенно. В эту минуту миграционные потоки представились мне кровеносными сосудами, пронизывающими Европу, а мусульмане — медленно рассасывающимися сгустками крови. Айша смотрела на меня с сомнением. В раскрытую дверцу врывался холод. Умозрительно я мог испытать влечение к влагалищу мусульманки. Я улыбнулся немного натянуто. В ответ она улыбнулась более искренне. Я неторопливо пожал ей руку, ощутил тепло ее пальцев, почувствовал, как бьется жилка на запястье. Отойдя на несколько метров от машины, я обернулся и помахал ей на прощанье. Под конец все-таки получился какой-то человеческий контакт.

Устраиваясь в комфортабельном вагоне фирменного поезда, я подумал, что должен был дать ей денег. Хотя нет, она могла бы меня непра-

вильно понять. И как ни странно, только в эту минуту до меня дошло, что я теперь стану богатым; ну, относительно богатым. Перевод денег с отцовских счетов уже состоялся. Продажу автомобиля я доверил автомобильному мастеру, продажу дома — агенту по недвижимости; все уладилось само собой. Стоимость имущества определялась законами рынка. Разумеется, какая-то возможность торга оставалась: 10 процентов в ту или другую сторону, не больше. Ставка налогообложения тоже тайны не составляла, достаточно заглянуть в прекрасно изданные брошюрки, которые распространяет налоговая служба.

Отец наверняка не раз подумывал лишить меня наследства, но в конце концов плюнул, решил, видать, что хлопот много и неизвестно еще, чем они увенчаются (лишить детей наследства непросто, закон сводит возможности к минимуму: маленькие мерзавцы не только отравляют вам жизнь, но еще и пользуются потом всем, что вы накопили ценой изнурительных усилий). А главное, говорил он себе, все бессмысленно, и какое ему дело до того, что случится после его смерти. Полагаю, он примерно так рассуждал. Теперь старый черт помер, и мне предстоит продать дом, где он провел последние годы, а также "тойоту-лендкрузер", на которой он привозил упаковки воды "Эвиан" из шербурского гипермаркета. Сам я живу возле Ботанического сада, и зачем мне "тойота-лендкрузер", не знаю. Разве что привозить равиоли с рынка на улице Муффтар. В случае прямого наследования налоги невелики, даже если родственные узы были не слишком крепки. После всех выплат у меня останется миллиона три — около пятнадцати моих годовых зарплат. Приблизительно за такую сумму неквалифицированный рабочий в Западной Европе вкалывает в течение всей трудовой жизни; словом, деньги немалые. Можно зажить по-человечески; хотя бы попробовать.

Через несколько недель я наверняка получу письмо из банка. Поезд подъезжал к Байе, я уже представлял себе, как сложится разговор. Сотрудник филиала констатирует значительные поступления на мой счет и попросит уделить ему несколько минут — рано или поздно любому человеку может понадобиться посредник в размещении капитала. Я отнесусь к его предложению настороженно, скажу, что хотел бы вложить деньги самым надежным способом; он выслушает мой ответ — ответ типичный — с легкой улыбкой. Ему прекрасно известно, что новички в большинстве своем предпочитают надежность прибыльности; он с коллегами частенько над этим посмеивается. Мне следует правильно понять его: в вопросах распоряжения имуществом и вполне зрелые люди ведут себя как сущие новички. Он, со своей стороны, желал бы привлечь мое внимание к несколько иному сценарию, оставив мне, разумеется, время на размышление. Почему бы, в самом деле, не вложить две трети состояния под незначительные, но гарантированные проценты? И почему не инвестировать оставшуюся треть более рискованным образом, но с возможностью реального увеличения капитала? Я знал, что, поразмыслив несколько дней, соглашусь с его доводами. Ободренный моим согласием, он с неподдельным воодушевлением возьмется за подготовку документов; на прощанье мы с жаром пожмем друг другу руки...

Я жил в стране умеренного социализма, где обладание материальными благами неукоснительно охраняется законом, а банковские вклады защищены могущественными государственными гарантиями. Мне не грозило ни разорение, ни злостное банкротство, если, конечно, я не стану выходить за рамки законности. Короче, мне больше не о чем бы-

ло особенно беспокоиться. Впрочем, я и прежде ни о чем особенно не беспокоился: учился серьезно, хотя блистать не блистал, по окончании института сразу устроился в государственный сектор. Это было в начале 80-х, в эпоху модернизации социализма, когда руководимая незабвенным Жаком Лангом[1] культура купалась в роскоши и славе; при приеме на работу мне положили приличную зарплату. А потом я состарился, наблюдая без волнения за чередой политических перемен. Я всегда держался вежливо и учтиво, меня ценили коллеги и начальство, однако темпераментом я обладал сдержанным и обзавестись настоящими друзьями не сумел. На Лизье и окрестности стремительно опускалась ночь. Почему я никогда не отдавался работе страстно, как Мари Жанна? Почему я вообще ничего в жизни не делал со страстью?

Последующие несколько недель не принесли мне ответа, а утром 23 декабря я взял такси и отправился в аэропорт.

3

И вот теперь я как дурак стоял один в нескольких метрах от окошечка "Нувель фронтьер"[2]. Субботнее утро, праздники; аэропорт Руасси, естественно, битком набит. Жители Западной Европы, как только выдается у них несколько свободных дней, разом устремляются на другой конец света, облетают пол земного шара — словом, ведут себя так, будто из тюрьмы сбежали. Я их не осуждаю; я сам собираюсь поступить точно так же.

Мои мечты банальны. Как и прочих европейцев, меня тянет *путешествовать*. Занятие это сопряжено с трудностями: языковой барьер, плохая организация общественного транспорта, страх, что тебя облапошат или обокрадут: если называть вещи своими именами, меня тянет *путешествовать туристом*. Мечты уж какие есть, такие есть; по мне, лучше всего было бы постоянно чередовать обозначенные в названиях трех каталогов "Нувель фронтьер" "Увлекательные маршруты", "Красочный отдых" и "Наслаждение вкусом".

Я остановился на "Увлекательных маршрутах", но еще долго колебался между "Ромом и сальсой"[3] (маршрут CUB CO 033, 16 дней/14 ночей, проживание в двухместном номере 11 250 фр., доплата за одноместный 1350 фр.) и "Тропиком Тай" (маршрут THA CA 066, 15 дней/13 ночей, проживание в двухместном номере 9950 фр., доплата за одноместный 1175 фр.). Вообще-то Таиланд привлекал меня больше, но и Куба имела свои преимущества как одна из последних стран, где сохранилось коммунистическое правление, причем, скорее всего, ненадолго: в отживающем режиме есть некая политическая экзотика. В конце концов я все-таки выбрал Таиланд. Надо признать, что неискушенному человеку трудно устоять перед умело составленным текстом рекламной брошюры:

Организованный маршрут для любителей приключений: от бамбуковых зарослей на реке Квай к острову Самуй и далее — через бесподобный перешеек Кра к островам Пхукет и Пхи-Пхи. С холодным рассудком по жарким тропикам.

Ровно в восемь тридцать утра Жак Майо, хлопнув дверью своего дома на бульваре Бланки в XIII округе, садится на мотороллер и пересекает Па-

1. Жак Ланг — министр культуры Франции (1981–1986).
2. "Новые рубежи" (*франц.*).
3. Сальса — популярный стиль латиноамериканской музыки.

риж с востока на запад. Конечная цель: офис "Нувель фронтьер" на бульваре Гренель. Раз в два дня моторизованный хозяин "Нувель фронтьер" в неизменном фантастически пестром галстуке наведывается в несколько своих агентств: "Привожу свежие каталоги, забираю почту, проверяю, так сказать, температуру", — поясняет он. Визиты эти подстегивают работников: "В последующие дни агентства увеличивают оборот", — говорит Майо с улыбкой. Очарованная им журналистка из "Капиталя" в своей статье не скрывает удивления: кто мог предвидеть в 1967 году, что основанная кучкой оппозиционных студентов маленькая ассоциация так быстро пойдет в гору? Конечно, не толпы демонстрантов, проходивших в мае 68-го мимо первой конторы "Нувель фронтьер" на площади Данфер-Рошро в Париже. "Мы оказались в нужном месте — прямо перед телекамерами", — вспоминает Жак Майо, в прошлом бойскаут, левый католик и член Национального студенческого союза. Такой получилась первая рекламная акция фирмы, а название позаимствовали из речи Джона Кеннеди о "новых рубежах" Америки.

Будучи убежденным либералом, Жак Майо в свое время успешно боролся против "Эр Франс" за демонополизацию воздушного транспорта. Экономические журналы пристально следили за развитием его компании, ставшей за тридцать с небольшим лет крупнейшей в туристическом бизнесе Франции. "Нувель фронтьер", родившиеся одновременно с цивилизацией досуга, олицетворяли, вместе с FNAC[1] и "Club Med", новое лицо современного капитализма. В 2000 году индустрия туризма впервые вышла на первое место по обороту, опередив все другие отрасли мировой экономики. Избранный мною маршрут "Тропик Тай", хотя и не требовал специальной физической подготовки, принадлежал к разряду "приключенческих" и предлагал различные варианты проживания (простое, стандартное, первой категории); число участников ограничивалось двадцатью, дабы обеспечить сплоченность коллектива. К окошечку подошли две очаровательные негритянки с рюкзаками за спиной, и я вообразил, что они тоже выбрали "Тропик Тай"; с тем я опустил глаза и пошел получать билет и путевку. Перелет продолжался немногим более одиннадцати часов.

В наши дни путешествовать на самолете любой компании, независимо от направления, — значит подвергаться бесчисленным униженим в течение всего полета. Вы вынуждены сидеть скрючившись на смехотворно маленьком пространстве, откуда невозможно выбраться, не потревожив соседей по ряду, а стюардессы с фальшивыми улыбками сразу огорошивают вас чередой запретов. Когда вы еще только ступили на борт самолета, их первое движение — завладеть вашими личными вещами и запереть их в ящики для багажа: теперь вы ни под каким предлогом не получите их до самого приземления. Девицы эти будут придираться к вам всю дорогу, запрещать всякое передвижение и вообще какое-либо действие, кроме предписанных распорядком: дегустация содовой, просмотр американских видеофильмов, покупка беспошлинных товаров. Постоянное ощущение опасности подпитывается проносящимися в уме картинами авиакатастроф, а вынужденная неподвижность в замкнутом пространстве вызывает сильнейшие стрессы: во время некоторых дальних перелетов наблюдались даже случаи смерти пассажиров от сердеч-

1. Сеть книжных и музыкальных магазинов во Франции.

ного приступа. Экипаж со своей стороны исхитряется доводить стрессовое состояние до критической точки, не позволяя вам бороться с ним привычными средствами: вам не дают курить, читать, а в последнее время все чаще и чаще — пить. Хорошо еще эти мерзавки вас не *обыскивают*, а потому, как опытный пассажир, я смог запастись необходимым для выживания набором: таблетки Nicopatch по 21 мг, пачка снотворного, бутылочка "Южного комфорта". Когда мы пролетали над бывшей Восточной Германией, я забылся глубоким сном.

Меня разбудило ощущение тяжести на плече и чье-то жаркое дыхание. Без лишних церемоний я водворил на место своего соседа слева, он тихо заворчал, но глаз не открыл. Это был могучий детина лет тридцати с остриженными под горшок светло-каштановыми волосами; наружность его не показалась мне неприятной или нахальной. Было даже что-то трогательное в том, как он закутался в предоставленное авиакомпанией нежно-голубое одеяло, положив на колени свои мозолистые ручищи. Я подобрал с полу книжонку, которую он уронил: паршивый английский бестселлер некоего Фредерика Форсайта. Я читал одно творение этого кретина, сплошь состоящее из дифирамбов Маргарет Тэтчер и страшилок о Советском Союзе, именуемом *империей зла*. Интересно, чем пробавляется он теперь, после падения берлинской стены. Я полистал новейший опус: похоже, роль злодеев отводилась здесь всяким *красно-коричневым* и сербским националистам — писатель шагал в ногу со временем. Что касается его любимого героя, зануды Джейсона Монка, то он вернулся на службу в ЦРУ, заключившее временный союз с чеченской мафией. Ну и ну, подумал я, кладя романчик соседу на колени, хорошеньких же нравственных принципов придерживаются авторы современных бестселлеров! В качестве закладки сосед использовал сложенный втрое листок бумаги, в котором я узнал брошюрку "Нувель фронтьер": итак, я познакомился с первым своим попутчиком. Он мне нравился: славный парень и наверняка куда менее эгоцентричный и нервозный, чем я. Я взглянул на экран, где сообщались сведения о полете: вероятно, мы уже миновали Чечню, если вообще над ней пролетали; температура за бортом минус 53 °С, высота полета 10 143 метра, местное время 00:27. Потом цифры на экране сменились картой: мы вошли в воздушное пространство Афганистана. За окном, разумеется, ничего, кроме тьмы кромешной. В любом случае талибы в своих грязных лачугах, наверное, уже спали. "Спокойной ночи, талибы, спокойной ночи... Хороших вам снов..." — пробормотал я и проглотил вторую таблетку снотворного.

4

Самолет приземлился около пяти утра в аэропорту Донг-Мыанг. Я с трудом продрал глаза. Мой сосед слева уже встал и топтался в очереди на выход. В коридоре по дороге в зал прибытия я потерял его из виду. Ноги у меня были ватные, язык не ворочался, в ушах стоял отчаянный гул.

Едва автоматические двери выпустили меня наружу, я словно шагнул в жерло вулкана. Градусов тридцать пять, не меньше. Жара в Бангкоке особенная, *маслянaя*, наверное, из-за сильно загрязненного воздуха; проведя некоторое время на улице, вы ощущаете, будто покрылись тонкой пленкой гари. Первые тридцать секунд я не мог дышать. Я старался не отстать от нашей сопровождающей, которую и разглядеть как следует не успел, заметил только, что она сдержанна и воспитанна — впрочем,

многие таиландки производят именно такое впечатление. Рюкзак фирмы "Лау Про Гималайа Треккинг" резал мне плечи — это был самый дорогой, какой я смог найти в "Бывалом туристе": гарантия пожизненная. Внушительная штука: стального цвета, с карабинами, особыми фирменными липучками, молниями, функционирующими при температуре минус 65 °С. Содержимое его, увы, было куда скромней: несколько пар шорт, несколько футболок, плавки, специальные ботинки для ходьбы по кораллам (125 фр. в "Бывалом туристе"), несессер со всеми необходимыми лекарствами, какие рекомендует "Гид Рутар"[1], портативная видеокамера JVC HRD-9600 MS с батарейками и запасными кассетами и два американских бестселлера, купленных в аэропорту наугад.

Автобус "Нувель фронтьер" стоял метрах в ста от входа. Внутри могучего шестидесятичетырехместного "мерседеса М-800" в полную силу работали кондиционеры: входя в него, вы словно попадали в морозильную камеру. Я устроился у окна слева, в середине салона: перед собой я видел еще дюжину пассажиров, в том числе и соседа по самолету. Рядом со мной никто не сел — похоже, свою первую возможность слиться с коллективом я упустил, зато сохранил все шансы схлопотать хорошенький насморк.

Еще не рассвело, но все шесть рядов автострады, ведущей в Бангкок, уже были запружены автомобилями. По обочинам билдинги из стекла и стали чередовались кое-где с массивными бетонными сооружениями в духе советской архитектуры. Банки, отели, офисы компаний электронной техники, преимущественно японских. После поворота на Чатучак автострада вознеслась над сетью дорог, опоясывающих центр города. На пустырях между светящимися отелями глаз начинал различать скопления домишек, крытых железом. В освещенных неоном ларьках на колесах предлагали суп и рис, дымились жестяные котелки. При выезде на Нью-Петчабури-роуд автобус слегка сбавил скорость. Мы увидели фантасмагорические очертания дорожной развязки, асфальтовые спирали которой, казалось, висели в небе, озаренные рядами прожекторов из аэропорта; описав длинную дугу, автобус снова выехал на скоростную магистраль.

Бангкокский "Палас Отель" принадлежал к сети гостиниц, близких к компании "Меркурий", и придерживался схожих принципов в отношении питания и качества обслуживания — все это я почерпнул из брошюры, которую подобрал в холле, ожидая, пока ситуация немного прояснится. Было начало седьмого утра — полночь в Париже, подумалось мне без всякой связи, — но вокруг уже царило оживление, и ресторан открылся для завтрака. Я сел на скамейку, у меня по-прежнему кружилась голова, шумело в ушах, и начинало подташнивать. По выжидательным позам стоявших рядом людей я угадал в них членов нашей группы. Тут были две девицы лет по двадцать пять блядоватого вида, впрочем неплохо сложенные и смотревшие на все с презрением. В отличие от них чета пенсионеров — он из породы живчиков, она поугрюмее — с восхищением взирала на внутреннее убранство отеля, состоящее из зеркал, позолоты и люстр. В первые часы жизни коллектива общение в нем носит, как правило, *фатический* характер, то есть сводится к *установлению контактов;* этой стадии свойственны употребление банальных фраз и слабая эмоциональная вовлеченность. Как утверждают Эдмундс и

1. Популярная серия справочников "Путеводитель бродяги" (*франц.*).

Уайт[1], формирование мини-групп отчетливо заметно лишь на первой экскурсии или во время первого совместного завтрака.

Я вздрогнул, чувствуя, что теряю сознание; чтобы как-то приободриться, закурил: снотворное оказалось слишком сильным, я от него был сам не свой; более слабые, впрочем, на меня не действовали — положение складывалось безвыходное. Чета пенсионеров топталась на месте, медленно поворачиваясь по кругу; супруг хорохорился и, не находя, кому бы конкретно улыбнуться, обводил улыбкой весь окружающий мир. В предшествующей жизни они, наверно, были мелкими торговцами — ничего другого не придумаешь. Услышав свое имя, экскурсанты поочередно подходили к сопровождающей, получали ключи, поднимались в номера — словом, рассеивались. Мы могли позавтракать прямо сейчас, напоминала тайка звонким поставленным голосом, могли отдохнуть — по желанию. В четырнадцать часов — прогулка по *кхлонгам*[2], встреча в холле.

Широкое окно моего номера выходило на скоростную магистраль. В половине седьмого утра движение по ней было интенсивным, однако сквозь двойное стекло до меня доносился только слабый гул. Фонари уже погасли, а сталь и стекло еще не засверкали дневным солнцем — город был равномерно сер. Я заказал дежурному двойной эспрессо и заглотал его с эффералганом, долипраном и двойной дозой осциллококсинума, затем лег и попытался закрыть глаза.

Неясные формы с назойливым жужжанием медленно двигались в замкнутом пространстве; может, это были землеройные машины, а может, гигантские насекомые. Поодаль стоял человек в тюрбане и белых шароварах; в руках он держал короткую турецкую саблю и с большой осторожностью проверял остроту клинка. Вдруг воздух сделался красным и вязким, почти жидким; прямо перед глазами у меня потекли капельки конденсата, и я понял, что вижу всю сцену через стекло. Человек лежал теперь на земле, придавленный невидимой силой. Машины — несколько экскаваторов и гусеничный бульдозер — сгрудились вокруг него. Экскаваторы дружно взмахнули шарнирными лапами и разом обрушили ковши на человека, разрубив его тело на семь или восемь частей; голова же дьявольским образом продолжала жить, бородатое лицо кривилось недоброй усмешкой. Тогда вперед подался бульдозер и раздавил ее, как яйцо; мозг вперемешку с раздробленными костями брызнул на стекло в двух сантиметрах от моего лица.

5

Туризм как поиск смысла с характерным для него игровым общением и богатством образов есть способ постепенного кодированного и нетравмирующего постижения внешней чужеродной реальности.

Рашид Амиру

Проснулся я около полудня, в комнате глухо жужжал кондиционер, голова болела немного меньше. Лежа поперек широченной кровати king size, я думал о том, как все сложится дальше. Бесформенная пока еще группа превратится в живое человеческое сообщество; сегодня во вто-

1. Экскурсионные туры: взгляд социолога. Анналы исследований туризма. 1998. Т. 23. с. 213–227. (*Прим. автора.*)
2. Улицы-каналы в Бангкоке.

рой половине дня мне надо будет начать определяться, а прямо сейчас уже выбрать шорты для прогулки по *кхлонгам*. Я остановился на модели из синей джинсовой ткани, средней длины, не слишком облегающей, и футболке "Radiohead"; затем сунул в рюкзак кое-какие вещицы. В ванной я с отвращением осмотрел свое отражение в зеркале: натянутое, скованное лицо бюрократа трагически контрастировало с костюмом; я выглядел ровно тем, кем был на самом деле: сорокалетним чиновником, на период каникул рядящимся под юнца. Тьфу! Я подошел к окну и раздвинул шторы. С двадцать седьмого этажа открывался поразительный вид. Налево меловой скалой, разлинованной черными горизонтальными полосками окон, наполовину скрытых балконами, высилась громада отеля "Мариотт". Солнце стояло в зените, контрастно оттеняя плоскости. Прямо передо мной сверкало бесчисленными бликами хитроумное сооружение из конусов и пирамид голубоватого стекла. На горизонте ярусами ступенчатой пирамиды громоздились гигантские бетонные кубы отеля "Гран Плаза Президент". Справа, за трепещущей зеленой гладью парка Лумпхини, выступала охряная стена и угловые башни Дусит Тхани. И надо всем — идеально голубое небо. Я медленно выпил "Сингха Голд", размышляя о том, что все уходит безвозвратно.

Внизу в холле сопровождающая проводила перекличку, раздавая талоны на завтрак. Так я узнал, что двух вертихвосток зовут Бабетт и Леа. У Бабетт были светлые вьющиеся волосы: не то чтобы вьющиеся от природы — скорее завитые; еще у мерзавки была красивая грудь, отчетливо видная сквозь прозрачную ткань блузки с набивным этническим рисунком, полагаю, от "Труа Сюис". Брюки той же материи отличались такой же прозрачностью, сквозь них просвечивали белые кружева трусиков. У черноволосой, тоненькой, как нитка, Леа узость бедер компенсировалась выпуклостью ягодиц, подчеркнутой черными "велосипедками" до колен, и агрессивно торчащими под коротенькой канареечной майкой сосками. На щелке пупка блестел малюсенький бриллиант. Я внимательно изучил обеих цыпочек с тем, чтобы позабыть о них навсегда.

Раздача талонов продолжалась. Сон — так звали гидшу — выкликала всех по именам, меня от этого с души воротило. Ё-мое, мы ж не в детском саду. Я было обрадовался, когда она назвала пенсионеров по фамилии: "месье и мадам Лоближуа", однако она тут же с лучезарной улыбкой добавила: "Жозетт и Рене". Невероятно, но факт. "Меня зовут Рене", — подтвердил супруг, не обращаясь ни к кому конкретно. "Час от часу не легче", — буркнул я. Жена бросила на него усталый взгляд, который следовало понимать как: "Помолчал бы, а то вечно лезешь". Я вдруг сообразил, кого он мне напоминает: господина Плюса из рекламы Бальзена. Может, это он и был? Я обратился к его жене: не доводилось ли им в прошлом сниматься на вторых ролях? Нет, никогда; оказалось, они колбасники. Похоже, между прочим. Итак, весельчак наш держал некогда колбасную лавку (в Кламаре, уточнила супруга), паршивый магазинчик, где отовариваются лишь бедняки, которых он и забавлял своими остротами.

Затем следовали еще две супружеские пары, невыразительные внешне и, вероятно, как-то связанные между собой. Может, уже отдыхали вместе? Или познакомились за брекфестом? На этой стадии путешествия не разберешь. Начнем с наиболее несимпатичной. Супруг слегка напоминал Антуана Вештера[1] в молодости, если такое можно вообразить,

1. Антуан Вештер — лидер французского движения защитников окружающей среды.

но только шатен, и бородка аккуратно подстрижена; в сущности, он напоминал не столько Антуана Вештера, сколько Робина Гуда, хотя чувствовалось в нем и что-то швейцарское. Одним словом, никого он не напоминал — обыкновенный кретин. Не говоря уже о жене: серьезная, в комбинезончике, добропорядочная молочница. Наверняка эти двое уже произвели на свет себе подобных, подумал я; оставили, небось, ребеночка у бабушки где-нибудь в Лон-ле-Сонье. Вторая пара, постарше, производила более приятное впечатление. Он, тощий, усатый, нервный, представился мне как натуропат и, видя мое невежество, пояснил, что врачует травами и другими натуральными, по возможности, средствами. Она, невысокая, сухонькая, работала в социальной сфере, занималась в Эльзасе трудоустройством лиц, имеющих судимость; вид у обоих был такой, будто они не трахались уже лет тридцать. Супруг, похоже, расположился побеседовать со мной о пользе натуральных методов лечения; почувствовав, что не вынесу, я отошел и присел на банкетку. Отсюда чета колбасников мешала мне хорошенько рассмотреть трех оставшихся участников группы: мужчина по имени Робер — пятидесятилетний жлоб с необъяснимо жестким выражением глаз; затем женщина таких же лет, бывалая, с обрамленным черными кудрями недобрым и одновременно вялым лицом — она звалась Жозианой; и, наконец, женщина помоложе, лет двадцати семи, не больше, незаметная — она подобострастно следовала за Жозианой и именовалась Валери. Ладно, разберемся по ходу дела, время есть, мрачно бухтел я себе под нос по дороге к автобусу. Я заметил, что Сон не отрываясь смотрит на список пассажиров. Лицо ее напряглось, губы непроизвольно шептали какие-то слова, в них угадывалось смятение, чуть ли не страх. Оказалось, что нас тринадцать; таиландцы очень суеверны, больше даже, чем китайцы; в нумерации этажей и домов им случается перескакивать с двенадцатого на четырнадцатый, лишь бы избежать числа тринадцать. Я сел на левую сторону в центре салона. Во время групповых поездок экскурсанты, как правило, осваиваются очень быстро: для спокойствия важно только пораньше занять место и держаться его, можно даже положить на него какие-нибудь свои вещи, словом обжить.

Учитывая, что автобус был на три четверти пуст, я немало удивился, когда Валери села рядом со мной. Двумя рядами дальше Бабетт и Леа насмешливо зашушукались. Заткнитесь, сучки. Я исподволь разглядывал соседку: длинные темные волосы, лицо — не знаю, как и сказать, — неброское, в общем; не красавица и не дурнушка. Я напряг свои мыслительные способности и промямлил: "Вам не слишком жарко?" — "Нет, нет, в автобусе нормально", — ответила она быстро и без улыбки, видимо испытав облегчение от того, что я начал разговор. А между тем глупее вопроса и придумать невозможно: в автобусе стоял чудовищный холод. "Вы уже бывали в Таиланде?" — спросила она, умело поддержав беседу. "Да, один раз". Она замерла в ожидании, приготовясь выслушать интересный рассказ. Рассказать ей о моей первой поездке? Лучше не сейчас, потом как-нибудь. "Было хорошо..." — выдавил я из себя наконец, стараясь компенсировать банальность фразы задушевностью тона. Она удовлетворенно кивнула. Тут я сообразил, что девушка эта нисколько не зависела от Жозианы; покорность была ее натурой, и, может, она как раз искала себе нового хозяина; может, Жозиана ей надоела — та, кстати, сидела впереди, через два ряда от нас, с остервенением листала путеводитель "Рутар" и злобно поглядывала в нашу сторону. Просто песня!

Сразу за причалом Пэйаб лодка свернула направо в Кхлонг-Самсен, и мы попали в совершенно иной мир. Люди жили здесь так же, как и сто лет назад. Вдоль канала стояли домишки из тика на сваях; под навесами сушилось белье. Женщины глазели на нас из окон, другие, увидев нас, отрывались от стирки. Между сваями барахтались в воде ребятишки, они махали нам руками. Повсюду буйствовала растительность, пирога наша продиралась сквозь заросли водяных лилий и лотосов; жизнь била ключом. Любое свободное пространство на земле, в воздухе или воде мгновенно заполнялось ящерицами, бабочками, карпами. Хотя приехали мы, как сообщила Сон, в разгар сухого сезона, атмосфера была безнадежно перенасыщена влагой.

Валери сидела рядом со мной, от нее веяло глубочайшим покоем. Она махала рукой старикам, курившим трубку на балконе, купающейся ребятне, стирающим женщинам, а те отвечали на ее приветствия. Наши экологи тоже расслабились, и даже натуропаты выглядели более умиротворенными. Нас окружали лишь тихие звуки да улыбки. Валери повернулась ко мне. Я чуть было не взял ее за руку, но удержался, сам не знаю почему. Лодка замерла: на короткое мгновение мы погрузились в вечность счастливого дня; Леа с Бабетт и те смолкли. Они ловили кайф, как потом, уже на пристани, объяснила Леа.

Во время осмотра храма Утренней Зари я подумал, что надо бы найти открытую аптеку и купить "виагру". На обратном пути я узнал, что Валери родом из Бретани — ее родители владели раньше фермой в Трегорруа; сам же я не находил, что ей сказать. У нее было умненькое личико, но мне не хотелось вести умных разговоров. Мне нравился ее нежный голос, прилежный вид, движение ее губ; я представил себе, как горячо у нее во рту и как она с готовностью глотает сперму любящего друга. "Сегодня было хорошо..." — пробормотал я наконец от безысходности. Я отвык от людей — слишком долго жил в одиночестве — и теперь не знал, как подступиться. "Да, хорошо..." — согласилась она без претензий — славная девушка. Тем не менее, когда автобус подъехал к отелю, я ринулся в бар.

После трех коктейлей я пожалел о своем поведении на экскурсии и вышел в холл. Было семь часов вечера, из нашей группы никто еще не спустился. За четыреста бат желающие могли получить ужин с "традиционными тайскими танцами" — встреча в восемь. Валери, конечно, пойдет. Лично я уже имел некоторое представление о традиционных тайских танцах, поскольку три года назад совершил тур "Классический Таиланд, от 'Розы Севера' до 'Города Ангелов'", организованный фирмой "Куони". Неплохой, между прочим, тур, только дороговатый и жуть какой культурный: все участники с высшим образованием. От них не ускользало ничего: ни тридцать две позы Будды в Раттанакосине, ни различия между тайско-бирманским, тайско-кхмерским и собственно тайским стилями. Без "Синего гида" я постоянно чувствовал себя смешным и вернулся из поездки измученным. Между тем я начинал ощущать настоятельное желание потрахаться. В нарастающей нерешительности я кружил по холлу и вдруг увидел надпись "Оздоровительный клуб " с указателем на нижний этаж.

Помимо красных неоновых светильников вход обрамляла гирлянда разноцветных лампочек. Со светящегося белого панно три сирены в бикини с неправдоподобной грудью протягивали входящему бокалы шам-

панского; на заднем плане вырисовывалась стилизованная Эйфелева башня — словом, концепция интерьера здесь несколько отличалась от "пространства форм" в отелях "Меркурий". Я вошел в бар и заказал бурбон. За стеклом дюжина девиц повернули головы в мою сторону, некоторые завлекающе улыбались, некоторые — нет. Из клиентов я был один. Несмотря на малые размеры заведения, девушки носили круглые бляшки с номерами. Я сразу выбрал номер семь: во-первых, она была миленькой, во-вторых, не выглядела чрезмерно увлеченной ни телевизионной программой, ни болтовней с подружкой. Услышав, что ее вызвали, она поднялась, явно довольная. Я угостил ее в баре кока-колой, и мы пошли в комнату. Ее звали Оон, во всяком случае так я расслышал; приехала она из деревушки поблизости от Чиангмая на севере страны. Ей было девятнадцать.

Мы приняли пенную ванну, после чего я не вытираясь распластался на матрасе, чувствуя, что не пожалею о своем выборе. Оон двигалась великолепно, гибко; и мыльной пены сделала ровно сколько нужно. Сначала она ласкала грудью мои ягодицы; это была ее собственная выдумка, другие так не делали. Ее хорошо намыленная муфта жесткой щеточкой терлась о мои икры. У меня мигом все взыграло, я даже удивился; когда она перевернула меня и стала гладить мне член ногой, я уже думал: конец. Но, резко напружив мышцы, ценой огромных усилий все-таки сдержался.

Она села на меня верхом; я воображал, что меня хватит надолго, но просчитался. Она, хоть и была совсем молоденькой, игрушкой своей пользоваться умела.

Потом мы лежали на кровати обнявшись и болтали; она, похоже, не спешила возвращаться в бар. Клиентов туда приходило немного; в этом отеле обычно селились люди немолодые, неприметельные и ко всему охладевшие. Останавливались и французы, но мало кто из них увлекался эротическим массажем. Те, которые ей встречались, были вполне милы, но в основном она имела дело с немцами и австралийцами. Иногда с японцами; японцев она не любила: они со странностями, им обязательно хочется либо бить тебя, либо связывать, а то еще сядут и онанируют, глядя на твои туфли; неинтересно, короче, нисколько.

А как я ей понравился? Неплохо, только она надеялась, что я дольше продержусь. "Much need..."[1] — добавила она, легонько теребя пальцами мой пресыщенный член. А в остальном я произвел на нее приятное впечатление. "You look quiet..."[2] — сказала она. Тут она немного ошибалась; впрочем, она и вправду меня успокоила. Я дал ей три тысячи бат: цена, по моим воспоминаниям, приличная. По ее реакции я понял, что цена действительно хорошая. "Кроп кхун кхат!" — воскликнула она, улыбаясь во весь рот, и поднесла сложенные ладони ко лбу. Потом проводила меня к выходу, держа за руку; в дверях мы расцеловались в щеки.

Поднимаясь по лестнице, я нос к носу столкнулся с Жозианой, в нерешительности стоявшей на верхней ступеньке. Она нарядилась в черную вечернюю тунику с золотой каймой, но привлекательней от этого не стала. Повернув ко мне умное внушительное лицо, она смотрела на меня не мигая. Я заметил, что она и голову помыла. Никто не назвал бы ее дурнушкой; если хотите, она была даже хороша собой — помнится, мне

1. Очень хотелось (*искаж. англ.*).
2. Ты выглядишь спокойным (*англ.*).

очень нравились ливанки ее типа, — но глаза неизменно оставались злыми. Ее легко можно было вообразить спорящей о политике, а вот сострадающей — нет. Мне нечего было ей сказать. Я опустил голову. Вероятно немного смутившись, она заговорила первая: "Там что-нибудь интересное внизу?" Она раздражала меня до такой степени, что я чуть не брякнул: "Бар со шлюхами ", но потом все-таки соврал, так проще: "Нет, нет, не знаю, что-то вроде салона красоты..."

"Вы манкируете ужином-концертом", — не отставала эта гадина. "Вы тоже..." — парировал я. Она помедлила с ответом, жеманно выдержала паузу. "Ах, знаете, я не любительница таких вещей... — продолжала она, поведя рукой на манер расиновской героини. — Это для туристов..." Что она хотела этим сказать? Разве все остальное — не для туристов? Я снова еле сдержался, чтобы не съездить ей кулаком по роже. Она стояла посреди лестницы и загораживала мне проход; пришлось набраться терпения. Автор пламенных необузданных посланий святой Иероним проявлял, когда требовали обстоятельства, христианское смирение и оттого был произведен в великие святые и отцы Церкви.

"Традиционные тайские танцы", полагала она, зрелище для Жозетт и Рене, которых она в душе считала *мещанами*; я с ужасом понял, что она ищет во мне союзника. В самом деле, скоро наша группа двинется в глубь страны, мы поделимся на два лагеря и будем есть за двумя столами; настала пора определиться, с кем ты. "Н-да..." — сказал я. И тут, откуда ни возьмись, на верху лестницы возник Робер. Он хотел спуститься. Я ловким движением уступил ему дорогу, поднявшись при этом на несколько ступенек. Перед тем как ускользнуть в ресторан, я обернулся: Жозиана стояла как вкопанная и не спускала глаз с Робера, а тот решительно направлялся в массажный салон.

Бабетт и Леа хлопотали возле стола с овощами. Я кивнул им сухо в знак того, что их узнал, и положил себе батат. Надо думать, они тоже сочли тайские танцы *нафталиновыми*. Возвращаясь к своему столу, я обнаружил, что обе красотки сидят от меня в нескольких метрах. Леа была одета в футболку "Rage against the machine"[1] и облегающие джинсовые бермуды, Бабетт — в бесформенную хламиду из полос цветного шелка и прозрачной ткани между ними. Они оживленно щебетали, обсуждая, как мне показалось, нью-йоркские гостиницы. Не дай бог такую жену. Что если сменить столик? Нет, это было бы вызывающе. Я просто сел за него с другой стороны так, чтобы оказаться к ним спиной, заглотал ужин и пошел к себе в номер.

Только я собрался принять ванну, как туда заявился таракан. Выбрал подходящее время, лучше не придумаешь. Скользил по кафелю, черт такой; я стал искать глазами тапок, хотя в душе понимал, что шансов разделаться с ним у меня немного. Стоит ли бороться? С тараканами, с хандрой? Даже Оон со своей потрясающе упругой пампушкой ничем не может помочь. Мы обречены. Тараканы совокупляются весьма неуклюже и, похоже, без особой радости, зато делают это часто, и мутация происходит у них очень быстро; мы против них бессильны.

Перед тем как раздеться, я снова вспомнил Оон, воздав должное ей и всем проституткам в Таиланде. Работа у них, между прочим, нелегкая; думаю, им не часто попадаются крепкие юноши сносной наружности,

1. Ярость против машин (*англ.*).

желающие просто по-честному кончить вместе. Про японцев и говорить нечего — я даже вздрогнул при одной мысли о них и взял в руки путеводитель "Рутар". Бабетт и Леа не смогли бы работать таиландскими проститутками, да и недостойны этого. Валери — как знать; что-то угадывалось в ней такое, одновременно материнское и чуточку блядское — и то и другое, понятно, домысел; пока она была просто милой девушкой, приветливой, серьезной. Умненькой, кстати. Хм, в самом деле, она мне нравилась. Я аккуратненько потискал свое хозяйство, чтобы потом приступить к чтению с легкой душой: даже несколько капель выцедил.

Взявшись подготовить желающих к поездке в Таиланд, "Рутар" на деле сеет в вас живейшие сомнения относительно такого путешествия и уже в предисловии считает своим долгом изобличить сексуальный туризм — эту *мерзкую форму эксплуатации*. Авторы брюзжат беспрестанно с единственной целью: отравить ненавистным туристам все радости до последней. Потому что любят они на самом деле только себя самих, если судить по разным саркастическим замечаниям, которыми усеяна книга, как, например: "Ах, милочка, видели бы вы это во времена х-х-хиппи!.." Неприятнее всего — резкий, холодный, суровый тон, в котором сквозит плохо сдерживаемое негодование: "Мы не ханжи, но Паттайя нам не по душе. Надо же и меру знать". Чуть дальше они обрушиваются на "толстобрюхих западных туристов", красующихся, видите ли, в обнимку с маленькими тайками; наших "бродяг" от этого "тошнит". Святоши пуританские, высоконравственные кретины — вот кто они такие вместе со всеми их "славными друзьями, которые помогли им в работе над книгой" и чьи рожи самодовольно глядят на вас с четвертой страницы обложки. Я с досадой швырнул путеводитель через всю комнату и едва не угодил в телевизор "Sony", затем, смирившись с судьбой, открыл "Фирму" Джона Гришэма, американский бестселлер, один из лучших — имеется в виду по раскупаемости. Главный герой — подающий надежды адвокат, блистательный юноша, красавец — работает по девяносто часов в неделю; пакость эта не просто была похабнейшим образом подстроена под будущий сценарий, но еще и чувствовалось, что автор уже подумал об актерском составе и писал главную роль для Тома Круза. Супруга героя — тоже баба хоть куда, вот только работает всего восемьдесят часов в неделю; Николь Кидман тут не годилась, эта роль не для курчавых, тут надо, чтоб укладка феном. Слава богу, у них нет детишек — это избавляет нас от лишних душераздирающих сцен. Роман принадлежит к категории остросюжетных, вернее умеренно остросюжетных: уже со второй главы становится ясно, что руководители фирмы — подлецы, а также что герой в конце останется жив, как, впрочем, и его жена. Зато по ходу действия автору для нагнетания страстей наверняка придется пожертвовать несколькими симпатичными персонажами второго плана; оставалось выяснить, какими именно — что ж, есть ради чего читать. Может, например, отцом героя, у того как раз дела не клеились, не удавалось приспособиться к современному менеджменту; я подозревал, что дни его сочтены.

6

Детство Валери прошло на хуторе Тремеван, расположенном в нескольких километрах к северу от Генгана. В 70-е и в начале 80-х правительство и местные власти вознамерились создать в Бретани мощный центр про-

изводства свинины, способный конкурировать с Великобританией и Данией. Государство стимулировало развитие интенсивных хозяйств, и молодые фермеры, к числу которых принадлежал отец Валери, получили значительные ссуды в банке "Креди Агриколь". В 1984 году цены на свинину начали резко падать; Валери исполнилось тогда одиннадцать лет. Она была девочкой послушной, немного замкнутой, училась хорошо; осенью ей предстояло идти в шестой класс коллежа в Генгане. Ее старший брат успешно сдал выпускные экзамены и записался на подготовительные курсы при лицее в городе Ренн: он мечтал стать агрономом.

Валери запомнилось Рождество 84-го; отец тогда провел целый день с бухгалтером Национальной федерации земледельческих профсоюзов. За праздничным ужином он сидел молча. Во время десерта, после двух бокалов шампанского, заговорил с сыном. "Продолжать мое дело я тебе не советую, — сказал он. — Вот уже двадцать лет, как я встаю затемно и заканчиваю работу в восемь-девять вечера; мы с твоей матерью отпуска ни разу не имели. А продай я сейчас ферму со всей техникой и хлевами и вложи деньги в гостиничное дело — смогу остаток своих дней загорать на солнышке".

В последующие годы цены на свинину продолжали снижаться. Фермеры устраивали демонстрации протеста, нередко заканчивавшиеся беспорядками; однажды они вылили на эспланаду перед Инвалидами тонны навозной жижи, в другой раз резали свиней на площади перед Пале-Бурбон. В конце 1986 года правительство приняло постановление о неотложных мерах, направленных на поддержку свиноводства, потом разработало план подъема отрасли. В апреле 1987-го отец Валери продал все хозяйство за четыре с небольшим миллиона франков. На вырученные деньги он купил большую квартиру в Сен-Ке-Портриё, куда переехал с семьей, и три однокомнатных в Торремолинос; у него остался миллион, который он вложил в инвестиционные фонды; а кроме того, он смог осуществить свою детскую мечту — приобрел небольшую яхту. Подписывая акт о продаже фермы, он испытывал грусть и горечь одновременно. Новый хозяин, уроженец Ланьона, двадцатитрехлетний холостяк с сельскохозяйственным образованием, еще верил в планы экономического возрождения. Отцу Валери минуло в ту пору сорок восемь, матери — сорок семь; лучшие годы их жизни прошли, считай, впустую. Они жили в стране, где инвестиции в производство не давали никаких реальных преимуществ перед спекулятивными вложениями — теперь он в этом убедился. Сдача внаем однокомнатных квартир сразу же принесла ему больше денег, чем годы упорного труда. Оставшись не у дел, он решал кроссворды, ходил на яхте по заливу, рыбачил иногда. Жена поддерживала его как могла; она освоилась в новой жизни куда быстрее, снова полюбила книги, кино, стала бывать на людях.

Когда продавали ферму, Валери исполнилось четырнадцать лет; она уже начала краситься; в зеркале, висевшем на стене ванной, она регулярно наблюдала, как наливается ее грудь. Накануне переезда она долго бродила по хутору. В центральном хлеву оставался еще десяток свиней, они подошли к ней, тихонько похрюкивая. Вечером их должен был забрать оптовик и через несколько дней забить.

Лето на новом месте протекало необычно. По сравнению с их Тремеваном Сен-Ке-Портриё казался настоящим городом. Валери не могла теперь, выйдя из дома, лечь, как прежде, на траву, унестись мыслями

вслед облакам, слушая ропот реки. На улице некоторые мальчики из числа отдыхающих провожали ее долгими взглядами; ей никогда не удавалось полностью расслабиться. В августе она познакомилась с Беренис, своей будущей одноклассницей: Валери определили в лицей в Сен-Бриё. Беренис была на год старше, она ярко красилась, носила фирменные юбки; у нее было хорошенькое остренькое личико и очень длинные светлые волосы удивительного рыжеватого оттенка. Девочки стали вместе ходить на пляж Сен-Маргерит; переодевались в комнате Валери. Однажды, сняв лифчик, Валери перехватила взгляд Беренис, устремленный на ее грудь. Она и сама знала, что грудь у нее великолепная, круглая, высокая, такая налитая и плотная, будто искусственная. Беренис протянула руку, погладила пальцами сосок. Губы их сблизились, Валери открыла рот и зажмурилась, отдаваясь поцелую целиком. Внизу у нее все увлажнилось, раньше чем Беренис скользнула рукой ей в трусы. Валери проворно сбросила их, опрокинулась на кровать, раздвинула ноги. Беренис опустилась на колени, прильнула туда губами. Валери сводило живот горячими судорогами, ей казалось, что она взмывает в бесконечные пространства поднебесья; никогда прежде она не подозревала о существовании подобного блаженства.

Они проделывали это снова и снова, каждый день до конца лета. Первый раз после обеда, перед тем как идти на пляж. Потом они отправлялись загорать, и, лежа на солнце, Валери чувствовала, как во всем теле постепенно нарастает желание; тогда она снимала бюстгальтер, чтобы Беренис могла полюбоваться ее грудью. Затем они чуть ли не бегом возвращались в комнату и опять предавались любви.

С началом занятий, уже в первую неделю, Беренис стала отдаляться от Валери, избегать встреч после уроков: у нее появился парень. Валери спокойно перенесла разрыв — жизнь есть жизнь. У нее вошло в привычку ласкать себя по утрам, как проснется. Всякий раз за несколько минут она доводила себя до оргазма, и от этого легкого и восхитительного упражнения радость сохранялась на целый день. К мальчикам она относилась настороженно: купив в привокзальном киоске несколько номеров "Хот видео", она получила представление о том, как устроены их половые органы, и вообще о сексе, однако волосатые мускулистые тела мужчин внушали ей легкое отвращение, а их кожа казалась толстой и грубой. Сморщенная коричневатая мошонка и пенис с красной блестящей головкой выглядели совсем непривлекательно. Тем не менее как-то раз Валери провела вечер в пенпольском кабачке с долговязым блондином из выпускного класса и потом переспала с ним, но особенного удовольствия не почувствовала. В последние два года учебы в лицее она много раз пробовала с другими; соблазнять мальчишек проще простого: надо только надевать короткую юбку, закидывать ногу на ногу и блузку носить с большим вырезом или прозрачную, чтоб видели грудь; приобретенный сексуальный опыт не открыл ей ничего нового. Умом она понимала, какое блаженное торжество испытывают некоторые женщины, чувствуя, как мужской член глубоко проникает в них, но сама ничего подобного не ощущала. Презерватив, понятно, тоже мешал; хлюпание резинки всякий раз возвращало ее к реальности, когда она уже готова была соскользнуть в головокружительную сладостную бездну. Ко времени выпускных экзаменов она почти полностью отказалась от сексуальной жизни.

Прошедшие с тех пор десять лет мало что изменили, с грустью думала Валери, проснувшись в номере отеля "Бангкок Палас". Еще не рассвело. Она зажгла свет, посмотрела на себя в зеркало. Грудь оставалась упругой, как у семнадцатилетней девочки. И ягодицы нисколечко не обвисли, не ожирели; слов нет, у нее было прекрасное тело. Между тем к завтраку она натянула на себя спортивный хлопчатобумажный свитер и бесформенные бермуды. Выходя из комнаты, еще раз взглянула в зеркало: лицо как лицо, симпатичное, но и только; волосы, черные, гладкие, небрежно спадали на плечи, глаза темно-карие, обыкновенные. Она могла бы выглядеть эффектнее, если бы умело пользовалась косметикой, сменила прическу, посещала бы визажиста. Большинство женщин ее возраста непременно уделяют своей внешности несколько часов в неделю; ей же казалось, что лучше она от этого не станет. В сущности, у нее просто отсутствовало желание обольщать.

Мы выехали из отеля в семь часов, на улицах уже кипела жизнь. Валери кивнула мне и села рядом, через проход. В автобусе никто не разговаривал. Серый мегаполис медленно пробуждался; между переполненными автобусами сновали мотороллеры, на них перемещались семьями: муж, жена, иногда ребенок на руках. В кварталах у реки еще лежал туман. Скоро солнце пробьется сквозь утренние облака и начнется жара. Когда миновали Нонтхабури, городская застройка стала редеть и мы увидели первые рисовые поля. У дороги, увязнув ногами в грязи, неподвижно стояли буйволы и провожали глазами автобус, точь-в-точь как наши коровы. В стане экологов заерзали: видно, не терпелось буйволов сфотографировать.

Первую остановку сделали в Канчанабури: описывая этот город, разные справочники, словно сговорившись, употребляют эпитеты "оживленный" и "веселый". "Превосходная отправная точка для осмотра окружающей местности", – пишет "Мишлен"; "хороший базовый лагерь", – вторит ему "Рутар". Далее наша программа предусматривала экскурсию на поезде по "дороге смерти", петляющей вдоль берега реки Квай. Я никогда не мог толком разобраться, что все-таки произошло на реке Квай, а потому добросовестно слушал объяснения экскурсовода. По счастью, Рене сверял ее рассказ с текстом "Мишлена" и при надобности поправлял. В итоге получилось приблизительно следующее: вступив в войну в 1941 году, японцы решили построить железную дорогу, соединяющую Сингапур и Бирму, рассчитывая в дальнейшем вторгнуться в Индию. Дорога эта пролегала через Малайзию и Таиланд. Между прочим, что делали таиландцы во время Второй мировой войны? Ничего особенного. Соблюдали нейтралитет, целомудренно отвечала Сон. Точнее, как пояснил Рене, заключили военное соглашение с Японией, не объявляя, однако, войны союзникам. Мудро. Они и тут проявили свою хваленую *изворотливость*, позволившую им в течение последних двух с лишним веков существовать между двумя колониальными империями, французской и британской, не уступая ни одной из них и оставаясь единственной страной Юго-Восточной Азии, которая никогда не была колонией.

Короче, в 1942 году началось строительство; в долину реки Квай согнали шестьдесят тысяч военнопленных: англичан, австралийцев, новозеландцев и американцев, а сверх того "бесчисленное" множество каторжников-азиатов. В октябре 1943 года дорогу построили; при этом, не вынеся голода, скверного климата и природной жестокости японцев, погибли шестнадцать тысяч военнопленных. А вскоре авиация союзников

разбомбила мост через реку Квай — основной элемент инфраструктуры; использовать железную дорогу стало невозможно. В общем, горы трупов, и все напрасно. С тех пор положение не изменилось: наладить железнодорожное сообщение между Сингапуром и Дели не удалось и по сей день.

При осмотре музея, открытого в память о невыносимых страданиях военнопленных, я испытывал смешанные чувства. Разумеется, думал я, история весьма прискорбная, но, с другой стороны, во время Второй мировой войны случались вещи и пострашней. Мне невольно приходило на ум, что, окажись эти пленные поляками или русскими, никто б не стал поднимать такую шумиху.

Потом пришлось выдержать еще и посещение кладбища военнопленных, положивших жизнь и все такое прочее. Белые кресты, все одинаковые, стояли рядами и навевали глубокую тоску. Я вспомнил мемориал "Омаха Бич"[1], который тоже не произвел на меня должного впечатления: по правде говоря, он показался мне похожим на инсталляцию современного художника. "Здесь, — подумал я тогда, сознавая, что грусть моя недостаточно глубока, — целая куча дураков полегла за демократию". Кладбище на реке Квай намного меньше, теоретически можно было даже посчитать могилы, я начал, но вскоре бросил. "Тут не может быть шестнадцати тысяч", — заключил я вслух. "Совершенно верно, — откликнулся Рене, не отрывавшийся от "Мишлена". — Погибло около шестнадцати тысяч человек, однако могил всего пятьсот восемьдесят две; здесь покоятся, как их принято называть, — он читал, водя пальцем по строчкам, — пятьсот восемьдесят два мученика за демократию".

В десятилетнем возрасте, сдав норму на третью "звездочку" по лыжам, я отпраздновал это событие в кондитерской блинами с "Гран Марнье". Гулял в одиночку — поделиться радостью мне было не с кем. Я тогда, как обычно, гостил у отца в Шамони. Он работал проводником, асом был в альпинизме. И дружбу водил с людьми себе под стать: отважными, мужественными; среди них я чувствовал себя не очень уверенно. Я вообще никогда не чувствовал себя уверенно в мужском обществе. Мне исполнилось одиннадцать лет, когда девочка впервые показала мне свою киску: удивительный маленький орган с прорезью полюбился мне сразу. Он был почти без волос; девочку, мою ровесницу, звали Мартина. Она долго держала ноги растопыренными, старательно оттягивая трусики, чтобы я мог все как следует разглядеть, но когда я протянул руку, испугалась и убежала. Казалось, это случилось совсем недавно; на мой взгляд, я не очень изменился с тех пор. Мое пристрастие к женским пампушкам нисколько не ослабло, пожалуй, оно было последней сохранившейся во мне подлинно человеческой чертой; насчет всего остального — сомневаюсь.

Когда мы возвратились в автобус, Сон рассказала нам о дальнейших планах. Мы направлялись теперь к месту нашего ночлега, ночлега совершенно особенного, подчеркнула она. Никакого телевизора, никакого видео. Никакого электричества — свечи. Вместо ванной — река. Вместо матрасов — циновки. Возвращение к природе. Вечно это возвращение к естественному состоянию сводится ко всякого рода лишениям, отметил я про себя; зато наши экологи — пока ехали на поезде, я волей-неволей

1. Омаха Бич — закодированное в целях конспирации название побережья Нормандии, где в 1944 году происходила высадка американских войск.

выучил, что их зовут Эрик и Сильви, — сгорали от нетерпения. "Французская кухня вечером, — заключила Сон без видимой связи. — Сейчас кушать тайский. Маленький ресторан. Берег реки".

Дивный уголок. Столы стояли в тени деревьев. В залитом солнцем бассейне у входа плавали лягушки и черепахи. Я долго смотрел на них, снова и снова удивляясь тому, как бурно все размножается в здешнем климате. На глубине сновали какие-то белесые рыбешки. Над ними среди водяных лилий скользили дафнии. На лилии то и дело садились насекомые. Черепахи наблюдали за всем со свойственным их роду невозмутимым спокойствием.

Меня окликнула Сон, сказала, что обед уже начался. Я отправился в зал у реки. Нам накрыли два стола, на шесть человек каждый; все места оказались заняты. Я озирался, охваченный легкой паникой; на выручку мне пришел Рене. "Какие проблемы? Идите к нам! — пригласил он широким жестом. — Добавим прибор с краю". Так я очутился в компании, состоящей из супружеских пар: экологи, натуропаты — заодно открылось, что их зовут Альбер и Сюзанна, — и почтенные колбасники. Разделение на группы объяснялось, как я очень скоро убедился, не реальной близостью между людьми, а всего лишь необходимостью быстро выбрать место за столом; как нередко случается в экстренных ситуациях, пары инстинктивно соединились; в сущности, этот обед представлял собой только первый раунд, во время которого участникам надлежало присмотреться друг к другу.

Сначала разговор зашел о *массажах* – натуропатов они интересовали чрезвычайно. Накануне вечером Альбер и Сюзанна предпочли традиционным тайским танцам великолепный массаж спины. Рене игриво улыбнулся, но Альбер осадил его взглядом, сразу дав понять, что смешки тут совершенно неуместны. Традиционный тайский массаж, произнес он с пафосом, не имеет ничего общего со всякими гнусностями; это плод цивилизации, которая насчитывает сотни, даже тысячи лет, к тому же он полностью согласуется с китайским учением об иглотерапии. Они сами практиковали его у себя в Монбельяре, но, разумеется, не могли сравниться с тайскими массажистами в сноровке; прошедшим вечером, заключил он, они получили прекрасный урок. Эрик и Сильви слушали их как завороженные. Рене смущенно кашлянул; в самом деле, эротика никак не вязалась с четой из Монбельяра. И кто это выдумал, что Франция страна фривольности? Франция страна скуки и угрюмого бюрократизма.

"Мне тоже вчера девушка делала массаж, — робко вставил я, — начала со спины, а закончила яйцами". Поскольку рот у меня в эту минуту был забит орехами кешью, никто, казалось, не разобрал моих слов, кроме Сильви, посмотревшей на меня с ужасом. Я отпил глоток пива и без смущения выдержал ее взгляд: сама-то она хоть способна обиходить мужское хозяйство? Это еще требовалось доказать. А пока что я мог спокойно дожидаться своего кофе.

"Здешние малышки и вправду очень милы", — отозвалась Жозетт, усугубив общее замешательство, и взяла ломтик папайи. Кофе задерживался. Чем заняться под конец обеда, если нельзя курить? Я наблюдал, как в душе у всех постепенно зрела досада. Мы с трудом сумели кое-как закруглить разговор общими соображениями о климате.

Мне вспомнилось, как однажды отца сразила депрессия, особенно страшная для такого активного человека; он неподвижно лежал на кровати, а друзья альпинисты толпились вокруг, смущенные и беспомощ-

ные. По его собственному признанию, он так упорно занимался спортом, чтобы забыться и ни о чем не думать. И ему это удалось: я уверен, ему удалось прожить жизнь, ни разу всерьез не задумавшись о смысле человеческого существования.

7

В автобусе Сон продолжила объяснения. Мы въезжали в приграничный район, заселенный беженцами из Бирмы — каренами; они не причиняли никому вреда. Карены хороший, рассуждала Сон, работящий, дети успешно учатся в школе, никаких проблем. Не то что некоторые северные племена, которых мы не увидим во время нашего путешествия и, по ее словам, ничего не потеряем. Особенно это касалось народности акха — похоже, она имела на них зуб. Несмотря на все усилия правительства, акха не желали отказываться от своей традиционной деятельности — разведения мака. Они исповедовали своеобразный анимизм и пожирали собак. Акха плохой, настаивала Сон: умеют только фрукты собирать и мак выращивать, больше ничего; дети в школах не занимаются. Денег на них потрачено много, а толку чуть. Ни на что не годятся, подытожила она, продемонстрировав несомненную склонность к обобщениям.

Когда мы добрались до гостиницы, я стал с любопытством разглядывать пресловутых каренов, суетившихся у реки. С близкого расстояния, без автоматов, они совсем не выглядели воинственными, а в слонах своих просто души не чаяли. Судя по всему, им доставляло огромное удовольствие барахтаться в воде и чистить слоновьи спины. Правда, это были не *мятежные карены*, а обыкновенные, как раз и бежавшие оттуда, где шли бои, потому что им надоела вся эта возня, борьба за независимость в том числе.

У себя в комнате я нашел брошюру, где рассказывалась история гостиницы и ее замечательного основателя — Бертрана Ле Моаля, славного предшественника нынешних "бродяг", влюбившегося в это место и обосновавшегося здесь в конце 60-х. Упорным трудом с помощью своих друзей каренов он год за годом создавал здесь "экологический рай", куда съезжаются теперь туристы со всего света.

Место и в самом деле великолепное. Домики из тикового дерева, украшенные тонкой резьбой и соединенные утопающими в цветах переходами, нависали над рекой — вы ощущали ногами ее пульс. Река протекала в глубоком ущелье, поросшем непроходимыми джунглями. В ту самую минуту, когда я вышел на террасу, неожиданно воцарилась полнейшая тишина. Несколько секунд я не мог понять, в чем дело: оказывается, все птицы разом перестали петь. Джунгли готовились к ночи. Интересно, много ли хищников в этом лесу? Вряд ли; каких-нибудь два-три леопарда, зато змей и пауков, наверное, не счесть. День быстро угасал. Обезьяна, прыгавшая с дерева на дерево на том берегу, громко вскрикнула. Чувствовалось, что ей не по себе и не терпится скорей добраться до своих.

Я возвратился в комнату, зажег свечи. Обстановка самая непритязательная: тиковый стол, две грубые деревянные койки, спальные мешки, циновки. В течение четверти часа я методично натирался средством "Пять из пяти". Река — это, конечно, приятно, но, сами понимаете, москитов тучи. Нашлась еще плиточка мелиссы, которую можно было растопить — тоже не лишняя предосторожность.

Когда я вышел к ужину, уже совсем стемнело; от домика к домику протянулись гирлянды разноцветных лампочек. Значит, электричество тут все-таки есть, отметил я про себя, просто в комнаты его не провели. Я на минуту остановился, облокотился о перила и засмотрелся на реку; взошедшая луна легла на воду серебристой дорожкой. На другом берегу я различал темный массив джунглей; оттуда время от времени доносился глухой крик неведомой ночной птицы.

Людской коллектив, если он насчитывает хотя бы три человека, имеет тенденцию делиться, судя по всему спонтанно, на два враждующих лагеря. Ужин подавали на понтонном помосте посреди реки; нам накрыли два стола. Экологи с натуропатами уже сидели за одним, а бывшие колбасники — в одиночестве за другим. Что послужило поводом для раскола? Может, обеденный разговор о массажах; он, если разобраться, прошел не вполне гладко. Впрочем, уже утром Сюзанна, одетая строго — в блузку и белые льняные брюки, подчеркивавшие сухость ее форм, — прыснула со смеху, увидев на Жозетт платье в цветочек. Словом, размежевание началось. Я трусовато замедлил шаг, пропуская вперед Лионеля, моего соседа по самолету, а теперь и по бунгало. Он сориентировался очень быстро и едва ли осознанно; мне показалось, он руководствовался не личными симпатиями, а своего рода *классовой солидарностью,* или, вернее, общностью образовательного уровня — он работал в "Газ де Франс", то есть принадлежал к категории служащих, а те двое были в прошлом мелкими лавочниками. Рене испытал явное облегчение от того, что мы присоединились к ним. Впрочем, наше решение на данной стадии формирования коллектива ничего определенного не означало: выбери мы другой стол, мы бы подчеркнули изоляцию почтенных колбасников, тогда как тут мы просто восстановили равновесие.

Вслед за нами пришли Бабетт и Леа и без малейших колебаний устроились за соседним столом.

Спустя некоторое время — за которое успели подать закуски — на краю площадки появилась Валери и в нерешительности окинула взглядом собравшихся. За соседним столом оставалось два места рядом с Бабетт и Леа. Валери помедлила немного, а потом резко направилась к нашему столу и села слева от меня.

Жозиана одевалась в этот вечер еще дольше обычного; при свечах ей, наверное, пришлось помучиться с косметикой. Черное бархатное, в меру декольтированное платье выглядело недурно. После минутного замешательства она выбрала место напротив Валери.

Последним нетвердой походкой явился Робер; он, должно быть, как следует принял перед ужином — я видел его с бутылкой "Меконга" в руках. Подойдя к столу, он тяжело плюхнулся на скамейку слева от Валери. Из леса донесся короткий, но душераздирающий крик: не иначе какой-то зверек распрощался с жизнью.

Сон прошлась между столами, проверяя, все ли в порядке и удобно ли мы устроены. Сама она и шофер ужинали отдельно от нас — такое не слишком демократичное разделение уже за обедом вызвало неодобрение Жозианы. На самом деле, я думаю, Сон оно вполне устраивало, даже если она ничего не имела против нас: как она ни старалась, долгие беседы на французском давались ей с трудом.

За соседним столом журчала веселая болтовня о том, как здесь красиво, как приятно оказаться на природе, вдали от цивилизации, о вечных ценностях и т. п. "Ага, здесь классно, — поддакнула Леа. — Вы видели? Это настоящие джунгли... Поверить не могу".

У нас обнаружились проблемы с выбором общей темы для разговора. Сидевший напротив меня Лионель невозмутимо жевал и никаких попыток наладить беседу не предпринимал. Сам я нервно озирался по сторонам. Краем глаза я увидел, как из кухни вышел толстый бородач и резко отчитал официантов: не иначе Бертран Ле Моаль собственной персоной. Пока что самой очевидной его заслугой в моих глазах было то, что он обучил каренов готовить жаркое "дофине". Блюдо удалось на славу: свинина получилась идеально прожаренной, одновременно хрустящей и нежной.

— Сюда б немножко красненького, — меланхолично заметил Рене.

Жозиана презрительно поджала губы: что она думает о французах, которые в путешествии не могут обойтись без своего "красненького", стало ясно без слов.

Валери довольно неловко заступилась за Рене.

— Тайскую пищу совсем не хочется запивать вином, — сказала она, — французская — другое дело.

Сама она, впрочем, пила только воду.

— Когда едешь за границу, — провозгласила Жозиана, — надо пробовать местные блюда и следовать местным обычаям! Иначе лучше сидеть дома.

— Правильно! — гаркнул Робер, сбив весь ее пафос. Она осеклась и посмотрела на него с ненавистью.

— Здешняя кухня все-таки чуть-чуть островата, — робко вставила Жозетт. — А вас, похоже, это не смущает... — добавила она, обращаясь ко мне и стараясь разрядить атмосферу.

— О нет, обожаю все острое. По мне, чем острей, тем лучше. Я и в Париже постоянно ем у китайцев, — поспешно ответил я.

Разговор, таким образом, перешел на китайские рестораны, которых в Париже развелось в последнее время очень много. Валери полагала, что лучшего обеда не придумаешь: и совсем недорого, и куда вкуснее, чем во всяких забегаловках быстрого обслуживания, и, вероятно, полезнее. Жозиана не нашла, что возразить: сама она обедала в столовой на работе; а Робер, надо думать, счел эту тему недостойной своего участия. Короче, все шло спокойно до самого десерта.

Скандал разразился за сладким рисом. Подрумяненный, с корицей, он был изготовлен, полагаю, по оригинальному рецепту. Жозиана взяла быка за рога и заговорила о сексуальном туризме. Других слов, кроме "откровенная мерзость", она подобрать не могла. И как только правительство Таиланда допускает подобные вещи, куда смотрит мировое сообщество? Робер слушал ее с кривой усмешкой, не предвещавшей ничего хорошего. Чему же тут удивляться, продолжала она, когда значительная часть этих заведений (иначе как борделями их не назовешь) принадлежит генералам: разврат пользуется могучим покровительством.

— Я сам генерал, — перебил ее Робер. Жозиана застыла с раскрытым ртом, челюсть ее беспомощно отвисла. — Шутка, — хихикнул Робер. — Я даже в армии не служил.

Шутка, похоже, ее нисколько не развеселила. Она собралась с духом и ринулась в атаку с удвоенной силой:

— Постыдно, когда жирные боровы приезжают безнаказанно пользоваться людской нищетой. Несчастные девочки все из беднейших областей, с севера и северо-востока.

— Не все, — возразил Робер, — есть и из Бангкока.

— Это сексуальное рабство! — вопила Жозиана, не слыша его. — Иначе не скажешь!

Я легонько зевнул. Она бросила на меня мрачный взгляд, но продолжила, призывая всех в свидетели:

— Вы не находите недопустимой ситуацию, когда любой приезжий может получить молоденькую девушку за кусок хлеба?

— Ну не за кусок хлеба, — скромно вставил я. — Я заплатил три тысячи бат, примерно такая же цена во Франции.

Валери повернула голову и посмотрела на меня с удивлением.

— Многовато, — заметил Робер. — Впрочем, если девица того стоила...

Жозиану трясло, я уже начинал за нее беспокоиться.

— А я вам скажу, — визжала она пронзительно, — что меня тошнит, когда толстый боров за деньги заставляет девчонку ублажать его поганый член!

— А я вас не прошу меня сопровождать, мадам, — спокойно ответил он.

Она встала, держа тарелку с рисом дрожащими руками. Разговор за соседним столом оборвался. Я думал, она швырнет пудинг ему в лицо; полагаю, ее удержал страх. Робер смотрел на нее серьезно, мускулы под тенниской напряглись. С ним такие штучки не пройдут, я без труда мог представить себе, как он влепляет ей пощечину. Она резко опустила тарелку на стол, отчего та раскололась на три части; потом развернулась, быстро зашагала прочь в сторону бунгало, исчезла в ночи.

— Тссс... — прошептал Робер.

Затем он поднялся не без изящества, обогнул стол и занял место Жозианы так, чтобы Валери, которая все это время сидела зажатая между ним и мной, могла, если хочет, тоже покинуть стол. Но она не покинула; в это время официант подал кофе. Отпив два глотка, Валери снова повернулась ко мне.

— Вы и вправду ходили к девочкам? — спросила она тихо. В вопросе звучало любопытство, явного осуждения я не уловил.

— Не такие уж они бедные, эти девочки, — снова заговорил Робер, — покупают себе мотороллеры и тряпки. Некоторые даже грудь увеличивают. Грудь, между прочим, больших денег стоит. Они, правда, еще родителям помогают, — добавил он, подумав.

Наши спутники за вторым столом шепотом перебросились несколькими фразами и разошлись — надо полагать, из солидарности. Мы, получается, остались хозяевами положения. Луна светила прямо на нас, помост слегка поблескивал.

— Эти маленькие массажистки и в самом деле так хороши? — спросил Рене мечтательно.

— Ах, месье! — воскликнул Робер с театральной напыщенностью, но в общем-то, как мне показалось, искренне. — Они — чудо! Настоящее чудо! Вы еще не знаете Паттайю. Это курорт такой на восточном побере-

жье, — продолжал он с воодушевлением, — целиком отданный сладострастию и разврату. Первыми начали американцы во время вьетнамской войны; потом приезжало много англичан и немцев, а теперь можно встретить даже поляков и русских. Там обслуживание на любой вкус: гомосексуалисты, гетеросексуалы, трансвеститы... Содом и Гоморра вместе взятые. Даже лучше, потому что есть еще и лесбиянки.

— Хм... — бывший колбасник размышлял. Его супруга зевнула, извинилась и обернулась к мужу, ей хотелось поскорей пойти спать.

— В Таиланде, — подытожил Робер, — каждый может найти для себя чего хочет; и всё — хорошего качества. Вам будут говорить про бразильянок или кубинок. Я много путешествовал, господа, путешествовал для собственного удовольствия и скажу не колеблясь: на мой взгляд, тайки — лучшие любовницы в мире.

Сидевшая напротив него Валери слушала внимательно и серьезно. Вскоре она улыбнулась и ушла, а за ней — Жозетт и Рене. Потом поднялся Лионель, за весь вечер не произнесший ни слова, и я последовал за ним. Мне не очень хотелось продолжать разговор с Робером. Он остался сидеть в ночи один эдакой аллегорией трезвого мышления, потягивая очередную порцию коньяка. Казалось, им владела глубокая многозначительная мысль, если только он не предавался размышлениям о бренности всего сущего, что неизменно производит впечатление глубины и многозначительности. У входа в бунгало я пожелал Лионелю спокойной ночи. Воздух гудел от насекомых, я был уверен, что не сомкну глаз.

Я открыл дверь и зажег свечу, смирившись с тем, что придется коротать ночь за чтением "Фирмы". Москиты устремились ко мне, некоторые сжигали крылья в пламени свечи, и трупы их тонули в расплавленном воске; но ни один не садился на меня. А ведь я был по самую кожу наполнен вкусной и питательной кровью; однако они разворачивались, не долетев, поскольку натыкались на барьер из запаха диметилпероксида карбида, с чем и поздравляю лабораторию "Рош-Никола", создавшую "Пять из пяти: тропик". Я задул свечу, зажег снова, наблюдая за балетом гнусных крохотных летательных аппаратиков, роившихся вокруг меня. За перегородкой тихо похрапывал Лионель. Я поднялся, положил новую пластинку мелиссы и пошел помочиться. В полу ванной комнаты зияла круглая дыра, под ней текла река. Слышалось журчание воды, плескались рыбы, а уж что там на глубине — лучше и не думать. Когда я ложился, Лионель принялся с шумом выпускать кишечные газы. Я от души за него порадовался: "Молодец парень! Как говаривал Мартин Лютер, пукать в собственный спальный мешок — ни с чем не сравнимое удовольствие!" Мой голос в ночи, смешивающийся с журчанием реки и гулом москитов, звучал странно. Звуки реального мира сами по себе причиняют боль. "Имеющий уши да слышит!" — вопил я в темноте. Лионель перевернулся, глухо заворчал не просыпаясь. Мне ничего не оставалось, как принять еще дозу снотворного.

8

Река несла вниз по течению пучки травы. В джунглях, подернутых утренней дымкой, пробуждались птицы. Прямо на юге, у выхода из долины, вырисовывались вдалеке причудливые контуры бирманских гор. Такие горы, синеватые, округлые и одновременно изрезанные уступами, я уже

видел прежде — возможно, в пейзажах итальянских примитивов, когда лицеистом ходил в музей. Никто из группы еще не вставал, и жара еще не началась. Спал я хуже некуда.

После вечернего кризиса за столами установилась атмосфера относительного благодушия. Жозетт и Рене проснулись в хорошей форме, экологи же, напротив, едва стояли на ногах и вид имели плачевный. Пролетарии старшего поколения ценят комфорт и не скрывают этого, но, сталкиваясь с его отсутствием, проявляют гораздо больше выносливости, нежели их дети, будь они хоть трижды экологами. Эрик и Сильви всю ночь не сомкнули глаз; Сильви вдобавок вся покрылась красными волдырями.

— Москиты меня полюбили, — горько усмехнулась она.

— У меня есть крем, снимающий зуд. Хотите? Замечательно помогает. Могу принести.

— Благодарю, вы очень любезны, но давайте сначала выпьем кофе.

Кофе подали отвратительный, жидкий, пить невозможно: как видно, в этом отношении здесь придерживались американских норм. Эрик с супругой сникли совершенно, мне прямо-таки больно было видеть, как их "экологический рай" трещит по всем швам; правда, я чувствовал, что сегодня мне все будет причинять боль. Я снова посмотрел на юг. "Кажется, Бирма очень красива", — тихо сказал я больше себе самому. Сильви отнеслась к моему высказыванию со всей серьезностью: в Бирме и в самом деле красиво, она тоже об этом слышала, однако не поедет туда *ни за что*: Нельзя поддерживать валютой жесточайшую диктатуру — так становишься ее сообщником. Да, подумал я, валюта. "Права человека — это важный вопрос!" — воскликнула она почти в отчаянии. Когда люди говорят о правах человека, у меня всегда создается впечатление, что они долдонят заученный урок, но тут, похоже, был иной случай.

— Лично я перестал ездить в Испанию *после* смерти Франко, — заявил Робер, усаживаясь за наш стол. А я и не видел, как он подошел. За ночь он набрался сил и желчности. Он признался, что лег мертвецки пьяным и оттого спал прекрасно. Пока добирался до своего бунгало, несколько раз чуть не сверзился в реку, однако обошлось. "Ин ша Алла"[1], — заключил он звонко.

После этой пародии на завтрак Сильви пошла со мной в бунгало. По дороге мы встретили Жозиану. Она шагала угрюмая, замкнутая, даже не удостоила нас взглядом; похоже, она не собиралась вставать на путь всепрощения. "На гражданке", как шутил Рене, она, оказывается, преподавала словесность; это меня нисколько не удивило. Ровно такие же стервозины отбили у меня в свое время охоту заниматься литературой.

Я дал Сильви тюбик крема.

— Я вам сейчас же верну, — сказала она.

— Оставьте у себя, скорее всего, мы больше не встретимся с москитами; сдается мне, они не жалуют побережье.

Она поблагодарила, дошла до двери, остановилась в нерешительности, потом обернулась:

— Но не можете же вы все-таки одобрять сексуальную эксплуатацию детей! — произнесла она с тревогой в голосе.

1. Волей Аллаха (*араб.*).

Я ожидал чего-нибудь в этом роде; в ответ я покачал головой и сказал устало:

– Детской проституции в Таиланде не так уж много. По-моему, не больше, чем в Европе.

Не зная, верить или нет, она кивнула и вышла.

Я располагал достаточно точной информацией, почерпнутой из любопытной книжонки "The White Book"[1], которую приобрел еще в прошлое путешествие. Она опубликована без указания автора и издателя некой ассоциацией, называемой "Инквизиция–2000". Под видом разоблачения сексуального туризма там приводились все возможные адреса по всем странам, при этом информационной части в каждой главе предшествовало пламенное вступление, призывающее к уважению божественного начала в человеке и восстановлению смертной казни для сексуальных извращенцев. Насчет педофилии "Белая книга" не оставляла никаких сомнений: она категорически не рекомендовала Таиланд, который если когда-либо и представлял интерес в этом отношении, то теперь его полностью утратил. Желающим предлагалось отправиться на Филиппины, а еще лучше в Камбоджу – путешествие рискованное, но того стоит.

Расцвет кхмерского царства приходится на XII век – эпоху строительства Ангкор-Вата. Затем оно начинает понемногу загибаться; основными врагами Таиланда становятся бирманцы. В 1351 году король Раматибоди I основывает город Аюттхая. В 1402 году его сын Раматибоди II завоевывает пришедшую в упадок ангкорскую империю. Тридцать шесть правителей Аюттхаи один за другим ознаменовывают свое царствование возведением буддийских храмов и дворцов. По описаниям французских и португальских путешественников, в XVI–XVII веках это был самый великолепный город Азии. Войны с бирманцами между тем продолжались; в 1767 году после пятнадцатимесячной осады Аюттхая пала. Бирманцы разграбили город, переплавили золотые статуи и оставили после себя одни руины.

Теперь тут царил покой, и легкий ветерок гнал пыль между храмами. От короля Раматибоди мало что осталось, разве только несколько строчек в "Мишлене". А вот Будда по-прежнему присутствовал и смысла своего не утратил. Бирманцы вывезли тайских мастеров и заставили их строить такие же храмы в сотне километров отсюда. Стремление господствовать существует реально и проявляется в виде истории; само по себе оно непроизводительно. Улыбка Будды витала над руинами. Было три часа дня. Если верить "Мишлену", полному осмотру храмов следовало уделить три дня, беглому – один. Мы располагали тремя часами; настало время доставать видеокамеры. Я представил себе Шатобриана в Колизее с портативной камерой "Panasonic" в руках: стоит и курит, причем, наверное, "Бенсон", а не легкие "Голуаз". Столкнись он с такой радикальной религией, как эта, его взгляды, полагаю, претерпели бы некоторые изменения; может, он меньше бы восхищался Наполеоном. Ему бы наверняка удался "Гений буддизма".

Жозетт и Рене немного скучали во время экскурсии и, по-моему, топтались все время на одном месте. Бабетт и Леа тоже. Зато экологи и натуропаты, что называется, нашли себя; им представился случай проде-

1. "Белая книга" (*англ.*).

монстрировать весь свой впечатляющий арсенал оборудования для фотографии. Валери задумчиво бродила по аллеям, где между каменными плитами росла трава. Вот она, культура, думал я; от нее тоскливо и хорошо; каждого она отсылает в его собственное небытие. Интересно, как им это удавалось? Как удавалось скульпторам времен Аюттхаи придавать статуям Будды выражение такого лучезарного всепонимания?

После падения Аюттхаи тайское королевство зажило спокойно. Столицей сделался Бангкок, к власти пришла династия Рам. В течение двух столетий (и, собственно говоря, до наших дней) государство не вело серьезных войн, не страдало от гражданских смут и религиозных противостояний; ему удалось избежать колонизации. Оно не знало ни голода, ни крупных эпидемий. В условиях, когда земля плодородна и урожаи обильны, когда не свирепствуют болезни, а в сознании господствуют законы мирной религии, люди размножаются вволю и живут в большинстве своем счастливо. Теперь все изменилось, Таиланд вступил *в свободный мир*, т. е. в рыночную экономику; пять лет назад случился острейший кризис, в результате которого деньги обесценились вдвое и даже самые процветающие предприятия оказались на грани банкротства. Это было первое драматическое событие в истории страны за два с лишним века.

Один за другим в гробовом молчании мы вернулись к автобусу. Тронулись в путь на закате. Из Бангкока нам предстояло ночным поездом выехать в Суратхани.

9

Суратхани — 816 000 жителей — представлен во всех путеводителях как место, напрочь лишенное достопримечательностей. Через него пролегают все маршруты, поскольку здесь пересаживаются на паром к острову Самуй, — вот и все, что можно сказать. Между тем здесь живут люди, и город, как отмечает "Мишлен", издавна считается важным центром металлургической промышленности, а с недавних пор тут развивается еще и машиностроение.

Что бы мы делали без машиностроения? Где-то далеко-далеко добывают железную руду, доставляют ее сюда на грузовых судах. Производство станков по большей части контролируется японскими фирмами. Сборка осуществляется в таких городах, как Суратхани, по лицензиям NEC, "Дженерал Моторс", "Фухимори"; в результате получаются автобусы, железнодорожные вагоны, паромы. Они используются в том числе и для перевозки западных туристов и туристочек, вроде Бабетт и Леа.

Я вполне мог с ними заговорить — мы путешествовали в одной группе; но на роль потенциального любовника я не претендовал, и это резко сужало круг тем для беседы; с другой стороны, коль скоро мы купили одинаковые путевки, контакт в принципе не исключался. Бабетт и Леа, как выяснилось, работали в агентстве по связям с общественностью: организовывали мероприятия. Мероприятия? Ну да. С группами актеров в учреждениях, которые желают заниматься меценатством. То-то небось денежки гребут, подумал я. И да и нет. Сейчас инвестиции сократились: все нацелены на "права человека". Но в общем ничего. Я поинтересовался их зарплатой. Хорошая. Могла бы быть и лучше, но все же хорошая. Примерно двадцать окладов рабочего на металлургическом заводе в Суратхани. Экономика — загадочная штука.

По прибытии в отель наша группа, полагаю, рассеялась; сам я не стал завтракать со всеми; коллектив мне порядком надоел. Я задвинул шторы и лег. Как ни странно, я сразу заснул, и приснилась мне молодая арабка, танцевавшая в вагоне метро. На Айшу она не была похожа, так, во всяком случае, мне казалось. Она держалась за стойку, как стриптизерша, и постепенно оголяла грудь, прикрытую узкой полоской материи. Наконец, улыбнувшись, она обнажила ее полностью: потрясающая грудь, смуглая, крепкая, налитая. Облизнув пальчики, она погладила себе соски. Затем протянула руку к моим брюкам, расстегнула ширинку, извлекла наружу мое хозяйство и давай теребить. Вокруг стояли люди, на станциях одни входили, другие выходили. Она опустилась на четвереньки и задрала мини-юбку — трусов под ней не оказалось. Ее густые черные джунгли манили меня, и я внедрился. Народу в вагоне было много, но никто не обращал на нас внимания. Ничего подобного, конечно, не могло случиться в действительности. Это был сон, смешной сон изголодавшегося немолодого мужчины.

Проснувшись часов в пять, я увидел на простыне пятна спермы. *Поллюция*... н-да, трогательно. Кроме того, к своему живейшему удивлению, я обнаружил, что мое копье по-прежнему торчит; должно быть, дело в климате. На тумбочке брюхом вверх лежал таракан. Отбегался, как сказал бы отец. Сам он умер в конце 2000-го и правильно сделал. Его жизнь, таким образом, целиком вписалась в XX век, частицей которого он и был; частицей знаменательной — вот в чем ужас. Я же этот рубеж пережил и оказался ни то ни се. Мне шел пятый десяток, вернее, самое его начало; мне, собственно, было сорок; это примерно середина пути. В определенном смысле смерть отца развязала мне руки; своего последнего слова я еще не сказал.

Наша гостиница стояла на восточном побережье острова Самуй и замечательно соответствовала идеалу тропического рая, каким его представляют турагентства в рекламных проспектах. Со всех сторон нас окружали холмы, поросшие лесом. Утопающие в зелени коттеджи амфитеатром спускались к огромному овальному бассейну, на концах которого располагались джакузи. Вплавь можно было добраться до бара на островке в центре бассейна. Еще несколькими метрами ниже начинался белый песчаный пляж, а дальше — море. Я настороженно огляделся; издали узнал Лионеля, барахтавшегося в волнах, словно раненый дельфин; затем развернулся и по мостику, перекинутому через бассейн, прошествовал в бар. С наигранной непринужденностью я изучил список предлагаемых коктейлей: как раз наступило время продажи со скидками.

Я выбрал "Сингапурский слинг", и в эту минуту появилась Бабетт. "Н-да..." — сказал я. На ней был раздельный купальник, состоящий из облегающих шорт и широкой полоски бюстгальтера — все в сине-голубых тонах. Ткань исключительно тонкая; такой купальник особенно выигрышно смотрится мокрым. "Вы не купаетесь?" — спросила она. "М-м..." — ответил я. Следом явилась Леа, сексапильная в более классической манере: целый ярко-красный виниловый купальник с высокими вырезами внизу и рассеченный черными застежками-молниями, открытыми, само собой (одна молния пересекала левую грудь, и из нее торчал сосок). Она кивнула мне и пошла к Бабетт, стоявшей у воды; когда она повернулась ко мне спиной, я в полной мере оценил ее великолепный зад. Куколки пона-

чалу относились ко мне с опаской, но, после того как я заговорил с ними на пароме, пришли к выводу, что я существо безобидное и даже в своем роде занятное. Так оно примерно и было.

Они синхронно прыгнули в воду. Я чуть повернул голову и продолжал за ними наблюдать. За соседним столиком сидел двойник Робера Ю[1]. Намокнув, купальник Бабетт и в самом деле выглядел эффектно: отчетливо выделялись соски и ложбинка между ягодицами; виднелся даже холмик волос на лобке, хотя она и стригла их довольно коротко. Между прочим, в это время люди работали, производили полезные вещи, иногда и бесполезные тоже. В общем, производили. А что я произвел за сорок лет своего существования? Прямо скажем, немного. Я готовил информацию, обеспечивал доступ к ней и ее распространение; иногда еще занимался денежными трансфертами (в небольших масштабах: обычно я оплачивал незначительные счета). Словом, работал в *непроизводственной сфере*. Без таких, как я, можно запросто обойтись. И все же моя бесполезность не так бросалась в глаза, как никчемность Бабетт и Леа; я незаметный рядовой паразит, на работе не надрывался и не пытался делать вид, что надрываюсь.

С наступлением темноты я вернулся в гостиницу и встретил в холле Лионеля, обгорелого, но счастливого. Он весь день купался; такая красота ему и во сне не снилась. "Мне пришлось экономить, чтобы скопить на поездку, но я не жалею", — разоткровенничался он, присев на край кресла. Он работал в "Газ де Франс", в одном из юго-восточных пригородов Парижа; жил в Жювизи. Ему нередко случалось наведываться в бедные дома, где газовое оборудование не соответствовало норме. Если хозяева, несчастные старики, не могли оплатить переустановку, он вынужден был отключать им газ. "Люди в таких условиях живут... и представить себе невозможно. Иногда всяких чудес насмотришься", — продолжал он, покачивая головой. На свое житье он не жаловался. Район, правда, не очень; просто даже опасный район. В некоторые места лучше не соваться. Но в целом все ничего. "Ладно, сейчас мы в отпуске", — заключил он и направился в столовую. Я же прихватил несколько рекламных брошюр и пошел читать их к себе в номер. Мне по-прежнему не хотелось ужинать со всеми. Человек в состоянии оценить себя лишь по отношению к другому; оттого и общение с другими невыносимо.

Леа рассказала мне, что остров Самуй не просто тропический рай, но еще и пристанище наркоманов. В полнолуние они закатывают грандиозные *рэйвы* на соседнем островке Ланта; туда приезжают даже из Австралии и Германии. "Как в Гоа", — вставил я. "Да что там Гоа, — отрезала она. — Гоа — это отстой; за рэйвом теперь надо ехать на Самуй или на Ломбок".

Мне, собственно, ничего такого не требовалось. Я хотел всего-навсего получить полноценный *массаж* с качественным сексом. Казалось бы, чего проще; между тем, листая рекламные проспекты, я с нарастающей тоской убеждался, что на Самуе, похоже, иная специализация. Здесь предлагали всяческие иглоукалывания, натирания ароматическими маслами, вегетарианскую кухню и китайскую гимнастику; а вот про эротический массаж или бары "go-go" — нигде ни слова. Кроме того, тут во всем ощущался удручающий американский, хуже — калифорнийский

1. Робер Ю — лидер французских коммунистов.

дух, нацеленный на "здоровую жизнь" и "медитативную деятельность". В брошюре "Что есть на Самуе" мне попалось письмо читателя — некоего Гая Хопкинса, называвшего себя "приверженцем здоровой жизни" и регулярно приезжавшего на остров вот уже двадцать лет. "The aura that backpackers spread on the island is unlikely to be erased quickly by upmarket tourists"[1], — заключал он; стало быть, дело дрянь. И на поиск развлечений не отправишься — гостиница стояла в стороне от всего; тут, собственно, все стояло от всего в стороне, поскольку нигде ничего не было. На карте острова не просматривалось явного центра, лишь горсточки бунгало, вроде нашей, вдоль тихих пляжей. Я с ужасом вспомнил, что Самуем восхищался "Рутар". Здесь, дескать, сумели избежать известных отклонений; ну и влип же я. Утешило меня — увы, теоретически — лишь сознание, что в тот вечер я и в самом деле способен был кого-нибудь трахнуть. Мне ничего не оставалось, как взяться за "Фирму"; я перескочил на двести страниц вперед, потом вернулся на пятьдесят назад и случайно наткнулся на сцену с раздеванием. Интрига уже порядочно продвинулась: Том Круз переместился на Антильские острова, где разрабатывал (а может, наоборот, разоблачал — неясно по тексту) какую-то систему уклонения от налогов. Короче, он познакомился там с обворожительной метиской — девушкой неробкого десятка. "Мич услышал шуршание материи и увидел, как юбка упала к ногам Эйлен, оставив ее в бикини на завязочках". Я расстегнул молнию ширинки. Далее следовал странный, психологически труднообъяснимый пассаж: "Уходи, — шептал ему внутренний голос. — Брось бутылку пива в океан, а юбку на песок. Ноги в руки и дуй домой. Быстро!" Но Эйлен, по счастью, никто ничего такого не нашептывал: "Плавным движением она завела руку за спину, развязала бюстгальтер, тот соскользнул, обнажив грудь, казавшуюся теперь еще пышней. — Не подержите? — спросила она, протягивая ему легкую, как перышко, нежную и белую деталь туалета". Я добросовестно полировал себя, воображая ночь и метисок в бикини, и в итоге со вздохом удовлетворения кончил в раскрытую книгу. Теперь склеится; ну да ладно, такое второй раз читать не станешь.

С утра пляж был пуст. Сразу после завтрака я искупался; воздух еще не накалился. Скоро солнце поползет по небу вверх, увеличивая риск заболевания раком кожи у индивидов белой расы. Я рассчитывал пробыть на пляже столько, сколько нужно горничным для уборки моей комнаты, а затем вернуться, лечь в постель и включить на полную мощь кондиционер; на *свободный день* я запланировал покой.

Том Круз между тем продолжал терзаться по поводу этой истории с метиской; более того, собрался рассказать все жене (роль просто любимой ее не устраивала — в этом, собственно, вся проблема: ей непременно хотелось быть самой сексуальной и самой желанной из всех женщин). Этот идиот вел себя так, словно и впрямь его браку что-то угрожало. "Если она сохранит хладнокровие, проявит великодушие, он скажет ей, что глубоко сожалеет, и пообещает, что больше этого не повторится. Если же она разразится рыданиями, тогда он станет молить о прощении — на коленях, если потребуется, — и поклянется на Библии, что это никогда не повторится". В сущности, что в лоб, что по лбу; одна-

1. Присутствие шикарной публики не скоро вытравит здоровый туристский дух, царящий на острове (*англ.*).

ко нескончаемые и никому не интересные угрызения совести героя мешали развитию действия — драматического как-никак: в дело вмешались ужасные мафиози, ФБР и, может, даже русские. Поначалу его нытье раздражало, а потом стало просто вызывать тошноту.

Я попробовал почитать второй американский бестселлер: "Тотальный контроль" Дэвида Г. Бальдуччи, но он оказался еще хуже. На этот раз речь шла не об адвокате, а о сверходаренном юном программисте, вкалывавшем по сто десять часов в неделю. Зато жена у него работала адвокатом — по девяносто часов в неделю; у них был ребенок. В роли злодея выступала некая "европейская" компания, пытавшаяся путем мошенничества захватить рынок, который по праву должен был принадлежать тому самому американскому предприятию, где работал герой. Во время переговоров европейские злодеи курили "без малейшего стеснения", буквально отравляя атмосферу, но герой выдержал и этот удар. Я вырыл в песке ямку и похоронил в ней обе книги; оставалось теперь найти, что читать. Жить без чтения опасно: человек вынужден окунаться в реальность, а это рискованно. Когда мне было четырнадцать лет, я заблудился однажды на лыжах в густом тумане; мне пришлось пробираться через лавинные коридоры. Больше всего мне запомнились низкие свинцовые облака и абсолютная тишина в горах. Я знал, что лавина может сорваться в любую минуту от одного моего неловкого движения и даже без видимых причин: от неощутимого повышения температуры или дуновения ветра. Снежная масса подхватит меня, швырнет с высоты нескольких сотен метров к подножью скалистой гряды, где я умру, возможно, мгновенно. И все же я совсем не испытывал страха. Обидно было бы, если бы так случилось, обидно за себя и за других. Я бы предпочел смерть более подготовленную и торжественную, чтоб была болезнь, церемонии, слезы. Откровенно говоря, я сильнее всего сожалел, что не познал женщины. В зимние месяцы отец сдавал второй этаж; в том году у него жила чета архитекторов. Их дочери Сильви было, как и мне, четырнадцать лет; похоже, я ее привлекал, во всяком случае она искала моего общества. Она была маленькая, грациозная, с черными кудрявыми волосами. Интересно, внизу у нее волосы тоже черные и кудрявые? Вот такие мысли лезли мне в голову, пока я брел по склону горы. С тех пор я часто размышлял об этой своей особенности: когда мне угрожает опасность, пусть даже смертельная, я не испытываю никакого волнения, никакого выброса адреналина. Мне неведомы те ощущения, которые привлекают любителей экстремального спорта. Я не отличаюсь храбростью и по возможности избегаю опасности, когда же она встречается, воспринимаю ее с невозмутимостью теленка. Не следует искать в этом какого-то глубинного смысла — тут вопрос физиологии, количества гормонов; говорят, иные человеческие особи, с виду такие же, как я, не чувствуют волнения при виде женского тела, от которого я впадал тогда, да и сейчас еще иногда впадаю в состояние экстаза и ничего не могу с собой поделать. Но в большинстве жизненных ситуаций я ощущал в себе пустоту вычищенного пылесоса.

Солнце начинало припекать. На пляже появились Бабетт и Леа, они устроились метрах в десяти от меня. Сегодня они были с голой грудью, а в остальном одеты просто — в одинаковых белых бикини. Они, судя по всему, познакомились с какими-то парнями, хотя не думаю, что собирались с ними спать: парни были рослые, мускулистые, и все же ничего особенного.

Я поднялся, собрал вещи; Бабетт оставила рядом с купальным полотенцем женский журнал "Elle". Обернувшись, я посмотрел на море: подружки плескались и шутили с юнцами. Я быстро нагнулся, сунул журнал к себе в сумку и перебрался на другое место.

Море было спокойное, взгляд уносился далеко на восток. По ту сторону его, наверное, Камбоджа или Вьетнам. Посередине между берегом и горизонтом маячила яхта; быть может, какие-нибудь миллиардеры коротают время, бороздя далекие моря — монотонно и романтично одновременно.

Теперь ко мне приближалась Валери, она ступала по самой кромке воды и время от времени шаловливо отпрыгивала в сторону, спасаясь от волны. Я живо приподнял голову и с болью обнаружил, что у нее восхитительное тело. В целомудренном раздельном купальнике оно выглядело на редкость привлекательным; грудь плотно заполняла бюстгальтер. Я легонько махнул ей рукой, полагая, что она меня не заметила, но в действительности она уже направлялась ко мне; женщин не так просто застать врасплох.

— Вы читаете "Elle"? — спросила она удивленно и немного насмешливо.

— М-м... — ответил я.

— Можно взглянуть? — и она села рядом со мной.

Непринужденно, привычными движениями она пролистала журнал: раскрыла страничку моды, посмотрела начало: "Вам хочется почитать". "Вам надоело сидеть дома"...

— Вчера вечером вы снова ходили в массажный салон? — спросила она, покосившись на меня.

— М-м... нет. Я его не нашел.

Она качнула головой и погрузилась в изучение основного материала: "Запрограммированы ли вы любить его долго?"

— Ну и каков результат? — спросил я, выждав некоторое время.

— У меня никого нет, — ответила она просто.

Эта девушка меня совершенно сбивала с панталыку.

— Я плохо понимаю этот журнал, — продолжала она. — Тут говорят только о моде, о "новых тенденциях": что пойти посмотреть, что прочитать, за что нужно бороться, новые темы для разговора... Читательницы не могут носить то, что надето на этих манекенах, так почему их должны интересовать новые тенденции? Обычно это женщины в возрасте.

— Вы думаете?

— Я знаю. Моя мать его читает.

— Возможно, журналисты пишут о том, что интересует их самих, а не читательниц.

— Это должно быть экономически нерентабельно; вещи делаются для того, чтобы удовлетворять запросы клиента.

— Так, может, это и удовлетворяет запросы клиента.

Она задумалась, потом сказала неуверенно:

— Может, и так...

— Думаете, в шестьдесят лет вы не будете интересоваться новыми тенденциями? — настаивал я.

— Надеюсь, нет, — отвечала она искренне.

Я закурил сигарету.

— Если и дальше оставаться на солнце, мне надо намазаться кремом, — сообщил я меланхолично.

— Сначала искупаемся! А потом намажетесь.

Она вскочила на ноги и потащила меня в воду.

Плавала она хорошо. Что касается меня, не могу сказать, что я плаваю: так, держусь чуть-чуть на воде, быстро устаю.

— Вы быстро устаете, — сказала она. — Это оттого, что много курите. Вам надо заниматься спортом. Я за вас возьмусь! — Она сжала мне бицепс. О нет, шептал я про себя, нет.

Наконец она угомонилась и легла загорать, предварительно хорошенько вытерев голову. Всклокоченные длинные волосы ее очень красили. Бюстгальтер она снимать не стала, а жаль; мне очень хотелось, чтоб она его сняла. Очень хотелось увидеть ее грудь, прямо тут, немедленно.

Она перехватила мой взгляд и чуть-чуть улыбнулась.

— Мишель... — сказала она немного погодя. Я вздрогнул оттого, что она назвала меня по имени. — Почему вы чувствуете себя таким старым? — спросила она, глядя мне прямо в глаза.

И попала в точку; я даже рот раскрыл.

— Можете не отвечать сразу... — милостиво добавила она. — У меня есть для вас книга, — и она достала ее из сумки.

К своему изумлению, я узнал желтую обложку серии "Маска" и прочел название: "Долина" Агаты Кристи. Я слегка обалдел:

— Агата Кристи?

— И все-таки прочтите. Думаю, вас заинтересует.

Я тупо кивнул.

— Обедать не идете? — спросила она минуту спустя. Был уже час дня.

— Нет... Думаю, нет.

— Вам не нравится жизнь в коллективе?

Ответа не требовалось; я улыбнулся. Мы собрали вещи и вместе ушли с пляжа. По дороге встретили Лионеля, он бродил словно неприкаянный и вид имел уже не такой счастливый, как вчера. Не случайно на отдыхе редко встречаешь одиноких мужчин. Обычно они держатся напряженно, желая и одновременно не решаясь предаться активным развлечениям. Чаще всего так и остаются ни с чем, реже — окунаются в увеселительные мероприятия с головой. У входа в ресторан я расстался с Валери.

В каждой новелле о Шерлоке Холмсе мы, разумеется, узнаем его характерные черты, вместе с тем автор непременно добавляет какую-нибудь новую деталь (кокаин, скрипка, существование старшего брата Майкрофта, пристрастие к итальянской опере, услуги, оказанные некогда царствующим европейским фамилиям, самое первое дело, которое Шерлок распутал еще отроком). Каждая новая вскрытая подробность заставляет подозревать новые тайны, создавая в конечном итоге живой и привлекательный образ: Конан Дойл сумел сочетать в нужной пропорции *радость открытия* и *радость узнавания*. Мне всегда казалось, что в отличие от него Агата Кристи чрезмерно полагается на радость узнавания. Описывая Пуаро в начале романа, она как правило ограничивается несколькими штрихами — самыми очевидными приметами персонажа (маниакальное пристрастие к симметрии, лакированные ботинки, скрупулезная забота о своих усах); при чтении худших ее романов создается даже впечатление, что вступительные фразы она просто целиком переписывает из книги в книгу.

Но "Долина" была интересна не этим. И даже не многозначительной фигурой скульпторши Генриетты — она понадобилась Кристи, чтобы изобразить не просто муки творчества (в одном из эпизодов она уничтожает законченную ценой неимоверных усилий скульптуру, поскольку видит ее несовершенство), но и ту особую боль, которая знакома только художнику: неспособность быть *по-настоящему* счастливым или несчастным, невозможность *в полной мере* ощутить ненависть, отчаяние, радость или любовь, постоянное наличие некоего эстетического фильтра между художником и миром. В образ Генриетты писательница вложила много себя самой, и ее искренность не подлежит сомнению. К сожалению, художник, смотрящий на мир со стороны, воспринимающий его двояко, опосредованно и, следовательно, недостаточно остро, как персонаж менее интересен.

Агата Кристи на протяжении всей своей жизни придерживалась глубоко консервативных убеждений и категорически не принимала идею справедливого распределения доходов. Но именно приверженность консервативным взглядам позволяла ей на практике рисовать безжалостные портреты английской аристократии, привилегии которой она отстаивала. Ее леди Энкетелл — персонаж гротескный, почти неправдоподобный, временами пугающий. Писательница с наслаждением создавала образ леди, преступившей нормы человеческого поведения, которых придерживаются и простолюдины; она, должно быть, от души веселилась, когда сочиняла фразы вроде следующей: "Так трудно познакомиться по-настоящему, когда в доме совершено убийство"; но симпатии автора, понятно, не на стороне леди Энкетелл. Она с большой теплотой рисует Мидж, вынужденную работать продавщицей и проводить выходные в кругу людей, понятия не имеющих о том, что такое *работа*. Мужественная, деятельная Мидж безнадежно любит Эдварда. Эдвард считает себя неудачником: он ничего не добился в жизни, *не смог даже стать писателем*; вместо этого кропает полные грустной иронии заметки для журналов, известных лишь библиофилам. Он трижды делал предложение Генриетте, но безуспешно. Генриетта любила Джона, восхищалась его ослепительным обаянием, его силой; однако Джон был женат. Убийство Джона разрушило хрупкое равновесие неосуществленных желаний: Эдвард понял наконец, что Генриетта никогда его не полюбит, потому что до Джона ему далеко; сблизиться с Мидж ему не удавалось, и жизнь казалась окончательно загубленной. Начиная с этого места роман становится волнующе странным, похожим на глубокую реку. В сцене, где Мидж спасает Эдварда от самоубийства и он предлагает ей стать его женой, Агата Кристи достигает диккенсовских высот.

Она крепко сжала его в объятиях. Он улыбнулся:

— Ты такая горячая, Мидж... такая горячая...

Вот оно каково, отчаяние, подумала Мидж. Оно леденит, оно — холод и бесконечное одиночество. До этой минуты она никогда не понимала, что отчаяние холодное; она воображала его обжигающим, пылким, бурным. Но нет. Отчаяние — это бездонная пропасть ледяной черноты, невыносимого одиночества. И грех отчаяния, о котором говорят священники, это грех холодный, состоящий в обрубании живых, горячих человеческих контактов.

Я закончил чтение часам к девяти; затем встал, подошел к окну. Море было спокойным, мириады светящихся точек плясали на его глади;

легкое сияние окружало лунный диск. Я знал, что сегодня на острове Ланта состоится пресловутый ночной рэйв; Бабетт и Леа наверняка отправятся туда, и еще добрая часть отдыхающих. Как легко отстраняться от жизни, самому выходить из игры. Когда началась подготовка к вечеру, когда к гостинице стали подъезжать такси, а в коридорах засуетились курортники, я почувствовал только грусть и облегчение.

10

Перешеек Кра — узкая гористая полоска земли, отделяющая Сиамский залив от Андаманского моря, — в северной части рассечен границей между Таиландом и Бирмой. На широте Ранонга — на самом юге Бирмы — он сужается до двадцати двух километров; затем постепенно расширяется, образуя полуостров Малакка.

Из сотен островов Андаманского моря только несколько обитаемы, причем ни один из тех, что входят в состав Бирмы, не используется в туристических целях. Напротив, принадлежащие Таиланду острова бухты Пхангнга приносят стране 43 процента ежегодного дохода от туризма. Самый большой из них — Пхукет; курорты начали развиваться здесь с середины 80-х годов с использованием преимущественно китайского и французского капитала (компания "Аврора" с самого начала считала Юго-Восточную Азию ключевым направлением своей экспансии). В главе, посвященной Пхукету, "бродяги" достигают вершин ненависти, пошлого снобизма и агрессивного мазохизма. "Иные считают, что остров Пхукет на взлете, — заявляют авторы для начала, — мы же полагаем, что он тонет".

"И все же нам не обойти стороной эту жемчужину Индийского океана, — продолжают они. — Еще несколько лет назад мы и сами превозносили остров: солнце, сказочные пляжи, не жизнь, а мечта. Рискуя внести сумбур в эту ладную симфонию, признаемся: мы Пхукет разлюбили! Патонг-Бич, его самый знаменитый пляж, одет бетоном. Среди клиентов все больше мужчин, растет число баров с проститутками, улыбки покупаются. Что касается бунгало для туристов, то их обновили с помощью бульдозера и поставили на их месте отели для одиноких пузатых европейцев".

Нам предстояло провести на Патонг-Бич две ночи; в автобус я садился исполненный надежд, вполне готовый сыграть роль одинокого пузатого европейца. А завершалось наше путешествие тремя свободными днями на Кох Пхи Пхи — острове, традиционно называемом райским. "Что говорить о Кох Пхи Пхи? — сокрушались авторы путеводителя. — Это все равно что вспоминать о поруганной любви... Хочется сказать что-нибудь хорошее, но ком подступает к горлу". Иным мазохистам недостаточно того, что они сами несчастны, им надо отравить жизнь другим. Проехав километров тридцать, автобус остановился для заправки, и я вышвырнул "Рутар" в помойку на бензоколонке. Типичный западный мазохизм, сказал я себе. Еще километра через два я понял, что теперь мне действительно нечего читать; оставшуюся часть пути придется преодолевать, не имея перед собой защитного экрана в виде печатной продукции. Я огляделся, сердце мое учащенно забилось, внешний мир словно бы приблизился ко мне. Валери, сидевшая через проход, опустила спинку кресла и полулежа не то мечтала, не то спала, отвернув лицо к окну. Я попробовал последовать ее примеру. За окном проплывали пейза-

жи с разнообразной растительностью. Делать нечего, я попросил у Рене его путеводитель "Мишлен"; таким образом я узнал, что плантации гевеи и латекса играют ведущую роль в экономике региона: Таиланд занимает третье место в мире по производству каучука. Стало быть, растительность эта идет на изготовление презервативов и шин; человеческая находчивость заслуживает уважения. Можно людей за многое не любить, но одного у них не отнять: мы имеем дело с весьма *изобретательным* млекопитающим.

После того ужина на реке Квай разделение группы по столам завершилось. Валери присоединилась, как она сама выражалась, к лагерю "обывателей", Жозиана сошлась с натуропатами, у них обнаружились общие интересы, в частности приверженность медитации. За завтраком я смог, таким образом, наблюдать издали настоящее *состязание в безмятежности духа* между Альбером и Жозианой. Экологи не сводили с них любознательных глаз — в той дыре, где они жили во Франш-Конте, им, разумеется, многие из медитативных тонкостей были недоступны. А Бабетт и Леа, хоть и столичные штучки, ничего, кроме "супер", сказать не могли: безмятежность — не то, о чем они мечтали в жизни. В целом там подобрался уравновешенный коллектив с двумя *естественными лидерами* противоположного пола, способными к активному сотрудничеству. У нас все складывалось не так удачно. Жозетт и Рене постоянно комментировали меню, здешняя пища им пришлась по вкусу, Жозетт намеревалась даже взять на вооружение несколько рецептов. Еще они критиковали соседний стол, подозревая сидящих за ним в *претенциозности* и *позерстве;* этим разговоры и ограничивались, и я, как правило, с нетерпением ждал десерта.

Я возвратил Рене путеводитель "Мишлен", до Пхукета оставалось ехать четыре часа. Купив в баре бутылку "Меконга", я все четыре часа боролся с чувством стыда, не позволявшим мне достать бутылку из сумки и спокойно надраться; победил стыд. У входа в отель нас встречал транспарант: "Привет пожарникам Шазе". "Надо же... — обрадовалась Жозетт, — твоя сестра как раз живет в Шазе". Рене этого не помнил. "Ну как же..." — настаивала она. Забирая ключ от комнаты, я еще услышал, как она сказала: "Поездка по перешейку Кра — это потерянный день", и, увы, была права. Я плюхнулся на широченную кровать и налил себе полный стакан "Меконга", затем другой.

Проснулся я с чудовищной головной болью и долго блевал над унитазом. Было пять часов утра: к девочкам идти поздно, к завтраку рано. В ящике тумбочки я обнаружил Библию на английском и книгу про учение Будды. "Because of their ignorance, — прочитал я, — people are always thinking wrong thoughts and always losing the right viewpoint and, clinging to their egos, they take wrong actions. As a result, they become attached to a delusive existence"[1]. Я не был уверен, что понимаю все, но последняя фраза великолепно иллюстрировала мое состояние; от этого мне сделалось полегче, и я спокойно дождался завтрака. За соседним столом сидела группа американских негров гигантского роста — ни дать ни взять баскетбольная команда. Чуть дальше расположились китайцы из Гонконга; их характерная черта — неопрятность, трудно переносимая даже евро-

1. В силу своего невежества люди обычно мыслят неверно, не находят правильной точки зрения и, цепляясь за свое "я", совершают неверные поступки. В результате они привязаны к иллюзорному бытию (*англ.*).

пейцами, а тайских официантов и вовсе повергающая в ужас, который и многолетняя привычка не смогла изгладить. В отличие от таиландцев — придирчивых до педантизма чистюль, китайцы едят жадно, хохочут с набитым ртом, разбрызгивая слюну и частицы пищи, плюют на пол, сморкаются в пальцы, словом, ведут себя как свиньи. Заметим, что свиньи эти весьма многочисленны.

Погуляв всего несколько минут по улицам Патонг-Бич, я убедился, что здесь, на участке побережья протяженностью в два километра, представлены все разновидности туристов из цивилизованного мира. На отрезке в десять метров я встретил японцев, итальянцев, немцев, американцев, не говоря уже о скандинавах и богатых латиноамериканцах. Как сказала мне девушка в турагентстве, "все мы одинаковы, всех тянет к солнцу". Я повел себя как образцовый средний клиент: взял напрокат мягкий шезлонг и зонтик от солнца, выпил несколько баночек "спрайта", окунулся. Море встретило меня ласково. Часам к пяти я вернулся в гостиницу, умеренно удовлетворенный свободным днем и полный решимости достигнуть большего. I was attached to a delusive existence[1]. Оставались еще бары с девочками; прежде чем направиться в соответствующий квартал, я прошелся вдоль ресторанов. Возле "Royal Savoey Seafood" заметил американскую парочку, с преувеличенным вниманием разглядывавшую омара. "Двое млекопитающих созерцают ракообразное", — подумал я. К ним, расплываясь в улыбке, подскочил официант — вероятно, желал похвалить свежесть морепродукта. "Трое", — машинально продолжил я. По улице текла и текла толпа: семьи, парочки и такие же, как я, одиночки; все они выглядели исключительно невинно.

Немолодые немцы, когда подвыпьют, любят, собравшись вместе, неторопливо затянуть грустные-прегрустные песни. Тайских официантов это чрезвычайно забавляет, они обступают поющих и покрикивают в такт.

Следуя за тремя пятидесятилетними мужчинами, восклицавшими то "Ach!", то "Ja!", я неожиданно для себя оказался на улице с ночными барами. Девушки в коротеньких юбках ворковали вокруг меня, наперебой стараясь завлечь кто в "Голубые ночи", кто в "Шалунью", в "Классную комнату", в "Мэрилин", в "Венеру"... В конце концов я выбрал "Шалунью". Народ еще не собрался — человек десять сидели каждый за отдельным столиком, в основном молодые англичане и американцы, лет двадцати пяти — тридцати. На сцене с десяток девочек медленно извивались в ритме диско-ретро, одни одетые в белые бикини, другие без верха, только полосочка трусов. Им всем было лет по двадцать, у всех была смуглая золотистая кожа и восхитительное гибкое тело. Слева от меня расположился за бутылкой пива "Карлсберг" старый немец с порядочным брюшком, белой бородкой, в очках — я бы сказал, преподаватель университета на пенсии. Он, словно загипнотизированный, смотрел на двигавшиеся у него перед глазами юные тела и сидел так неподвижно, что на мгновение мне показалось, будто он умер.

Потом сцена заволоклась дымом, музыка диско сменилась медленной полинезийской. Девицы сошли со сцены, вместо них появились десять других, в цветочных венках на груди и на талии. Девушки медленно

1. Я был привязан к иллюзорному бытию (*англ.*).

кружились, а из-под цветов проглядывала то грудь, то основание ягодиц. Старый немец продолжал не отрываясь смотреть на сцену; он на минуту снял очки и протер стекла: в глазах у него стояли слезы. Он был на верху блаженства.

В принципе, девочки здесь не обслуживали клиентов, вы могли пригласить их к себе за столик, выпить с ними, поболтать, а потом, заплатив заведению взнос в пятьсот бат и сговорившись о цене, увести в гостиницу. Ночь стоила, кажется, тысячи четыре или пять бат, что есть примерно месячная зарплата неквалифицированного рабочего в Таиланде; но Пхукет — это дорогой курорт. Старик немец украдкой поманил одну из девиц в белых мини-трусиках, ожидавшую, когда настанет ее очередь вернуться на сцену. Она подошла сразу и бесцеремонно уселась к нему на колени. Ее молодая крепкая грудь колыхалась на уровне его лица, немец раскраснелся от удовольствия. Я услышал, как она называет его папулей. Заплатив за текилу с лимоном, я вышел смущенный; мне казалось, будто я подглядываю за тем, как старик получает наслаждение — возможно, в последний раз; это было слишком волнующе, слишком интимно.

Прямо рядом с баром я увидел ресторан под открытым небом и завернул туда отведать риса с крабами. Почти за каждым столиком сидели пары — белый мужчина и таиландка; большинство мужчин по виду калифорнийцы, по крайней мере они соответствовали расхожему представлению о калифорнийцах и носили вьетнамки. На самом деле они вполне могли быть австралийцами — их нетрудно спутать; кто б они ни были, все выглядели здоровыми, спортивными, сытыми. Они олицетворяли будущее планеты. И в эту минуту, глядя на молодых полнокровных англосаксов, уверенно шагающих по жизни, я понял, что будущее планеты в сексуальном туризме. За соседним столом о чем-то оживленно болтали две пышногрудые тайки лет тридцати; напротив расположились два бритоголовых англичанина — этакие каторжане постмодерна — и, не произнося ни слова, тяжело заглатывали пиво. Чуть дальше две пухленькие немки-лесбиянки с коротко остриженными красными волосами и в комбинезончиках услаждали себя обществом пленительной девочки с длинными черными волосами и невинным лицом, одетой в пестрый саронг. Отдельно от всех восседали два араба, не поймешь из какой страны, голова у каждого была обмотана эдаким кухонным полотенцем, по какому в теленовостях безошибочно узнается Ясир Арафат. Словом, богатый и относительно богатый люд съехался сюда, следуя непреодолимому ласковому зову азиатской вагины. Самое удивительное, что при первом же взгляде на каждую пару, казалось, можно было угадать, получится у них что-нибудь или нет. В большинстве случаев девушки скучали, сидели надутые или покорные, косились на соседние столики. Но некоторые все-таки смотрели на своего кавалера в ожидании любви, слушали его, отвечали с живостью; в этом случае можно было вообразить, что они поладят, подружатся или даже что у них возникнет продолжительная связь: как известно, смешанные браки здесь не редкость, особенно с немцами.

Сам я не любил знакомиться с девицами в баре; разговоры тут обычно вертятся вокруг качества и стоимости предстоящих сексуальных услуг и оставляют тяжелое впечатление. Я предпочитаю массажные салоны, где начинают с секса, а после иногда возникает близость, иногда нет. Например, думаешь пригласить ее на ночь в отель, а выясняется, что она к этому вовсе и не стремится; бывает, она разведенная, и дома у нее

дети; это печально и хорошо. Доедая рис, я сочинял сюжет приключенческого порнофильма под названием "Массажный салон". Сирьен, юная таиландка из северных областей, без памяти влюбилась в американского студента Боба, попавшего в салон совершенно случайно — его затащили сюда приятели после попойки. Боб не притронулся к девушке, он только смотрел на нее красивыми светло-голубыми глазами и рассказывал ей о своей родине — Северной Каролине или что-нибудь в этом роде. Они стали встречаться в свободное от ее работы время, но, увы, им пришлось расстаться: Боб уехал заканчивать Йельский университет. Сирьен ждала и верила, а пока суд да дело, удовлетворяла прихоти многочисленных клиентов. Чистая сердцем, она отменно полировала и сосала усатых пузатых французов (роль второго плана для Жерара Жюньо) и обрюзгших лысых немцев (роль второго плана для немецкого актера). Наконец возвращается Боб и хочет вытащить ее из этого ада; но китайская мафия решает иначе. Боб обращается за помощью к послу Соединенных Штатов и к президентше гуманитарной ассоциации, борющейся против торговли женщинами (роль второго плана для Джейн Фонды). Учитывая, что в дело вовлечена китайская мафия (упомянуть о триадах), поддерживаемая тайскими генералами (вот вам и политический размах, и утверждение ценностей демократии), начинаются, понятно, разборки в Бангкоке, погоня и прочее. В конце концов победа остается за Бобом. В одной из последних сцен Сирьен демонстрирует все свои сексуальные навыки и впервые делает это с искренним чувством. Скромная служащая массажного салона, она пересосала бесчисленное множество елдаков в ожидании одного-единственного, Бобова, в котором соединились все елдаки на свете — тут надобно уточнить по ходу диалога. Две реки наплывают друг на друга: Чао-Прая и Делавэр. Титры. Для европейского проката я заготовил отдельную рекламу, примерно такую: "Вам понравился 'Музыкальный салон' — 'Массажный' понравится больше". Впрочем, до этого еще далеко, пока же мне требовалась партнерша.

Я расплатился, встал из-за стола, прошел метров пятьдесят, отклоняя различные предложения, и оказался перед надписью "Кискин рай". Войдя, я в трех шагах от себя увидел Робера и Лионеля, попивающих "ирландский кофе". В глубине зала за стеклом сидели амфитеатром штук пятьдесят девиц с номерками на груди. Ко мне подскочил официант. Лионель обернулся, заметил меня и стыдливо потупился. Вслед за ним обернулся Робер и лениво махнул рукой, приглашая присоединиться. Лионель нервно покусывал губы и не знал, куда ему деваться. Официант принял у меня заказ.

— Я человек правых взглядов, — произнес Робер, не знаю к чему. — Но учтите... — и он поднял указательный палец, словно бы от чего-то меня предостерегая.

С самого начала путешествия я заметил, что он воображает, будто я *левак*, и ожидает удобного случая затеять спор; однако я не собирался попадаться на удочку. Я закурил; он сверлил меня взглядом.

— Счастье — деликатная штука, — произнес он назидательно, — его трудно найти внутри себя и невозможно вовне.

Помолчав несколько секунд, он добавил строгим тоном:

— Шамфор[1].

1. Никола де Шамфор (1741–1794) — французский моралист, автор книг "Максимы и мысли", "Характеры и анекдоты".

Лионель смотрел на него с восхищением, Робер, казалось, совершенно его очаровал. Изречение, на мой взгляд, спорное: если поменять местами слова "трудно" и "невозможно", мы, пожалуй, подошли бы ближе к истине; но я не собирался вступать в дискуссию и желал вернуть разговор в обычные рамки туристического общения. А кроме того, я начинал чувствовать влечение к номеру 47 — маленькой тоненькой таиландке, возможно излишне худой, но с пухлыми губами и милым личиком; на ней была красная мини-юбка и черные чулки.

Заметив, что я отвлекся, Робер обернулся к Лионелю.

— Я верю в истину, — сказал он тихо, — в истину и в то, что она может быть доказана.

Слушая его вполуха, я с удивлением узнал, что он математик со степенью и в молодости писал многообещающие работы о группах Ли. Эта информация меня очень заинтересовала: существовала, значит, сфера или область человеческого знания, где он первый отчетливо разглядел истину, реальную, доказуемую.

— Да... — согласился он чуть ли не с сожалением. — Разумеется, позднее все это было продемонстрировано в более общем виде.

Потом он преподавал, в частности на подготовительных курсах; отдал свои зрелые годы безрадостному занятию — натаскиванию юных идиотов, из которых самые способные мечтали поступить в Высшую школу искусств и ремесел или в Политехническую.

— Впрочем, ученый-математик из меня все равно бы не вышел. Это мало кому дано.

В конце семидесятых он участвовал в работе комиссии министерства по реформе математического образования — чистой воды кретинизм, по его собственному признанию. Теперь ему пятьдесят три; три года назад он вышел на пенсию и пристрастился к сексуальному туризму. Был женат трижды.

— Я расист... — сообщил он бодро. — Я стал расистом... Путешествия, — продолжал он, — непременно порождают в нас расовые предрассудки или же укрепляют их. Что можно сказать о других людях, пока их не знаешь? Разумеется, воображаешь их такими же, как ты сам; а тут понемногу начинаешь осознавать, что в действительности все обстоит несколько иначе. Западный человек работает, сколько может; зачастую работа ему скучна, противна, но он все равно делает вид, что она его интересует, — это распространенный случай. В пятьдесят лет, устав от преподавания, от математики и всего остального, я решил посмотреть мир. Я тогда в третий раз развелся и в смысле секса уже никаких открытий не ждал. Сначала я поехал в Таиланд, потом сразу — на Мадагаскар. С тех пор я больше никогда не спал ни с одной белой женщиной, желания даже не испытывал. Поверьте мне, — добавил он, сжав Лионелю руку, — по-настоящему нежной, податливой, мускулистой и мягкой киски, вы не найдете ни у одной белой женщины: перевелись окончательно.

Номер 47 заметила, что я на нее настойчиво смотрю; она улыбнулась мне и закинула ногу на ногу, отчего стал виден ярко-красный пояс для чулок. Робер между тем продолжал вещать.

— Во времена, когда белые считали себя высшей расой, — говорил он, — расизм опасности не представлял. В XIX веке переселенцы, миссионеры и учителя видели в негре крупное и не очень злобное животное с забавными манерами, что-то вроде хорошо развитой обезьяны. В худ-

шем случае к нему относились как к выючной скотине, полезной и способной выполнять весьма сложные задачи; в лучшем — усматривали в нем душу, примитивную, неотесанную, однако способную при соответствующем воспитании подняться к Богу, а то и к высотам западного разума. Так или иначе, его держали за низшее существо, за "меньшого брата", а к низшим человек не испытывает ненависти, самое большее — добродушное презрение. Этот доброжелательный, я бы сказал, гуманистический расизм сошел на нет. С той поры как белые признали черных *равными* себе, стало очевидно, что за этим последует признание их *превосходства*. Понятие равенства в человеке не заложено, — и он снова поднял указательный палец.

Я уже приготовился выслушать очередную цитату из Ларошфуко или не знаю кого еще — но нет. Лионель наморщил лоб.

— Когда белые ставят себя ниже, — Робер старался, чтоб его правильно поняли, — создается почва для возникновения новой разновидности расизма, основанной на мазохизме: история показывает, что именно она приводит к насилию, расовым войнам и массовому истреблению людей. Все антисемиты, к примеру, единодушно наделяют евреев *определенного рода* превосходством; почитайте антисемитские писания предвоенного времени: в них поразительней всего то, что авторы считают евреев умнее и хитрее себя, приписывают им особые способности в области финансов и небывалую взаимную поддержку внутри общины. А в результате — шесть миллионов трупов.

Я снова взглянул на сорок седьмую: ожидание всегда волнует, хочется растянуть его как можно дольше, но при этом есть риск, что девушку уведет другой. Я поманил официанта.

— Я не еврей! — воскликнул Робер, полагая, что я собираюсь ему возразить. В самом деле, я многое мог бы сказать; во-первых, мы все-таки в Таиланде: лица желтой расы всегда воспринимались белыми не как "меньшие братья", а как развитые существа, принадлежащие к другим цивилизациям, отнюдь не примитивным и нередко опасным; кроме того, я мог бы напомнить ему, что мы пришли сюда заниматься любовью и за болтовней только попусту теряем время; собственно, это было моим главным возражением.

Подошел официант, Робер небрежным жестом заказал всем еще по порции.

— I need a girl, — произнес я сдавленно, — the girl forty seven[1].

Официант повернул ко мне взволнованное непонимающее лицо; за соседним столом как раз устроилась группа китайцев, они шумно галдели.

— The girl number four seven![2] — прокричал я по слогам.

Он наконец понял, расплылся в улыбке, поспешил к установленному перед стеклом микрофону и что-то в него проговорил. Девица встала, спустилась по ступеням и, приглаживая на ходу волосы, направилась к боковому выходу.

— Поначалу расизм, — продолжал Робер, стрельнув глазами в мою сторону, — проявляется в нарастающей антипатии и обострении соперничества между мужскими особями двух различных рас, но одновременно усиливается половое влечение к самкам другой расы. Подлинная суть

1. Мне нужна девушка, сорок седьмая (*англ.*).
2. Девушка номер четыре семь! (*англ.*)

расовой борьбы, — чеканил Робер, — не в экономике и не в культуре; тут причины грубого биологического свойства: состязание за молодые влагалища.

Я чувствовал, что сейчас его занесет в дарвинизм, но тут официант возвратился в сопровождении номера 47. Робер поднял глаза и внимательно на нее посмотрел.

— Хороший выбор, — угрюмо заключил он. — У нее вид отменной шлюхи.

Девушка робко улыбнулась. Я сунул руку ей под юбку и погладил ягодицы, демонстрируя свое покровительство. Она прижалась ко мне.

— И то правда, в моем квартале белые уже не распоряжаются, — вставил Лионель, не совсем понятно к чему.

— Вот именно! — оживился Робер. — Вы боитесь, и правильно делаете. Полагаю, в ближайшие годы в Европе число столкновений на расовой почве возрастет, и кончится все это гражданской войной, — он аж захлебывался. — Проблема будет решаться при помощи автомата Калашникова.

Он залпом допил коктейль; Лионель уже поглядывал на него с опаской.

— Но мне плевать! — Робер стукнул стаканом по столу. — Я западный человек, но я могу жить где хочу, и деньги пока еще в моих руках. Я бывал в Сенегале, в Кении, Танзании, в Кот-д'Ивуаре. Девицы там не такие умелые, как таиландки, не такие ласковые, но сложены недурно и розочки у них благоухают.

Воспоминания нахлынули на него, и он на мгновение замолчал.

— What is your name?[1] — спросил я у сорок седьмой, воспользовавшись паузой.

— I am Sin[2], — ответила она.

Китайцы за соседним столиком уже выбрали, что хотели, и, гогоча и хихикая, отправились по комнатам; наступила относительная тишина.

— Негритяночки, они становятся на четыре точки и поворачиваются к вам задом, — мечтательно продолжал Робер, — щель приоткрывается, а внутри у них все розовое... — заключил он шепотом.

Я поднялся. Лионель посмотрел на меня с благодарностью; он был несомненно рад, что я первый уйду с девицей, поскольку сам стеснялся. Я кивком попрощался с Робером. Горькая усмешка скривила его жесткие черты, он глядел на сидящих в зале и сквозь них дальше, на весь род людской, без приязни. Он раскрылся, во всяком случае возможность такую получил; я чувствовал, что быстро его забуду. Я вдруг увидел перед собой человека сломленного, конченого; мне показалось, что ему уже даже и не хочется заниматься любовью. Жизнь — это медленное приближение к неподвижности, что хорошо заметно на примере французского бульдога: юркий и неугомонный в молодости, он совершенно апатичен в зрелом возрасте. Робер продвинулся по этому пути далеко; на эрекцию, возможно, он еще был способен, да и то не уверен; сколько ни строй из себя умудренного опытом, ни делай вид, что разобрался в жизни, — она все равно кончается. У нас с ним схожая участь, его поражение — это одновременно и мое; однако я не ощущал между нами ни малейшего душевного родства. Когда нет любви, ничто не трогает душу. Под кожей век

1. Как тебя зовут? (*англ.*)
2. Я Син (*англ.*).

плывут, сливаясь, световые пятна: видения, сны. Но только не у тех, кто ждет ночи, — к ним приходит ночь.

Я заплатил официанту две тысячи бат, и он проводил меня до дверей, ведущих на верхние этажи. Син держала меня за руку; в течение часа или двух она будет стараться сделать меня счастливым.

Встретить в массажном салоне девушку, которая занимается любовью с охотой, понятно, большая редкость. Как только мы зашли в комнату, Син опустилась передо мной на колени, стянула с меня брюки и трусы и взяла мой банан губами. Он сразу начал твердеть. Она захватила его поглубже и языком освободила головку. Я закрыл глаза, уплывая в неведомые дали, и чуть было не выстрелил ей в рот. Она проворно отстранилась, разделась, не переставая улыбаться, одежду аккуратно сложила на стул. "Massage later..."[1] — сказала она, ложась на кровать, и раздвинула ноги. Я погрузился в нее, я накачивал ее мощными толчками, но вдруг спохватился, что забыл надеть презерватив. По отчетам "Врачей мира", треть таиландских проституток ВИЧ-инфицированы. Не то чтобы я содрогнулся от ужаса, но настроение у меня подпортилось. До чего же бездарны все эти компании по борьбе со СПИДом. Дружок мой сбавил прыть. Син забеспокоилась, приподнялась на локтях: "Something wrong?" — "Maybe... a condom,"[2] — сказал я нерешительно. "No problem, no condom... I'm OK!"[3] — отвечала она весело и, взяв мои ядрышки одной рукой, другой стала поглаживать отросток. Я откинулся на спину. Она гладила все быстрей и быстрей, вызывая новый прилив крови. Существует же, наверное, медицинский осмотр или что-нибудь такое. Как только я окреп, она оседлала меня и разом опустилась. Я обхватил ее за талию с ощущением собственной неуязвимости. Таз ее заколыхался, она понемногу распалялась, я развел ноги в стороны, вонзился глубже. Наслаждение было острым, пьянящим; дышать я старался медленно, чтобы дольше продержаться; на меня снизошло умиротворение. Прижавшись ко мне, она потерлась лобком о лобок, покрикивая от удовольствия; я гладил ее по затылку. В минуту оргазма она замерла, испустила продолжительный стон и рухнула мне на грудь. Я чувствовал, как сокращается ее влагалище. Она испытала второй оргазм, глубокий, утробный. Я непроизвольно сжал ее в своих объятиях и разрешился с криком. Минут десять она лежала неподвижно, уткнувшись лицом мне в грудь; потом встала и предложила принять душ. Вытирала она меня очень нежно, промокая полотенцем, как младенца. Потом я сел на диван, угостил ее сигаретой. "We have time, — сказала она , — we have a little time"[4]. Я узнал, что ей тридцать два года. Работу свою Син не любила, но муж бросил ее с двумя детьми. "Bad man, — сказала она, — Thai men, bad men"[5]. Я спросил, дружит ли она с девушками из заведения. Она отвечала, что не особенно; большинство из них слишком юны и безмозглы, тратят все, что зарабатывают, на одежду и духи. Она не такая, она серьезная, деньги откладывает в банк. Через несколько лет она сможет бросить работу и вернуться в свою деревню; родители у нее уже немолодые, им нужна помощь.

1. Массаж потом (*англ.*).
2. Что-нибудь не так? — Может быть... презерватив (*англ.*).
3. Никаких проблем, никаких презервативов... Я в порядке! (*англ.*)
4. У нас еще есть время, немножко (*англ.*).
5. Плохой мужчина, тайские мужчины — плохие (*англ.*).

Уходя, я дал ей две тысячи бат чаевых; это было смешно, потому что непомерно много. Она взяла деньги недоверчиво и несколько раз поклонилась мне, сложив ладони на уровне груди. "You good man"[1], – сказала она. Затем нацепила мини-юбку и чулки; бар закрывался только через два часа. Проводив меня до двери, она снова благодарно сложила ладони. "Take care, – добавила она, – be happy"[2]. Я вышел на улицу в задумчивом настроении. На другое утро мы отъезжали в восемь, начинался последний этап путешествия. Интересно, как провела свободный день Валери.

11

"Я купила подарки своим, – ответила она. – Здесь есть великолепные ракушки". Лодка скользила по бирюзовой воде вдоль обрывистых известковых берегов, поросших густыми джунглями; именно таким я представлял себе Остров сокровищ. "Природа, надо все-таки признать ..." – сказал я. Валери повернулась ко мне, ожидая продолжения; волосы у нее были забраны в пучок, а выбившиеся прядки колыхались на ветру. "Природа все-таки..." – я искал, но не находил слов..Должны бы существовать *школы беседы*, как существуют школы танцев; наверное, я слишком долго занимался бухгалтерией – разучился общаться с людьми. "Вы можете себе представить: сегодня тридцать первое декабря", – сказала она спокойно. Я окинул взглядом безоблачное лазурное небо и бирюзовый океан: нет, я не мог. Человеку, право же, потребовалось незаурядное мужество, чтобы освоить северные широты.

Сон встала и обратилась к группе: "Мы приближаться Кох Пхи-Пхи. Здесь, я говорила, плыть не можно. Вы надевали купальники? Идти ногами, неглубоко. Идти в воде. Чемоданы нет, чемоданы потом". Мы обогнули мыс и с выключенным мотором вошли в полукруглую бухточку с высокими, поросшими лесом берегами. Прозрачные зеленые волны накатывали на нереально белый песок. Среди леса, на фоне холмов виднелись деревянные бунгало на сваях, крытые пальмовыми листьями. Все мы на минуту смолкли. "Земной рай", – проговорила Сильви дрожащим от волнения голосом. Если это и было преувеличением, то незначительным. С той разницей, что она не Ева. Да и я не Адам.

Все члены группы один за другим вставали и перешагивали через борт. Я помог Жозетт вылезти из лодки. Она задрала юбку до талии и тяжело перевалила через край суденышка, снаружи ее подхватил муж; от восторга она смеялась и даже чихала. Я обернулся; моряк-таец, опершись о весло, ждал, пока все покинут лодку. Валери сидела, сложив руки на коленях; она взглянула на меня исподлобья, смущенно улыбнулась и сказала: "Я забыла надеть купальник". Я развел руками, выказывая тем самым свою некомпетентность в данном вопросе, затем глупо добавил: "Я могу выйти". Она досадливо прикусила губу, поднялась и одним движением сняла брюки, оставшись в тонюсеньких кружевных трусиках, совсем не в духе турпоездки. Из-под них торчали волоски, довольно густые, черные. Отворачиваться я не стал, это было бы глупо, но и не рассматривал слишком настойчиво. Я вылез из лодки через левый борт и протянул ей руку; она выпрыгнула вслед за мной. Мы оказались по пояс в воде.

1. Ты хороший мужчина (*англ.*).
2. Береги себя, будь счастлив (*англ.*).

Перед тем как отправиться на пляж, Валери еще раз взглянула на ожерелья из ракушек, купленные для племянниц. Окончив институт, ее брат устроился инженером в "Эльф" и, пройдя специальную подготовку, уехал через несколько месяцев в свою первую командировку в Венесуэлу. Год спустя он там женился. Валери полагала, что до женитьбы большого сексуального опыта он не приобрел; по крайней мере, ни одной девушки он домой не приводил. Типичный случай для студента-технаря; у них, как правило, не остается времени на увеселения и подружек. Редкий досуг заполняется невинными интеллектуальными играми или шахматами в Интернете. Впоследствии, когда они получают диплом и работу, на них обрушиваются разом деньги, профессиональные обязанности и секс; если при этом они попадают в тропическую страну, мало кто из них может устоять перед тамошними красотками. Бертран женился на девушке смешанных кровей с великолепной фигурой; сколько раз на пляже в Сен-Ке-Портриё, когда они вместе гостили у родителей, Валери испытывала приступы страстного желания к своей невестке. А вот представить себе брата, занимающимся любовью, ей не удавалось. Между тем у них было двое детей, и они выглядели вполне счастливой парой. Выбрать подарок для Хуаны не составило труда: она любила украшения, и светлые камни прекрасно смотрелись на ее смуглой коже. Бертрану Валери не купила ничего. Если у мужчины нет пороков, думала она, очень трудно угадать, что доставит ему удовольствие.

Я листал попавшийся мне в гостинице журнал "Phuket Weekly " и тут увидел идущую по пляжу Валери. Чуть дальше группа немцев купалась нагишом. Поколебавшись минутку, Валери направилась ко мне. Ослепительно сверкало солнце; было около полудня. Что ж, мне предстояло сыграть решающую партию. Мимо нас прошествовали Бабетт и Леа, кроме сумочек через плечо на них ничего не было. Я и бровью не повел. Валери же, напротив, долго провожала их любопытным и бесцеремонным взглядом. Красоточки расположились поблизости от немцев.

— Пожалуй, пойду искупаюсь, — сказал я.

— Я пойду позднее, — ответила она.

В воду я вошел без малейшего усилия. Она оказалась теплой, прозрачной, восхитительно спокойной; у самой поверхности плавали мелкие серебристые рыбешки. Дно опускалось полого, в ста метрах от берега я еще мог стоять. Тут я вытащил свой прибор из плавок, зажмурился и вспомнил, как утром видел Валери в кружевных трусиках, лишь наполовину прикрывавших ее курчавый треугольник. Стрелка прибора резко поползла вверх — уже хорошо; все какая-никакая мотивация. Ведь надо же стараться жить, вступать в какие-то отношения с людьми; обычно я слишком зажат, это со мной уже давно. Следовало бы, наверное, чем-то занимать себя по вечерам: бадминтон, хоровое пение — мало ли что. Правда, если я и вспоминал каких-нибудь женщин, то только тех, с кем спал. Это тоже важно; человек накапливает воспоминания, чтобы умирать было не так одиноко. Нет, у меня все время не те мысли. "Think positive, — в отчаянии уговаривал я себя, — think different"[1]. Я медленно поплыл к берегу; через каждые десять

1. Думай о хорошем, думай иначе (*англ.*).

гребков я вставал на ноги и глубоко вдыхал, пытаясь расслабиться. Едва я ступил ногой на песок, мне бросилось в глаза, что Валери сняла бюстгальтер. Пока что она лежала на животе, но она обязательно перевернется, это непреложно, как вращение планет. И что же дальше? Я сел на полотенце, чуть сгорбив спину. "Think different", — повторил я про себя. Мне приходилось видеть много женских бюстов, тискать их и вылизывать, и все же я испытал шок. Я и раньше подозревал, что у нее прекрасная грудь, в действительности же все оказалось гораздо хуже. Я не мог оторвать глаз от сосков и коричневых ореолов; она, разумеется, заметила мой взгляд и все же молчала еще несколько секунд, показавшихся мне бесконечно долгими. Как знать, что у женщин на уме? Они так легко принимают условия игры. Порой, когда, обнаженные, они рассматривают себя в зеркало с ног до головы, на их лицах читается такая трезвая холодная оценка собственных возможностей совращения, какая и мужчине не под силу. Короче, я первым отвел глаза.

Прошло какое-то время, не скажу сколько; солнце по-прежнему стояло высоко и светило ослепительно ярко. Я сидел, уставившись на песок, белый и мелкий, как пыль.

— Мишель... — проговорила она тихо.

Я резко вскинул голову, будто меня ударили. Ее темно-карие глаза смотрели прямо на меня.

— Чем тайки лучше европеек? — спросила она отчетливо. И я снова не выдержал ее взгляда; ее грудь колыхалась в ритме дыхания; мне даже показалось, что соски немного затвердели. В первую секунду мне хотелось ответить: "Ничем". Потом пришла в голову другая мысль, не слишком, впрочем, удачная.

— Тут есть об этом статья, что-то вроде рекламного репортажа... — и я протянул ей "Phuket Weekly".

— "Find your longlife companion... Well educated Thai ladies..."[1], это?

— Да, там дальше интервью.

Улыбающийся Чэм Сэвенези в черном костюме и темном галстуке отвечал на вопросы, которыми задаются читатели ("Ten questions you could ask"[2]) относительно работы его агентства "Heart to heart"[3].

There seems to be, — отмечал Сэвенези, — *a nearperfect match between the Western men, who are unappreciated and get no respect in their own countries, and the Thai women, who would be happy to find someone who simply does his job and hopes to come home to a pleasant family life after work. Most Western women do not want such a boring husband.*

One easy way to see this, — продолжал он, — *is to look at any publication containing "personal" ads. The Western women want some one who looks a certain way, and who has certain "social skills", such as dancing and clever conversation, someone who is interesting and exciting and seductive. Now go to my catalogue, and look at what the girls say they want. It's all pretty simple, really. Over and over they state that they are happy to settle down FOREVER with a man who is willing to hold down a steady job and be a loving and understanding HUSBAND and FATHER. That will get you exactly nowhere with an American girl!*

1. Найдите себе спутника жизни... Образованные тайские леди... (*англ.*).
2. Десять вопросов, которые вы могли бы задать (*англ.*).
3. От сердца к сердцу (*англ.*).

As Western women, — заключал он с апломбом, — *do not appreciate men, as they do not value traditional family life, marriage is not the right thing for them to do. I'm helping modern Western women to avoid what they despise*"[1].

— Похоже на правду... — с грустью заметила Валери. — Конечно же, существует рынок...

Она отложила журнал и задумалась. Мимо нас прошел Робер; он шагал вдоль берега, заложив руки за спину, и мрачно глядел перед собой. Валери резко повернулась и стала смотреть в другую сторону.

— Этот тип мне не нравится, — прошептала она с раздражением.

— Он не глуп, — сказал я; в сущности, он был мне безразличен.

— Не глуп, но он мне не нравится. Старается всех шокировать, производить неприятное впечатление; я этого не люблю. Вы, по крайней мере, пытаетесь приспособиться.

— Вот как? — я взглянул на нее с удивлением.

— Ну да. Чувствуется, конечно, что вам трудно, что вы не созданы для такого рода поездок; но вы делаете над собой усилие. Мне кажется, в душе вы добрый.

Мне бы тут обнять ее, погладить грудь, поцеловать в губы; но я, как кретин, не шевельнулся. Приближался вечер; солнце теперь плыло над пальмами; мы обменивались ничего не значащими фразами.

К новогоднему столу Валери надела очень открытое на груди длинное зеленое платье из легкой, чуть просвечивающей ткани. После ужина на веранде играл оркестр, и чудной старик-певец гнусавым голосом тянул обработки медленного рока Боба Дилана. Бабетт и Леа примкнули к группе немцев, с их стороны до меня долетали звонкие восклицания. Жозетт и Рене танцевали, нежно обнявшись, — миленькие толстячки. Ночь стояла теплая; бабочки облепляли разноцветные фонарики, подвешенные к балюстраде. Я чувствовал себя подавленным и глушил виски стакан за стаканом.

— То, что говорит этот тип в интервью...

— Да? — Валери подняла на меня глаза; мы сидели рядом на плетеной скамейке. Ее грудь плотно наполняла ракушки лифа. Она накрасила глаза, распущенные волосы спадали на плечи.

— Я думаю, это в большей степени относится к американкам. С европейками тут не все ясно.

1. Создается впечатление, что западные мужчины, которых не замечают и не ценят на родине, почти идеально подходят тайским женщинам, которые были бы счастливы встретить человека, желающего просто-напросто работать, а после работы возвращаться домой в приветливую семью. Большинство западных женщин не хотят иметь такого скучного мужа.

Вы легко убедитесь в этом, просмотрев раздел "частных" объявлений в любой газете. Западные женщины ищут мужчину, который выглядел бы определенным образом, имел определенные "социальные навыки": умел танцевать, поддерживать беседу, быть интересным, зажигательным, соблазнительным. Теперь обратимся к моему каталогу и посмотрим, чего хотят здешние девушки. Все довольно просто. Все они утверждают, что будут счастливы НАВСЕГДА соединиться с мужчиной, который имеет стабильную работу и будет любящим и понимающим МУЖЕМ и ОТЦОМ. Американской девушке такой не подойдет.

Поскольку западные женщины не ценят мужчин и традиционную семейную жизнь, им не следует выходить замуж. Я помогаю современным западным женщинам избавиться от того, что они презирают (*англ.*).

Она с сомнением покачала головой и ничего не ответила. Лучше, конечно, было бы пригласить ее на танец. Я выпил еще виски, откинулся на спинку скамейки, глубоко вздохнул.

Когда я проснулся, зал был почти пуст. Артист еще что-то напевал по-тайски, ударник ему вяло аккомпанировал; никто их не слушал. Немцы исчезли, Бабетт и Леа оживленно беседовали с двумя неизвестно откуда взявшимися итальянцами. Валери ушла. Было три часа утра по местному времени; начался 2001 год. В Париже он официально начнется только через три часа; в Тегеране как раз наступила полночь, а в Токио уже пробило пять. Все многоликое человечество вступало в третье тысячелетие; лично я сделал это не лучшим образом.

12

Удрученный и пристыженный, я побрел к себе в бунгало; в саду слышался смех. На песчаной дорожке я едва не раздавил неподвижно сидящего лягушонка. Он даже не отскочил, у него полностью отсутствовал инстинкт самосохранения. Рано или поздно на него кто-нибудь случайно наступит, раскрошит ему позвоночник, и расплющенное тельце смешается с песком. Человек почувствует что-то мягкое под ногой, выругается, почистит подошву о землю. Я легонько пнул лягушонка ногой: он неторопливо переместился ближе к бордюру. Я толкнул его еще раз: он отпрыгнул на относительно безопасную лужайку; возможно, мне удалось продлить ему жизнь на несколько часов. Сам я чувствовал себя не в лучшем положении, чем он. Я вырос вне семейного кокона или какой-нибудь другой ячейки общества, и некому было беспокоиться о моей судьбе, поддерживать в беде, восхищаться моими похождениями и успехами. Со своей стороны, и я не создал домашнего очага: остался холостяком, детьми не обзавелся; никому не придет в голову опереться на мое плечо. Я, как зверь, прожил один и в одиночестве умру. В течение нескольких минут я растравлял душу беспочвенной жалостью к самому себе.

С другой стороны, я все-таки создан довольно крепким, и размера я выше среднего в животном мире; я могу рассчитывать на долгую жизнь, как слон или ворон; меня не так просто уничтожить, как эту маленькую амфибию.

Следующие два дня я отсиживался в бунгало. Выходил только изредка и, никем не замеченный, добирался до мини-маркета, где покупал фисташки и бутылки "Меконга". Мне страшно было подумать, что я встречусь с Валери за обедом или на пляже. Что-то дается нам легко, что-то кажется непреодолимым. Постепенно все становится непреодолимым; к этому и сводится жизнь.

Второго января после обеда я нашел у себя под дверью анкету агентства "Нувель фронтьер", где требовалось оценить организацию тура. Я заполнил ее тщательно, почти везде поставив галочки в графе "хорошо". И вправду, в определенном смысле все было хорошо. Отпуск сложился нормально. Путешествие прошло *на уровне*, и приключенческий дух тоже присутствовал в полном соответствии с рекламой. В пункте "личные замечания" я написал следующее четверостишие:

Едва проснувшись, я переношусь
В мир, четко разлинованный на клетки;
Мне наша жизнь знакома наизусть,
Она — анкета, где я ставлю метки.

Третьего утром я собрал чемодан. Увидев меня в лодке, Валери хотела что-то сказать, но удержалась; я отвернулся. Сон распрощалась с нами в аэропорту Пхукета; мы приехали раньше времени, до отлета оставалось еще три часа. Зарегистрировав билет, я бродил по магазинчиком в холле аэропорта, они были оформлены в виде хижин с тиковыми стойками и крышами из пальмовых веток. Ассортимент предлагаемых товаров сочетал международный стандарт (шарфики "Гермес", духи "Ив Сен-Лоран", сумки "Вюиттон") с изделиями местного производства (ракушки, побрякушки, галстуки таиландского шелка); вся продукция была помечена штрих-кодами. Словом, магазины аэропорта еще жили национальной жизнью, но в сглаженной, приглушенной форме, полностью приспособленной к мировым потребительским запросам. Перед тем как покинуть страну, туристы попадали здесь на некую промежуточную территорию, менее интересную, но и менее опасную, чем окружающее пространство. У меня возникло ощущение, что мир в целом стремится все больше и больше походить на аэропорт.

Я увидел магазин кораллов, и мне почему-то захотелось купить подарок Мари Жанне; собственно, кроме нее, у меня никого не осталось в целом свете. Ожерелье, брошку? Я копался в ящичке и вдруг в двух шагах от себя заметил Валери.

— Пытаюсь выбрать ожерелье, — сказал я после некоторого замешательства.

— Для брюнетки или блондинки? — в ее голосе чувствовалась нотка горечи.

— Блондинки с голубыми глазами.

— Тогда лучше взять светлые кораллы.

Я протянул посадочный талон девушке за прилавком. Расплачиваясь, я сказал Валери:

— Это для коллеги.

Прозвучало жалко.

Она метнула на меня странный взгляд, словно не знала, то ли ей ударить меня, то ли рассмеяться в лицо; ничего такого она не сделала, а просто вышла вместе со мной из магазина. Большинство членов нашей группы, покончив, как видно, с покупками, сидели на скамейках в холле. Я остановился, набрал полную грудь воздуху и повернулся к Валери.

— Мы могли бы встретиться в Париже... — выпалил я наконец.

— Вы полагаете? — безжалостно парировала она.

Я ничего не ответил, только снова посмотрел на нее.

— Было бы жаль... — пытался объяснить я; впрочем, не уверен, что произнес это вслух.

Валери огляделась, увидела, что на ближайшей к нам скамейке сидят Бабетт и Леа, и с досадой отвернулась. Потом достала из сумки блокнот, вырвала листок и что-то быстро на нем написала. Протягивая листок мне, она хотела сказать какие-то слова, но передумала и ушла в сторону группы. Взглянув на клочок бумаги, я увидел номер мобильного телефона и сунул его в карман.

Часть вторая
Конкурентные преимущества

1

Самолет приземлился в Руасси в одиннадцать; багаж я получил очень быстро; в половине первого уже приехал домой. В субботний день можно было пройтись по магазинам, поискать чего-нибудь для дома. По улице Муффтар гулял ледяной ветер, и ничего не хотелось. Борцы за права животных продавали желтые наклейки. После праздников потребление продуктов питания как правило снижается. Я купил жареного цыпленка, две бутылки белого бордо и последний номер "Хот видео". Не слишком изысканно для уик-энда, но, по моим представлениям, большего я не заслуживал. Я съел полцыпленка; обугленная промасленная кожица вызывала легкое отвращение. В самом начале четвертого я позвонил Валери. Она сняла трубку после второго гудка. Да, она свободна вечером; да, согласна поужинать. Я могу зайти за ней в восемь; авеню Рей, возле парка Монсури.

Она открыла дверь в белых спортивных брюках и короткой футболке, сказала: "Я не готова", — и рукой откинула волосы назад. От этого движения грудь ее колыхнулась; она была без лифчика. Я обхватил ее за талию и потянулся к ней лицом. Она приоткрыла губы и сразу же скользнула языком мне в рот. Меня словно током ударило, я едва не потерял сознание и возбудился мгновенно. Не отрывая от меня своих бедер, она толкнула входную дверь, и та с глухим стуком захлопнулась.

Освещенная одной только настольной лампочкой комната казалась огромной. Валери обняла меня за талию и ощупью повела в спальню. Около кровати она поцеловала меня еще раз. Я поднял майку и погладил ей грудь; она прошептала что-то, но я не разобрал слов. Опустившись на колени, я стянул с нее брюки и трусики и приник лицом к сокровенному месту. Там все было влажно, открыто и хорошо пахло. Она застонала и опрокинулась на кровать. Я быстро разделся и вошел в нее. Мой агрегат дрожал и распалялся. "Валери, — сказал я, — я долго не продержусь, я слишком возбужден". Она притянула меня к себе и шепнула в самое ухо: "Кончай..." И в ту же секунду я почувствовал, как сжимаются стенки ее влагалища. Мне казалось, я весь растворился в пространстве и только член один живет, содрогаясь от небывалого наслаждения. Я извергался долго, многократно и уже под самый конец понял, что кричу. За одно такое мгновение можно и жизнь отдать.

Желтые и голубые рыбки плавали вокруг меня. Я стоял под водой на глубине нескольких метров от залитой солнцем поверхности моря. Неподалеку, возле кораллового рифа, спиной ко мне стояла в воде Валери. Мы оба были без ничего. Я знал, что подобное состояние невесомости объясняется большой плотностью воды, но меня удивляло, что я могу дышать. Сделав несколько гребков, я приблизился к Валери. Риф был усеян какими-то фосфоресцирующими серебристыми организмами, имевшими форму звездочек. Я положил одну руку ей на грудь, другую на низ живота. Она прогнулась, прижавшись ко мне ягодицами.

В таком положении я и проснулся; стояла ночь. Я осторожно раздвинул Валери ноги и проник в нее. Одновременно, послюнявив пальцы, стал гладить ей бугорок. По ее стонам я догадался, что она уже не спит. Она приподнялась и стала на колени. Я внедрялся все глубже, чувствуя, что она вот-вот кончит; она учащенно дышала. В момент оргазма она вздрогнула и испустила душераздирающий стон; потом замерла, обессилев. Я вытянулся рядом с ней. Она расслабилась и обняла меня; мы оба вспотели. "Приятно просыпаться от наслаждения", — сказала она, положив руку мне на грудь.

В следующий раз я открыл глаза уже утром; обнаружил, что лежу в постели один. Я поднялся и вышел из спальни. Соседняя комната оказалась действительно очень большая и с высоким потолком. Над диваном висели книжные полки. Валери не было дома; на столе в кухне лежали хлеб, сыр, масло, конфитюр. Я налил себе чашку кофе и снова лег. Минут через десять вернулась Валери с круассанами и булочками с шоколадом, принесла завтрак в спальню на подносе.

— На улице чертовски холодно, — сказала она, раздеваясь. А я вспомнил Таиланд.

— Валери... — начал я нерешительно, — что ты во мне нашла? Я не красив и не остроумен; я совсем не понимаю, что во мне привлекательного.

Валери посмотрела на меня и ничего не ответила; она сидела почти голая, в одних трусах.

— Я тебя серьезно спрашиваю, — не отставал я. — Потертый мужик, необщительный, смирившийся уже со своей скучной жизнью. И вдруг появляешься ты, приветливая, ласковая, и даришь мне счастье. Не понимаю. Мне кажется, ты видишь меня не таким, каков я на самом деле. И следовательно, будешь разочарована.

Она улыбнулась, медля с ответом; потом положила руку мне на мошонку и приблизила к ней лицо. Я сразу пришел в боевую готовность. Она закрутила прядку волос вокруг основания моей пушки и стала поглаживать ее кончиками пальцев.

— Не знаю... — прошептала она, не прерываясь. — Мне нравится, что ты не уверен в себе. Я очень хотела тебя во время путешествия, с ума сходила, только об этом и думала. В новогоднюю ночь я уже совсем собралась постучаться к тебе в комнату, но потом не решилась. Я была уверена, что между нами ничего не произойдет; самое ужасное, что у меня даже не получалось на тебя разозлиться. В групповых поездках люди активно общаются, но эта близость — искусственная: все прекрасно знают, что больше никогда не увидятся. Сексуальные отношения завязываются крайне редко.

— Ты думаешь?

— Я знаю; проводились специальные опросы. Даже среди тех, кто предпочитает клубный отдых, хотя в этом, собственно, суть проекта. Число отдыхающих в клубах последние десять лет неизменно падает, несмотря на тенденцию к снижению цен. Это объясняется единственно тем, что сексуальные отношения во время отпуска сошли на нет. Исключение составляют курорты с преобладанием клиентов-гомосексуалистов: Корфу, Ибица.

— Однако ты хорошо осведомлена, — изумился я.

— Ничего удивительного, это моя работа, — и она улыбнулась. — Вот, кстати, и еще одна особенность организованных путешествий: люди

там очень мало говорят о своих профессиональных делах. Получается эдакое игровое отступление от обыденной жизни, полностью нацеленное на то, что организаторы называют "радостью открытия". Участники игры заключают между собой негласное соглашение избегать в разговорах серьезных тем, как, скажем, работа или секс.

— И где же ты работаешь?

— В "Нувель фронтьер".

— Так значит, ты ездила в служебную командировку? Для отчета или чего-нибудь в этом роде?

— Нет, я и в самом деле отдыхала. Конечно, я получила большую скидку, но ездила в отпуск. Я работаю там уже пять лет и впервые путешествовала по их путевке.

Готовя салат из помидоров с моццареллой, Валери рассказывала, как попала в турбизнес. В марте 1990 года, за три месяца до окончания школы, она впервые задумалась над тем, где будет учиться дальше и вообще чем заниматься в жизни. Старший брат тогда закончил Геологическую школу в Нанси, куда в свое время поступил с большим трудом. Его ожидала работа на рудниках или нефтяных скважинах и в любом случае вдали от Франции. Он любил путешествия. Она, пожалуй, тоже; словом, ее выбор пал на училище по туризму. Ей казалось, что она не создана для усердных интеллектуальных занятий, каких требует высшая школа.

Очень скоро она поняла, что ошибалась. Уровень ее класса в училище оказался исключительно низким, она без малейших усилий сдавала текущие зачеты и рассчитывала с такой же легкостью получить выпускное свидетельство. Параллельно записалась на курсы, дающие диплом, аналогичный университетскому, в области гуманитарных и общественных наук. После училища поступила в магистратуру по социологии. Но и тут разочаровалась. Вернее, сама по себе специальность ее заинтересовала, однако методы работы, которым их обучали, оказались дилетантскими и примитивными до смешного, а теории — пустопорожней болтовней. Она бросила занятия в середине учебного года и устроилась работать в реннский филиал турфирмы "Куони". Две недели спустя, собираясь снять себе квартиру, поняла: клетка захлопнулась, с учебой покончено, впереди только работа.

Валери прослужила в турагентстве год, причем весьма успешно.

— Там было совсем нетрудно, — вспоминала она. — Главное — разговорить клиента, заинтересоваться им. Люди крайне редко интересуются другими.

Затем руководство компании предложило ей место в парижском офисе. Тут надо было планировать туры, разрабатывать маршруты и экскурсии, договариваться о ценах с гостиницами и другими учреждениями на местах. Она справилась; а еще через полгода откликнулась на объявление в "Нувель фронтьер", предлагавшее аналогичную работу. Тогда и начался взлет ее карьеры. Она попала в команду Жана Ива Фрошо, выпускника Высшей коммерческой школы, ничего не смыслившего в туризме. Он сразу оценил Валери и, хотя теоретически был ее начальником, полагался на нее во всем и предоставлял полную свободу действий.

— С Жаном Ивом хорошо то, что его честолюбия на двоих хватает. Всякий раз, когда приходилось добиваться повышения по службе или

увеличения зарплаты, это делал он. Сейчас он занимает ответственную должность: курирует турпрограммы по всему миру; ну а я по-прежнему его ассистентка.

— Ты, наверное, много зарабатываешь.

— Сорок тысяч в месяц. Теперь надо уже считать в евро: шесть с чем-то тысяч.

Я посмотрел на нее с удивлением:

— Вот не ожидал...

— Это потому, что никогда не видел меня в костюме.

— А у тебя есть костюм?

— Он мне не особенно нужен, я работаю почти исключительно на телефоне. Но при необходимости — да, могу надеть костюм. У меня есть даже пояс для чулок. Как-нибудь покажу, если захочешь.

Только теперь я осознал, хотя еще не до конца поверил, что мы с Валери будем видеться и дальше, и, возможно, мы будем счастливы. Радость оказалась для меня слишком неожиданной, я чуть не заплакал; пришлось сменить тему.

— Что представляет собой этот Жан Ив?

— Парень как парень. Женат, двое детей. Работает как зверь, на выходные забирает кучу бумаг домой. В общем, нормальный молодой функционер, достаточно умен, достаточно честолюбив; но симпатичный, и характер легкий. Мы с ним ладим.

— Не знаю почему, но мне нравится, что ты богата. Это не имеет никакого значения, но все-таки приятно.

— Да, правда, я кое-чего добилась, у меня хорошая зарплата, но я плачу сорок процентов налогов и десять тысяч в месяц за квартиру. Я не чувствую себя так уж уверенно: если завтра моя результативность снизится, меня выставят не задумываясь; им не привыкать. Если бы у меня были акции, тогда бы я действительно стала обеспеченным человеком. "Нувель фронтьер" поначалу занимались в основном распродажей горящих путевок. Компания сделалась ведущим туроператором во Франции, благодаря новой концепции и удачно найденному соотношению цена/качество; в значительной степени она обязана этим нам с Жаном Ивом. За десять лет ее активы увеличились в двадцать раз; поскольку тридцать процентов акций по-прежнему принадлежат Жаку Майо, своим состоянием он, можно сказать, обязан мне.

— Ты его видела?

— Неоднократно; он мне несимпатичен. С виду такой честный, демократичный, в ногу со временем: пестрые галстуки, мотороллер; а по сути — подлый безжалостный лицемер. Перед самым Рождеством Жану Иву звонил какой-то "охотник за мозгами", предлагал встретиться; наверное, уже что-нибудь выяснилось; я обещала позвонить, как вернусь.

— Ну так звони, это важно.

— Да... — сказала она с сомнением, от упоминания о Жаке Майо она помрачнела. — Моя личная жизнь — это тоже важно. По правде говоря, я тебя опять хочу.

— Не знаю, смогу ли я сейчас.

— Тогда поцелуй меня туда. Я это люблю.

Она поднялась, сняла трусики и удобно устроилась на диване. Я опустился на колени... поцеловал бугорчик, потом стал целовать еще крепче, и она кончила неожиданно быстро, содрогнувшись всем телом.

— Иди ко мне... — Я сел на диван. Она свернулась клубочком, положив голову мне на колени.

— Когда я спросила тебя, чем тайки лучше нас, ты мне, собственно говоря, не ответил; ты только показал интервью директора матримониального агентства.

— Он там верно написал: многие мужчины боятся современных женщин и хотят, чтобы жена занималась только домом и детьми. Таких немало, просто на Западе в этом невозможно признаться; вот они и женятся на азиатках.

— Положим... — она на минутку задумалась. — Но вот ты, например, не такой; тебя совершенно не смущает, что у меня солидная работа, большая зарплата; по-моему, тебе это не важно. Однако же ты не стал ухаживать за мной, а отправился в массажный салон. Вот чего я не понимаю. Что в них такого, в этих азиатских девицах? Они любят лучше, чем мы?

Когда она произносила последнюю фразу, голос у нее слегка дрогнул; я и сам с трудом справился с волнением и не сразу ответил.

— Валери, — сказал я наконец, — я еще никогда не встречал женщины, которая бы занималась любовью так, как ты; начиная со вчерашнего вечера я ощущаю такое, что и поверить невозможно.

Помолчав, я добавил:

— Ты не понимаешь, но ты исключение. В наши дни мало женщин, которые бы сами получали радость от секса и хотели бы доставлять ее другим. Сейчас соблазнить незнакомую женщину и переспать с ней — целая история. Как подумаешь, сколько нуднейших разговоров придется вытерпеть, прежде чем затащишь ее в постель, а любовницей она скорее всего окажется никудышной, да еще прожужжит уши своими проблемами, расскажет обо всех своих прежних мужиках, заодно даст понять, что сам ты не на высоте, и вдобавок заставит тебя провести с ней остаток ночи — как представишь себе все это, понятно станет, почему мужчины готовы платить, лишь бы избежать такой канители. Когда мужчина взрослеет и набирается опыта, он приходит к выводу, что любовь ему ни к чему и проще пойти к девочкам. Но здешние шлюхи — это отбросы общества, к ним не стоит и соваться, и вдобавок некогда, работа съедает все время. Большинство в итоге так и живет, а некоторые время от времени позволяют себе немного сексуального туризма. Это еще лучший вариант: общение с проституткой — какой-никакой человеческий контакт. Есть такие, которые предпочитают онанировать, уставившись в Интернет или под порнокассету. Отстрелялся и успокоился.

— Да, я понимаю... — произнесла она после долгой паузы. — Я понимаю, что ты хочешь сказать. И ты думаешь, они уже не изменятся? Ни мужчины, ни женщины?

— Я думаю, назад возврата нет. Меняться все будет в другую сторону; женщины станут больше и больше походить на мужчин; сейчас пока у них еще велика потребность обольщать, в отличие от мужчин, которые обольщать не стремятся — им главное трахаться. Обольщение — удел лишь тех, кто не увлечен работой и не имеет других интересов в жизни. По мере того как женщины станут больше заниматься делами, работой, они тоже начнут считать, что проще заплатить за удовольствие, и тоже потянутся к сексуальному туризму. Женщины могут приспосабливаться к мужскому видению мира — хотя бы и через силу, но могут, история это доказала.

— Словом, все катится куда-то не туда.
— Совсем не туда... — согласился я с мрачным удовлетворением.
— Значит, нам повезло.
— Это мне повезло, что я тебя встретил.
— Мне тоже... — сказала она и посмотрела мне в глаза, — мне тоже повезло. Все мужчины, которых я знаю, — это жуть что такое. Ни один не верит в любовь. Рассказывают тебе сказки про дружбу, общие интересы и прочую ерунду. Я уже до того дошла, что слово "дружба" на дух не переношу, тошнить начинает. Есть еще другая категория: женятся как можно раньше и дальше думают только о карьере. К тебе это, понятно, не относится. С другой стороны, я сразу поняла, что ты не будешь мне заливать про дружбу, до такой пошлости не дойдешь. И я подумала, что, может, мы переспим и, может, у нас получится что-то особенное; могло, конечно, и ничего не получиться, даже скорее всего... — она замолчала, вздохнула с досадой, потом произнесла покорно: — Ладно... позвоню все-таки Жану Иву.

Пока она звонила, я одевался в спальне. "Да, прекрасно отдохнула", — услышал я. Немного погодя она воскликнула: "Сколько?" Когда я вернулся в гостиную, она сидела задумавшись и по-прежнему держала трубку в руке; одеваться еще и не начинала.

— Жан Ив виделся с тем типом по набору кадров, — сказала она, — ему предложили сто двадцать тысяч в месяц. Они готовы взять и меня; могут, наверное, дать тысяч восемьдесят. Завтра утром у него встреча, будут обсуждать детали.
— А что за место?
— Отдел досуга в группе "Аврора".
— Это большая фирма?
— В общем, да. Крупнейшая сеть гостиниц в мире.

2

Понять поведение потребителя, определить круг его интересов, предложить ему нужный товар в нужную минуту и, главное, убедить его в том, что товар полностью соответствует его потребностям, — вот о чем мечтает любая фирма.

Жан Луи Барма.
О чем мечтают предприниматели

Жан Ив проснулся в пять утра, бросил взгляд на спящую жену. Они отвратительно провели выходные у его родителей — жена не выносила деревню. Их десятилетний сын Никола́ тоже терпеть не мог ездить в Луаре́, поскольку туда не возьмешь компьютер; дедушку с бабушкой он не любил и говорил, что от них плохо пахнет. Отец и вправду сильно опустился, перестал следить за собой, ничем, кроме своих кроликов, не интересовался. Скрашивала поездки только дочь Анжелика: в свои три года она еще была способна радоваться каждой корове и курице; но на этот раз она заболела и обе ночи непрерывно плакала. Как только они добрались до дома, проведя три часа в пробках, Одри отправилась развлекаться с друзьями. Готовя ужин из быстрозамороженных продуктов,

Жан Ив смотрел по телевизору посредственный американский фильм про серийного убийцу-аутиста: в основу сценария лег якобы реальный случай — этот аутист был первым душевнобольным, казненным в штате Небраска за последние шестьдесят с лишним лет. Сын ужинать отказался, он сразу бросился играть в "Total Annihilation", а может, это была "Mortal Kombat II"[1] — Жан Ив их путал. Время от времени он заходил к дочери и пытался ее успокоить, но она продолжала хныкать. Уснула только около часа; Одри еще не было дома.

Вернулась-таки, думал Жан Ив, готовя себе утренний кофе-эспрессо; пока еще возвращается. Работая в адвокатской конторе, клиентами которой были газеты "Либерасьон" и "Монд", Одри вращалась в кругу журналистов, телеведущих, политических деятелей. Они вели светскую жизнь, постоянно куда-то ходили, порой в довольно странные места, — так, листая однажды какую-то книгу с ее полки, Жан Ив увидел клубную карту бара для фетишистов. Он подозревал, что жена спит с кем-нибудь на стороне, по крайней мере между ними давно все кончилось. Оставалось только удивляться, что сам он не завел романа. А ведь он обладал привлекательной наружностью и хорошо это знал: блондин с голубыми глазами — такой типаж чаще встречается среди американцев. Он не испытывал ни малейшего желания пофлиртовать, даже если предоставлялся случай, а предоставлялись они не часто: Жан Ив работал по двенадцать-четырнадцать часов в сутки; на службе, занимая ответственный пост, женщин видел редко. Разумеется, у него была Валери, но он воспринимал ее исключительно как коллегу. Взглянуть на нее по-новому хотя и любопытно, но совершенно бесперспективно; они работали вместе уже пять лет, а такие вещи происходят либо сразу, либо никогда. Он очень уважал Валери за ее организаторские способности и необыкновенную память и понимал, что без нее не достиг бы своего теперешнего положения, а если бы и достиг, то не так быстро. Сегодня ему предстояло сделать, возможно, решающий шаг в своей карьере. Он почистил зубы, тщательно побрился, надел строгий костюм. Перед уходом заглянул в комнату дочери: она спала, одетая в пижаму с цыплятами; головка беленькая — вся в него.

Он отправился пешком в спортклуб "Республика", открывавшийся в семь; жили они на улице Фобур-дю-Тампль, в модном районе, который он терпеть не мог. Встреча в "Авроре" была назначена на десять. Ничего, один раз может и Одри собрать и проводить детей. Вечером, правда, ему придется в течение получаса выслушивать упреки. Шагая по мокрому тротуару среди набросанных очистков и пустых коробок, он вдруг понял, что ему плевать на упреки. И еще он подумал — впервые так отчетливо, — что его брак был ошибкой. Как известно, от появления подобных мыслей до развода проходит в среднем два-три года: такие решения не из легких.

Высокий негр у входа спросил привычно: "Поддерживаем форму, шеф?" Жан Ив кивнул, протянул ему абонемент, взял полотенце. Он познакомился с Одри, когда ему было двадцать три. Два года спустя они поженились, отчасти из-за того, что она была беременна, но не только поэтому. Она была хороша собой, элегантна, одевалась со вкусом и умела при случае выглядеть весьма соблазнительно. Кроме того, она высказывала весьма оригинальные суждения и развитие во Франции юридических процедур по американскому образцу считала не возвратом в про-

1. "Полное уничтожение", "Смертельная битва II" (*англ.*) — компьютерные игры.

шлое, а, наоборот, шагом вперед, обеспечивающим лучшую защиту граждан и индивидуальных свобод. Свои мысли она убедительно аргументировала, тем более что недавно вернулась со стажировки в Штатах. Короче, пускала ему пыль в глаза как могла. Удивительно, думал он, до какой степени он всегда был падок на интеллектуалок.

Сначала он в течение получаса упражнялся на разных уровнях тренажера "Stairmaster", потом плавал в бассейне, раз двадцать туда и обратно. В сауне, где в этот час не было ни души, он, расслабившись, перебирал в голове все, что знал о группе "Аврора". В1966 году выпускник Высшей школы искусств и ремесел Жерар Пелиссон совместно с неким Полем Дюбрюлем основали компанию "Новотель" на средства, собранные среди родственников и друзей. В августе 1967 года в Лилле открылась первая гостиница "Новотель"; в ней уже проявились особенности, которые составят в будущем специфику всей сети: стандартизация комнат, расположение на периферии города, точнее возле автострады при въезде, высокий по тем временам уровень комфорта: гостиницы "Новотель" одними из первых оснастили все номера ваннымн. Успех, особенно в деловых кругах, не заставил себя ждать: в 1972 году сеть насчитывала уже тридцать пять отелей. Затем последовало создание "Ибиса" в 1973 году, покупка "Меркурия" в 1975-м и "Софителя" в 1981-м. Одновременно с этим группа начала осторожно осваивать ресторанное дело: выкупила сеть ресторанов "Куртепай" и фирму "Жак Борель интернасьональ", специализирующуюся на коллективном питании и питании по талонам. С 1983 года компания стала называться "Авророй". Потом, в 1985 году, были созданы гостиницы "Формула-1" — первые отели без персонала — сенсация в истории гостиничного дела. К тому времени, прочно обосновавшись в Африке и на Ближнем Востоке, компания начала внедряться в Юго-Восточную Азию и открыла свой собственный центр обучения — академию "Аврора". В 1990 году, с приобретением "Мотеля-6", владеющего шестьюстами пятьюдесятью гостиницами на американском континенте, "Аврора" вышла на уровень крупнейших мировых компаний; в 1991 году последовала удачная покупка акций группы "Вагон-ли". Все эти приобретения стоили больших денег, и в 1993 году "Аврора" пережила кризис: акционеры сочли, что задолженность компании слишком велика, и покупка гостиничной сети "Ле Меридьен" сорвалась. Благодаря уступке части активов и оздоровлению "Еврокара", "Ленотра" и "Казино" Люсьена Баррьера, в 1995 финансовом году ситуация полностью выправилась. В январе 1997 года Поль Дюбрюль и Жерар Пелиссон отошли от руководства компанией, передоверив его выпускнику Национальной школы администрации Жану Люку Эспиталье, карьеру которого экономические журналы оценили как "нетипичную". Основатели фирмы остались членами наблюдательного совета. Компания благополучно пережила смену руководства и к концу 2000 года упрочила свой статус мирового лидера, значительно опередив "Мариотт" и "Хайят", занимающие, соответственно, второе и третье места. Среди десяти крупнейших гостиничных сетей в мире числилось девять американских и одна французская — "Аврора".

В половине десятого Жан Ив припарковал свой автомобиль у центрального офиса компании в Эври. В ожидании встречи прошелся по морозному воздуху. Ровно в десять его пригласили в кабинет Эрика Легана, исполнительного директора и члена совета директоров, сорокапятилет-

него выпускника Высшей школы искусств и ремесел и Стэнфордского университета. Высокий, крепкого сложения, светловолосый, голубоглазый, он немного походил на Жана Ива, только был старше его десятью годами и держался уверенней.

— Господин Эспиталье примет вас через пятнадцать минут, — начал он. — А пока я объясню вам, о чем, собственно, идет речь. Два месяца назад мы выкупили у группы "Джет тур" сеть гостиниц "Эльдорадор". Она насчитывает всего десяток отелей-клубов, расположенных в странах Магриба, в Черной Африке и на Антильских островах.

— Она убыточна, насколько мне известно.

— Не более, чем отрасль в целом, — усмехнулся он. — Впрочем, вы правы, она одна из самых убыточных. Буду с вами откровенен, мы приобрели ее за умеренную цену, но не за бесценок. У нас имелись и конкуренты: многие надеются, что рынок еще возродится. В настоящее время не несет убытков только "Club Med"; скажу вам по секрету, мы подумывали объявить о готовности купить его акции. Но уж больно крупная добыча, наши акционеры не согласились бы. И потом это можно было бы расценить как недружественный шаг по отношению к Филиппу Бургиньону, работавшему прежде у нас, — он расплылся в деланной улыбке, словно бы призывая тем самым не воспринимать последнюю фразу всерьез. — Одним словом, — продолжил он, — мы предлагаем вам возглавить сеть клубов отдыха "Эльдорадор". В случае вашего согласия вам предстоит в кратчайшие сроки восстановить баланс, а затем сделать предприятие прибыльным.

— Задача не из легких.

— Мы это понимаем; но думаем, что предлагаемая зарплата достаточно привлекательна. Не говоря о возможностях продвижения по службе внутри компании, они неограниченны. Мы работаем в ста сорока двух странах, у нас более ста тридцати тысяч сотрудников. Кроме того, большинство наших руководящих работников довольно быстро становятся акционерами: мы возлагаем большие надежды на такую систему поощрения. Для ознакомления с ней я приготовил специальную записку с примерами и цифрами.

— Мне необходимо получить более точную информацию о состоянии гостиниц.

— Разумеется, я сейчас же передам вам подробнейшее досье. Покупка "Эльдорадора" была не просто тактическим шагом, мы верим, что у этой структуры есть будущее: географически гостиницы расположены удачно, они в отличном состоянии, потребуется лишь незначительное переустройство. Так, по крайней мере, мне кажется; но у меня нет опыта работы с курортными комплексами. Мы, естественно, будем согласовывать наши действия, но окончательное решение по всем вопросам принимать вам. Если пожелаете избавиться от той или иной гостиницы, а другую, наоборот, приобрести, последнее слово останется за вами. Таков наш принцип работы в "Авроре".

Он задумался, потом продолжил:

— Конечно же, мы выбрали вас не случайно. Ваша деятельность в "Нувель фронтьер" хорошо известна специалистам. В определенном смысле, вы создали школу. Не стремясь предлагать самую низкую цену или самые лучшие условия, вы всякий раз очень точно угадывали сумму, которую клиент готов заплатить за данный уровень комфорта; именно такой философии придерживаемся и мы. И что еще очень важно, вы

участвовали в создании марки, имеющей собственное лицо. В "Авроре" нам это не всегда удавалось.

На столе у Легана зазвонил телефон; он ответил коротко, затем поднялся и повел Жана Ива по длинному коридору, выложенному бежевым кафелем. Жан Люк Эспиталье занимал огромный кабинет, метров двадцать в длину, не меньше; в левой его части помещался стол мест на пятнадцать, за которым проводились совещания. Эспиталье с улыбкой поднялся им навстречу. Он был довольно молод — никак не больше сорока пяти, невысокого роста, с залысинами, и выглядел на удивление скромно, можно сказать, неприметно, словно желал показать, что к собственной значительности относится иронически. Вряд ли этой иронии стоит доверять, подумал Жан Ив; выпускники Национальной школы администрации известны своей наигранно-шутливой манерой держаться. Они устроились в креслах за низким столиком, стоявшим перед письменным столом. Прежде чем заговорить, Эспиталье долго смотрел на Жана Ива с какой-то робкой улыбкой.

— Я очень уважаю Жака Майо, — произнес он наконец. — Он создал прекрасное предприятие, очень оригинальное, в высшей степени культурное. Такое встречается не часто. Между тем я полагаю — хотя и не желаю, чтобы мои предсказания сбылись, — что французским туроператорам надо готовиться к исключительно тяжелому периоду. В ближайшее время — на мой взгляд, это вопрос нескольких месяцев — на рынок ринутся английские и немецкие фирмы. Они располагают средствами, в два–три раза превышающими французские, и предлагают туры на 20–30 процентов дешевле при аналогичном или даже лучшем качестве услуг. Конкуренция будет жесткой, жестокой. Говоря яснее, будут жертвы. Я не хочу сказать, что "Нувель фронтьер" окажутся в их числе, нет. Это компания с ярко выраженной индивидуальностью, ее акционеры составляют сплоченный коллектив, она скорее всего устоит. Однако ближайшие годы будут трудными для всех. — Он вздохнул, потом продолжил: — "Аврора" находится в несколько ином положении. Мы являемся бесспорным мировым лидером на рынке отелей бизнес-класса, мало подверженном изменениям. Мы почти не задействованы на рынке туризма, неустойчивом и чувствительном к экономическим и политическим колебаниям.

— Именно поэтому меня и удивило приобретение вами "Эльдорадора", — вставил Жан Ив. — Я полагал, что ваше приоритетное направление — это гостиницы для бизнесменов, особенно в Азии.

— Совершенно верно, — спокойно ответил Эспиталье. — К примеру, в одном только Китае существуют колоссальные возможности развития такого типа гостиниц. У нас накоплен огромный опыт, мы знаем, как за это взяться: вообразите себе сеть отелей "Ибис" или "Формула-1" в такой огромной стране. При всем при том... как бы вам объяснить? — Он задумался, посмотрел в потолок, повернул голову направо, потом снова перевел взгляд на Жана Ива. — "Аврора" имеет свои маленькие тайны, — произнес он наконец. — Поль Дюбрюль часто повторял, что единственный секрет успеха — вовремя появиться на рынке. Вовремя значит не слишком рано: истинные новаторы редко получают максимальные прибыли от своих изобретений, сравните "Эппл" и "Майкрософт". Но и не слишком поздно. И тут наша скрытность сослужила нам хорошую службу. Если вы развиваетесь незаметно, без шумихи, то, когда ваши конкуренты просыпаются и решают занять свободную, как они рассчитыва-

ют, нишу, выясняется вдруг, что они опоздали: вы уже заблокировали все подходы и получили решающее конкурентное преимущество. Наша известность намного меньше нашей реальной значимости; и это, скажем так, было нашей сознательной политикой. — Он снова вздохнул. — Однако время не стоит на месте. Сейчас уже каждый знает, что мы занимаем лидирующее положение в мире. Сейчас не нужно — и даже опасно — делать ставку на чрезмерную скрытность. Компания такого уровня, как "Аврора", должна иметь лицо. Гостиницы для деловых людей — это верный бизнес, он гарантирует высокие и постоянные доходы. Но он, как бы это сказать, недостаточно увлекателен. О деловых перемещениях люди говорят редко и неохотно. У нас имелись две возможности создать привлекательный образ в глазах широкой публики: туроператорская деятельность и курортные отели. Работа туроператоров дальше от нашей основной специализации, хотя там есть весьма крепкие предприятия, готовые сменить владельцев, и мы чуть было не пошли по этому пути. А потом подвернулся удобный случай с "Эльдорадором", и мы за него ухватились.

— Хотелось бы все-таки уточнить вашу цель. Вы заинтересованы в коммерческом успехе или в создании имиджа? — спросил Жан Ив.

— И то и другое... — Эспиталье замялся, заерзал на стуле. — Положение "Авроры" осложняется тем, что ее акционеры разобщены. Из-за этого в 1994 году поползли слухи, что кто-то, дескать, предложил купить акции компании. Сейчас могу сказать с уверенностью, — в подтверждение своих слов он решительно хлопнул рукой по столу, — что они не имели под собой никаких оснований. Тем более неуместными они были бы теперь: у нас нет задолженностей, и ни одна компания в мире — я говорю не только о тех, кто занимается гостиничным бизнесом, — не отважится на подобную авантюру. Однако в отличие от, скажем, "Нувель фронтьер" наши акционеры никак не организованы. Поль Дюбрюль и Жерар Пелиссон были, по сути, предпринимателями старого типа — великими предпринимателями, на мой взгляд, одними из величайших в нашем веке. Но они не стремились сохранять контроль над акционерами, что и осложняет сегодня наше положение. Мы с вами знаем, что в иных ситуациях нужны расходы ради престижа: они улучшают стратегические позиции компании, хотя и не приносят немедленной выгоды. Мы знаем также, что иной раз необходимо поддержать убыточный сектор, когда рынок еще не созрел или в случае временного кризиса. Новое поколение акционеров соглашается на это с большим трудом: теория быстрой окупаемости чудовищно испортила умы.

Жан Ив хотел было что-то сказать, но Эспиталье остановил его жестом.

— Замечу, однако, — продолжал он, — что наши акционеры все-таки не идиоты. Они прекрасно понимают, что такая сеть, как "Эльдорадор", не может сделаться рентабельной за один год, возможно, и за два тоже. Но на третий год они начнут сопоставлять цифры, и выводы не заставят себя ждать. И вот тут — пусть у вас будут распрекраснейшие проекты, сулящие бездну возможностей, — я уже ничего не смогу поделать.

Наступило продолжительное молчание. Леган сидел неподвижно, опустив голову. Эспиталье задумчиво водил пальцем по подбородку.

— Все ясно, — произнес наконец Жан Ив и еще через несколько секунд добавил спокойным деловым тоном: — Я дам вам ответ через три дня.

3

В следующие два месяца я видел Валери очень часто. Собственно говоря, мы виделись каждый день, за исключением одного уик-энда, когда она уезжала к родителям. Жан Ив решил согласиться на предложение "Авроры"; Валери решила последовать за ним. Помнится, она прокомментировала это так: "Мои налоги возрастут до 60 процентов". В самом деле, хотя зарплата ее увеличивалась с сорока до семидесяти пяти тысяч франков в месяц, разница, с учетом налогов, оказывалась не такой уж значительной. Она знала, что с марта, когда она перейдет в "Аврору", ей предстоит вкалывать изо всех сил. Пока же все шло хорошо: они объявили в "Нувель фронтьер" о своем уходе и теперь спокойно передавали дела. Я советовал Валери откладывать деньги, открыть специальный счет или не знаю что; хотя, по правде говоря, мы совсем не задумывались о таких вещах. Весна выдалась поздняя, но мы не огорчались. Когда потом я размышлял об этом счастливом периоде жизни с Валери — как ни странно, у меня осталось о нем очень мало воспоминаний, — я пришел к выводу, что человек не создан для счастья. Чтобы получить реальную практическую возможность счастья, человек должен был бы преобразиться — трансформироваться физически. Чему уподобить Бога? Во-первых, разумеется, женскому нижнему "я"; а кроме того, например, пару в турецкой бане. Словом, чему-то такому, в чем мог бы реализоваться дух, потому что материя уже пресыщена наслаждением. Я теперь совершенно убежден, что дух еще не родился, он ждет своего часа, и рождение его будет трудным; пока мы имеем о нем неполное и неверное представление. Когда я доводил Валери до оргазма, когда тело ее содрогалось в моих объятиях, меня порой охватывало мгновенное, но пронзительное ощущение, что я поднимаюсь на новый, совершенно иной уровень сознания, где не существует зла. В минуты, когда ее плоть прорывалась к наслаждению, время останавливалось, а я чувствовал себя богом, повелевающим бурями. И в этом заключалась моя первейшая радость — несомненная, совершенная.

Вторая радость, которую принесла мне Валери, состояла в ее удивительной доброте и мягкости характера. В иные дни, когда она задерживалась на работе — а со временем она стала задерживаться все дольше и дольше, — я чувствовал, что она издергана и утомлена до предела. Но она никогда не срывала раздражение на мне, ни разу не рассердилась, не закатила истерики, непредсказуемого нервного припадка из тех, что нередко делают общение с женщинами мучительным. "Я не тщеславна, Мишель, — говорила она. — Мне хорошо с тобой, мне кажется, что ты — мужчина моей жизни, и на самом деле мне больше ничего не нужно. Но увы: я вынуждена добиваться большего. Я — часть системы, мало что дающей мне лично и вообще бесполезной; но как выйти из нее, я не знаю. Надо будет обдумать это на досуге, только не представляю, откуда у нас возьмется досуг".

Что до меня, то я работал все меньше; исполнял свои обязанности от и до. Заканчивал так, чтобы, купив еды на ужин, спокойно успеть домой к "Вопросам для чемпиона"; ночевал я теперь у Валери. Как ни удивительно, Мари Жанну, похоже, не огорчало отсутствие у меня служебного рвения. Сама она любила нашу работу и всегда была готова взвалить на свои плечи дополнительную нагрузку. Мне кажется, больше всего она ждала от меня доброго отношения — а я и был все это время добр, мил, спокоен. Ей очень понравилось коралловое ожерелье, кото-

рое я привез ей из Таиланда, она надевала его каждый день. Готовя документацию к выставкам, она порой бросала на меня странные взгляды, смысл которых оставался мне неясен. Однажды — это было в феврале, в день моего рождения, — она сказала откровенно: "Ты изменился, Мишель. Не знаю, в чем именно, но ты выглядишь счастливым".

Она была права; я был счастлив, я это помню. В жизни, понятно, всякое случается, нас подстерегает множество проблем, старость, смерть — все так. Однако, вспоминая эти несколько месяцев, могу засвидетельствовать: счастье существует.

А вот Жан Ив, безусловно, счастлив не был. Помнится, мы ужинали как-то втроем в итальянском ресторане, точнее в венецианском, короче, в каком-то довольно шикарном месте. Он знал, что из ресторана мы с Валери пойдем домой и будем любить друг друга. Я не находил, что ему сказать, все и так было ясно, даже слишком. Ясно было, что жена его не любит, что она, возможно, никого никогда не любила и, вероятно, никого никогда не полюбит. Не повезло ему, вот и все. Человеческие отношения не так сложны, как их расписывают: бывают ситуации неразрешимые, а вот чтоб действительно сложные — это редко. Ему, понятно, надо было разводиться; дело непростое, но необходимое. Что я мог добавить? Мы исчерпали тему, еще не доев закуски.

Затем перешли к будущей работе в "Авроре": у Жана Ива и Валери уже родились кое-какие идеи относительно возрождения "Эльдорадора", они знали, в каком направлении думать дальше. В своей среде оба считались компетентными специалистами; но они не имели права на ошибку. Провал на новой должности не означал бы конца их карьеры: Жану Иву было тридцать пять лет, Валери — двадцать восемь; им бы позволили попробовать еще раз. Однако подобные промахи не забываются, им пришлось бы начинать заново с гораздо более низкого уровня. Все мы жили в обществе, где заинтересованность в работе обусловливалась зарплатой, или, шире, — материальной выгодой; такие понятия, как престиж и почет, отошли на второй план. При этом развитая система перераспределения доходов через налоги позволяла здравствовать всяким паразитам и просто никчемным людям, к которым в некотором роде относился и я. Существовавшая у нас экономика смешанного типа медленно эволюционировала в сторону большего либерализма, постепенно преодолевая предубеждение против ссуды под процент и против денег вообще, еще живое в странах с давней католической традицией. Жан Ив с Валери ничего от этого не выигрывали. Некоторые выпускники ВКШ, совсем еще молодые, иные так просто студенты, даже и не думали устраиваться на работу, а сразу пускались в биржевые спекуляции. Подключались к Интернету, оснащали компьютеры новейшими программами наблюдения за рынком. Иногда объединялись в клубы и тогда получали возможность распоряжаться более значительными средствами. Так возле своих компьютеров и жили, работали посменно двадцать четыре часа в сутки, никогда не брали отпусков. У них у всех была одна простая цель — к тридцати годам стать миллиардерами.

Жан Ив и Валери принадлежали к поколению, которое еще не мыслило свою жизнь без хождения на службу; и я, их старший товарищ, в сущности, тоже. Мы все трое намертво увязли в социальной системе, как насекомые в куске янтаря; пути к отступлению нам были отрезаны.

Утром 1 марта Валери и Жан Ив официально приступили к работе в компании "Аврора". На понедельник, 4 марта, было назначено собрание всех, кто имел отношение к проекту "Эльдорадор". Генеральная дирекция заказала достаточно известной конторе по изучению социологии поведения, именуемой "Профили", анализ перспектив развития клубов отдыха.

Входя в первый раз в зал заседаний на 23-м этаже, Жан Ив немного волновался. В зале сидели человек двадцать, каждый из которых не один год проработал в "Авроре", и этим коллективом ему теперь предстояло руководить. Валери заняла место слева от него. Все воскресенье он провел за изучением личных дел: он знал имя, обязанности и послужной список каждого из присутствующих и все-таки побаивался встречи. Сероватый день вставал над департаментом Эсон, относящимся к числу "проблемных". В свое время Поль Дюбрюль и Жерар Пелиссон решили построить офис компании в Эври[1]: земля тут стоила недорого, и совсем рядом проходила автострада, ведущая на юг и в аэропорт Орли; в ту пору Эсон был тихим предместьем. Теперь же уровень преступности здесь считался самым высоким по стране. Каждую неделю совершались нападения на автобусы, автомобили жандармерии и пожарных; грабежам и хулиганским вылазкам даже не вели точного учета: по некоторым оценкам, реальная цифра в пять раз превышала число поданных жалоб. Здание компании круглосуточно охранялось вооруженной бригадой службы безопасности. Внутренняя инструкция рекомендовала служащим после определенного часа не пользоваться общественным транспортом. Сотрудники, работавшие допоздна и не имевшие личного автомобиля, вызывали такси — "Аврора" заключила соглашение с парком о льготном тарифе.

Когда в зале появился Линдсей Лагарриг, специалист по социологии поведения, Жан Ив обрел уверенность в себе. Социологу было около тридцати, длинные волосы завязаны на затылке, на лбу залысины; одет в спортивные брюки "Адидас", футболку "Прада", поношенные кроссовки "Найк" — короче, ровно так, как и подобает знатоку человеческого поведения. Для начала он раздал собравшимся содержимое своего портфеля — тонюсенькие папки, в которых лежали графики со стрелочками и кружочками. Первая страница досье представляла собой ксерокопию заметки из "Нувель обсерватер", точнее из приложения, посвященного отпускам. Она называлась "Отдыхать иначе".

— В двухтысячном году, — Лагарриг принялся читать статью вслух, — массовый туризм уже исчерпал себя. У нас возникла потребность в путешествии индивидуальном и этически ориентированном.

Первый абзац представлялся чтецу весьма симптоматичным для понимания происходящих перемен. Он несколько минут распространялся на эту тему, после чего призвал аудиторию обратить внимание на следующие слова:

— В двухтысячном году перед нами стоит вопрос об уважительном отношении к другим. Мы, благополучные люди, усматриваем в путешествии не просто удовлетворение эгоистических желаний, но своеобразную форму выражения солидарности.

— Сколько этому парню заплатили за исследование? — шепотом спросила Валери у Жана Ива.

1. Административный центр департамента Эсон.

— Сто пятьдесят тысяч франков.

— Не может быть. За то, что он зачитает нам ксерокопию дурацкой статейки?

Линдсей Лагарриг между тем, изложив один абзац своими словами, с идиотским пафосом цитировал следующий:

— В двухтысячном году, — декламировал он, — мы уподобляемся кочевникам. Мы ездим на поезде, плаваем на теплоходе по рекам и океанам: в эпоху скоростей открываем для себя сладость неспешности. Мы растворяемся в безбрежном молчании пустынь; а потом вдруг окунаемся в водоворот многомиллионных столиц. И с неизменной страстью...

Этика, индивидуальное начало, солидарность, страсть — вот они, ключевые слова! — восклицал он. — В новом контексте не следует удивляться, что система клубного отдыха, основанная на эгоистической замкнутости и стандартизации запросов, переживает трудный период. Время "Загорелых"[1] прошло: сегодня востребованы подлинность, новизна и дух единения. Популярная недавно модель развлекательного туризма, построенная на пресловутых "Четырех S": Sea, Sand, Sun... and Sex[2], — отжила свое. Специалисты в области туризма должны уже сейчас готовиться к пересмотру своей будущей деятельности в свете новых перспектив.

"Поведенец" свое дело знал, он мог бы разглагольствовать в том же духе часами.

— Прошу прощения... — перебил его Жан Ив не без раздражения в голосе.

— Да?.. — социолог обратил к нему чарующую улыбку.

— Я думаю, все без исключения собравшиеся за этим столом знают, что клубы отдыха испытывают сегодня трудности. Мы вовсе не просим вас до бесконечности нам эти трудности описывать, но мы бы хотели услышать от вас, хотя бы в самых общих чертах, о возможных путях решения проблемы.

У Линдсея Лагаррига челюсть отвисла; он никак не ожидал возражений.

— Я полагаю, — забормотал он, — что для решения проблемы ее надо сначала выявить и посмотреть, в чем причина.

Еще одна пустая фраза, с досадой подумал Жан Ив; не просто пустая, но в данном случае еще и лживая. Причины коренились в общих тенденциях социального развития, изменить которые никто не в силах. К ним надо приспосабливаться. А вот как? Об этом "поведенец", судя по всему, не имел ни малейшего представления.

— В общем, вы хотите сказать, что система клубного отдыха устарела, — продолжил Жан Ив.

— Нет, совсем нет... — У социолога почва уходила из-под ног. — Я полагаю... я просто полагаю, что надо подумать.

— И за что только тебе, кретину, деньги платят? — тихо прошипел Жан Ив, а потом продолжил вслух: — Что ж, мы постараемся подумать. Благодарю вас, господин Лагарриг, за ваше сообщение. Скорее всего, сегодня вы нам больше не понадобитесь. Предлагаю объявить перерыв на десять минут и выпить по чашке кофе.

1. "Загорелые" — фильм о французском туристе, путешествующем по программе "Club Med".
2. Море, песок, солнце ... и секс (*англ.*).

Раздосадованный социолог собрал со стола диаграммы. Когда заседание возобновилось, Жан Ив, приготовив свои записи, взял слово:

— Как вам известно, с 1993 по 1997 год "Club Med" пережил самый серьезный кризис в своей истории. Многочисленные конкуренты и подражатели, копируя основные элементы концепции клуба, но существенно снижая цены, переманивали клиентов. Каким образом удалось выправить положение? В значительной степени за счет снижения цен. Но руководители "Club Med " не стали равняться на конкурентов, понимая, что обладают несомненными преимуществами: давность существования фирмы, репутация и прочее. Проведя целый ряд подробнейших опросов, они выяснили, что их клиенты готовы платить на 20—30 процентов больше за "марку" и возможность пользоваться, так сказать, первоисточником. Так вот, вопрос, над которым я бы предложил вам задуматься в ближайшее время: возможно ли на рынке клубного отдыха существование иной концепции, кроме той, что предложена "Club Med"? И если да, то можем ли мы сформулировать эту концепцию в общих чертах и определить, на каких клиентов она ориентирована? Вопрос непростой.

Как вы, наверное, знаете, я работал раньше в "Нувель фронтьер". Мы там тоже создавали клубы отдыха, хотя это и не самое известное направление деятельности компании. Они назывались "Ле Паладьен". Примерно в то же время, что и "Club Med", мы тоже столкнулись с трудностями, но быстро с ними справились. Почему? Потому что мы крупнейший туроператор во Франции. Совершив путешествие по стране, туристы в большинстве случаев желали отдохнуть на море. Считается, что наши маршруты трудны и требуют хорошей физической подготовки, это верно. Завоевав в поте лица звание "великих путешественников", клиенты рады почувствовать себя простыми курортниками. И мы решили включить отдых на море в значительную часть маршрутов, что позволило увеличить продолжительность туров, а день на море, как вам известно, значительно дешевле, чем день пути. Разумеется, мы отдавали предпочтение собственным гостиницам. Итак, вторая тема, которую я вам предлагаю обдумать: спасение клубов отдыха через сотрудничество с туроператорами. К этому вопросу надо подойти творчески и не ограничиваться только теми из них, кто действует на французском рынке. Надо искать. Возможно, имеет смысл установить контакт с туристическими фирмами Северной Европы.

После заседания к Жану Иву подошла миловидная блондинка лет тридцати. Ее звали Марилиз Ле-Франсуа, она занималась связями с общественностью и рекламой.

— Мне очень понравилось ваше выступление, — заметила она. — Вы сказали именно то, что нужно. Мне кажется, люди поняли, в чем их задача. Они увидели, что ими кто-то руководит. Теперь мы сможем по-настоящему взяться за работу.

4

Задача оказалась не из легких, и они в этом быстро убедились. Большинство английских и тем более немецких туроператоров уже имели свои сети клубов отдыха и нисколько не нуждались в сотрудничестве с какой-либо другой компанией. Все попытки кооперации провалились. С дру-

гой стороны, "Club Med" создал, как видно, оптимальную концепцию клубов отдыха; за все время его существования никто из конкурентов не сумел предложить что-нибудь реально новое.

Однако недели две спустя у Валери возникла идея. Часов около десяти вечера, перед тем как отправиться домой, она пила шоколад, бессильно повалившись в кресло, стоявшее посередине кабинета Жана Ива. Оба выглядели измученными; весь день они корпели над балансами клубов.

— Послушай, мы, наверное, зря разделяем путешествие и отдых, — сказала она со вздохом.

— Я тебя не совсем понимаю...

— Вспомни "Нувель фронтьер"... Когда выдавался день на пляже в середине пути, туристы это очень ценили, даже если в конце маршрута их ожидало пребывание на море. На что больше всего жалуются в турпоездках? На то, что приходится без конца менять гостиницы. В идеале хорошо бы постоянно чередовать экскурсии и отдых на море: день в поездке, день на пляже и так далее. И каждый вечер возвращаться к себе в гостиницу, в крайнем случае через вечер, если экскурсия двухдневная, но не паковать ежедневно чемоданы, не освобождать номер.

— В клубах отдыха всегда предлагаются экскурсии, и я не убежден, что они пользуются спросом.

— Да, но они предлагаются в дополнение к программе, а французы терпеть не могут дополнительных расходов. Кроме того, экскурсии надо заказывать на месте: отдыхающие раздумывают, медлят, выбрать не могут и в итоге никуда не едут. Они бы с удовольствием посмотрели новые места, но при условии, что за них все решат и подадут готовенькое. И главное, чтоб все было включено в стоимость.

Жан Ив задумался, потом сказал:

— А знаешь, неглупо... Ко всему прочему, это нетрудно наладить: думаю, уже летом можно будет, кроме обычного отдыха, предложить новую программу. Назвать ее: "Эльдорадор — Новые открытия" или что-нибудь в таком духе.

Прежде чем запустить проект, Жан Ив посоветовался с шефом, но быстро понял, что тот не намерен высказываться ни за, ни против. "Это ваше дело", — сухо ответил Леган. Когда Валери рассказывала мне о своей работе, я понимал, как мало смыслю в деятельности руководящих кадров. Тандем, который составили они с Жаном Ивом, уже сам по себе был явлением исключительным. "Нормальным считается, — объясняла мне Валери, — когда ассистентка метит на место своего начальника. И вот начинаются козни, подсиживания: иногда человеку даже выгодно загубить дело, чтобы свалить ответственность на другого". У них в группе обстановка сложилась скорее здоровая, по крайней мере на их места никто не претендовал: большинство считало покупку "Эльдорадора" ошибкой.

Всю вторую половину месяца Валери много работала с Марилиз Лефрансуа. Каталоги на лето должны были во что бы то ни стало появиться к концу апреля, это крайний срок, даже поздновато. У бывших владельцев "Эльдорадора" реклама была поставлена из рук вон плохо.

— "Отдых с 'Эльдорадором' уподобим тем волшебным минутам, когда спадает африканская жара и вся деревня собирается вокруг священного дерева послушать рассказы мудрецов...", — прочитала Валери Жану

Иву. — Скажи честно, ты веришь хоть одному слову? И тут же фотографии культработников: прыгают в идиотских желтых костюмчиках. Черт-те что.

— А как тебе нравится лозунг: "Эльдорадор — это жизни напор"?

— Не знаю, что тебе и сказать...

— Каталоги стандартной программы уже розданы, тут поздно что-либо менять. Что же касается "Новых открытий", придется начинать с нуля.

— Можно сыграть на контрасте суровых условий и роскоши, — вмешалась Марилиз. — Мятный чай в пустыне, но на дорогих коврах.

— Ну да, волшебные минуты... — устало протянул Жан Ив. Он тяжело поднялся со стула. — Обязательно вставьте куда-нибудь про "волшебные минуты"; как ни странно, это всегда работает. Ладно, я вас оставляю и возвращаюсь к своим фиксированным затратам...

Конечно же, самая неблагодарная часть работы ложилась на него. Валери это хорошо по́нимала. Сама она мало смыслила в гостиничном деле, хотя какие-то смутные воспоминания о занятиях в училище сохранила. "Эдуард Янг, владелец трехзвездной гостиницы с рестораном, поставил своей задачей наилучшее обслуживание клиентов; для удовлетворения их запросов он постоянно внедряет новшества. Он знает из опыта, что завтраку необходимо уделить особое внимание; хороший завтрак — основа сбалансированного питания, он чрезвычайно важен для создания имиджа гостиницы". Такую контрольную она писала на первом курсе. Эдуард Янг решает провести опрос среди своей клиентуры, разделив ее на группы по числу проживающих в номере (холостяки, супружеские пары, семьи). В задаче требовалось, проанализировав анкету, вычислить "X2", иными словами, ответить на вопрос: "Влияет ли семейное положение на потребление свежих фруктов за завтраком?"

Порывшись в папках, Валери отыскала-таки учебное задание, подходящее к теперешней ситуации. "Вы отвечаете за маркетинг в международном управлении компании 'Южная Америка'. Эта компания купила в Гваделупе четырехзвездную гостиницу 'Антильские острова' на сто десять номеров, расположенную на побережье. Гостиница, построенная в 1988 году и в 1996-м отремонтированная, в настоящее время испытывает серьезные трудности. Сорокапятипроцентная заполняемость не обеспечивает необходимого предела безубыточности". Валери получила тогда за работу 18 баллов из 20 и теперь усматривала в этом добрый знак. В училище подобные задачки казались ей надуманными и не больно-то правдоподобными. Могла ли она вообразить себя начальником отдела маркетинга компании "Южная Африка" или какой-либо другой? Она воспринимала эти задания как интеллектуальную игру, не слишком интересную, но и не слишком трудную. Сейчас все изменилось: на карту была поставлена их карьера.

Она возвращалась с работы такая усталая, что даже не в силах была заниматься любовью. Отдавалась она по утрам. Ее оргазмы сделались менее бурными, более сдержанными, словно бы приглушенными усталостью; я любил ее все сильней и сильней.

К концу апреля каталоги напечатали и разослали в пять тысяч турагентств, то есть практически по всей Франции. Теперь предстояло заняться разработкой экскурсий, чтобы к 1 июля все было готово. В успехе всякого рода нововведений молва играла огромную роль: одна

несостоявшаяся или плохо организованная экскурсия могла повлечь за собой потерю значительного числа клиентов. Они решили не тратиться на большую рекламную кампанию. Любопытно, что Жан Ив, специалист по маркетингу, мало верил в рекламу как таковую. "Реклама полезна, когда нужно изменить имидж, -- говорил он, — но нам сейчас не до того. Нам главное все хорошо спланировать и завоевать доверие". Зато они вложили немалые деньги в информацию для турбюро; новую программу надо было предлагать быстро, естественно и неожиданно. Этим занялась Валери, благо работу турагентств знала не понаслышке. Из прослушанных некогда курсов она хорошо помнила всю цепочку аргументов, которой подобало владеть продавцу путевок (Отличительные особенности — Преимущества — Наглядные примеры — Надежность — Престиж — Новизна — Комфорт — Деньги — Улыбка); помнила она и то, что на деле все обстояло несравненно проще. Но продавали путевки чаще всего совсем юные девушки, только закончившие учебу; лучше было разговаривать с ними на том языке, к которому они привыкли. Общаясь с ними, Валери обнаружила, что в училищах все еще преподают классификацию Барма (*Покупатель-практик*: целиком сосредоточен на приобретаемом товаре, придает значение количеству, качеству и новизне. *Доверчивый покупатель*: слепо полагается на продавца, поскольку ничего не смыслит в товаре. *Покупатель-сообщник*: ему важнее всего взаимопонимание с продавцом; главное, установить с ним хороший личный контакт. *Покупатель-рвач*: это манипулятор, он стремится выйти непосредственно на поставщика, во всем ищет выгоду для себя. *Перспективный покупатель*: внимательно присматривается и к продавцу, и к товару; уважителен, знает, что ему нужно, легко идет на контакт). Валери была старше этих девушек лет на пять-шесть; не так давно она начинала в таком же турагентстве, а теперь достигла высот, о которых большинство из них и мечтать не смели. Они взирали на нее с глуповатым благоговением.

Возвращаясь с работы, я открывал квартиру Валери своим ключом; дожидаясь ее, изучал вечерами "Курс позитивной философии" Огюста Конта. Мне нравился этот нудный и насыщенный текст; одну и ту же страницу я нередко перечитывал три-четыре раза подряд. Недели за три я дошел до конца пятидесятого урока: "Предварительные замечания о социальной статике, или общая теория устройства человеческих обществ". Нужна же мне была какая-нибудь теория, которая помогла бы мне понять мое собственное положение в обществе.

— Ты слишком много работаешь, Валери, — сказал я как-то майским вечером, когда она сидела в гостиной на диване, ссутулившись от усталости. — Надо хотя бы извлекать из этого пользу. Ты должна откладывать деньги, иначе они утекут у нас сквозь пальцы.

Она со мной согласилась. На другое утро она отпросилась на два часа, и мы вместе отправились открывать счет в банк "Креди агриколь" у Орлеанской заставы. Она написала доверенность на мое имя, а два дня спустя я приехал уже один беседовать с консультантом. Я решил откладывать ежемесячно из ее зарплаты двадцать тысяч франков: половину на страховку, половину на покупку квартиры. Жил я теперь практически все время у нее, держать мою квартиру не имело никакого смысла.

Она сама об этом заговорила в начале июня. Мы тогда почти целый день занимались любовью, в перерывах лежали в постели обнявшись; потом она брала мой член в руку или в рот, потом я снова углублялся в

нее; мы оба еще ни разу не кончили, и я легко возбуждался от любого ее прикосновения, а ее влагалище оставалось постоянно влажным. Ей было хорошо, я это видел; ее глаза излучали покой. Часов в девять она предложила пойти поужинать в итальянский ресторан возле парка Монсури. Еще не совсем стемнело, стоял теплый вечер. После ужина мне надо было забежать домой, чтобы утром явиться на работу, как подобает, в костюме и галстуке. Официант подал нам два фирменных коктейля.

— Послушай, Мишель, — сказала она, когда он отошел, — может, тебе переехать ко мне? Какой смысл нам и дальше играть в независимость? Или давай снимем вместе новую квартиру, если тебе так больше нравится.

Пожалуй, да: так мне нравилось больше; так я сильнее ощущал, что начинаю все с нуля. У меня не было опыта совместной жизни, у нее, впрочем, тоже. Человек привыкает к одиночеству и к независимости; не факт, что это хорошая привычка. Если я хотел испытать, что такое супружество, то случай представился явно подходящий. Я, разумеется, знал недостатки данной формы существования; знал, что в супружеской паре желание притупляется быстрей. С другой стороны, оно все равно рано или поздно притупляется, таков закон жизни; а тут возможно возникновение союза иного рода — многие, по крайней мере, на это рассчитывают. В тот вечер, однако, желание, которое я испытывал к Валери, притупляться не собиралось. Перед тем как расстаться, я поцеловал ее в губы; она широко открыла рот и полностью отдалась поцелую.

На другой же день я занялся объявлениями; жилье хотелось подыскать в южной части города, поближе к ее работе. За неделю я нашел то, что нужно: большую четырехкомнатную квартиру на тридцатом этаже Опаловой башни у заставы Шуази. Никогда прежде я не жил в квартире с таким видом на Париж; правда, никогда прежде к этому и не стремился. Когда настало время переезжать, я обнаружил, что не дорожу ни единой вещью в своей квартире. И нет чтобы обрадоваться, ощутить эдакое опьянение независимостью, нет, я даже слегка испугался. Получалось, я за сорок лет не сумел привязаться ни к одному предмету. И было-то у меня всего-навсего два костюма, которые я носил поочередно. Ну еще книги, само собой; но я мог запросто купить их снова, среди них не нашлось ни одной ценной или редкой. Я встречал на своем пути множество женщин; ни от одной у меня не сохранилось ни фотографии, ни письма. Не осталось у меня и своих собственных фотографий и никаких воспоминаний о том, как я выглядел в пятнадцать, двадцать или тридцать лет. Никаких особенных документов: все данные о моей личности легко умещались в картонную папку стандартного формата. Неправильно думать, будто каждый человек уникален и неповторим; я, например, не видел в себе никаких следов этой самой уникальности. Люди в большинстве случаев напрасно придают такое значение индивидуальным судьбам и характерам. Утверждение, что человеческая личность уникальна, не что иное как возвышенный вздор. О своей жизни помнишь немногим более, чем о некогда прочитанном романе, пишет где-то Шопенгауэр. Так оно и есть: немногим более.

5

Во второй половине июня дел у Валери опять прибавилось; работа с далекими странами осложняется разницей во времени: теоретически

можно оказаться занятым двадцать четыре часа в сутки. Дни становились все жарче, лето выдалось великолепное; только пользоваться им не получалось. После трудового дня я наведывался в ресторанчик "Братья Танг", пробовал научиться азиатской кухне. Это оказалось сложнее, чем я думал; ингредиенты сочетались там в совершенно иных пропорциях, особым способом резались овощи, в общем, я столкнулся с другим мировоззрением. В итоге решил обойтись кухней итальянской как более доступной для меня. Никогда бы не подумал, что буду находить удовольствие в стряпне. Вот до чего доводит любовь.

В пятидесятом уроке социологии Огюст Конт опровергает "нелепое метафизическое заблуждение", в силу которого семья представляется подобием общества. "Домашний союз, — пишет он, — основанный на привязанности и благодарности, предназначен для того, чтобы самим своим существованием непосредственно удовлетворять заложенной в человеке потребности в сочувствии, и не связан с идеей активного и долговременного сотрудничества для достижения какой-либо иной цели. Когда же координация деятельности становится единственным обоснованием связи, союз вырождается в простую ассоциацию и в большинстве случаев в скором времени распадается". У себя в министерстве я по-прежнему работал по минимуму; мне все же пришлось организовать две-три значительные выставки, справился я с ними без труда. Кабинетная работа нехитрая, достаточно быть пунктуальным, быстро принимать решения и их придерживаться. Я давно понял: не так важно принять наилучшее решение; главное, как правило, принять хоть какое-нибудь решение, но быстро, по крайней мере на государственной службе. Я отвергал одни проекты, оставлял другие, руководствуясь весьма расплывчатыми критериями, но за десять лет ни разу не попросил дополнительной информации; и в общем-то не испытывал угрызений совести. В глубине души я не питал особого уважения к мастерам современного искусства. Большинство известных мне художников действовали совершенно так же, как предприниматели: они отыскивали свободные ниши и старались поскорей их захватить. Подобно предпринимателям они получали образование в одних и тех же учебных заведениях и формировались по одному образцу. Но были все-таки и различия: в искусстве давали более высокие премии за новации, чем в других областях; кроме того, художники нередко объединялись в *стаи* и этим отличались от предпринимателей — одиноких волков, окруженных врагами: акционерами, чуть что норовящими сбежать, вышестоящими чиновниками, готовыми кинуть их в любую минуту. Рассматривая проекты, которые ложились ко мне на стол, я редко чувствовал у их авторов подлинную потребность в самовыражении. В конце июня состоялась выставка Бертрана Бредана, которого я с самого начала настойчиво проталкивал, к изумлению Мари Жанны, привыкшей к пассивности и безразличию с моей стороны, тем более что ей самой творчество этого типа внушало глубочайшее омерзение. Художник не относился к числу молодых, ему было сорок три года, и вид он имел весьма потрепанный — напоминал поэта-пьянчугу в фильме "Жандарм из Сен-Тропеза". Прославился он тем, что набивал женские трусики тухлым мясом и выпускал в выставочном зале мух, которых взращивал на собственных экскрементах. Впрочем, успеха он не добился: во-первых, не располагал нужными связями; во-вторых, зациклился на всякой мерзости, работал в подустаревшем уже ключе "трэш". Я ощущал в нем какую-то подлинность; не исключаю,

правда, что подлинным было его ничтожество. Он выглядел несколько неуравновешенным. Его последняя задумка была еще хуже предыдущих. Или лучше — это как посмотреть. Он снял фильм о том, что происходит с трупами людей, которые завещают свое тело науке, то есть, например, студентам для проведения учебных вскрытий. На демонстрации фильма, смешавшись с публикой, несколько студентов медицинского факультета неожиданно подсовывали вам отрезанную руку или вырванный глаз, словом, шутили так, как и подобает юным медикам. Я имел неосторожность пригласить на вернисаж Валери, да еще после трудного рабочего дня. К моему удивлению, народу в зале собралось много, в том числе весьма влиятельные особы: может, у Бертрана Бредана начинается полоса удач? Валери с трудом выдержала полчаса, после чего попросила меня уйти. Тут как назло перед нами возник студент, держащий на ладони отрезанный пенис с тестикулами и волосками на них. Ее чуть не стошнило, она отвернулась и повлекла меня к выходу. Мы завернули в кафе "Бобур".

Полчаса спустя туда ввалился Бертран Бредан в сопровождении двух-трех знакомых мне девиц и еще каких-то людей, среди которых я узнал шефа спонсорского отдела банка. Они расположились за соседним столиком, и мне ничего не оставалось, как пойти поздороваться. Бредан мне искренне обрадовался — я и в самом деле ему серьезно помог. Разговор затянулся, Валери подсела к нам. Не помню точно, кто предложил отправиться к "варварам" — в "Bar-Bar" — возможно, сам Бредан. Я согласился, совершив тем самым очередную глупость. Попытки большинства секс-клубов включить в свою программу еженедельные вечера садомазохизма провалились. В отличие от них "Bar-Bar", изначально предназначавшийся для садомазохизма и не предъявлявший, кроме особых случаев, жестких требований к одежде, со дня своего открытия пользовался популярностью. Я знал, что садомазохисты — публика весьма специфическая, утратившая всякий интерес к обычному сексу и, соответственно, обычным секс-клубам.

У самого входа ерзала в клетке, словно не находя себе места, женщина лет пятидесяти с румяным лицом, в наручниках и с кляпом во рту. Приглядевшись, я увидел, что ноги у нее прикреплены железными цепями к прутьям клетки; всей одежды на ней был только корсет из искусственной черной кожи, поверх которого свисала большая дряблая грудь. У этой рабыни имелся хозяин, намеревавшийся, по здешним обычаям, продать ее с молотка на один вечер. Похоже, ей тут не слишком нравилось; как я понял, она вертелась туда-сюда, пытаясь спрятать свои целлюлитные ягодицы — но напрасно, клетка-то открыта с четырех сторон. Возможно, она таким способом зарабатывала на жизнь: я слышал, что люди продают себя в рабство по тысяче, а то и по две за вечер. Я вообразил, что это какая-нибудь мелкая служащая, телефонисточка из собеса, сводившая таким образом концы с концами. Свободным оказался только один столик у входа в первый зал пыток. Как только мы сели, к нам приблизилась парочка: чернокожая повелительница с голым задом тащила на поводке совершенно лысого пузатого мужчину в тройке. Поравнявшись с нами, она остановилась и велела ему раздеться. Он повиновался и оголил довольно большие для мужчины жирные сиськи. Она достала из сумочки два металлических зажима и прицепила их к красным продолговатым сосцам. Мужик скривился от боли. Затем она дернула за поводок, он опустился на четвереньки и поковылял за ней; складки

живота у него тряслись, в тусклом освещении тело казалось очень бледным. Я заказал виски, Валери — апельсиновый сок. Она упорно глядела в стол, стараясь не замечать всего, что творилось вокруг, в разговоре не участвовала. Маржори и Жеральдина, знакомые девушки из Управления изобразительных искусств, наоборот, выглядели возбужденными. "Сегодня все очень целомудренно, очень", — разочарованно проворчал Бредан. Он рассказал нам, что в иные вечера тут загоняют иголки в яички или в головку члена; а как-то раз одному типу повелительница клещами выдрала ноготь. Валери передернуло от отвращения.

— По-моему, это ужасная мерзость, — сказала она не в силах больше сдерживаться.

— Почему *мерзость*? — удивилась Жеральдина. — Если участники соглашаются добровольно, то нет проблем. Договор как договор, не хуже любого другого.

— Не верю, что можно *добровольно согласиться* на унижения и страдания. А если и так, то все равно это недопустимо.

Валери заметно нервничала, и я подумывал, не перевести ли мне разговор на палестино-израильский конфликт, а потом вдруг понял, что мне глубоко наплевать на мнение этих девиц; если они перестанут мне звонить — мне же лучше: работы меньше.

— Вообще-то мне все они противны, — сказал я и добавил немного тише: — И вы тоже.

Последней фразы Жеральдина не услышала или сделала вид, что не слышит.

— Если совершеннолетний человек, — сказала она, — желает страдать и изучать мазохистскую составляющую своей сексуальности, я не понимаю, по какому праву кто-то может ему помешать. У нас все-таки демократия.

Она тоже нервничала, и я уже чувствовал, что сейчас она перейдет к *правам человека*. При слове *демократия* Бредан взглянул на нее с презрением; он обернулся к Валери.

— Вы правы, — сказал он мрачно, — это полнейшая мерзость. Когда я вижу человека, который соглашается, чтобы ему выдирали ногти, чтоб на него испражнялись, и потом еще жрет говно своего палача, я нахожу это мерзким. Но именно мерзость в человеке и интересует меня больше всего.

Прошло несколько секунд, после чего Валери спросила с болью в голосе:

— Почему?

— Не знаю, — отвечал Бредан бесхитростно. — Я не верю, что на человеке лежит проклятие, потому что вообще не верю ни в какие проклятия и ни в какие благодати. Но мне кажется, что, всматриваясь пристальней в страдания и жестокость, господство и рабство, мы приближаемся к самой сути — к природе сексуальности. Вы не согласны?

Он обращался ко мне. Да, я был не согласен. Жестокость свойственна человеку издавна, мы встречаем ее у примитивных народов: во времена первых племенных войн победители сохраняли жизнь некоторым пленникам, чтобы потом заставить их умирать в страшных муках. Эта тенденция сохранилась и дошла до наших дней: когда разражается война, хоть с внешним врагом, хоть гражданская, обычные моральные рамки рушатся, и — независимо от расы, национальности, культуры — неизменно появляются люди, находящие радость в изуверстве и истязаниях.

Тому есть множество примеров, но только это не имеет ничего общего с истинным сексуальным наслаждением, столь же древним и столь же сильным. Короче, я был не согласен; но, как всегда, понимал, что спорить бесполезно.

— Пройдемся? — предложил Бредан, допив пиво.

Я пошел за ним в первый зал пыток, а все остальные за нами. Мы находились в подвале со сводчатым каменным потолком. Музыкальный фон слагался из очень низких органных аккордов, на которые накладывались вопли истязаемых. Музыка транслировалась через громадные усилители. Повсюду были красные прожекторы, маски и орудия пыток в специальных подставках; на оборудование, должно быть, угрохали целое состояние. В углублении, похожем на альков, висел прикованный мужчина, истощенный и лысый, ноги его были зажаты деревянными колодками на высоте полуметра от пола, а кисти наручниками прикреплены к потолку. Его повелительница, облаченная в черный латекс, сапоги и перчатки, расхаживала вокруг него с хлыстом из тонких ремешков, инкрустированных драгоценными камнями. Сначала она долго хлестала его по ягодицам размашистыми ударами с оттяжкой; мужик этот, совершенно голый, повернутый к нам лицом, орал от боли. Вокруг собрались зрители.

— Она, я думаю, на втором уровне, — шепнул мне на ухо Бредан. — Первый — это когда останавливаются при появлении крови.

Член и мошонка у парня болтались в пустоте, длинные и будто свернутые набок. Повелительница обошла его кругом, порылась в сумочке у себя на поясе, извлекла оттуда несколько крючков и всадила их в мошонку; проступили капельки крови. Половые органы она хлестала аккуратней. Тут все было на пределе: зацепившись за крючок, ремешок разорвал бы кожу. Валери отвернулась, прижалась ко мне.

— Пошли, — умоляюще проговорила она, — пошли, я тебе после объясню.

Мы вернулись в бар; все остальные были настолько поглощены зрелищем, что не обратили на нас внимания.

— Эту бабу, которая его хлестала, я знаю, — сказала Валери вполголоса. — Я видела ее всего однажды, но не сомневаюсь, что это она... Это Одри, жена Жана Ива.

Затем мы сразу ушли. В такси Валери неподвижно смотрела в одну точку. В лифте она продолжала молчать. И только закрыв за собой дверь квартиры, обернулась ко мне:

— Мишель... ты находишь, что я несовременна?

— Да нет же! Я и сам этого не переношу.

— Палачей я еще хоть как-то могу понять, они мне отвратительны, но я знаю, что существуют люди, которым нравится истязать других; с чем я не в состоянии смириться, так это с поведением жертв. Как человек может дойти до того, чтобы предпочитать страдания радости? Не знаю, таких надо перевоспитывать что ли, любить их, учить наслаждаться.

Я пожал плечами, показывая тем самым, что это выше моего понимания — как в последнее время и все остальное в моей жизни. Человек совершает какие-то поступки, он согласен вынести то-то и то-то... Можно ли тут сделать какой-то общий вывод, уловить некий смысл? Я молча стал раздеваться. Валери села на кровать рядом со мной. Я чувствовал, что она напряжена и никак не придет в себя.

— Самое страшное, — продолжила она, — что при этом нет никакого физического контакта. Все в перчатках, все пользуются инструментами. Кожа не соприкасается с кожей, ни поцелуя, ни ласки. На мой взгляд, это противоречит самой природе секса.

Она была права, но приверженцы садомазохизма видят, должно быть, в своих действиях апофеоз секса, его высшее проявление. Каждый замурован в собственной скорлупе и наслаждается своей уникальностью; это тоже мировоззрение. Во всяком случае, подобные заведения все больше входили в моду. Я с легкостью допускал, что Маржори с Жеральдиной, например, их посещают, а вот представить себе, как они отдаются, ну и вообще занимаются сексом, не мог.

— Все проще, чем кажется, — произнес я наконец. — Сексуальное влечение у людей, которые любят друг друга, — это одно; сексуальность у тех, кто не любит, — это другое. Когда человек не может слиться с другим, ему остаются страдания и жестокость.

Валери прижалась ко мне и прошептала:

— Мы живем в странном мире...

Защищенная от окружающей реальности непомерной занятостью на работе, так что ей едва хватало времени заскочить в магазин, отдохнуть и начать новый день, она в некотором смысле осталась наивной.

— Мне не нравится мир, в котором мы живем, — добавила она.

6

> Наши опросы показали, что потребители ждут от нас трех вещей: безопасности, новых эмоций и эстетического наслаждения.
>
> Бернар Гильбо

30 июня из агентств поступили сводки о количестве забронированных мест. Они превзошли все ожидания. "Эльдорадор-Новые открытия" имел успех, он сразу стал распродаваться лучше, нежели традиционная программа, спрос на которую продолжал падать. Валери позволила себе взять недельный отпуск, и мы отправились к ее родителям в Сен-Ке-Портриё. Для жениха, которого везут показывать семье, я чувствовал себя староватым — как-никак я был старше ее на тринадцать лет и к тому же в такой роли выступал впервые. Отец Валери встречал нас на вокзале в Сен-Бриё. Он расцеловал дочь, долго ее обнимал, видно было, что соскучился. "Ты похудела", — сказал он. Потом обернулся ко мне, протянул руку, не глядя в глаза. Наверное, он тоже чувствовал себя неловко: я работаю в Министерстве культуры, а он — простой крестьянин. Мать оказалась намного разговорчивей, она долго расспрашивала меня обо всем: как я живу, работаю, отдыхаю. Словом, ничего особенно трудного, тем более что Валери сидела со мной рядом и время от времени отвечала за меня; мы с ней переглядывались. Я пытался вообразить, как бы я вел себя за семейным столом, если б у меня были дети, но не мог; я вообще не мог представить себе будущего.

Вечером нам подали настоящий праздничный ужин: омар, седло ягненка, несколько сортов сыра, торт с клубникой и кофе. Мне, понятно, хотелось видеть в этом знак того, что меня признали, хотя трапеза, со-

вершенно ясно, готовилась заранее. Разговор поддерживала главным образом Валери, рассказывала о своей новой работе, о которой я знал почти все. Я тем временем разглядывал занавески, побрякушки, семейные фотографии в рамках. Я попал в *семью* и испытывал от этого волнение, смешанное с тревогой.

Валери пожелала непременно спать в своей детской комнате. "Лучше вам устроиться в комнате для гостей, – возражала ее мать. – В детской вдвоем будет тесно". Кровать и в самом деле оказалась узковатой, зато я чуть не прослезился, когда, оттянув трусики и поглаживая промежность Валери, думал о том, что она спала здесь в тринадцать-четырнадцать лет. Сколько времени потеряно даром, говорил я себе. Я опустился на колени возле кровати, повернул Валери к себе, снял с нее трусики. Ее влагалище сомкнулось вокруг моего острия. Я играл ся, углублялся, потом подавался на несколько сантиметров назад, сжимая ладонями ее грудь. Она кончила со сдавленным криком и рассмеялась. "Родители еще не спят," – прошептала она. Я вошел в нее снова, сильнее, чтобы кончить самому. Она наблюдала за мной с блестящими глазами и зажала мне рот рукой в ту самую минуту, когда я разрешался с глухим урчанием.

Потом я сидел и рассматривал комнату. На полке над "Розовой библиотекой" лежали несколько аккуратно переплетенных тетрадей.

– Это я писала лет в десять-двенадцать. Романы из серии "Пять юных сыщиков и верный пес"[1].

– Как это?

– Неизданные похождения "юных сыщиков", я сочиняла их сама, а персонажей позаимствовала.

Я взял тетрадки: там были "Пять юных сыщиков в космосе", "Пять юных сыщиков в Канаде". Я представил себе замкнутую девочку, фантазерку – такой я ее уже не увижу никогда.

Следующие несколько дней мы бездельничали, ходили на пляж. Валери часами лежала на солнце; понемногу силы ее восстанавливались; она никогда не работала столько, сколько в последние три месяца. Как-то вечером я заговорил с ней об этом. Мы сидели в "Океаническом баре", заказали два коктейля.

– Теперь, когда новая программа уже запущена, ты станешь посвободнее.

– Сначала – да, – она невесело улыбнулась, – но скоро надо будет придумывать что-то новое.

– Зачем? Почему не остановиться?

– Таковы правила игры. Жан Ив объяснил бы тебе принцип капитализма: либо ты идешь вперед, либо тебе конец. Разумеется, добившись решающего преимущества над конкурентами, можно отдыхать и несколько лет; но нам до этого далеко. Сама схема "Эльдорадор – Новые открытия" недурна, мы сделали тонкий, я бы сказала, хитроумный ход, но в этой схеме нет ничего реально новаторского – просто хорошо сбалансированная смесь двух ранее существовавших концепций. Конкуренты увидят, что дело пошло, и быстро заполнят нишу. Это ведь не сложно сделать; у нас трудность заключалась в том, чтобы раскрутить проект в очень короткий срок. Не сомневаюсь, что "Нувель фронтьер", напри-

1. Серия приключенческих романов для детей английской писательницы Энид Блайтон.

мер, уже следующим летом смогут составить нам конкуренцию. Если мы хотим сохранить преимущество за собой, надо придумывать что-то новенькое.

— И так без конца?

— Думаю, да. Я существую в системе, знаю свое дело, мне прилично платят. Я приняла условия игры.

Должно быть, я выглядел удрученным; она обняла меня за плечи:

— Пойдем ужинать... Родители нас ждут.

Мы вернулись в Париж в воскресенье вечером. В понедельник утром у Валери и Жана Ива была назначена встреча с Эриком Леганом. От имени компании он высказал удовлетворение результатами их деятельности. Совет директоров единогласно постановил премировать их акциями — небывалый случай для сотрудников, проработавших на фирме меньше года.

Вечером мы ужинали втроем в марокканском ресторане на улице Дез Эколь. Жан Ив был плохо выбрит, лицо казалось отекшим, он както странно покачивал головой. "По-моему, он начал пить, — сказала мне Валери еще в такси. — Он отвратительно провел отпуск с семьей на острове Ре. Поехал на две недели, но сбежал в конце первой. Говорит, что не может больше выносить друзей своей жены".

В самом деле, с ним творилось что-то неладное: он не притронулся к мясу, зато без конца подливал себе вина.

— Сработало, — усмехнулся он сардонически. — Скоро будем грести деньги лопатой! — Он тряхнул головой, опорожнил стакан, потом смущенно поправился: — Простите... Я что-то не то болтаю.

Руки его дрожали, он положил их на стол, выждал, дрожь немного унялась. Потом посмотрел Валери прямо в глаза.

— Ты знаешь, что случилось с Марилиз?

— Марилиз Ле-Франсуа? Нет, я ее не видела. Она больна?

— Не больна, хуже. Она провела три дня в больнице, где ее пичкали транквилизаторами, но она не больна. На нее напали и изнасиловали в поезде, когда она возвращалась с работы в прошлую среду.

Через неделю Марилиз вышла на работу. Сразу чувствовалось, что она пережила тяжелейший стресс; в ней появилась какая-то заторможенность, движения сделались механическими. Она спокойно рассказывала о том, что с ней случилось, слишком спокойно и потому неестественно, говорила ровным голосом, лицо оставалось бесстрастным и неподвижным; она словно бы машинально повторяла свои показания следователю. Кончив работу в 22 часа 15 минут, она не стала ждать такси, а села на поезд в 22 часа 21 минуту, решив, что так доберется быстрее. Народу в вагоне ехало мало. К ней подошли четверо парней и стали говорить оскорбительные вещи. Похожи были на выходцев с Антильских островов. Она попробовала им отвечать, отшучиваться; они ударили ее по лицу так, что она едва не потеряла сознание. Потом двое бросились на нее, повалили на пол. Они насиловали ее грубо, безжалостно, во все отверстия. Когда она пыталась кричать, снова били по лицу. Это продолжалось долго — поезд проехал несколько станций; люди выходили, пересаживались от греха подальше в другие вагоны. Парни измывались над ней по очереди, смеялись, оскорбляли, называли шлюхой и блядью. Под конец в вагоне не осталось никого, кроме них. Тогда они начали плевать ей в лицо, потом дружно на нее помочились,

ногами затолкали ее под скамейку и преспокойно вышли на Лионском вокзале. Две минуты спустя поезд стал заполняться новыми пассажирами, они вызвали полицию, та явилась немедленно. Комиссар большого удивления не выразил, сказал даже, что она легко отделалась. Такие отморозки, изнасиловав девушку, зачастую ее и приканчивают, загоняют, например, палку с гвоздями во влагалище или в задний проход. Эта линия железной дороги считается неблагополучной.

Руководство "Авроры" выпустило очередную инструкцию, напоминающую сотрудникам о необходимости соблюдать меры предосторожности и в случае задержки на работе вызывать такси – расходы компания полностью брала на себя. Охрану помещений и автостоянки усилили.

В тот день Валери поставила свою машину на ремонт, и вечером Жан Ив вызвался ее подвезти. Перед тем как уйти, он посмотрел в окно кабинета на беспорядочно разбросанные дома, торговые центры, транспортные развязки, башни. Далеко на горизонте догорал городской закат, окрашенный в неестественные сиреневато-зеленые тона.

– Такое впечатление, – сказал он, – будто мы заперты в этом здании, как сытые лошади в загоне, а вокруг джунгли, где рыщут хищники. Я был однажды в Сан-Паулу, там процесс зашел еще дальше. Это уже не город, а огромная урбанизированная территория: бидонвили, гигантские здания офисов, шикарные особняки, охраняемые вооруженными до зубов жандармами. Значительная часть жителей – а их двадцать с лишним миллионов – рождаются, живут и умирают, не покидая пределов этой территории. По улицам опасно передвигаться даже в автомобиле: могут напасть, когда ты остановишься на красный свет, или за тобой может погнаться вдруг банда на мотоциклах с пулеметами и гранатометами. Люди состоятельные перемещаются почти исключительно на вертолетах; посадочные площадки оборудованы на крышах банков и жилых домов. А все, что ниже, улица – во власти бедноты и гангстеров.

Когда они выехали на Южную автостраду, он тихо прибавил:

– Я вот все думаю, и меня все чаще одолевают сомнения: а тот ли мы строим мир?

Несколько дней спустя они снова возвращались вместе. Остановив машину перед нашим домом на авеню Шуази, Жан Ив закурил, помолчал немного, потом повернулся к Валери:

– Мне очень неприятно, но эта история с Марилиз... Врачи сказали, что она может работать, и правда, в определенном смысле она нормальна, припадков у нее нет. Но она совершенно безынициативна, будто парализована. Когда нужно принять решение, идет советоваться со мной; если меня нет на месте, может ждать часами и за это время пальцем не пошевельнет. Она же наше лицо, на ней связи с общественностью! Нет, так дело не пойдет.

– Но ты же ее не уволишь?

Жан Ив затушил сигарету и долго смотрел через стекло на бульвар; руки крепко сжимали руль. В последнее время он выглядел все более напряженным и потерянным; Валери заметила пятна у него на костюме.

– Не знаю, – выдавил он наконец. – Я никогда не сталкивался с такой ситуацией. Уволить – нет, это было бы подло; но придется подыскать ей другое занятие, где не нужно принимать ответственных реше-

ний, постоянно общаться с людьми. И потом, после этого случая у нее появились некоторые расовые предрассудки. Конечно, ее можно понять, но в туристическом бизнесе это недопустимо. В рекламе, в каталогах, во всякой информационной продукции коренные жители всегда предстают людьми гостеприимными, приветливыми, открытыми. Иначе невозможно: это наша профессиональная обязанность.

На другой же день Жан Ив поговорил с Леганом, тот эмоциям поддаваться не привык, и неделю спустя Марилиз перевели в бухгалтерию на место ушедшей на пенсию сотрудницы. Оставалось найти ответственного за рекламную кампанию "Эльдорадора". Жан Ив и Валери проводили собеседование вместе. Они отсмотрели человек десять и за обедом стали обсуждать кандидатуры.

— Пожалуй, мне приглянулся Нуреддин, — сказала Валери. — Яркая личность, участвовал уже во многих проектах.

— Да, он лучше всех; но мне кажется, он даже слишком талантлив для такой должности. Турагентство — неподходящее для него место; ему бы что-нибудь попрестижнее и связанное с искусством. У нас ему будет скучно, он долго не просидит. Нам нужен человек с меньшими запросами. Кроме того, он из семьи арабских иммигрантов, тут тоже могут возникнуть проблемы. Публику приходится завлекать кичем: восточное гостеприимство, чай с мятой, джигитовка, кочевники... Я замечал, что у таких, как он, это не клеится. Французы арабского происхождения вообще часто презирают арабские страны.

— Расовая дискриминация при приеме на работу... — усмехнулась Валери.

Жан Ив разволновался; после возвращения из отпуска он все время нервничал и потерял всякое чувство юмора.

— Глупости! Все так делают! — воскликнул он запальчиво. За соседним столиком обернулись. — Происхождение человека — составная часть личности, этого нельзя не учитывать. Для переговоров на местах я бы, например, не задумываясь взял иммигранта из Туниса или Марокко, пусть даже живущего во Франции гораздо меньше, чем Нуреддин. Такие люди принадлежат двум мирам одновременно, и в этом их сила. Собеседнику с ними всегда очень трудно. На родине их уважают, думают: раз они преуспели во Франции, значит, хитрее их не бывает. Как посредники они незаменимы. Но на рекламу я бы пригласил Бригит.

— Датчанку?

— Да. Рисовальщица она тоже способная. Настроена антирасистски — говорят, живет с ямайцем. Наивно-глуповата, в восторге от всего мало-мальски экзотического. Детей пока заводить не собирается. Короче, по-моему, то, что надо.

Возможно, еще одну причину он не назвал — Валери поняла это несколько дней спустя, заметив, как Бригит кладет руку Жану Иву на плечо.

— Ты права, — согласился он, когда они вместе стояли у кофейного автомата, — в моем личном деле теперь может появиться запись: сексуальные домогательства... Не волнуйся, это далеко не зайдет, у нее же есть парень.

Валери окинула его взглядом: ему бы волосы подстричь, он совсем перестал за собой следить.

— Я тебя ни в чем не упрекаю, — сказала она.

Интеллектуально он нисколько не сдал, в обстановке и в людях по-прежнему разбирался безошибочно, интуиция в финансовых делах его не подводила; однако выглядел он глубоко несчастным и подавленным.

Подошло время обрабатывать и анализировать анкеты, заполненные курортниками; многие отдыхающие приехали в городки "Эльдорадора" повторно, но в основном те, кто выиграл путевки в лотерею. Причины, по которым старая схема "Эльдорадора" все меньше пользовалась спросом, на первый взгляд трудно поддавались определению. Отдыхающих вроде бы все устраивало: и условия проживания, и место, и питание, и развлечения, и занятия спортом, однако ехать второй раз они почему-то не хотели.

В еженедельнике "Туризм" Валери случайно попалось на глаза исследование новых запросов потребителя. Автор опирался на модель Холбрука и Хиршмана: в основе ее лежат эмоции, которые потребитель испытывает по отношению к товару или услуге; выводы не содержали ничего принципиально нового. Сегодняшние потребители представали в статье менее предсказуемыми, более эклектичными, расположенными к филантропии, их поведение — более игровым. Они потребляют не для вида — они так живут; они менее суетны. Они умеренны в пище, следят за здоровьем; с недоверием относятся к чужакам, с опаской смотрят в будущее. Они настаивают на праве менять свои пристрастия из любопытства и склонности к эклектизму; отдают предпочтение надежному, долговременному, подлинному. Им небезразличны этические проблемы: солидарность с другими народами и прочее. Все это она читала уже сотни раз, социологи и психологи пережевывали жвачку, одни и те же мысли кочевали из статьи в статью, из журнала в журнал. Все это они с Жаном Ивом, собственно, уже учли. Гостиницы "Эльдорадора" были построены из природных материалов в стиле традиционной местной архитектуры. Рестораны предлагали сбалансированное меню с обилием сырых овощей и фруктов в духе "критской диеты". Отдыхающие могли заниматься йогой, аутогенной тренировкой, китайской гимнастикой тай-цзи-цзюань. "Аврора" подписала хартию этического туризма и регулярно производит отчисления во Всемирный фонд дикой природы. Но, несмотря ни на что, "Эльдорадор" увядал.

— Думаю, люди попросту врут, — заявил Жан Ив, еще раз перечитав сводный отчет по анкетированию. — Пишут, что довольны, ставят галочку в графе "хорошо", а в действительности чертовски скучали во время отпуска, только им стыдно в этом признаться. В конце концов, я возьму и продам все курорты, которые нельзя приспособить к программе "Открытия", и поставлю на активный отдых: сафари, монгольфьеры, мешуи в пустыне, прогулки на бутре, подводное плавание, рафтинг — все что угодно...

— Неоригинально.

— Да... — понуро согласился он.

— Надо бы провести неделю на одном из курортов — инкогнито, ничего особенного не делать, просто почувствовать обстановку.

— Можно... — протянул Жан Ив; он выпрямился в кресле, взял пачку распечаток. — Давай посмотрим, где самые плохие результаты. — Он быстро листал страницы. — Джерба и Монастир — полная катастрофа. Но с Тунисом, я думаю, мы в любом случае расстанемся. Тут все схвачено,

конкуренты готовы снижать цены до баснословно низких. С нашей клиентурой нам здесь не выжить.

— У тебя есть покупатели?

— Как ни странно, да — Неккерман. Они рассчитывают на клиентов из Восточной Европы: Чехословакия, Венгрия, Польша... Публика небогатая, но Коста-Брава уже переполнена. Они интересуются также нашим Агадиром и цену предлагают разумную. Я склонен его отдать, там никакого просвета, хоть это и юг Марокко. Мне кажется, курортники всегда будут предпочитать Марракеш.

— В Марракеше, между прочим, результаты плачевные.

— Знаю. Удивительно, что даже в Шарм эль-Шейхе не клеится. А там уж столько привлекательного: красивейшие коралловые острова, прогулки по Синайской пустыне...

— Да, но это Египет.

— И что с того?

— Думаю, все помнят взрыв в Луксоре в 1997 году. Все-таки пятьдесят восемь человек погибло. Чтоб Шарм эль-Шейх продавался, надо убрать слово "Египет".

— И чем заменить?

— Не знаю. Писать, например, "Красное море".

— ОК, пусть будет "Красное море", — Жан Ив записал и снова принялся просматривать сводку. — В Африке все в порядке... По Кубе итоги скверные — вот что непонятно. Кубинская музыка в моде, латиноамериканский дух тоже, в Санто-Доминго, например, все заполнено, — он посмотрел описание гостиницы на Кубе. — Отель в Гуардалаваке новый, соответствует спросу. Программа не слишком спортивная и не слишком семейная. "На Кубе вы проведете волшебные ночи в безудержном ритме сальсы..." А результаты снизились на пятнадцать процентов. Я думаю, стоит съездить либо на Кубу, либо в Египет.

— Поехали куда хочешь... — устало ответила Валери. — Тебе в любом случае полезно отдохнуть без жены.

Наступил август; дни стояли знойные, душные, погода то и дело менялась: чуть ли не ежедневно налетали грозы, приносили прохладу. Потом снова прояснялось, и столбик термометра опять полз вверх вместе с уровнем загрязнения воздуха. По правде говоря, погода меня мало интересовала. После знакомства с Валери я перестал посещать пип-шоу; ничто другое в городской жизни не привлекало меня уже много лет. Париж никогда не был для меня "праздником"; с чего бы он стал им теперь? Лет десять-пятнадцать назад, когда я только устроился на работу в Министерство культуры, я шатался вечерами по кабачкам и барам — куда от них денешься; в памяти сохранилось лишь ощущение постоянной неловкости. Я не мог ни с кем завязать разговор, мне совершенно нечего было сказать, танцевать я тоже не умел. Тогда-то я и начал потихоньку спиваться. Никогда ни при каких обстоятельствах я не жалел о том, что пью; крепкие напитки всегда поддерживали меня. После десятка порций джин-тоника мне даже случалось — откровенно говоря, нечасто, всего четыре или пять раз, — собравшись с духом, уговорить какую-нибудь бабу лечь со мной в постель. Кончалось это, как правило, крахом, я не мог завестись, и почти сразу засыпал. Потом я узнал, что существует виагра; избыток алкоголя нейтрализовал действие препарата, но, увеличив дозу, можно было кое-чего добиться. Впрочем, игра не стоила свеч.

Все девицы, которых я встречал до Валери, в подметки не годились тайским проституткам; если я что и ощущал, то только в ранней юности с девчонками шестнадцати-семнадцати лет. Женщины из культурной среды, с которыми я общался, — это вообще беда. Их интересовал не секс, а процесс обольщения, и делали они это вычурно, грубо, неестественно и совсем неэротично. В постели они просто ни на что не были способны. Или извольте распалять их фантазию, разыгрывать пошлые спектакли — от одной мысли о них воротит. Поговорить о сексе они любили, это да; собственно, только о нем и говорили, но непосредственное чувство у них напрочь отсутствовало. Мужчины, впрочем, мало чем от них отличались; у французов принято говорить о сексе по каждому поводу и не заниматься им; все это мне всерьез опротивело.

В жизни может случиться разное, но чаще всего не случается ничего. На этот раз в моей жизни действительно произошло событие: я повстречал женщину, с которой был счастлив. Август выдался на удивление спокойный. Эспиталье, Леган и прочие боссы "Авроры" ушли в отпуск. Валери и Жан Ив договорились отложить принятие важных решений до возвращения с Кубы, куда собирались отправиться в начале сентября; образовалась передышка, период затишья. Жан Ив выглядел получше.

— Наконец-то он стал ходить к девкам, — сообщила мне Валери. — Давно бы так. Пьет меньше, успокоился немного.

— По моим воспоминаниям, здешние проститутки — не бог весть что.

— Эти немного не такие, они знакомятся через Интернет. Молодые, нередко студентки. Клиентов берут мало, выбирают и занимаются этим не только ради денег. Короче, он говорит, что совсем неплохо. Если хочешь, можем как-нибудь попробовать. Возьмем бисексуалочку на двоих; я знаю, мужики от этого балдеют; я, в общем, тоже девочек люблю.

Мы тогда не попробовали; но такое предложение в ее устах звучало умопомрачительно. Мне повезло. Она знала, как сделать, чтобы у мужчины всегда сохранялось желание; понятно, полностью его сохранить невозможно, скажу иначе: она знала, как поддерживать его на уровне, достаточном для того, чтобы время от времени заниматься любовью, пока не придет всему конец. Тут, собственно, и знать-то особенно нечего, это очень просто, проще простого; но она любила это делать и сама получала удовольствие, она радовалась, когда видела желание в моих глазах. Иногда в ресторане, возвратившись из туалета, она выкладывала на стол свои трусики, а после засовывала руку мне между ног и наслаждалась моим возбуждением. Или расстегивала мне ширинку и полировала мой штык под прикрытием скатерти. Или утром будила меня фелляцией, протягивала мне чашку кофе и тотчас снова ловила мой кончик губами, а я ощущал головокружительный прилив благодарности и нежности. Она умела остановиться, не доведя меня до извержения, могла часами поддерживать меня в готовности. Вся моя жизнь превратилась в игру, игру возбуждающую и приятную, единственную, какая доступна взрослым; я погрузился в мир сладких желаний и бесконечного наслаждения.

7

В конце августа мне позвонил агент по недвижимости из Шербура и сообщил, что нашел покупателя на отцовский дом. Тот просил немного сбавить цену, но зато платил наличными. Я согласился не раздумывая.

Итак, мне предстояло получить миллион с чем-то франков. Я работал тогда над проектом передвижной выставки; авторский замысел состоял в следующем: на огороженной площадке, устланной мозаичными плитами, раскладываются игральные карты, а потом туда выпускаются лягушки; на плитах, между прочим, выгравированы имена великих людей: Дюрер, Эйнштейн, Микеланджело. Затраты сводились в основном к покупке карточных колод — их надо было обновлять довольно часто; время от времени следовало заменять и лягушек. Для вернисажа в Париже художник желал приобрести карты таро; для выставок в провинции соглашался на обычные. Я решил в начале сентября на недельку съездить на Кубу вместе с Жаном Ивом и Валери; хотел за свои деньги, но Валери сказала, что устроит все за счет компании.

— Я вам не буду мешать работать, — обещал я.

— Мы ничего особенно и не собираемся делать, будем жить как простые туристы. Работа совсем не сложная, но очень важная: попробуем разобраться, что там за атмосфера, что не ладится, чего не хватает отдыхающим для полного счастья. Ты не помешаешь, наоборот, будешь нам только полезен.

В пятницу 5 сентября после обеда мы вылетели в Сантьяго-де-Куба. Жан Ив, разумеется, взял с собой портативный компьютер, но все равно выглядел посвежевшим и в своем светло-голубом поло вполне походил на человека, отправляющегося на курорт. Когда самолет взлетел, Валери положила руку мне на колено, закрыла глаза и расслабилась. "Не сомневаюсь, мы что-нибудь придумаем", — сказала она еще перед отъездом.

Дорога от аэропорта до места заняла два с половиной часа. "Вот уже недостаток, — отметила Валери. — Надо узнать, нет ли рейса до Ольгина". В автобусе перед нами сидели две дамочки лет шестидесяти с серо-голубым перманентом, они щебетали без умолку и то и дело указывали друг другу на разные диковинки за окном: там крестьяне резали сахарный тростник, тут гриф парил над лугом, волы брели в стойло... Дамочки, похоже, нацелились интересоваться всем без исключения; с виду такие сухонькие, крепенькие; мне подумалось, что клиентками они будут привередливыми. И действительно, когда стали распределять номера, щебетушка А потребовала, чтоб ей вынь да положь предоставили смежную комнату с щебетушкой В. Такого рода услуги не предусматривались программой, юная администраторша не понимала, чего от нее хотят, пришлось вызывать директора курортного городка. Им оказался мужчина лет тридцати, с упрямым бараньим лицом и глубокими морщинами на узком лбу; он поразительно напоминал Наги[1]. "Сделаем, голубушка, сделаем, — отвечал он, разобравшись, в чем конфликт. — Сегодня уже невозможно, а завтра освободятся номера, и мы вас переселим".

Носильщик проводил нас к нашему бунгало с видом на пляж, включил кондиционер и, получив доллар на чай, удалился. "Ну вот, — сказала Валери, усаживаясь на постель. — Ресторан самообслуживания, шведский стол, 'все включено', в том числе снэк-бар и коктейли. С двадцати трех часов открыта дискотека. За дополнительную плату можно получить массаж и освещение кортов ночью". Задача всех туристических организаций заключается в том, чтобы за обозначенную це-

1. Известный французский телеведущий.

ну на обозначенный срок сделать людей счастливыми. Задача эта может оказаться простой, а может и вовсе невыполнимой — в зависимости от характера людей, предлагаемых услуг и прочих факторов. Валери сняла брюки и блузку. Я лег на соседнюю кровать. В нашем распоряжении есть постоянный, легко доступный источник наслаждения — половые органы. Бог, как на грех, сотворивший нас недолговечными, никчемными, злыми, предусмотрел хоть такую слабую компенсацию. Если бы мы не имели иногда немного радости от секса, что бы представляла собой наша жизнь? Бесполезную борьбу с окостенением суставов и кариесом. Вот уж скука смертная: ткани отвердевают от коллагена, в деснах образуются полости с микробами... Валери раздвинула ляжки над моим лицом. На ней были тонюсенькие сиреневые кружевные трусики. Я оттянул их, послюнявил пальцы и стал поглаживать входное отверстие. Она тем временем расстегнула мне брюки и обхватила мою пушку рукой. Потом принялась нежно и неторопливо массировать ядра. Я подложил под голову подушку, чтобы доставать языком до амбразуры. В эту самую минуту я увидел горничную, сметавшую песок с террасы. Окно у нас было широко распахнуто, шторы открыты. Горничная поймала мой взгляд и хихикнула. Валери приподнялась и поманила ее рукой. Та замерла в нерешительности, опершись на метлу. Валери встала, шагнула к ней, протянула ей руки. Войдя в комнату, девушка сразу принялась расстегивать халат: под ним не оказалось ничего, кроме белых трусиков; я бы дал ей лет двадцать: кожа очень темная, почти черная, маленькая крепкая грудь, круглые ягодицы. Валери задернула занавески; я встал. Девушку звали Маргарита. Валери взяла ее руку и положила на мой смычок... И понеслось; голова моя кружилась, все тело сотрясалось от наслаждения. Вечерело, и комната постепенно погружалась в сумерки. Хрипы Валери становились все сильней, они доносились до меня словно издалека, из другого мира. Крепко сжимая Маргаритины бедра, я проникал в нее все глубже, глубже, уже не сдерживаясь вовсе, и кончил в ответ на крик Валери. На секунду или две мне показалось, что я сделался невесомым и парю в воздухе. Потом ощущение тяжести вернулось, и вместе с ним безмерная усталость. Я в изнеможении повалился на постель к ним в объятия.

Чуть позже я различил в темноте, как Маргарита одевалась, а Валери рылась в сумочке — искала, чем заплатить. В дверях они поцеловались; на улице уже стояла ночь.

— Я дала ей сорок долларов... — сказала Валери, вытягиваясь со мною рядом. — Столько обычно платят белые. Для нее это месячная зарплата.

Она зажгла ночник. Китайскими тенями отображались на занавесках проходившие мимо окон люди; слышались обрывки разговоров. Я положил руку ей на плечо.

— Потрясающе, — проговорил я с восхищением и изумлением. — Даже не верится, что такое бывает.

— Да, чувственная девушка. Мне тоже было хорошо.

— Интересная вещь — цена сексуальных услуг, — произнес я в раздумье, — такое впечатление, что она мало зависит от уровня жизни в стране. Понятно, в разных странах все по-разному, но исходная цена везде примерно одинакова: та, которую европейцы и американцы готовы заплатить.

— Может, это и есть рынок?

— Не знаю... — я замотал головой. — Я никогда ничего не понимал в экономике, для меня это темный лес.

Я чудовищно проголодался, а ресторан открывался только в восемь; пока массовики тешили отдыхающих "игрой на аперитив", я осушил три "пинаколады". Ощущение наслаждения рассеивалось очень медленно, я все еще витал где-то далеко, откуда организаторы досуга виделись мне похожими на Наги. Нет, по правде говоря, некоторые были и помоложе, но все какие-то чудные: лысый череп, бородки, косички. Они вопили чудовищно и время от времени отлавливали кого-нибудь из публики и вытаскивали на сцену. Хорошо, я находился на таком расстоянии, где мне это не грозило.

Бармен оказался скотиной, проку от него не было никакого: всякий раз, когда я к нему обращался, он презрительно от меня отмахивался и отсылал к официантам; шрамы и тугой круглый животик делали его похожим на престарелого тореро. Под облегающими желтыми плавками топорщились гениталии; у него были хорошие физические данные, и он всячески это демонстрировал. С невероятным трудом раздобыв четвертый коктейль, я возвращался на свое место и тут увидел, что бармен приблизился к соседнему столику, где разместился сплоченный коллектив пятидесятилетних туристок из Квебека. Я обратил на них внимание, еще когда вошел: крепенькие такие квебечки, в теле и при зубах; разговаривали в полный голос; немудрено, что мужья у них не дотянули до старости. Чувствовалось, что не стоит и пытаться пролезть перед ними без очереди в буфет или за завтраком увести у них из-под носа мисочку хлопьев. Когда старый фат подошел к ним, они устремили на него влюбленные взоры и на короткое время снова превратились в женщин. А уж он-то красовался-хорохорился, причем руки его, подчеркивая непристойность одеяния, постоянно оказывались на уровне чресел, словно бы он старался сам убедиться, что под плавками у него все на месте. Его красноречивая фигура будоражила воображение, дамочек это приводило в восторг: их потрепанные тела еще тянулись к жизни. Он замечательно исполнял свою роль, что-то нашептывал старушкам на ухо, называя их на кубинский лад "mi corazon" или "mi amor"[1]. Естественно, этим все и ограничится; тореро удовлетворится тем, что в последний раз пробудил трепет в их зачерствелых утробах; но в итоге у них, возможно, создастся впечатление о прекрасно проведенном отпуске, они порекомендуют городок своим подружкам, и бармену будет занятие еще лет на двадцать. У меня в голове сложился сценарий порнофильма под названием "Распоясавшиеся старцы". Две банды орудуют на морских курортах: одна состоит из седовласых итальянцев, другая — из престарелых квебечек. Вооруженные боевыми цепами и ледорубами, они истязают загорелых обнаженных юношей. В конце концов обе банды, понятно, встречаются на паруснике, принадлежащем "Club Med"; жаждущие крови бабульки с легкостью расправляются с членами экипажа, поочередно изнасиловав их и выкинув за борт. Завершается фильм грандиозной старческой вакханалией на судне, несущемся без руля и без ветрил прямо к Южному полюсу.

1. Мое сердце, моя любовь (*исп.*).

Потом наконец пришла Валери: она накрасилась, надела короткое белое просвечивающее платье, и мне снова ее захотелось. В буфете мы встретили Жана Ива, непринужденного, расслабленного, даже томного; он поделился с нами первыми впечатлениями. Номер неплох, организация досуга несколько назойлива; он сидел вблизи усилителей и выдержал с трудом. "Еда так себе", — добавил он, с тоской глядя на кусок вареной курицы на тарелке. Отдыхающие, однако, возвращались за добавкой, и по нескольку раз; особенной прожорливостью отличалась публика пожилого возраста, можно подумать, все послеобеденное время они занимались водным спортом и играми в мяч на пляже. "Они, конечно, едят ... — уныло прокомментировал Жан Ив. — А что им остается делать?"

После ужина снова разыгрывалось представление с участием публики. В караоке выступила дамочка лет пятидесяти, исполнила "Bang-Bang" Шейлы. Смело с ее стороны, она заслужила аплодисменты. Но в основном участвовали в шоу сами организаторы. Жан Ив чуть не засыпал; Валери спокойно потягивала коктейль. Я огляделся: за соседними столиками люди, похоже, скучали, но из вежливости аплодировали после каждого номера. Понять причины охлаждения отдыхающих к клубам отдыха, на мой взгляд, было нетрудно. Публика состояла по большей части из людей в возрасте, и счастье, по крайней мере в той форме, в какой его силились навязать аниматоры, было им уже недоступно. Взять Валери, Жана Ива, даже меня, в конце концов, — на всех нас лежал груз профессиональных обязанностей в "настоящей жизни"; мы занимались серьезными вещами на довольно ответственных должностях, нас обременяли заботы, не говоря уже о налогах, проблемах со здоровьем и прочем. Все это относилось и к большинству сидящих за столиками: тут собрались чиновники, педагоги, врачи, инженеры, бухгалтеры, а также пенсионеры, принадлежавшие в прошлом к одной из перечисленных категорий. Неужели массовики-затейники и в самом деле рассчитывали, что мы с энтузиазмом бросимся на *вечер контактов* или на *конкурс песни*? Странно предполагать, что в наши годы при нашем образе жизни мы сохраним *чувство праздника*. Все эти развлечения годились разве только детям *до четырнадцати*.

Я хотел поделиться своими соображениями с Валери, но тут аниматор снова взял слово, микрофон он держал слишком близко ко рту и оттого производил чудовищный шум. Он исполнял импровизацию на манер Лагафа, а может, Лорана Баффи, короче, ходил в ластах, а за ним шлепала девица, одетая пингвином и смеявшаяся каждому его слову. Представление завершилось танцами; в первых рядах поднялись несколько человек и вяло подергались. Сидевший рядом со мной Жан Ив подавил зевок. "Заглянем на дискотеку?" — предложил он.

В зале было человек пятьдесят, но танцевали, кажется, только сами организаторы. Диджей чередовал техно и сальсу, на последнюю в конце концов соблазнились несколько пар среднего возраста. Массовик в ластах толкался среди танцующих, хлопал в ладоши и вопил: "Caliente! Caliente!"[1]; на мой взгляд, он больше мешал, чем воодушевлял. Я присел у стойки бара и заказал пинаколаду. Еще через два коктейля Валери, толкнув меня локтем, указала на Жана Ива. "По-моему, мы можем его ос-

1. Здесь: Живее! Живее! (*исп.*)

тавить...” — шепнула она мне на ухо. Жан Ив разговаривал с красоткой лет тридцати, скорее всего итальянкой. Они сидели рядом, плечом к плечу, и лица их почти соприкасались.

Стояла душная влажная ночь. Валери взяла меня под руку. Гам дискотеки растворился у нас за спиной; слышалось только жужжание раций: это охрана патрулировала территорию. Миновав бассейн, мы свернули в сторону океана и вышли на пустынный пляж. В нескольких метрах от нас волны тихо лизали песок; ниоткуда не доносилось ни звука. Вернувшись в бунгало, я разделся и лег ждать Валери. Она почистила зубы, разделась и легла рядом. Я прижался к ее обнаженному телу. Одну руку положил ей на грудь, другую — на низ живота. Это было так приятно.

8

Проснувшись, я увидел, что лежу в кровати один, голова слегка побаливала. Я поднялся, пошатываясь, закурил; после нескольких затяжек почувствовал себя лучше. Натянув брюки, я вышел на террасу, под ногами хрустел песок — видно, его нанесло за ночь ветром. День еще только занимался; дымка заволакивала небо. Я прошел несколько метров в сторону моря и увидел Валери. Она ныряла в волну, делала несколько гребков, вставала на ноги, ныряла снова.

Я остановился, затянулся еще раз; дул прохладный ветерок, и я не решался войти в воду. Валери обернулась, заметила меня и, замахав рукой, крикнула: “Иди сюда, не бойся!” В эту минуту из-за облаков проглянуло солнце и осветило всю ее. Грудь и бедра ослепительно засверкали, в волосах на голове и на лобке заискрилась пена. Я застыл на месте, отчетливо понимая, что эту картину не забуду никогда; вместе с некоторыми другими она проплывет перед глазами в последние предсмертные мгновения, если такое и в самом деле бывает.

Окурок обжег мне пальцы; я бросил его на песок, разделся и пошел к морю. Вода оказалась прохладной и очень соленой — настоящая оздоровительная процедура. На поверхности воды блестела полоска солнца, уходившая прямо к горизонту; я вдохнул поглубже и нырнул в нее.

Потом мы сидели, закутавшись в полотенца, и смотрели, как над океаном разгорается день. Облака постепенно рассеивались, и солнце шире разливалось по земле. По утрам иногда все кажется таким простым. Валери откинула полотенце, подставила тело солнцу. “Не хочется одеваться,” — сказала она. “А ты оденься чуть-чуть,” — посоветовал я. Над морем парила птица, внимательно вглядываясь в воду. “Я люблю плавать, люблю заниматься любовью, — сказала Валери. — Но не люблю танцевать, не умею развлекаться; я всегда терпеть не могла вечеринки. Разве это нормально?”

Я задумался, потом ответил: “Не знаю... Но сам я устроен точно так же”.

Народу к завтраку вышло немного, но Жан Ив уже сидел за чашкой кофе с сигаретой в руке: лицо небритое, глаза невыспавшиеся; он помахал нам рукой. Мы сели напротив него.

— Ну как итальянка? — спросила Валери, принимаясь за яичницу.

— Да никак. Стала мне рассказывать, что занимается маркетингом, что поссорилась со своим парнем и поэтому поехала отдыхать одна. Мне надоело, и я ушел спать.

— Ты бы с горничными попробовал...

Он хмыкнул и затушил окурок.

— Что у нас сегодня? — спросил я. — Я в том смысле, что планировались "новые открытия".

— Да, да... — Жан Ив скорчил скучающую физиономию. — Откровенно говоря, с открытиями слабовато. Мы мало что успели наладить. Я впервые имею дело с социалистической страной, а у них, похоже, трудно что-либо сделать экспромтом. Короче, сегодня после обеда какая-то завлекаловка с дельфинами... — он взял себя в руки и пояснил: — Насколько я понял, будет представление с дельфинами, а потом можно будет с ними поплавать; наверное, сесть на них верхом или что-нибудь в этом роде.

— Знаю я этот номер, — вмешалась Валери. — Ничего хорошего. Все думают, дельфины такие ласковые, приветливые. Ерунда: они организованы в группы, внутри групп — строгая иерархия, во главе — самец; они довольно агрессивны: между ними случаются смертельные схватки. Я один раз пробовала плавать с дельфинами — так меня самка укусила.

— Ну хорошо, хорошо... — Жан Ив примирительно развел руками. — Словом, сегодня после обеда для желающих — дельфины. Завтра и послезавтра — двухдневная экскурсия в Баракоа; должно быть неплохо, так я надеюсь. А потом... — он задумался, — потом всё. Нет, еще в последний день, перед отлетом, обед с лангустами и посещение кладбища в Сантьяго.

В ответ мы промолчали.

— Н-да... — пробормотал Жан Ив расстроенно. — Похоже, с Кубой мы немного напортачили. И вообще, — продолжал он после паузы, — у меня впечатление, что в этом городке что-то не клеится. Скажем, вчера на дискотеке я не видел, чтобы люди активно знакомились, даже молодые. Ecco[1], — заключил он и махнул рукой.

— Социолог был прав... — задумчиво произнесла Валери.

— Какой социолог?

— Лагарриг, "поведенец". Он правильно сказал, что времена "Загорелых" остались далеко позади.

Жан Ив допил кофе, сокрушенно покачал головой, даже скривился:

— Вот уж не думал, что буду тосковать по временам "Загорелых".

По дороге на пляж нас обступили продавцы всяких паршивеньких ручных поделок; впрочем, ничего страшного, не так уж их было много, и вели они себя не слишком навязчиво; чтоб отделаться от них, достаточно улыбнуться и с сожалением развести руками. Днем кубинцам разрешалось приходить на пляж для курортников. "Им и продать-то особенно нечего, но они стараются изо всех сил", — объяснила мне Валери. В этой стране, похоже, никто не мог жить на зарплату. Ничего не ладилось: не хватало бензина, запчастей для машин. У туриста складывалось впечатление эдакой патриархальной утопии: крестьяне пахали на волах, ездили на телегах... Только это была не утопия и не экологический заповедник, а реальный быт страны, отставшей от индустриального века. Куба пока еще экспортировала кое-какие сельскохозяйственные продукты: кофе, какао, сахарный тростник; но промышленное производство прак-

1. Вот (*итал.*).

тически сошло на нет. Невозможно было купить самые элементарные вещи: мыло, бумагу, шариковые ручки. Хорошо снабжались только магазины импортных товаров, где все продавалось на доллары. Кубинцы выживали только за счет приработков, то есть за счет туризма. В привилегированном положении находились те, кто работал непосредственно в туриндустрии; все прочие тем или иным способом старались раздобыть валюту: приторговывали, оказывали разные услуги.

Я лежал на песке и размышлял. Смуглые мужчины и женщины, шнырявшие между стайками туристов, видели в нас исключительно ходячие кошельки и ничего больше; правда, то же самое происходило во всех странах третьего мира. Особенность Кубы заключалась именно в катастрофической неспособности наладить производство. В производстве я не смыслил ровным счетом ничего. Я был целиком и полностью приспособлен к веку информации, то есть не приспособлен ни к чему. Валери и Жан Ив, как и я, умели оперировать информацией и капиталами; они делали это с умом и обладали конкурентоспособностью, тогда как я работал рутинным бюрократическим способом. Но никто из нас троих и никто из знакомых мне людей не смог бы, скажем, в случае блокады со стороны иностранной державы наладить изготовление чего бы то ни было. Мы не имели ни малейшего понятия о том, как плавить и обрабатывать металлы или штамповать пластмассу. Не говоря уже о более современных вещах: оптических волокнах или микропроцессорах. Нас окружали предметы, о которых мы не знали ничего: как они делаются, какие для этого необходимы условия. Размышления мои повергли меня в панику, я испуганно огляделся: передо мной лежали полотенце, солнцезащитные очки, крем для загара, книга Милана Кундеры карманного формата. Бумага, хлопок, стекло: какие сложные машины, какая мудреная технология требуется для их изготовления! Или возьмем купальник Валери: он состоит на 80 процентов из латекса, на 20 процентов — из полиуретана, производство которых для меня — китайская грамота. Я просунул пальцы под бюстгальтер: под сплетением синтетических волокон нащупал живую плоть. Тогда я продвинул руку дальше и почувствовал, как затвердевает сосок. Вот этот процесс мне доступен, это я умею. Солнце начинало припекать. Войдя в воду, Валери сняла трусики, обвила ноги вокруг моей талии и легла на спину. Ее отверстие раскрылось. Я вошел в нее мягко и заскользил туда-сюда в ритме волн. Это получалось само собой. Я остановился, чуть-чуть не доведя дело до кульминации. Мы вышли обсохнуть на солнце.

Мимо нас прошла пара: высокий негр и девушка с белой-пребелой кожей, нервным лицом, очень коротко остриженная; она разговаривала, обернувшись к негру, и громко смеялась. Судя по всему, она была американка, скажем, журналистка из "Нью-Йорк таймс" или что-нибудь в этом роде. Вообще, если присмотреться, на пляже загорало немало смешанных пар. Чуть в стороне от нас двое одутловатых блондинов с гнусавыми голосами смеялись и шутили с двумя великолепными меднокожими девицами.

— Приводить их в гостиницу запрещено, — сказала Валери, проследив за моим взглядом. — Но можно снять комнату в ближайшей деревне.

— Я думал, американцам не разрешается приезжать на Кубу.

— В принципе не разрешается; но они едут через Канаду или Мексику. Вообще-то они злятся, что потеряли Кубу. Их можно понять, — протянула она задумчиво. — Если кому и нужен сексуальный туризм, так это

им. Сейчас американские фирмы заблокированы, они не могут ничего сюда инвестировать. В конце концов тут восстановится капитализм, это вопрос нескольких лет. Но пока что европейцы получили свободу действий. Вот почему "Аврора" и не хочет расставаться со здешними гостиницами, даже если они убыточны: именно сейчас можно обойти конкурентов. Куба для нас — уникальная возможность в районе Антильских островов и Карибского моря.

Она помолчала, потом добавила весело:

— Да... вот так мы изъясняемся в профессиональной среде... в мире глобализации.

9

Микроавтобус отправлялся в Баракоа в восемь часов утра; экскурсантов — человек пятнадцать. Они уже успели перезнакомиться и без устали восхищались дельфинами. Восторг пенсионеров (они составляли большинство), двух логопедов, отдыхающих вместе, и парочки студентов воплощался, понятно, различными лексическими средствами, но мысль сводилась к одному и тому же: бесподобно.

Потом стали обсуждать и сам клуб. Я взглянул на Жана Ива: он сидел один в середине салона, положив рядом с собой на сиденье блокнот и ручку. Наклонив голову и чуть прикрыв глаза, он сосредоточенно прислушивался. Именно здесь он рассчитывал собрать большой урожай впечатлений и полезных замечаний.

Отдых все, пожалуй, тоже оценивали единодушно. Организаторов сочли симпатичными, а сами развлечения неинтересными. Комнаты нравились, кроме тех, что помещались близко к звукоусилителям — из-за шума. Еду находили сносной.

Никто из присутствующих не занимался утренней гимнастикой, аэробикой, обучением сальсе или испанскому. В конечном счете, больше всего нравился все-таки пляж; к тому же там было тихо. "Развлечения и музыка вызывают отрицательные эмоции", — записал Жан Ив в своем блокноте.

Бунгало одобряли все в один голос, тем более что они располагались вдали от дискотеки. "В следующий раз потребуем бунгало!" — заявил крепенький пенсионер, мужчина в расцвете лет с начальственными замашками; как выяснилось, в прошлом он занимался реализацией вин бордо. Студенты с ним согласились. "Дискотека не нужна", — пометил Жан Ив, с сожалением думая о том, сколько денег выброшено зря.

После поворота на Кайо Саэтиа дорога стала заметно портиться. Пошли выбоины да трещины, иногда чуть ли не во всю ширину шоссе. Шофер беспрестанно вилял, нас трясло и болтало вправо и влево. Отдыхающие вскрикивали и смеялись. "Хорошая компания подобралась, — шепнула мне Валери. — "Открытия" тем и удобны, что, в какие отвратительные условия туристов ни помести, они воспринимают это как приключение. В данном случае допущена ошибка: для такой дороги нужны джипы".

Не доезжая Моа, шофер резко крутанул руль вправо, чтобы объехать огромную яму. Автобус занесло, он сел в рытвину. Шофер напрасно жал на газ: колеса пробуксовывали в бурой грязи, и мы не двигались с места. Он пробовал стронуться несколько раз, но безрезультатно. "Так-

так, — хмыкнул виноторговец, скрестив руки на груди, — придется вылезать и толкать".

Мы вышли из автобуса. Перед нами расстилалась огромная равнина, покрытая растрескавшейся бурой грязью, — гаденькое зрелище. В больших лужах гнила черная вода и торчали по краям сухие белесые стебли. Вдали высился гигантский завод из темного кирпича; две трубы изрыгали густой дым. От завода через пустырь непонятно куда тянулся, петляя, громадный ржавый трубопровод. Стоявший на обочине металлический щит, с которого Че Гевара призывал трудящихся к революционному развитию производительных сил, тоже начинал ржаветь. Воздух был пропитан каким-то тошнотворным запахом, шедшим не то от луж, не то от самой глины.

Рытвина оказалась неглубокой, совместными усилиями мы легко сдвинули микроавтобус с места. Рассаживаясь, все поздравляли друг друга с победой. Обедали в ресторане, где подавали дары моря. Жан Ив озабоченно просматривал свою записную книжку; к еде так и не притронулся.

— Что касается "Открытий", — заключил он после долгого размышления, — по-моему, неплохо для начала, а вот с клубным отдыхом ума не приложу, что делать.

Валери наблюдала за ним, безмятежно потягивая кофе глясе, словно бы ее это совершенно не касалось.

— Можно, разумеется, выгнать всю команду культработников, — продолжил он, — сэкономим на зарплате.

— Уже хорошо.

— Не слишком ли радикальная мера? — заволновался он.

— Не волнуйся. Все равно массовик в курортном комплексе не профессия для молодых. Они тут тупеют и привыкают к безделью, перспектив к тому же никаких. Самое большее, чего можно добиться, — это стать директором городка или ведущим на телевидении.

— Так... Сокращаю зарплату культработников. Заметь, им платят немного. Боюсь, такой меры недостаточно, чтобы конкурировать с немецкими курортами. Смоделирую сегодня на компьютере, но как-то не верится.

В ответ она кивнула с полным безразличием, дескать, "моделируй, хуже не станет". Ее равнодушие удивило даже меня. Правда, мы много занимались любовью, а это, как известно, успокаивает: все прочее кажется менее значимым. Зато Жану Иву не терпелось дорваться до своей программы, я даже подумал, что он попросит шофера достать компьютер из багажника. "Не волнуйся, что-нибудь придумаем", — сказала Валери, похлопывая его по плечу. Это его немного охладило, и он занял свое место в автобусе.

Всю последнюю часть пути пассажиры говорили в основном о Баракоа — конечной цели поездки; похоже, они уже знали о городе все. 28 октября 1492 года здесь бросил якорь Христофор Колумб, его поразило, что бухта имеет форму правильного круга. "Один из самых прекрасных видов, какие только можно себе представить", — записал он в судовом журнале. В этой местности жили тогда индейцы племени таино. В 1511 году Диего Веласкес основал город Баракоа — первый испанский город в Америке. В течение четырех веков город оставался в полной изоляции: подобраться к нему можно было только с моря. В 1963 году сооружение виадука Фарола позволило проложить дорогу на Гуантанамо.

Мы приехали в четвертом часу; город растянулся вдоль бухты, которая и в самом деле имела идеально круглую форму. Наша группа выразила удовлетворение дружными возгласами восторга. В сущности, любители экскурсий жаждут прежде всего увидеть воочию *подтверждение* того, что вычитали в путеводителях. О таких клиентах можно только мечтать, и Баракоа, отмеченный в "Мишлене" всего одной скромной звездочкой, их не разочаровал. Гостиница "Эль Кастильо" помещалась в старинной испанской крепости высоко над городом. Сверху открывался потрясающий вид; впрочем, не лучше, чем в любом другом городе. Да и вообще, если приглядеться — поганый городишко; убогие серовато-черные дома выглядели до того мрачно, что казались необитаемыми. Я решил остаться возле бассейна, Валери тоже. В гостинице было номеров тридцать, все заняты туристами из Северной Европы, всех их, надо думать, привело сюда одно и то же. Сначала я заметил двух англичанок лет сорока, не худеньких, одна из них носила очки. Их сопровождали два беззаботных метиса не старше двадцати. Юноши чувствовали себя вполне уверенно, болтали и шутили с толстушками, держали их за руки, обнимали за талию. Вот уж точно работенка, на которую я не способен; интересно, что они изобретали, о чем или о ком думали, чтобы вызвать у себя эрекцию. Через какое-то время англичанки поднялись к себе в комнаты, а их кавалеры остались у бассейна; если бы я действительно питал интерес к человеческому роду, я бы мог с ними заговорить, разузнать, что и как. Наверное, достаточно просто правильной мастурбации, наверное, желание можно вызывать чисто механическим путем; надо бы почитать биографии подобных субъектов, но у меня с собой были только "Рассуждения о позитивном разуме". Я листал подглавку под названием "Народная социальная политика должна стать в первую очередь нравственной" и в это время увидел немку, которая выходила из своего номера в сопровождении здоровенного негра. Она была типичной немкой, какими всегда их воображаешь: длинные светлые волосы, голубые глаза, крепкое тело, большая грудь. Это очень привлекательный тип внешности, беда в том, что он недолговечен, уже лет с тридцати надо готовиться к восстановительным работам: отсасывание жира, силикон и прочее; но пока все было в порядке, она выглядела возбуждающе, парню повезло. Любопытно, платила ли она столько же, сколько англичанки, и вообще, существует ли единый тариф для мужчин, как для женщин; тоже следовало бы поинтересоваться, людей расспросить. Размышления над столькими сложными проблемами меня утомили; я поднялся к себе в номер, заказал коктейль и потягивал его, сидя на балконе. Валери загорала и время от времени окуналась в воду; я решил прилечь в комнате и, уходя с балкона, заметил, что она завела разговор с немкой.

Часов в шесть она зашла меня проведать; я заснул за чтением. Она сняла купальник, приняла душ и вернулась ко мне, обвязав полотенце вокруг талии; волосы ее были чуть влажными.

— Ты скажешь, у меня навязчивая идея, но я спросила у немки, чем негры лучше белых. Поразительно, но факт: белые женщины предпочитают спать с африканцами, а белые мужчины — с азиатками. Мне надо знать почему; это важно для нашей работы.

— Некоторым белым мужчинам нравятся негритянки, — заметил я.

— Это реже. Сексуальный туризм распространен в Африке несравнимо меньше, чем в Азии. Правда, в Африке вообще меньше туристов.

— И что она тебе ответила?

— Всякие общеизвестные вещи: негры раскрепощены, мужественны, умеют радоваться жизни, веселиться от души, с ними легко.

При всей банальности ответ немки содержал зачатки стройной теории: белые — это вроде как закомплексованные негры, стремящиеся обрести утраченную сексуальную непосредственность. К сожалению, такая логика не объясняла ни мистической притягательности азиатских женщин, ни того, что сексуальные данные белых мужчин, по многочисленным свидетельствам, высоко ценятся в Черной Африке. Тогда я стал разрабатывать теорию более сложную и одновременно более сомнительную; в двух словах она сводилась к следующему. Белые хотят посмуглеть и танцевать негритянские танцы, черные хотят иметь светлую кожу и прямые волосы. Человечество в целом тяготеет к смешению кровей и, шире, к единообразию и реализует это в первую очередь посредством такой элементарной вещи, как секс. Только один человек осуществил это на практике — Майкл Джексон: он не белый и не черный, не молодой, не старый и даже в некотором смысле не мужчина и не женщина. Никто толком не представляет себе его личную жизнь; он вышел за рамки обычных человеческих категорий. Вот почему его можно назвать выдающимся актером, самым выдающимся актером, единственным в своем роде. Все прочие — Рудольф Валентино, Грета Гарбо, Марлен Дитрих, Мэрилин Монро, Джеймс Дин, Хэмфри Богарт — талантливы, но не более того: они лишь копировали человека, переносили его на экран; Майкл Джексон первый попытался пойти дальше.

Занятная теория, Валери выслушала ее с вниманием; самому же мне она не показалась достаточно убедительной. Если ей следовать, можно ли предположить, что первый *киборг*, т. е. первый человек, который согласится имплантировать в свой мозг элементы искусственного интеллекта, станет выдающимся? Может, и да; только это не имело прямого отношения к нашей теме. Майкл Джексон хоть и звезда, но на секс-символ никак не тянет; стимулировать массовый приток туристов, который бы сделал рентабельными крупные капиталовложения, надо более примитивным способом.

Вскоре Жан Ив и вся компания вернулись с экскурсии по городу. В местном краеведческом музее основное внимание уделялось таино — первым здешним жителям. Они вели, насколько известно, мирную жизнь, занимались земледелием и рыболовством; с соседними племенами не конфликтовали; испанцам не составило труда истребить народ, так мало подготовленный к войне. Сегодня от него не осталось ничего, кроме, может быть, неуловимых черточек в наружности отдельных людей; культура их тоже исчезла бесследно, если только вообще существовала. Христианские проповедники, пытавшиеся — большей частью понапрасну — донести до них евангельскую весть, запечатлели их на рисунках: они пашут землю, стряпают на огне, полуобнаженные женщины кормят младенцев грудью. Создается впечатление если не эдема, то, по крайней мере, *замедленного течения истории*; испанцы своим появлением закрутили ее колесо побыстрей. В результате обычного по тем временам конфликта между господствующими колониальными державами Куба в 1898 году обрела независимость и тут же перешла под власть американцев. В начале 1959 года, после многолетней гражданской войны, повстанцы под предводительством Фиделя Кастро одержали победу над регулярной армией и вынудили Батисту бежать. Учитывая, что весь мир

был разделен тогда на два лагеря, Куба присоединилась к советскому блоку и установила у себя режим марксистского типа. Лишившись материально-технической поддержки после крушения Советского Союза, этот режим угасал. Валери надела коротенькую юбку с разрезом на боку и маленькую черную кружевную кофточку; мы еще успевали выпить перед ужином коктейль.

Все собрались у бассейна и любовались закатом над бухтой. Неподалеку от берега ржавел остов грузового судна. Там-сям застыли на воде суденышки поменьше; все это оставляло впечатление крайнего запустения. С городских улиц не доносилось ни звука; робко зажглись несколько фонарей. За столом с Жаном Ивом сидели понурый мужчина лет шестидесяти с худым изможденным лицом и другой, значительно моложе первого, лет тридцати, не более; в последнем я узнал управляющего гостиницей. Я видел его несколько раз в течение дня, он суетился между столиков, бегал туда-сюда, проверял, всех ли обслужили; его лицо казалось источенным постоянной беспредметной тревогой. Завидев нас, он вскочил, пододвинул два стула, позвал официанта, убедился, что тот пришел, и поспешил на кухню. Старик же печально глядел на бассейн, на парочки за столами и, похоже, на мир вообще. "Бедный кубинский народ, — произнес он после долгого молчания. — Им больше нечем торговать, кроме своих тел". Жан Ив объяснил нам, что старик — отец управляющего и живет по соседству. Сорок лет назад он участвовал в революции, батальон, в котором он служил, одним из первых примкнул к восстанию Кастро. После войны работал на никелевом заводе в Моа сначала простым рабочим, потом мастером, потом, закончив учебу в университете, — инженером. Как герой революции, он сумел выхлопотать сыну солидную должность в туристической индустрии.

"Мы потерпели поражение... — сказал он глухим голосом, — и мы сами виноваты. Нами руководили очень достойные люди, исключительные люди, идеалисты, ставившие интересы родины выше своих собственных. Я помню, как Че Гевара приехал в наш город на открытие завода по переработке какао; помню его мужественное честное лицо. Никто никогда не мог сказать, что *команданте* нажился на революции, получил какие-то блага для себя или своей семьи. Также и Камило Сьенфуэгос, и другие наши вожди, и даже Фидель — Фидель, конечно же, любит власть, хочет сам всем распоряжаться; но он бескорыстен, у него нет роскошных вилл и счетов в швейцарских банках. Так вот, Че приехал к нам на завод и произнес речь, призывая кубинцев после вооруженной борьбы за независимость выиграть мирную битву за производство; это было незадолго до его отъезда в Конго. И мы могли выиграть эту битву. Здесь богатейший край, земля плодородна, воды много, все растет в изобилии: кофе, какао, сахарный тростник, экзотические фрукты. В недрах — залежи никелевой руды. С помощью русских у нас построили ультрасовременный завод. Через полгода производительность упала вдвое: рабочие таскали шоколад, и лом, и в плитках, уносили домой, продавали иностранцам. То же самое происходило на всех заводах по всей стране. Если воровать было нечего, они работали из рук вон плохо, ленились, притворялись больными, прогуливали. Я многие годы пытался их образумить, уговаривал трудиться в интересах родины, но все напрасно.

Он смолк; день догорал над Юнке — возвышавшейся над холмами усеченной горой с плоской, как стол, вершиной, удивившей в свое вре-

мя Колумба. Из ресторана доносилось звяканье посуды. Что может побудить людей выполнять скучную и тяжелую работу? Вот, на мой взгляд, единственный осмысленный вопрос в политике. Из рассказа старика напрашивался удручающий и беспощадный вывод: только деньги; во всяком случае, совершенно очевидно, что революция не создала *нового человека*, способного руководствоваться более альтруистическими мотивами. Кубинское общество, подобно всем другим, оказалось лишь хитроумной системой надувательства, придуманной для того, чтобы позволить некоторым гражданам этих скучных и тяжелых работ избежать. Но здесь система дала сбой, обман раскрылся, и люди уже не надеялись воспользоваться в будущем плодами совместного труда. В результате ничто не функционировало, никто не работал и ничего не производил, а кубинское общество не могло прокормить своих граждан.

Все участники нашей экскурсии поднялись и направились в ресторан. Мне хотелось как-то приободрить старика, сказать ему что-нибудь обнадеживающее; но нет, что тут скажешь. Он и сам предчувствовал с горечью, что скоро на Кубе восстановится капитализм и от его революционных мечтаний не останется ничего, кроме ощущения поражения, бесполезно прожитой жизни и стыда. Его пример не станет образцом для других, у него не найдется последователей, хуже того, грядущие поколения будут вспоминать о нем с отвращением. Он сражался и трудился напрасно.

За ужином я много выпил и под конец надрался; Валери наблюдала за мной с беспокойством. Танцовщицы, одетые в плиссированные юбки и облегающие пестрые лифы, готовились исполнять сальсу. Мы расположились на террасе. Я приблизительно знал, что хочу сказать Жану Иву; подходящее ли для этого время? Он выглядел несколько потерянным и расслабленным. Я заказал последний коктейль, закурил и обернулся к нему.

— Ты действительно ищешь новую концепцию, которая бы спасла от разорения твои курорты?

— Разумеется, я для этого сюда приехал.

— Создай такие клубы отдыха, где бы люди занимались любовью. Именно этого им и не хватает. Если во время отпуска у них не случилось любовного приключения, они уезжают неудовлетворенные. Они не осмеливаются в этом признаться, может, даже и не осознают, но в следующий раз выбирают другую фирму.

— Так кто им мешает заниматься любовью? Тут все как будто к этому располагает, это принцип клубов отдыха; я не знаю, почему они этого не делают.

Я отмахнулся от его возражения.

— Я тоже не знаю, не в этом суть; доискиваться до причин явления — занятие бесполезное, даже если предположить, что у всякого явления существуют причины. Факт остается фактом: что-то стряслось такое, что мешает людям западной цивилизации совокупляться; может, это связано с нарциссизмом, с развитым сознанием своей индивидуальности, с культом успеха — не важно. Так или иначе, после двадцати пяти — тридцати лет человек крайне редко вступает в новые сексуальные связи; однако он продолжает испытывать в этом потребность, и потребность эта угасает очень медленно. В результате следующие тридцать лет, почти всю свою взрослую жизнь, он пребывает в постоянной неудовлетворенности.

На стадии алкогольного опьянения, предшествующей полной отключке, случаются иной раз прозрения. Упадок сексуальности в западном мире — явление безусловно социальное, массовое, и напрасно было бы пытаться объяснить его теми или иными индивидуальными психологическими факторами; между тем, взглянув на Жана Ива, я понял, что он как нельзя лучше иллюстрирует мой тезис, мне даже неловко сделалось. Он не только не занимался любовью, у него даже не было времени попробовать, более того, у него пропало желание, и, что самое скверное, он уже чувствовал, как жизнь угасает в его теле, он словно бы ощущал запах смерти.

— Ну почему... я слышал, — начал он после долгих колебаний, — что клубы свингеров процветают.

— Не очень, то-то и оно. Их открывается много, но вскоре они закрываются за отсутствием клиентов. Реально в Париже пользуются успехом только два клуба: "Крис и Ману" и "2+2", да и те заполнены только в субботу вечером; для десятимиллионного города это мало, в начале девяностых все выглядело совсем иначе. Идея обмена партнерами привлекательна, но она постепенно выходит из моды, потому что люди уже не хотят обмениваться ничем, это не соответствует современному менталитету. На мой взгляд, клубы для пар имеют сегодня столько же шансов выжить, сколько автостоп семидесятых. Единственное, что отвечает духу времени, — это садомазохизм...

Валери вытаращила на меня глаза, полные ужаса, и пихнула ногой. Я взглянул на нее с изумлением и не сразу понял, в чем дело: ну разумеется, я не собирался говорить об Одри; я понимающе кивнул ей. Жан Ив не заметил паузы.

— Итак, — продолжал я, — с одной стороны — сотни миллионов жителей развитых стран; у них есть все, чего ни пожелают, за исключением одного: сексуального удовлетворения; они его ищут, ищут, не находят и оттого несчастны донельзя. С другой стороны — миллиарды людей, у которых нет ничего; они голодают, умирают молодыми, живут в антисанитарных условиях, им нечего продать, кроме своего тела и своей неиспорченной сексуальности. Чего же тут непонятного, это ясно как день: идеальные условия для обмена. Деньги на этом можно делать немыслимые: что там информатика, биотехнологии, средства массовой информации — тут ни один сектор экономики не идет в сравнение.

Жан Ив не отвечал; в эту минуту грянула музыка. Красивые танцовщицы улыбались, плиссированные юбки колыхались, обнажая смуглые ляжки; великолепная иллюстрация к моей речи. Я думал, он так ничего и не скажет, будет сидеть переваривать мою мысль. Однако минут через пять он ответил:

— Твоя теория плохо применима к мусульманским странам...

— Ну и ладно, у них оставишь "Эльдорадор — Новые открытия". Можешь даже добавить что-нибудь покруче, вроде горного туризма, экологических экспериментов, выживания в экстремальных условиях, назовешь это "Эльдорадор — Приключение" — будет отлично продаваться во Франции и Англии. А клубы сексуального направления лучше пойдут в странах Средиземноморья и в Германии.

На этот раз он засмеялся.

— Тебе надо было делать карьеру в бизнесе, — сказал он полушутя, — у тебя масса идей.

— Ну, идеи...

У меня кружилась голова, расплывались перед глазами танцовщицы; я залпом допил коктейль.

— Идеи у меня, может, и есть, но я не в состоянии погрузиться в практические расчеты, составить предварительный бюджет. Так что остаются только идеи...

Дальнейшее помню смутно, должно быть, я заснул. Проснулся в своей постели; Валери лежала рядом со мной голая и ровно дышала. Я потянулся за пачкой сигарет и разбудил ее.

— Ты крепко надрался за ужином...

— Да, но то, что я говорил Жану Иву, это серьезно.

— Мне кажется, он серьезно и воспринял... — Она провела пальцами по моему животу. — Кроме того, я думаю, ты прав. На Западе сексуальной свободы больше нет.

— Ты знаешь почему?

— Нет... — Она задумалась. — Нет, пожалуй, не знаю.

Я закурил, устроился поудобнее на подушках и сказал:

— Возьми в рот.

Она на меня удивленно покосилась, но, обхватив мою дудочку рукой, потянулась к ней губами.

— Вот! — вскричал я торжествующе.

Она подняла голову и уставилась на меня с изумлением.

— Видишь, я тебе говорю: "Возьми в рот", и ты берешь, хотя, может, совсем и не хотела.

— Ну да, я об этом не думала, но мне приятно.

— Это меня в тебе и удивляет: ты любишь доставлять удовольствие. Отдавать свое тело, бескорыстно доставлять радость — вот что у нас разучились делать. Люди разучились дарить. И потому, сколько бы они ни старались, они уже не могут воспринимать секс как нечто *естественное*. Они стыдятся своего тела, поскольку оно не соответствует порностандартам, и по этой же причине не испытывают влечения к телу другого. Невозможно заниматься любовью, не умаляя своего "я", не признавая себя, хотя бы на время, зависимым и слабым. Любовная экзальтация и сексуальное влечение имеют одинаковые корни, и то и другое происходит из самоотречения; и там и там, не потеряв себя, ничего не обретешь. Мы стали холодными, рациональными, мы ставим превыше всего свою индивидуальность и свои права; мы стремимся в первую очередь быть ничем не связанными и независимыми; кроме того, мы озабочены здоровьем и гигиеной — тоже не лучшая посылка для секса. В такой ситуации профессионализация секса на Западе неизбежна. Есть еще садомазо. Это царство рассудка; здесь все подчинено четким правилам, все их заранее принимают. Мазохистов интересуют только собственные ощущения, им любопытно знать, какую боль они способны вынести, — это напоминает экстремальный спорт. Садисты — иное дело, у них страсть к разрушению, и они готовы идти до конца: если бы они могли калечить и убивать, они бы это делали.

— Даже вспоминать не хочется. — Ее передернуло. — Тошнит.

— Потому что ты осталась сексуальной по-животному. То есть нормальной, и этим не похожа на других. Организованный садомазохизм со всеми его правилами может привлекать только людей из культурной среды, интеллектуалов, утративших всякий интерес к сексу. Прочим ос-

тается одно: порнопродукция с профессиональными исполнителями; а если кому хочется реального секса — то страны третьего мира.

— Понятно... — сказала она и улыбнулась. — Могу я наконец продолжить?

Я откинулся на подушки. Я смутно сознавал, что стою у истоков великого открытия; экономические перспективы не вызывали сомнений: потенциальную клиентуру я оценивал в 80 процентов взрослого населения западных стран; смущало другое: я знал, люди с большим трудом воспринимают простые идеи.

10

Мы завтракали на террасе около бассейна. Когда я допивал кофе, Жан Ив вышел из своего номера с девицей, и я узнал в ней одну из вчерашних танцовщиц. Это была высокая негритянка с длинными тонкими ногами, не старше двадцати. Он сначала смутился, потом подошел к нашему столику и, улыбнувшись краешком губ, представил нам Анхелину.

— Я обдумал твою идею, — заявил он сразу. — Меня немного пугает реакция феминисток.

— Среди наших клиентов будут и женщины, — возразила Валери.

— Ты думаешь?

— О да, уверена... — с горечью сказала она. — Ты погляди вокруг.

Он обвел взглядом столики у бассейна: в самом деле, тут сидело немало одиноких туристок с кубинцами; почти столько же, сколько мужчин-туристов с кубинками. Он что-то спросил у Анхелины по-испански и перевел нам ее ответ:

— Она "хинетера", работает здесь уже три года, клиенты у нее все больше итальянцы и испанцы. Она думает, это потому, что она черная: немцев, англичан и американцев вполне удовлетворяет латиноамериканский тип, для них это уже экзотика. У многих ее друзей-"хинетерос" клиентки в основном англичанки и американки, иногда немки.

Он отпил глоток кофе, задумался, потом спросил:

— Как мы назовем новые клубы? Нужно, чтоб по названию человек их сразу отличил от "Открытий" и "Приключений", чтоб оно отражало суть, но не слишком явно.

— Я думала, может, "Эльдорадор — Афродита"? — сказала Валери.

— "Афродита"... — повторил он задумчиво, — неплохо. Не так пошло, как "Венера", эротично, культурно, экзотично — мне нравится.

Мы уезжали через час. В нескольких метрах от нашего автобуса Жан Ив попрощался с Анхелиной; он выглядел чуточку грустным. Когда он сел в автобус, я обратил внимание, что студенты неодобрительно на него покосились; виноторговец же не отреагировал никак.

Оставшееся время в Гуардалаваке прошло довольно тускло. Были, понятно, купание, караоке, стрельба из лука; мускулы напрягаются, потом расслабляются, засыпаешь быстро. Я не сохранил никаких воспоминаний ни о последних днях нашего пребывания на Кубе, ни о завершающей экскурсии, кроме того что хваленый лангуст оказался жестким, как резина, а кладбище повергло всех в уныние. Между тем там находилась могила Хосе Марти — национального героя, поэта, политического деятеля, публициста, мыслителя. Мы видели на барельефе его усатое лицо. Гроб, украшенный цветами, покоился в центре круглого углубления

ямы, по стенам которого были высечены самые знаменитые изречения великого мужа о национальной независимости, борьбе с тиранией, справедливости. Но ощущения, что дух его витает над этим местом, не создавалось; похоже было, что бедняга помер окончательно. Покойник, заметим, антипатии не вызывал; я был бы не прочь с ним потолковать, поиронизировать немного над его ограниченной гуманистической серьезностью; но увы, никаких перспектив: он безвозвратно остался в прошлом. Разве мыслимо, чтоб он поднялся, зажег сердца и повел народ к новым свершениям человеческого духа? Нет, такого представить себе невозможно. Короче, та же печальная картина поражения, что и на могилах всех борцов за народное дело. Мне было весьма неприятно констатировать, что, кроме католиков, никто не сумел приемлемым образом обставить завершение жизни. Правда, чтобы сделать смерть прекрасной и трогательной, им пришлось попросту сказать, что ее нет. Вот вам и все аргументы. Ну а тут, за отсутствием воскресшего Христа, надо было явить нам каких-нибудь нимф или пастушек, в общем, немного женского тела. Иначе трудно вообразить, как бедолага Хосе резвится на загробных лугах; скорее думалось, что он покрылся пеплом вечной скуки.

По возвращении в Париж мы на другой же день, еще не отоспавшись после перелета, встретились в кабинете Жана Ива. От этого дня у меня осталось ощущение праздничной феерии, хотя оно и плохо сочеталось с видом огромного пустого здания. В будни здесь работали три тысячи человек, но в ту субботу нас было только трое, не считая охранников. Как раз в это время совсем рядом, у торгового центра в Эври, учинили побоище две бандитские группировки, в ход шли ножи, бейсбольные биты, баллончики с серной кислотой; к вечеру стало известно, что в драке погибли семь человек, из них двое случайных прохожих и один жандарм. Это событие будет широко обсуждаться по радио и телевидению, но тогда мы еще ничего не знали. В лихорадочном возбуждении мы вырабатывали платформу будущей программы по разделу мира. Мои идеи могли повлечь за собой миллионные капиталовложения, создание сотен рабочих мест; для меня все это было внове, голова шла кругом. Я бредил вслух, а Жан Ив слушал меня внимательно и говорил потом Валери, что, раскрепостившись, я способен на прозрения. Короче, я вносил творческое начало, а он принимал решения; так ему представлялось.

Быстрее всего разобрались с арабскими странами. Учитывая неразумность их религии, любые проекты, связанные с сексом, там исключались. Туристам, выбирающим эти страны, придется довольствоваться сомнительными радостями "приключения". Безнадежно убыточные Агадир, Монастир и Джербу Жан Ив в любом случае решил продать. Два оставшиеся направления логично укладывались в рубрику "Приключение". Так, отдыхающих в Марракеше ожидала езда на верблюдах. А в Шарм эль-Шейхе курортники могли посмотреть на красных рыб и совершить экскурсию на Синай к месту Неопалимой Купины, где Моисей "наломал дров", по образному выражению одного египтянина, которого я повстречал года три назад во время путешествия на фелуках к Долине Царей. "О да! — говорил он с пафосом: — Это нагромождение камней впечатляет. Но выводить из него существование *единого Бога*!.." Этот здравомыслящий и остроумный человек проникся ко мне симпатией, как видно потому, что я был единственным французом в группе, а он, по неизвестным мне причинам культурного

или, может, эмоционального свойства, питал страсть — скорее, правда, платоническую — ко всему французскому. Выбрав меня в собеседники, он скрасил мой отпуск. Ему было лет пятьдесят, очень смуглый, с усиками, одет всегда безупречно. Биохимик по образованию, он сразу по окончании учебы эмигрировал в Англию и там сделал блестящую карьеру в области генной инженерии. Теперь он приехал повидать родные края, любовь к которым не угасла в его сердце, а вот ислам он клеймил безжалостно. Во-первых, твердил он мне, не следует путать древних египтян с арабами.

— Подумать только, в этой стране изобрели всё! — восклицал он, широким жестом руки охватывая долину Нила. — Архитектуру, астрономию, математику, земледелие, медицину... — Он немного преувеличивал, но, как восточный человек, жаждал убедить меня немедленно. — С приходом ислама все кончилось. Полная интеллектуальная пустота. Мы стали нищими. Нищая вшивая страна. А ну пошли отсюда!.. — Он погрозил мальчишкам, набежавшим клянчить деньги. — Вспомните, месье, — Он свободно изъяснялся на пяти иностранных языках: французском, немецком, английском, испанском и русском, — что ислам пришел из пустыни, где живут лишь скорпионы, верблюды да хищники. Знаете, как я называю мусульман? Гнусы сахарские. Лучшего они не заслуживают. Разве мог бы ислам возникнуть в этом прекрасном краю? — И он снова с восхищением указал на долину Нила. — Нет, месье. Ислам мог зародиться лишь в бессмысленной пустыне у чумазых бедуинов, которые только и умели, что, извините меня, верблюдов трахать. Обратите внимание, месье: чем ближе религия к монотеизму, тем она бесчеловечней, а из всех религий именно ислам навязывает самый радикальный монотеизм. Не успев появиться на свет, он заявляет о себе чередой захватнических войн и кровавых побоищ; и пока он существует, в мире не будет согласия. На мусульманской земле никогда не будет места уму и таланту; да, среди арабов были некогда математики, поэты, ученые, но это те, кто утратил веру. Уже первые строчки Корана поражают убогой тавтологией: "Нет Бога, кроме Бога единого" и так далее. Согласитесь, на этом далеко не уедешь. Переход к монотеизму есть не взлет на новую ступень абстракции, как утверждают некоторые, а падение, возвращение к скотскому состоянию. Заметьте, что католицизм — религия утонченная, уважаемая мною — очень быстро отошел от изначального монотеизма, ибо знал, что человеческой натуре потребно иное. Через Троицу, культ Девы и святых, через признание роли адских сил и сил небесных (ангелы — это же восхитительная находка!) он постепенно восстановил подлинный политеизм и только поэтому смог украсить землю бесчисленными шедеврами. Единобожие! Какой абсурд! Бесчеловечный, убийственный!.. Этот бог бесчувствен, кровав, ревнив, ему не следовало высовываться за пределы Синая. Насколько наша египетская религия была, если вдуматься, глубже, человечнее, мудрее... А наши женщины? Как они были прекрасны! Вспомните Клеопатру, пленившую великого Цезаря. Посмотрите, что с ними стало... — он показал на двух проходивших мимо особ женского пола с закрытыми лицами, они едва волочили ноги, сгибаясь под тяжестью тюков с товарами. — Мешки какие-то. Бесформенные кули жира, замотанные в тряпье. Как только они выходят замуж, ни о чем, кроме еды, уже не думают. Жрут, жруг и жрут! — И он раздул щеки в комедийной манере де Фюнеса. — Уж поверьте мне, месье, в пустыне родятся только психи и кретины. Назовите мне, кого в вашей благородной западной культуре, которой я восхищаюсь, которую я ува-

жаю, — кого влекло в пустыню? Педерастов, авантюристов и негодяев. Полковник Лоуренс[1]? Но это же смешно: декадент, гомосексуалист, позер. Или этот ваш омерзительный Анри де Монфред[2], жулик бессовестный, аферист. Но не людей благородных, великодушных, здоровых, не тех, кто радел о прогрессе и возвышении человечества.

— Понятно, в Египте делаем "Приключение", — сухо подытожил Жан Ив. Он принес извинения за то, что прервал мой рассказ, но пора было переходить к Кении. С ней случай непростой. — Пожалуй, я бы написал "Приключение", — предложил он, полистав свои записи.

— Жалко, — вздохнула Валери, — кенийские женщины хороши.

— Откуда ты знаешь?

— Ну не только кенийские, все африканки хороши.

— Женщин везде полно. А в Кении есть, кроме того, носороги, зебры, гну, слоны и буйволы. Я предлагаю в Сенегале и в Кот-д'Ивуаре сделать "Афродиту", а в Кении оставить "Приключение". Потом, знаете, бывшая английская колония — это плохо вяжется с эротикой, а для "Приключения" подойдет.

— Женщины в Кот-д'Ивуар хорошо пахнут, — мечтательно заметил я.

— Как это?

— Они пахнут сексом.

— А... — и он прикусил свой фломастер. — Тоже тема для рекламы. "Берег Слоновой Кости — берег дивных ароматов" или что-нибудь в этом роде. А изображена потная взлохмаченная девица в набедренной повязке. Запишем.

— "И сонм невольников нагих, омытых в мирре". Бодлер — наше всё.

— Это не пройдет.

— Знаю.

С другими африканскими странами сложностей не возникло.

— С африканками всегда все просто, — заметил Жан Ив. — Они готовы трахаться бесплатно и даже беременные. Надо только запастись в гостинице презервативами, а то они их не жалуют, — и он подчеркнул два раза в своем блокноте: "презервативы".

Мы быстренько разобрались с Тенерифе. Результаты тут были не ахти, однако, по словам Жана Ива, остров имел стратегическое значение для англоязычных стран. Тут ничего не стоило наладить сносное "приключение" с восхождением на вулкан Тейде и экскурсию на глиссере на остров Лансароте. Инфраструктура гостиниц опасений не вызывала.

Затем, наконец, мы добрались до двух клубов, которые виделись нам гвоздями всей программы: Бока Чика в Санто-Доминго и Гуардалавака на Кубе.

— Хорошо бы поставить кровати "кинг сайз", — предложила Валери.

— Решено, — не задумываясь ответил Жан Ив.

— И джакузи в номерах, — размечтался я.

— Нет, — отрезал Жан Ив. — Будем придерживаться средней категории.

1. Томас Эдвард Лоуренс, прозванный Лоуренсом Аравийским (1888—1935) — английский офицер и писатель.
2. Анри де Монфред (1879—1974) — французский авантюрист и писатель, автор приключенческих романов.

Все улаживалось само собой, без колебаний и сомнений; мы наметили также договориться с руководителями городков об упорядочении тарифов на проституцию.

Потом сделали короткий перерыв на обед. В это самое время менее чем в километре от офиса два подростка из рабочего предместья Куртильер бейсбольными битами размозжили голову шестидесятилетней женщине. На закуску я съел скумбрию в белом вине.

— А в Таиланде вы что-нибудь планируете? — поинтересовался я.

— Разумеется, у нас строится гостиница в Краби. Это сейчас самое модное место после Пхукета. Надо ускорить строительство, чтобы закончить все к первому января и устроить торжественное открытие.

Всю вторую половину дня мы обсуждали, какие изменения требуется внести в работу городков. Разумеется, первое и основное — разрешить приводить проституток в номера. Понятно, никаких детских программ; лучше всего было бы запретить проживание в гостиницах детям до шестнадцати. Валери придумала хитроумный ход: за основу взять стоимость одиночного номера, а для пар ввести десятипроцентную скидку, то есть в принципе установить порядок, обратный общепринятому. Не помню кому, кажется мне, пришло в голову провозгласить политику "геи с нами" и пустить слух, что в наших клубах до двадцати процентов гомосексуалистов; такого рода информация их обычно привлекает, а они, как никто, умеют внести эротический душок. Дольше всего мы размышляли над слоганом рекламной кампании. Жан Ив придумал простой и доходчивый лозунг: "'Эльдорадор — Афродита': не отказывай себе ни в чем!"; но в конце концов большинство голосов получил мой: "'Эльдорадор — Афродита': человек имеет право на удовольствие". Со времени натовской интервенции в Косово понятие права снова стало основополагающим, пояснил Жан Ив с легкой иронией в голосе; в действительности он говорил серьезно и только что прочитал по этому поводу статью в журнале "Стратежи". Все кампании последнего времени, которые строились на теме права, имели успех, будь то право на нововведение или право на совершенство... Право на удовольствие — это ново, заключил он грустно.

Расставшись с нами, Жан Ив немного взгрустнул; подъехав к своему дому на авеню де ла Репюблик, он не спешил выходить из машины. Нервное возбуждение, владевшее им весь день, спа́ло; он знал, что Одри нет дома, и скорее был этому рад. Он увидит ее на минутку только утром, перед тем как она уйдет кататься на роликах; после возвращения из отпуска они спали отдельно.

Куда спешить? Он откинулся на сиденье, хотел включить радио, передумал. По улице стайками гуляла молодежь, юноши, девушки; наверное, им было весело, они громко орали. Некоторые пили на ходу пиво из банок. Он мог бы выйти из машины, присоединиться к ним, или затеять драку; да мало ли что он мог бы сделать. Но он, разумеется, просто пойдет домой. Он, безусловно, любил свою дочь — так ему казалось; он ощущал с ней некую органическую кровную связь, что и соответствует определению любви. По отношению к сыну он ничего подобного не чувствовал. Возможно даже, тот вовсе и не был его сыном, Жан Ив до сих пор не знал этого точно. К жене он не испытывал ничего, кроме презрения и отвращения, отвращения слишком сильного — он бы предпочел

безразличие. Наверное, поэтому он и медлил с разводом: ждал, когда жажда мести сменится равнодушием; пока же ему хотелось заставить ее платить. А на самом деле платить все равно мне, подумал он вдруг с горечью. Дети останутся на ее попечении, а ему назначат порядочные алименты. Что если затеять тяжбу, попробовать отсудить детей? Пожалуй, нет, решил он, не стоит. Придется расстаться с Анжеликой. Одному ему будет лучше, можно постараться *устроить свою жизнь* заново, то есть, попросту говоря, найти другую женщину. Ей, гадине, устроиться будет сложнее с двумя детьми на руках. Тем он и утешился: более скверной бабы ему не встретить, в итоге Одри пострадает от развода сильнее, чем он. Она уже не так хороша, как в первые годы их знакомства; она умела держаться, одевалась по моде, но он-то знал, что телом она уже начинала стареть. Ее успехи на адвокатском поприще далеко не столь блестящи, как она сама рассказывала; когда на нее ляжет забота о детях, на работе наверняка возникнут проблемы. Потомство — это обуза, тяжкое бремя, не дающее человеку вздохнуть свободно, а в конечном итоге и убивающее его. Он отыграется, но позже, когда сможет взглянуть на все хладнокровно. Сидя в машине на опустевшей теперь улице, он попытался обрести хладнокровие прямо сейчас.

Стоило ему переступить порог своей квартиры, заботы обрушились на него снова. Жоанна, приходящая няня, развалившись на диване, смотрела программу MTV. Он не выносил эту вялую пустую девчонку; при виде ее ему всякий раз хотелось надавать ей пощечин, чтобы согнать самодовольное выражение с ее противной надутой физиономии. Она была дочерью подруги Одри.

— Все в порядке? — прокричал он. В ответ она небрежно кивнула. — Ты можешь сделать звук потише?

Она поискала глазами пульт управления. Вне себя от злости он выключил телевизор; она посмотрела на него с обидой.

— Как дети? — он продолжал кричать, хотя в квартире наступила полная тишина.

— Спят, наверное. — Она испуганно поджалась.

Он поднялся на второй этаж, заглянул в комнату сына. Никола покосился на него отсутствующим взглядом и продолжал играть в "Tomb raider"[1]. Анжелика спала, сжав кулачки. Успокоенный, он спустился вниз.

— Вы ее купали?

— Не-а, забыла.

Он прошел на кухню, налил себе воды. Руки у него дрожали. На рабочем столе он увидел молоток. Пожалуй, пощечинами Жоанну не проймешь, лучше бы размозжить ей череп. Эта мысль занимала его еще некоторое время, потом сменилась другими, беспорядочно роившимися в голове. Уже в прихожей он с ужасом заметил, что все еще держит в руке молоток. Он положил его на маленький столик, достал бумажник, дал девчонке денег на такси. Она взяла их, пробурчав что-то похожее на благодарность. Сам того не ожидая, он захлопнул за ней дверь с такой яростью, что грохот раскатился по всей квартире. Да, жизнь его решительно не клеилась. Бар в гостиной оказался пуст; Одри и за этим не в состоянии была присмотреть. При воспоминании о жене его передернуло; он сам удивился силе своей ненависти. На кухне он нашел початую

1. "Грабитель могил" (*англ.*) — компьютерная игра.

бутылку рома: хоть что-то. Закрывшись у себя в комнате, он набрал поочередно номера трех девиц, с которыми познакомился по Интернету, и все три раза наткнулся на автоответчик. Ушли, небось, все три трахаться для собственного удовольствия. Девицы, конечно же, были соблазнительные, симпатичные, современные, но стоили две тысячи франков за вечер; в конце концов, это становилось унизительным. Как он дошел до такой жизни? Надо бы завести друзей, бывать в обществе, работать поменьше. Он вспомнил про клубы "Афродита", и впервые ему пришло в голову, что начальство может и не одобрить идею; общественное мнение во Франции порицало сексуальный туризм. Можно было, конечно, представить Легану проект в смягченном виде; но Эспиталье не проведешь, он обладал пугающей проницательностью. А какой другой выход? Ориентируясь на среднего клиента, они не выдерживали конкуренции с "Club Med", и Жан Ив готов был это доказать. Порывшись в ящиках письменного стола, он нашел свод корпоративных принципов "Авроры", составленный десять лет назад ее основателями и вывешенный во всех гостиницах. "Дух 'Авроры' — это искусство сочетать традицию и современность, достижения гуманизма и полет фантазии в неустанном поиске совершенства. Работники 'Авроры', мужчины и женщины, — носители уникального культурного достояния: умения принимать гостей. Они знают национальные обычаи и обряды, благодаря которым жизнь превращается в искусство жить, а самые обычные услуги — в волшебные мгновения. Это их профессия, искусство, талант. Творя прекрасное и делясь им, восстанавливая связь с самым главным, создавая пространство наслаждения, 'Аврора' несет по миру аромат Франции". Он отчетливо увидел, что вся эта тошнотворная дребедень как нельзя лучше подходит для сети хорошо организованных борделей; тут можно попытаться сыграть на пару с немецкими туроператорами. Многие немцы без всяких на то оснований продолжали считать Францию страной *галантности* и *искусства любви*. Если крупный немецкий туроператор согласится внести клуб "Афродита" в свой каталог, это поднимет их на новую ступень; такого еще ни одной французской фирме не удавалось. Он поддерживал контакт с Неккерманом, которому собирался продать клубы в странах Магриба; кроме того, существовала компания TUI, отклонившая их предыдущее предложение, поскольку занимала прочные позиции в нижней части ценовой шкалы; возможно, их заинтересует более специализированный проект.

11

Он попробовал связаться с ними прямо в понедельник утром, и удача ему улыбнулась: Готфрид Рембке, председатель совета директоров TUI, собирался в начале следующего месяца во Францию; в один из дней своего пребывания в Париже он готов был с ними пообедать. Если бы в оставшееся до встречи время они изложили свой проект письменно, он бы его с удовольствием изучил. Жан Ив пошел сообщить эту новость Валери: она только рот раскрыла. Годовой оборот TUI составлял двадцать пять миллиардов франков, в три раза больше, чем у Неккермана, в шесть раз больше, чем в "Нувель фронтьер"; это был крупнейший в мире туроператор.

Вся неделя ушла на то, чтобы подготовить технико-экономическое обоснование проекта. Значительных капиталовложений он не требо-

вал: обновить кое-что из мебели, отделку помещений изменить, разумеется, полностью, сделать интерьер более "эротичным" – в документах они единодушно решили употреблять термин "галантный туризм". Но главное, они ожидали существенного сокращения расходов: не нужно организовывать спортивные мероприятия и развлечения для детей; не нужно выплачивать зарплаты дипломированным патронажным сестрам, инструкторам по серфингу, специалистам по икебане, эмали или росписи по шелку. Жан Ив прикинул бюджет и с удивлением обнаружил, что с учетом амортизации и всего такого годовая себестоимость клубов снижалась на 25 процентов. Он пересчитал трижды, но результат получался один и тот же. Между тем он намеревался повысить тарифы на 25 процентов по сравнению с нормой по данной категории, то есть, грубо говоря, приблизиться к стандартам "Club Med". Таким образом, прибыль одним махом возрастала на 50 процентов. "Твой приятель – гений", – сказал он Валери, когда она заглянула к нему в кабинет.

На следующую пятницу была назначена встреча с Готфридом Рембке. Накануне вечером Валери сделала себе расслабляющую маску и легла спать очень рано. В восемь часов, когда я проснулся, она была уже готова. Выглядела умопомрачительно. На ней был черный костюм с очень короткой юбкой, туго обтягивающей ягодицы; под пиджак она надела кружевную сиреневую блузку, облегающую и кое-где просвечивающую, а под блузку – ярко-красный бюстгальтер, оставляющий наполовину открытой высоко поднятую грудь. Когда она села возле кровати, я обнаружил на ней черные чулки и пояс. Губы она накрасила темно-красной помадой с фиолетовым оттенком, волосы забрала в пучок.

– Впечатляет? – спросила она с сарказмом.

– Еще как! Ох уж эти женщины... – вздохнул я. – Умеют себя подать.

– Это у меня официальный наряд соблазнительницы. Но я надела его еще и для тебя; я знала, тебе понравится.

– Вернуть эротику на предприятия и в учреждения... – пробурчал я.

Она подала мне чашку кофе.

До самого ее ухода я только и делал, что смотрел, как она движется, садится, встает. Такой пустяк, но "впечатляло" – слов нет. Когда она клала ногу на ногу, в верхней части ляжки появлялась темная полоса, оттенявшая тонкость нейлонового чулка. Если она скрещивала ноги еще сильней, показывалась полоска черного кружева, а дальше – застежка пояса и белая плоть ляжки и основания ягодиц. Она меняла положение ног – и все исчезало. Наклонялась над столом – и я чувствовал, как трепещет ее грудь. Я мог бы любоваться ею часами. Такая простая, невинная, бесконечно блаженная радость; обещание счастья в чистом виде.

Встреча была назначена на час в ресторане "Ле Дивеллек" на улице Юниверсите; Жан Ив и Валери приехали на пять минут раньше.

– С чего начнем разговор? – волновалась Валери, вылезая из такси.

– Скажешь, хотим, дескать, открыть бордели для бошей, – Жан Ив устало улыбнулся. – Да не волнуйся, он сам задаст все вопросы.

Готфрид Рембке появился ровно в час. Они узнали его в ту минуту, как он вошел в ресторан и протянул пальто швейцару. Плотная, солидная фигура, лоснящийся череп, открытый взгляд, крепкое рукопожатие: в нем чувствовалась раскованность и энергия, он как нельзя лучше соответствовал образу крупного предпринимателя, в особенности немецко-

го. Так и виделось: целый день на ногах, утром встает с постели одним прыжком и полчаса занимается на велотренажере, а потом в новехоньком "мерседесе" катит на службу, слушая по дороге новости экономики.

— Выглядит потрясающе, — пробурчал Жан Ив и, расплывшись в улыбке, поднялся ему навстречу.

Первые десять минут герр Рембке говорил только о еде. Оказалось, он прекрасно знает Францию, французскую культуру, рестораны, имеет собственный дом в Провансе. "Безупречен", — повторял про себя Жан Ив, уставившись в свое консоме из лангустин с кюрасо. "Пободаемся", — подумал он еще, опуская ложку в тарелку. Валери держалась превосходно: слушала внимательно, глаза ее восторженно блестели. Поинтересовалась, где именно в Провансе находится дом, часто ли ему удается там отдыхать и т. д. Сама она заказала сальми из крабов с лесными ягодами.

— Итак, — продолжила она тем же тоном, — вас заинтересовал наш проект?

— Видите ли, — начал он основательно и неторопливо, — нам известно, что "галантный туризм", — произнося эти два слова, он как бы слегка запнулся, — составляет одну из основных мотиваций поездок наших отпускников за границу, *и их можно понять: лучшего отдыха не придумаешь.* Примечательно между тем, что ни одна компания до сих пор всерьез не занималась этим вопросом, если не считать нескольких мелких проектов для гомосексуалистов. Но в целом, как ни удивительно, перед нами совершенно девственный участок.

— Проблема вызывает споры, я думаю, общественное мнение еще не доросло... — вмешался Жан Ив, сам понимая, что говорит ерунду, — ни на том, ни на другом берегу Рейна, — закончил он и стушевался.

Рембке метнул на него холодный взгляд, словно бы заподозрив его в насмешке; Жан Ив снова уставился в свою тарелку и дал себе слово молчать до конца обеда. Валери и без него справлялась великолепно.

— Не стоит переносить французские проблемы на Германию, — вставила она, невиннейшим движением кладя ногу на ногу, и Рембке переключил внимание на нее.

— Наши соотечественники, — сказал он, — поневоле предоставленные сами себе, нередко становятся добычей сомнительных посредников. Все, что тут делается, — непрофессионально, и это огромный пробел в нашей работе, который еще предстоит заполнять.

Валери с готовностью согласилась. Официант подал морского окуня с зеленым инжиром. Мельком взглянув на блюдо, Рембке продолжал:

— Ваш проект заинтересовал нас еще и потому, что он полностью опрокидывает традиционное представление о клубах отдыха. То, что было хорошо в семидесятые годы, не отвечает запросам современного потребителя. Взаимоотношения между людьми на Западе затруднены — о чем мы, разумеется, сожалеем, — добавил он и снова взглянул на Валери, а та опустила ногу на пол и улыбнулась.

Когда в четверть седьмого я вернулся с работы, она была уже дома. Я замер от удивления: такое случилось, по-моему, впервые за все время нашей совместной жизни. Не сняв костюма, она сидела на диване, чуть расставив ноги, устремив взгляд в пространство, и, казалось, думала о чем-то очень приятном. Я тогда не понял, что присутствую при своего рода профессиональном оргазме.

— Ну как, удачно? — спросил я.

— Более чем. После обеда я отправилась домой, не заезжая на работу; полагаю, на этой неделе мы и так превзошли себя. Он не просто заинтересовался проектом, но намерен сделать его гвоздем своей программы уже этой зимой. Он готов финансировать издание каталога и специальную рекламную кампанию для немецкой публики. Уверен, что сможет через свои агентства заполнить все ныне существующие клубы; спросил даже, не разрабатываем ли мы еще какие-нибудь проекты. Единственное, что он желает получить взамен, — эксклюзивность на своем рынке: Германия, Австрия, Швейцария, Бенилюкс; он знает, что мы в контакте с Неккерманом. На выходные я заказала номер в центре талассотерапии в Динаре, — добавила она. — Думаю, мне это необходимо. И к моим родителям сможем заглянуть.

12

Однажды вечером по дороге с работы я встретил Лионеля; мы не виделись почти год, с той самой поездки в Таиланд. Как ни удивительно, я его сразу узнал. Чудно даже, что он мне так хорошо запомнился, ведь я тогда с ним и тремя фразами не перемолвился.

Он сказал, что у него все в порядке. Кружок плотной черной материи закрывал его правый глаз. Производственная травма, что-то там взорвалось; но все сложилось удачно, его вовремя стали лечить, 50 процентов зрения он сохранит. Я пригласил его выпить стаканчик в кафе возле Пале-Рояля. Интересно, узнал бы я сразу Робера, Жозиану и других тогдашних попутчиков? Вполне возможно. Эта мысль меня удручила; получалось, что моя память постоянно заполняется совершенно ненужной информацией. Я человек и потому, естественно, более всего приспособлен к опознанию и запоминанию себе подобных. *Человеку всего полезнее человек.* Я не очень ясно понимал, зачем пригласил Лионеля в кафе, не знал, о чем с ним говорить. Для поддержания беседы спросил, не ездил ли он больше в Таиланд. Он не ездил, и не потому, что не хотел, а потому, что не по карману. Видел ли кого-нибудь из группы? Нет, никого. Тогда я рассказал ему, что встретился с Валери, которую он, может быть, помнит, и что мы теперь живем вместе. Он очень за меня порадовался, мы оба тогда ему приглянулись. Сам он мало куда ездит, тот отпуск в Таиланде — одно из лучших воспоминаний в его жизни. Его простота и наивное стремление к счастью меня растрогали. В эту минуту я испытал душевное побуждение, которое и сегодня еще склонен называть *добротой.* Вообще-то я не добр, это качество мне не свойственно. Человечество в целом мне противно, участь других людей, как правило, безразлична, не припомню даже, чтобы я когда-нибудь испытывал *чувство солидарности.* А в тот вечер я сказал Лионелю, что Валери работает в туристической компании, что они собираются открыть новый комплекс в Краби и я могу без труда достать ему путевку на неделю с пятидесятипроцентной скидкой. Я придумал это на ходу, потому что решил сам за него доплатить. Возможно, в какой-то мере меня тянуло порисоваться; но, по-моему, мне искренне захотелось, чтобы он еще раз в жизни, хоть в течение недели, испытал наслаждение в руках опытных тайских проституток.

Когда я рассказал Валери о встрече с ним, она посмотрела на меня с недоумением; она не помнила, кто такой Лионель. В том-то и заключалась его беда: неплохой парень, но никакой индивидуальности, слишком сдержан, неприметен, о нем нечего вспомнить. “Хорошо,

сделаем, если тебе так хочется, — решила Валери. — Ему не придется платить даже 50 процентов; я как раз собиралась тебе сказать: у меня будут бесплатные приглашения на неделю по случаю открытия клуба, оно приурочено к первому января". На другой день я позвонил Лионелю и сообщил, что ему предоставляется бесплатная путевка; это было уже слишком, он никак не мог поверить, я с трудом уговорил его согласиться.

В тот день одна юная художница приходила показывать мне свои работы. Ее звали Сандра Эксжтовойан или что-то в этом роде, такую фамилию все равно не упомнить; будь я ее агентом, я бы посоветовал ей назваться Сандрой Холлидей. Совсем еще юное создание, в брюках и футболке, внешность самая обычная, лицо, пожалуй, чуть широковато, вьющиеся коротко остриженные волосы; выпускница школы изящных искусств в Кане. Она пояснила мне, что работает исключительно на своем теле, и полезла в портфель; я наблюдал за ней не без опаски, надеясь, что она не станет показывать мне фотографии пластической операции на пальцах ног или на чем-нибудь еще, — я такого уже вдоволь навидался. Но нет, она протянула мне всего-навсего открытки с отпечатками своей розочки, обмокнутой в краски разных цветов. Я выбрал бирюзовую и сиреневую; пожалел, что не припас фотографий своего удальца, — могли бы обменяться. Миленькие карточки, но, насколько я помнил, Ив Кляйн уже делал подобное более сорока лет назад, а потому мне трудно будет что-либо сказать в защиту ее проекта. Да, да, согласилась она, это так — *упражнения в стиле.* Затем извлекла из картонной папки более сложную композицию, состоящую из двух колесиков различного диаметра, соединенных узкой резиновой лентой; приспособление приводилось в движение маленькой ручкой. На ленте виднелись небольшие выступы, я бы сказал, пирамидальной формы. Я повернул ручку, провел пальцем по двигающейся ленте и ощутил легкое и вполне приятное щекотание. "Это муляжи моего клитора", — объяснила художница; я отдернул палец. "Я фотографировала его в минуты эрекции с помощью эндоскопа, затем перенесла все в компьютер. Потом в программе 3D восстановила объем, смоделировала и отправила данные на завод". У меня создалось впечатление, что она не в меру увлекается технической стороной. Я снова крутанул ручку — это получилось машинально. "Так и хочется потрогать, правда? — обрадовалась она. — Я предполагала еще подсоединить батарейку, чтобы там лампочка загоралась. Как вы думаете?" Я не одобрил: это нарушало простоту замысла. Для современной художницы девушка оказалась вполне симпатичной; я даже подумал, не пригласить ли ее как-нибудь поразвлечься втроем, не сомневаюсь, она бы поладила с Валери. Однако я вовремя спохватился: подобное предложение с моей стороны можно расценить как сексуальное домогательство; я с тоской поглядел на ее изделие. "Видите ли, — сказал я в итоге, — я занимаюсь в основном финансовой стороной проектов. Что касается эстетики, вам лучше обратиться к мадмуазель Дюрри", — и записал ей на визитной карточке имя и телефон Мари Жанны: должна же она, наверное, разбираться в клиторах. Девушка выглядела немного обескураженной, но все-таки протянула мне пакетик с резиновыми пирамидками. "Я вам их дарю, — сказала она, — мне на заводе много наделали". Я поблагодарил ее и проводил к выходу. Перед тем как попрощаться, еще спросил, сделаны ли муляжи в натуральную величину. "Разумеется, — отвечала она, — это входит в концепцию".

В тот же вечер я внимательно изучил клитор Валери. Прежде я его специально не рассматривал; когда я ее ласкал, лизал, я мыслил более общими категориями; мне запомнились позы, ритмы движений; теперь же я долго вглядывался в малюсенький орган, трепыхавшийся у меня перед глазами. "Что ты там делаешь?" — удивилась она, пролежав минут пять с раздвинутыми ногами. "Создаю эстетическую концепцию", — отвечал я и лизнул ее для успокоения. Муляжам не хватало, понятно, запаха и вкуса; а в остальном я нашел безусловное сходство. Закончив осмотр, я высвободил двумя руками объект наблюдения и стал водить по нему языком. То ли ожидание обострило ее желание, то ли мои движения сделались более точными и целенаправленными — так или иначе, она кончила почти сразу. Если разобраться, подумал я, эта Сандра неплохая художница: ее творчество заставляет по-новому взглянуть на мир.

13

Уже к началу декабря у нас не осталось сомнений, что клубы "Афродита" станут событием, возможно даже *историческим*. В туриндустрии ноябрь традиционно самый трудный месяц. В октябре запоздалые туристы еще пытаются захватить остатки курортного сезона; декабрь принимает эстафету благодаря рождественским праздникам; но мало, очень мало кто едет отдыхать в ноябре, разве что пенсионеры, да и то самые осмотрительные и непритязательные. А тут вдруг изо всех клубов стали поступать поразительные данные: новый проект пользовался бешеным успехом, прямо-таки повальное увлечение. Я ужинал с Валери и Жаном Ивом в тот день, когда они узнали первые цифры; они поглядывали на меня как-то странно: результаты превзошли все ожидания; в среднем за месяц гостиницы на их курортах в различных странах оказались заполненными более чем на 95 процентов. "Н-да, секс... — протянул я нерешительно. — Людям необходим секс, только и всего, но они не осмеливаются в этом признаться". Было над чем призадуматься; официант подал закуски. "Вокруг открытия комплекса в Краби творится что-то невероятное... — продолжил Жан Ив. — Рембке звонил, говорит, все забронировано еще три недели назад. И что интересно, в средствах массовой информации ни звука, ни строчки. Успех тайный; массовый, но конфиденциальный; именно то, к чему мы стремились".

Жан Ив наконец решился уйти от жены и снять квартиру; ключи ему предстояло получить только 1 января, но он уже повеселел и заметно расслабился. Он был достаточно молод, красив и богат; все это, оказывается, не помогает жить, констатировал я с изумлением, зато, по крайней мере, привлекает внимание. К чему он стремится, зачем так усердно печется о карьере — этого я по-прежнему не понимал. Не думаю, чтобы ради денег: все равно бóльшую их часть съедали налоги, а кроме того, он не любил роскошь. И не из преданности делу или каких-нибудь других альтруистических побуждений: развитие мирового туризма вряд ли можно счесть благородной миссией. Им руководило честолюбие как таковое, оно было его внутренней потребностью, которую я уподоблю скорее потребности созидать, нежели жажде власти или духу соперничества — о его однокашниках из Высшей коммерческой школы я никогда ничего не слышал и не думаю, чтобы он ими интересовался. Одним словом, мотивация вполне достойная, не она ли на протяжении всей истории вела человечество по пути развития цивилизации? Общество воз-

давало ему должное высокой зарплатой; при других социальных режимах награда выражалась бы в титулах или же в привилегиях, вроде тех, какими обладала *номенклатура*; не думаю, чтобы это повлияло на его деятельность. На самом деле Жан Ив работал из любви к работе; это так загадочно и так просто.

15 декабря, за две недели до открытия нового комплекса, поступил тревожный сигнал из компании TUI: в Хат Яй, на самом юге Таиланда, похищен немецкий турист вместе с сопровождавшей его юной тайкой. Местная полиция получила невнятное послание на плохом английском: похитители не выдвигали никаких требований, но сообщали, что молодые люди будут казнены за поведение, не соответствующее законам ислама. В приграничных с Малайзией районах в последние месяцы действительно активизировались исламисты, поддерживаемые Сирией; однако прежде они не похищали людей.

18 декабря прямо на центральной площади города злоумышленники выбросили на ходу из грузовика обнаженные изуродованные трупы немца и таиландки. Девушку забили камнями с неслыханной жестокостью; тело ее распухло до неузнаваемости, кожа полопалась. Немцу перерезали горло и, оскопив его, запихнули половые органы в рот. Информация попала в немецкую прессу, отголоски докатились и до Франции. Газеты не стали печатать фотографии жертв, но они сразу же появились на сайтах в Интернете. Жан Ив ежедневно звонил в TUI, новости скорее обнадеживали: очень мало кто отказался от путевок, основная масса отпускников планов не поменяла. Премьер-министр Таиланда успокаивал как мог: речь идет, дескать, о случайном эпизоде. Все известные террористические движения и группировки дружно осудили похищение и убийство.

Между тем по прибытии в Бангкок я сразу ощутил напряженность, особенно в районе улицы Сукхумвит, где жили туристы с Ближнего Востока, в большинстве своем из Турции или Египта, но некоторые и из более суровых стран: Саудовской Аравии или Пакистана. Я заметил, что прохожие поглядывают на них с недоброжелательством. Над входом во многие секс-бары я видел таблички: "Мусульманам вход воспрещен"; хозяин одного заведения на улице Патпонг не поскупился на объяснения и вывесил рукописный текст такого содержания: "We respect your Muslim faith: we don't want you to drink whisky and enjoy Thai girls[1]". Несчастные туристы-мусульмане, заметим, были ни в чем не виноваты, а в случае теракта рисковали больше других. Когда я посетил Таиланд впервые, меня поразило обилие приезжих из арабских стран; на самом деле они устремились сюда ровно по тем же причинам, что и европейцы, с той лишь разницей, что в разврат пускались, пожалуй, с еще большим энтузиазмом. В десять утра они уже сидели за стаканом виски в баре гостиницы; в массажные салоны приходили к открытию. Нарушая законы ислама, они, возможно, испытывали угрызения совести и оттого держались мило и любезно.

Бангкок я нашел все таким же душным, грязным и шумным и все же был рад увидеть его снова. Жан Ив общался с какими-то банкирами и министерскими чиновниками — я особенно не вникал. Два дня спустя он

1. Мы уважаем вашу мусульманскую веру: мы не хотим, чтобы вы пили виски и наслаждались тайскими девушками (*англ.*).

сообщил нам, что встречи прошли успешно: местные власти проявили исключительную сговорчивость, соглашались на все, лишь бы привлечь инвестиции с Запада. Таиланд уже несколько лет не вылезал из кризиса, биржевые котировки и национальная валюта падали, государственный долг составлял 70 процентов валового внутреннего продукта. "Дела у них настолько паршивые, что им даже не до коррупции, — объяснял Жан Ив. — Я давал на лапу, но самую малость, сущий пустяк по сравнению с тем, что приходилось давать пять лет назад".

Утром 31 декабря мы отправились на самолете в Краби. Выйдя из микроавтобуса, я сразу наткнулся на Лионеля, прибывшего накануне. Он был в восторге, в полнейшем восторге, мне с трудом удалось остановить поток его благодарностей. Но когда я добрался до своего бунгало, мне открылся такой вид, что я и сам обомлел. Огромный девственный пляж, мельчайший, как пудра, песок. В нескольких десятках метров от берега океан из лазурного делался бирюзовым, чуть дальше — изумрудным. Громадные известковые скалы, поросшие сочной зеленью, выступали из воды и тянулись до самого горизонта, где растворялись в ярком свете, придавая бухте какое-то нереальное космическое измерение.

— "Пляж" снимали здесь? — спросила Валери.

— Мне кажется, нет — на Кох Пхи-Пхи. Я не видел фильма.

По ее мнению, я ничего не потерял; кроме пейзажей, там нет ничего интересного. Я вспомнил, что читал как-то книгу о туристах, ищущих не тронутый цивилизацией остров; в их распоряжении имелась только карта, которую нарисовал им старый путешественник, перед тем как покончить с собой в жалкой гостинице на Кхао Сен роуд. Они приехали сначала на Самуй, понятно, изгаженный туристами; оттуда переправились на соседний остров, но и там обнаружили слишком много народу. Потом, наконец, подкупили лодочника, и тот отвез их в заповедник, на остров, закрытый для посетителей. Тут-то и начались неприятности. Первые главы великолепно иллюстрировали безвыходное положение туриста, устремившегося на поиск "нетуристических мест", которые с его появлением перестают быть таковыми, и бедняга вынужден забираться все дальше и дальше в погоне за мечтой, теряющей смысл по мере ее осуществления. Занятие столь же безнадежное, как попытка убежать от собственной тени; данный парадокс, как сообщила мне Валери, хорошо известен в мире турбизнеса, на языке социологов он называется "double bind"[1].

Описанная ситуация, похоже, не грозила курортникам в городке "Эльдорадор — Афродита": на необъятном пляже все они сгрудились в одном месте. На первый взгляд, состав отдыхающих соответствовал ожиданиям: много немцев, по виду в основном высокооплачиваемые чиновники и люди свободных профессий. Валери знала и точные цифры: 80 процентов — немцы, 10 процентов — итальянцы, 5 процентов — испанцы и 5 процентов — французы. Неожиданно много приехало супружеских пар *либерального* склада, вроде завсегдатаев мыса Агд: большинство женщин с силиконовой грудью, у многих — цепочки на талии или на щиколотке. Я сразу заметил, что почти все купаются нагишом. Что ж, тем лучше, с такими людьми обычно нет проблем. В отличие от мест, славящихся "туристическим духом", курорты, посещаемые свингерами, где массовость — необходимое условие, никаким парадоксам не подвер-

1. Здесь: порочный круг (*англ.*).

жены. В мире, где величайшей роскошью считается возможность избегать других людей, добродушную общительность "свободных" немецких пар следует расценивать как завуалированную форму подрывной деятельности, сказал я Валери, пока она снимала бюстгальтер и трусы. Раздевшись сам, я несколько смутился вольным поведением моего проказника и лег на живот рядом с Валери. Она же раздвинула ноги, преспокойненько подставив свое богатство солнцу. Расположившаяся в нескольких метрах справа от нас группа немок обсуждала, как мне показалось, статью в "Шпигеле". У одной из них волосы на лобке были выщипаны и отчетливо виднелась тонкая прямая щель. "Смотри, как здорово, — прошептала Валери, — так и хочется сунуть пальчик". Действительно, здорово; однако слева от нас я видел чету испанцев: у дамы вход в пещеру загораживали густые черные, курчавые заросли — это мне тоже понравилось. Когда она ложилась, я обратил внимание на ее мясистые полные губы. Несмотря на молодость — я бы не дал ей больше двадцати пяти, — у нее была тяжелая пышная грудь с выпуклыми ореолами. "Повернись-ка на спину", — сказала Валери. Я покорно перевернулся и закрыл глаза, как будто это что-то меняло. Мой танцор воспрянул и высунул головку. Через минуту я перестал думать о чем-либо и целиком сосредоточился на ощущениях, а ощущать солнечное тепло на слизистой оболочке бесконечно приятно. Я лежал зажмурившись и чувствовал, как струйка масла для загара льется мне на грудь, потом на живот. Пальцы Валери легко касались моей кожи то тут, то там. Воздух наполнился ароматом кокосового масла. Когда она начала смазывать то, что ниже, я поспешно открыл глаза: Валери стояла возле меня на коленях, лицом к испанке, а та приподнялась на локтях, чтобы лучше нас видеть. Я откинул голову назад и устремил взгляд в голубое небо. Валери, обхватив одной рукой мои ядра, другой рукой методично натирала маслом мой член. Повернув голову налево, я увидел, что испанка усердно трудится над хозяйством своего парня, и снова уставился в небо. Совсем рядом зашуршали шаги по песку, и я опять зажмурился, затем услышал звук поцелуя и шепот. Не знаю, сколько рук и сколько пальцев ласкали мой детородный орган; а море тихо-тихо плескалось о берег.

С пляжа мы отправились посмотреть досуговый комплекс; смеркалось, зажигались одна за другой разноцветные вывески баров "go-go". На круглой площадке их разместилось штук десять, а в центре — огромный массажный салон. У входа мы встретили Жана Ива в сопровождении грудастой девицы в длинном платье, светлокожей, похожей на китаянку.

— Как там внутри? — спросила Валери.

— Шикарно. Кич, но роскошный. Фонтаны, тропические растения, водопады, даже греческих богинь понаставили.

Развалившись на мягком диване с парчовой обивкой, мы выбрали девушек. Массаж нам понравился; теплая вода и жидкое мыло растворили остатки кокосового масла. Гибкие девицы мылили нас грудью, ягодицами и ляжками; Валери застонала сразу, и я лишний раз восхитился богатством эротических зон женского тела.

Из гостей на новогоднем банкете присутствовали преимущественно таиландцы, так или иначе связанные с туристическим бизнесом. Из руководства "Авроры" не приехал никто; глава TUI тоже не выбрался, хотя и прислал вместо себя сотрудника, который, судя по всему, не имел ника-

ких полномочий, но бесконечно радовался представившейся возможности отдохнуть. Кормили изысканно блюдами тайской и китайской кухни: хрустящие *немы* с базиликом и мелиссой, оладьи из батата, карри с креветками в кокосовом молоке, соте из риса с кешью и миндалем, "лакированная" утка. Вина по случаю торжества заказали из Франции. Я поговорил несколько минут с Лионелем — тот млел от счастья. С ним была очаровательная девушка родом из Чиангмая по имени Ким. Он познакомился с ней в первый же вечер в топлес-баре и с тех пор не расставался и не спускал с нее восторженных глаз. Я прекрасно понимал, почему наш недотепа прельстился этим изящным созданием с неправдоподобно тонкой талией; на родине ему такой не встретить. Тайские проститутки — это сказка, подумал я, дар небесный, никак не меньше. Ким немного говорила по-французски. Она даже была в Париже, восхищенно рассказывал Лионель; ее сестра замужем за французом.

— Ах вот как! И чем же он занимается? — поинтересовался я.

— Врач, — Лионель немного нахмурился. — Конечно, со мной у нее такой жизни не будет.

— Зато у тебя гарантия от безработицы, — приободрил я его. — Таиландцы все мечтают о государственной службе.

Он посмотрел на меня с недоверием. Между тем я говорил сущую правду: слова "государственная служба" оказывали на таиландцев гипнотизирующее воздействие. Правда, в Таиланде все чиновники коррумпированы; они не только имеют гарантированную работу, но еще и богаты. У них есть все.

— Что ж, счастливой ночи, — пожелал я ему и направился в бар.

— Спасибо, — отвечал он, краснея.

Сам не знаю, что это я вздумал играть в *знатока жизни*; видать, старел. Таиландочка внушала мне некоторые опасения: эти девчонки с севера нередко очень красивы, но, к сожалению, слишком хорошо понимают это сами. Проводят целые дни перед зеркалом с полным сознанием того, что их красота сама по себе представляет материальную ценность, и в результате становятся капризными и никчемными. С другой стороны, в отличие от европейской модницы, Ким не могла знать, что Лионель отнюдь не супермен. Основные критерии красоты универсальны — это молодость, отсутствие увечий и общее соответствие нормам данного вида. Критерии дополнительные расплывчаты и относительны; девушке другой культуры в них трудно разобраться. Экзотическая девушка — хороший выбор для Лионеля; пожалуй, наилучший. Короче, я сделал для него что мог.

Я сел на скамейку с бокалом "Сент-Эстефа" в руке и стал смотреть на звезды. 2002 год ознаменуется вхождением Франции в европейский валютный союз, а кроме того, чемпионатом мира по футболу, президентскими выборами и другими событиями, широко распропагандированными в средствах массовой информации. Скалы вокруг бухты подсвечивались луной; в полночь, я знал, ожидается фейерверк. Через несколько минут ко мне подошла Валери, села рядом. Я обнял ее и положил голову ей на плечо; я почти не видел ее лица, но ощущал ее запах, осязал кожу. Когда вспыхнул первый залп фейерверка, я разглядел на ней зеленое полупрозрачное платье, то самое, которое она надевала год назад на Кох Пхи-Пхи; она поцеловала меня в губы; я испытал такое чувство, будто мир перевернулся. Чудесным образом и совершенно незаслуженно мне предоставлялась возможность начать сначала. В жизни край-

не редко нам дается шанс исправить прошлое — это противоречит всем законам. Я сжал Валери в объятьях, и мне захотелось плакать.

14

Если не властвует любовь, то как же может править разум? На практике главенствует действие.

Огюст Конт

Лодка скользила по бирюзовым просторам, и мне не нужно было беспокоиться о том, что я сделаю в следующую минуту. Мы выехали очень рано и направлялись к острову Майа, лавируя между выступающими из воды коралловыми рифами и известковыми скалами. Некоторые из них имели форму кольца с лагуной посередине, в которую можно было проплыть по узенькому каналу, проточенному в камне. В лагунах стояла неподвижная изумрудно-зеленая вода. Лодочник глушил мотор. Валери смотрела на меня, мы сидели молча, неподвижно; текли минуты в полной тишине.

На острове Майа он высадил нас в бухточке, окруженной высокой каменной стеной. У подножия скал метров на сто узким серпом протянулся пляж. Солнце стояло высоко, было уже одиннадцать. Лодочник запустил мотор и отчалил в сторону Краби; мы договорились, что он вернется за нами к вечеру. Как только он вышел из бухты, шум мотора стих.

За исключением полового акта, в жизни очень редки мгновения, когда тело наслаждается, исполняется радости просто оттого, что существует на свете; тот день 1 января целиком состоял у меня из таких мгновений. Мне запомнилось одно: ощущение полноты бытия. Наверное, мы купались, обсыхали на солнце, занимались любовью. Не помню, чтобы мы о чем-нибудь говорили или обследовали остров. Но помню запах Валери, вкус соли, высыхавшей у нее на лобке; помню еще, что заснул в ней и проснулся от ее содроганий.

Лодка пришла за нами в пять. Вернувшись в гостиницу, мы сидели на террасе, обращенной к морю; я выпил кампари, Валери — "май тай". В оранжевых лучах заката зубья известковых скал казались почти черными. С пляжа возвращались последние купальщики с полотенцами в руках. Какая-то парочка совокуплялась в воде в нескольких метрах от берега. Заходящее солнце сверкало на золотой крыше пагоды. В тишине несколько раз подряд пробил колокол. По буддийскому обычаю колокольным звоном в храме отмечаются благодеяния и другие похвальные поступки; какая радостная религия, если она звонит о добрых делах на всю округу!

— Мишель, — сказала Валери после долгого молчания, глядя мне прямо в глаза, — я хочу остаться здесь.

— В каком смысле?

— Поселиться насовсем. Я все обдумала, пока мы плыли назад: это возможно. Надо только, чтобы меня назначили директором городка. У меня есть диплом, знания и опыт.

Я молча смотрел на нее; она взяла меня за руку.

— Но согласишься ли ты бросить работу?

— Да.

Я ответил мгновенно, без колебаний; это было самое простое решение из всех, какие мне когда-либо приходилось принимать.

Мы увидели Жана Ива, выходившего из массажного салона. Валери махнула ему рукой, и он подсел к нам; она изложила ему свой план.

— Что ж, — сказал он задумчиво, — полагаю, это можно уладить. Руководство "Авроры", конечно, удивится: ты просишь о понижении. Твоя зарплата уменьшится по крайней мере вдвое, но иначе невозможно, несправедливо по отношению к другим.

— Знаю, на зарплату мне наплевать, — ответила она.

Он снова посмотрел на нее, удивленно покачивая головой.

— Если ты так решила... если ты так хочешь... В конце концов, "Эльдорадором" руковожу я, — сказал он таким тоном, будто только сейчас это понял. — Я имею полное право назначать руководителей городков по своему усмотрению.

— Значит, ты согласен?

— Да. Я не могу тебе запретить.

Странно ощущать, что жизнь твоя вдруг полностью меняется; сидишь, ничего особенного не делаешь и чувствуешь, как все переворачивается вверх дном. За ужином я молчал, погруженный в раздумья; Валери забеспокоилась.

— Ты уверен, что хочешь жить здесь? Ты не будешь жалеть, что уехал из Франции?

— Нет, я ни о чем жалеть не буду.

— Здесь нет никаких развлечений, нет культурной жизни.

Я это понимал; я много размышлял о нашей культуре; она представлялась мне логичной компенсацией нашего несчастливого бытия. Теоретически можно вообразить культуру совсем иного рода, праздничную и лирическую, рожденную в мире счастья; впрочем, это только предположение, к тому же абстрактное и уже не имевшее для меня никакого значения.

— Тут есть TV-5, — отвечал я с безразличием.

Она улыбнулась: канал TV-5, как известно, один из худших в мире.

— Ты уверен, что не будешь скучать? — настаивала она.

Мне доводилось испытывать в жизни страдания, подавленность, страх, но мне никогда не приходилось скучать. Я не имел ничего против бесконечного, глупого повторения одного и того же. Конечно, я не обольщался и понимал, что оно мне и не грозит; я знал, что несчастье могуче, цепко, изобретательно; но однообразие меня не пугало. В детстве я мог часами перебирать на лугу трилистники клевера; за многие годы мне ни разу не попался клевер с четырьмя листиками; но я не огорчался и не испытывал разочарования; я мог бы точно так же пересчитывать травинки; все трилистники казались мне бесконечно одинаковыми и бесконечно красивыми. Однажды, когда мне было двенадцать лет, я взобрался на верхушку опоры высоковольтной линии, расположенной в горах. Пока я карабкался вверх, я не смотрел под ноги. Стоя наверху на площадке, я обнаружил, что спускаться будет очень трудно и опасно. Вокруг, насколько хватало глаз, тянулись горные хребты, увенчанные вечными снегами. Куда проще было бы остаться на месте или прыгнуть вниз. Меня удержало только одно: я представил

себе, как я разобьюсь в лепешку; иначе, наверное, я бы мог бесконечно наслаждаться полетом.

На другой день я познакомился с Андреасом, немцем, жившим здесь уже десять лет. Он был переводчиком, а потому мог работать и тут; раз в год он ездил в Германию на книжную ярмарку во Франкфурте; когда у него возникали вопросы, он задавал их через Интернет. Ему посчастливилось перевести несколько американских бестселлеров, в том числе "Фирму", что обеспечивало ему приличные доходы, а жизнь в Краби недорога. Прежде он почти не встречал здесь туристов и очень удивился неожиданному нашествию соотечественников; отнесся к этому без восторга, но и без неприязни. Его связь с Германией давно ослабла, хотя по роду занятий он постоянно пользовался немецким языком. Он женился в свое время на тайке, с которой познакомился в массажном салоне, и имел от нее двоих детей.

— Трудно ли здесь... э-э... иметь детей? — спросил я. Вопрос прозвучал для меня самого нелепо, словно бы я спрашивал, трудно ли завести собаку. Откровенно говоря, я всегда испытывал некоторое отвращение к детям; они представлялись мне маленькими чудовищами, которые только и делают что какают и истошно вопят; мысль о ребенке никогда не приходила мне в голову. С другой стороны, большинство супружеских пар, как известно, *производят на свет детей*; не знаю уж, радуются они этому или нет, но жаловаться вслух не осмеливаются. Вообще-то, сказал я себе, обведя взглядом туристический комплекс, на такой территории как раз, пожалуй, и можно растить детей: гуляли бы себе между бунгало, играли бы с какими-нибудь палочками или не знаю с чем.

По словам Андреаса, растить тут детей чрезвычайно просто; в Краби есть школа, в нее можно ходить пешком. Тайские дети не похожи на европейских, они не раздражительные, не капризные. Родителей уважают, чуть ли не боготворят, этому их никто не учит — они впитывают это с молоком матери. Когда он приезжал к своей сестре в Дюссельдорф, поведение племянников приводило его в ужас.

Благотворное воздействие культурной традиции на молодое поколение лишь отчасти развеяло мои сомнения; я успокаивал себя тем, что Валери только двадцать восемь, а потребность в детях обычно одолевает женщин к тридцати пяти; но, впрочем, если нужно, я готов был иметь от нее ребенка: я знал, что такая мысль у нее появится обязательно. В конце концов, ребенок — это всего-навсего маленькое животное, правда со зловредными наклонностями — скажем, вроде обезьянки. Из него можно даже извлечь какую-нибудь пользу, например, я мог бы научить его играть в "Миль борн"[1]. "Миль борн" — моя страсть, и страсть неутоленная: с кем мне играть? Конечно уж, не с коллегами по работе и не с художниками, которые приносят мне свои проекты. С Андреасом? Я смерил его взглядом: нет, не подойдет. Но в целом он выглядел человеком серьезным и умным; с ним стоило поддерживать отношения.

— Вы хотите остаться здесь... насовсем? — спросил он меня.

— Да, насовсем.

— Так лучше, — кивнул он в ответ. — С Таиландом очень трудно расстаться. Если бы мне сейчас пришлось отсюда уехать, на знаю, как бы я это пережил.

1. Детская настольная игра.

15

Дни пролетели с ужасающей быстротой; пятого мы должны были уезжать. Накануне вечером мы ужинали с Жаном Ивом в ресторане гостиницы. Лионель от приглашения отказался, пошел смотреть на Ким. "Мне приятно видеть, как она танцует почти обнаженная перед мужчинами, и знать, что потом она будет моей", — сказал он нам. Жан Ив посмотрел ему вслед.

— Наш газовщик делает успехи... Он уже проявляет склонность к извращениям.

— Не смейся над ним, — возразила Валери. — Я начинаю понимать, что ты в нем находишь, — добавила она, обернувшись ко мне. — Он трогательный парень. Во всяком случае, отпуск у него удался на славу, это точно.

Смеркалось; в домах зажигались огни. Последний луч заката догорал на золоченой пагоде. С тех пор как Валери сообщила Жану Иву о своем решении, он на эту тему больше не заговаривал — до самого прощального ужина; теперь он заказал бутылку вина.

— Мне будет тебя не хватать, — сказал он. — Все придется делать иначе. Мы работали вместе больше пяти лет. Хорошо ладили, ни разу всерьез не ругались. Я тебе многим обязан.

Стемнело, он говорил все тише и тише, словно бы для себя самого:

— Теперь мы расширим сеть. Бразилия напрашивается сама собой. Еще я думал о Кении: в идеале хорошо бы открыть другой комплекс внутри страны для сафари, а городок на побережье отдать под "Афродиту". Есть возможности и во Вьетнаме.

— Ты не боишься конкуренции? — спросил я.

— Нисколько. Американцы в это дело не сунутся, в Штатах слишком распространены пуританские взгляды. Если я чего и опасался, так это реакции французской прессы, но пока все тихо. Правда, у нас в основном иностранные клиенты, а в Германии и Италии спокойнее относятся к таким вопросам.

— Ты станешь величайшим сутенером в мире.

— Почему сутенером? — возразил он. — Мы же не берем проценты с заработка девушек; мы просто не мешаем им работать.

— И потом, — вмешалась Валери, — девушки сами по себе, они не персонал гостиницы.

— В общем, да, — подтвердил Жан Ив неуверенно, — по крайней мере здесь. Хотя я слышал, что в Санто-Доминго официантки охотно поднимаются в номера.

— Их никто не заставляет.

— Это уж точно.

— Короче, — Валери умиротворяюще повела рукой, — не слушай, что говорят лицемеры. Твое дело обеспечить структуру и *уникальный стиль* "Авроры", и все тут.

Официант принес суп с мелиссой. За соседними столиками сидели немцы и итальянцы с тайками, а также немецкие пары с тайками и без. Разные люди здесь, как видно, легко уживались друг с другом в атмосфере наслаждения; работа директора комплекса представлялась не изнурительной.

— Итак, вы остаетесь здесь... — снова заговорил Жан Ив: похоже, ему верилось в это с трудом. — Я, конечно же, поражен, то есть отчасти я вас понимаю, но меня удивляет, что люди отказываются от больших денег.

— А зачем мне большие деньги? — произнесла Валери, чеканя каждый слог. — Чтобы покупать сумки фирмы "Прада"? Ездить на выходные в Будапешт? Есть свежие трюфели? Я заработала много денег и даже не помню, на что их потратила: наверное, на подобную ерунду. Ты-то сам знаешь, куда уходят твои деньги?

— М-м... — Он задумался. — Вообще-то я думаю, их в основном тратила Одри.

— Одри — идиотка. — Безжалостно вмазала ему Валери. — К счастью, ты разводишься. Это самое умное решение, какое ты когда-либо принимал.

— Ты права, она действительно идиотка, — ответил Жан Ив, не смутившись; он улыбнулся, помялся, потом сказал: — Странная ты все-таки, Валери.

— Я не странная, это мир вокруг странный. Неужели тебе в самом деле хочется купить кабриолет "феррари"? Или домик в Довиле, который все равно разграбят? Или до шестидесяти лет работать по девяносто часов в неделю? Половину зарплаты отдавать в виде налогов на финансирование военной операции в Косово или на программу спасения предместий? Нам здесь нравится; здесь есть все, что нужно для жизни. Единственное, что отличает Запад, — это *фирменные товары*. Если тебе необходимы фирменные товары, оставайся на Западе; если нет, в Таиланде найдешь великолепные подделки.

— Странной мне кажется твоя позиция: ты столько лет работала на западный мир и не верила в его ценности.

— Я хищница, — ответила она спокойно. — Хищница маленькая и беззлобная: мне мало нужно. До сих пор я работала исключительно ради денег; теперь я начну жить. А вот других людей я не понимаю: что, к примеру, мешает тебе поселиться здесь? Женился бы на тайке: они красивы, приветливы и великолепно занимаются любовью. Некоторые даже по-французски немного говорят.

— Ну... — Он снова замялся. — Пока что я предпочитаю менять девушек каждый вечер.

— Это пройдет. И потом, никто не мешает тебе посещать массажные салоны после женитьбы, на то они и существуют.

— Я знаю. Видишь ли... на самом деле мне всегда было трудно принимать жизненно важные решения.

Смущенный своим признанием, он обратился ко мне:

— Мишель, а ты чем будешь здесь заниматься?

Ближе всего к истине был бы ответ "Ничем"; но такое очень трудно объяснить активному человеку.

— Он будет готовить, — ответила за меня Валери. Я посмотрел на нее с удивлением. — Да-да, — настаивала она, — я заметила, тебе нравится готовить, на тебя иногда прямо вдохновение находит. Это очень удачно — я терпеть не могу стряпню; не сомневаюсь, ты здесь увлечешься кулинарией.

Я попробовал курицу с карри и зеленым перцем; что ж, пожалуй, интересно было бы приготовить ее с манго. Жан Ив задумчиво качал головой. Я взглянул на Валери: хищницей она была умной и упрямой; она вы-

брала меня, пожелала разделить со мной логово. Принято думать, что человеческие общества держатся если не на единой воле всех членов, то, по крайней мере, на консенсусе, который в западных странах некоторые журналисты с четкими политическими позициями называют *соглашательством*. Я сам по натуре соглашатель и никогда не пытался этот консенсус нарушить; существование же *единой воли* представлялось мне сомнительным. По Иммануилу Канту, достоинство человека заключается в том, чтобы подчиняться законам лишь в той мере, в какой он сам осознает себя законодателем, — подобная фантазия в жизни не приходила мне в голову. Я не только не ходил голосовать, но и не видел в выборах ничего, кроме великолепного телевизионного шоу, в котором моими любимыми актерами были, по правде говоря, политологи; особенно меня радовал Жером Жаффре. Работа политиков виделась мне трудной, требующей специальных навыков, изматывающей; я охотно делегировал свои полномочия. В молодости я встречался с разными *активистами*, полагавшими, что надо заставить общество развиваться в том или ином направлении; я не питал к ним ни симпатии, ни уважения. Со временем я стал их остерегаться: в их пристрастии к глобальным проблемам и уверенности, будто общество им что-то должно, угадывалось несомненное лукавство. В чем я лично мог упрекнуть западное общество? Ни в чем особенно, но и горячей привязанности к нему не питал (я вообще все меньше и меньше понимал, как можно испытывать привязанность к идее, к стране, к чему-нибудь, кроме конкретного человека). На Западе дорогая жизнь, холодно и проститутки некачественные. На Западе не разрешают курить в общественных местах и почти невозможно купить наркотики; там много работают, много машин и шума, а безопасность обеспечивается плохо. В общем-то, изъянов немало. Я вдруг ощутил неловкость оттого, что рассматриваю общество как естественную среду — саванну или джунгли, — к которой вынужден приспосабливаться. А что я плоть от плоти этой среды — такой мысли у меня никогда не возникало, будто атрофировалось что-то. С такими индивидами, как я, общество вряд ли выживет; я же мог выжить с женщиной, которую люблю, и постараться сделать ее счастливой. Я снова с благодарностью посмотрел на Валери и в эту минуту услышал справа какой-то щелчок. Прислушавшись, я различил шум мотора, доносящийся со стороны моря, затем он внезапно оборвался. На краю террасы высокая блондинка поднялась во весь рост и громко заорала. Раздался сухой треск автоматной очереди. Блондинка повернулась к нам, хватаясь руками за лицо: пуля угодила ей в глаз, в глазнице зияла кровавая дыра; женщина бесшумно рухнула на пол. Затем я увидел троих мужчин в тюрбанах, они приближались с автоматами наперевес. Затрещала вторая очередь, длиннее первой; вопли смешались со звоном битой посуды. Несколько секунд мы сидели парализованные, мало кто догадался спрятаться под стол. Вскрикнул Жан Ив, его ранило в руку. И тут я увидел, что Валери медленно сползает со стула и валится на пол. Я бросился к ней, обхватил ее руками. Дальше я уже ничего не видел. В тишине, нарушаемой только звоном стекла, автоматные очереди следовали одна за другой; мне казалось, что это продолжается бесконечно долго. Сильно пахло порохом. Потом снова все стихло. Тогда я заметил, что моя левая рука вся в крови; наверное, пуля попала Валери в грудь или в горло. Ближайший к нам фонарь был разбит, стояла почти полная тьма. Жан Ив, лежавший в метре от меня, попробовал подняться, застонал. В это самое мгновение в стороне досуго-

вого комплекса прогремел мощнейший взрыв, сотряс воздух, раскатился по бухте. Мне показалось, что у меня лопнули барабанные перепонки; меня оглушило, но, несмотря на это, через несколько секунд я услышал чудовищные, нечеловеческие, поистине адские крики.

Спасатели приехали из Краби десять минут спустя; они бросились сначала в досуговый центр. Бомба взорвалась в самом большом баре "Неистовые губы" в час наплыва посетителей; ее пронесли в спортивной сумке и оставили возле подиума. Это было мощное самодельное устройство, начиненное динамитом, болтами и гвоздями и приводимое в действие будильником. Взрывной волной снесло тонкие кирпичные перегородки, отделявшие бар от соседних помещений; кое-где не выдержали металлические балки, и крыша держалась на честном слове. Увидев масштабы катастрофы, спасатели первым делом вызвали подмогу. Перед входом в бар корчилась на земле танцовщица в белом бикини, ей оторвало руки по локоть. Неподалеку на груде обломков сидел немец и руками удерживал кишки, вываливавшиеся у него из живота; рядом лежала его жена, ей наполовину срезало грудь. Внутри висел черный дым; пол был скользким от крови, хлеставшей из тел и обрубков тел. Агонизирующие люди с оторванными руками или ногами пытались ползти к выходу, оставляя за собой кровавый след. Кому-то болтами и гвоздями выбило глаза, раздробило кисти, искромсало лицо в клочья. Некоторых словно разорвало изнутри, их внутренние органы и конечности валялись на полу в нескольких метрах от тела.

Когда спасатели вбежали на террасу ресторана, я все еще сжимал Валери в объятиях; тело ее было теплым. В двух метрах от меня лежала женщина с залитым кровью и утыканным осколками стекла лицом. Иные сидели за столиками разинув рот — смерть застигла их врасплох. Я закричал, ко мне подошли два санитара, взяли у меня из рук Валери, бережно положили на носилки. Я попробовал встать, но тут же упал навзничь, стукнувшись затылком об пол. И тогда я отчетливо услышал, как кто-то сказал по-французски: "Она умерла".

Часть третья

Паттайя Бич

1

Впервые за долгое время я проснулся один. Больница в Краби небольшая, светлая; в то же утро меня посетил врач-француз из организации "Врачи мира"; они прибыли сюда на другой день после взрыва. Доктору на вид лет тридцать, спина чуть сгорблена, выражение лица озабоченное. Он сказал, что я спал трое суток. "То есть не то чтобы спали, — пояснил он. — Вы выглядели бодрствующим, мы пытались с вами говорить, но только сейчас нам удалось установить с вами контакт". "Установить контакт", — повторил я про себя. Он рассказал мне, что последствия взрыва чудовищны: число погибших достигло ста семнадцати; терактов такого масштаба еще не случалось в Азии. Некоторые пост-

радавшие в критическом состоянии, их сочли нетранспортабельными; в их числе Лионель. Ему оторвало обе ноги, осколок металла угодил в живот; шансы остаться в живых крайне малы. Других тяжелораненых перевезли в больницу Бумрунград в Бангкоке. Жан Ив отделался легко, пуля пробила ему плечевую кость; помощь оказали на месте. У меня же не было вообще ничего, ни царапинки. "Что касается вашей подруги... — сказал доктор под конец, — ее тело уже доставлено во Францию. Я говорил по телефону с ее родителями: ее похоронят в Бретани".

Он замолчал; наверное, ждал, когда я что-нибудь скажу. Он наблюдал за мной исподволь, и взгляд его делался все более озабоченным.

Около полудня появилась санитарка с завтраком; час спустя она его унесла. Сказала, что я должен начать есть, это совершенно необходимо.

Во второй половине дня меня навестил Жан Ив. Он тоже как-то странно на меня косился. Говорил в основном о Лионеле; бедняга умирал: вопрос нескольких часов. Лионель много раз звал Ким. Она каким-то чудом осталась цела и невредима и, похоже, быстро утешилась: накануне вечером Жан Ив видел ее в Краби под ручку с англичанином. Он ни словом не обмолвился об этом Лионелю, но тот, как видно, и не обольщался. "Мне повезло, что я ее встретил", — говорил он. "Странно, — добавил Жан Ив, — он выглядит счастливым".

Когда он уходил, я сообразил, что сам за все время не произнес ни звука; я совершенно не знал, что сказать. Я чувствовал: что-то тут не так, но это чувство было смутным, трудно выразимым. Мне казалось, что лучше всего молчать и ждать, пока все вокруг поймут свою ошибку; просто потерпеть какое-то время.

Прощаясь, Жан Ив еще раз взглянул на меня и сокрушенно покачал головой. Как выяснилось позже, я, оставшись в палате один, говорил беспрестанно и замолкал, как только кто-нибудь входил.

Еще через несколько дней на санитарном самолете нас перевезли в больницу Бумрунград. Я не очень понимал зачем; думаю, для того, наверное, чтобы нас допросила полиция. Лионель скончался накануне; проходя по коридору, я видел его тело, завернутое в саван.

Таиландские полицейские пришли в сопровождении работника посольства, который выполнял обязанности переводчика; к сожалению, я мало что мог им рассказать. Сдается, больше всего им хотелось узнать, были ли нападавшие арабами или азиатами. Я понимаю, почему их это волновало: важно было установить, добрался ли до Таиланда международный терроризм или же это дело рук малайских сепаратистов; но я мог только повторить, что все произошло очень быстро и я не успел их разглядеть; как мне показалось, они могли быть и малайцами.

Потом приходили американцы, полагаю — из ЦРУ. Они разговаривали резко, неприязненно, так что я сам ощутил себя подозреваемым. Пригласить переводчика они не сочли нужным, а потому многое в их вопросах я не понял. Под конец они показали мне фотографии каких-то людей, надо думать международных террористов; я никого из них не узнал.

Жан Ив заглядывал ко мне часто, садился в ногах. Я сознавал его присутствие, чувствовал от этого некоторое напряжение. Однажды утром, на третий день нашего пребывания в Бангкоке, он протянул мне пачку бу-

маг — копии газетных статей. "Руководство 'Авроры' прислало вчера по факсу без комментариев", — пояснил он.

Первая статья была из "Нувель обсерватер", она называлась: "Весьма сомнительный клуб": длинная, на две страницы, очень подробная и проиллюстрированная фотографией из немецкого рекламного каталога. Журналист открыто обвинял группу "Аврора" в поощрении сексуального туризма в странах третьего мира и добавлял, что в данном случае реакцию мусульман можно понять. Ту же мысль развивал в редакционной статье и Жан Клод Гийбо. Жан Люк Эспиталье, писал он, заявил журналистам по телефону: "Группа 'Аврора', подписавшая международную хартию этичного туризма, категорически не одобряет подобного рода отклонений от норм морали; ответственные понесут наказание". Далее следовала гневная, но бедная фактами статья Изабель Алонсо в "Журналь дю диманш", озаглавленная "Возврат к рабству". Формулировку подхватывала в своей колонке Франсуаз Жиру: "Как ни прискорбно это говорить, смерть нескольких богачей ничто в сравнении с униженным и рабским положением сотен тысяч женщин в мире". Взрыв в Краби, разумеется, привлек к этой теме всеобщее внимание. "Либерасьон" опубликовала на первой странице фотографию тех, кто остался в живых, в минуту их прибытия на родину, в аэропорт Руасси, и озаглавила статью "Не без вины пострадавшие". Жером Дюпюи в редакционной статье упрекал правительство Таиланда в потворстве проституции, торговле наркотиками и неоднократном нарушении принципов демократии. Что же до "Пари-Матч", то там в статье под названием "Резня в Краби" *ночь ужасов* расписывалась во всех подробностях. Им удалось раздобыть фотографии, правда очень плохого качества — черно-белые, переданные по факсу; на них могло быть изображено что угодно, человеческие тела угадывались с трудом. Рядом они поместили исповедь "сексуального туриста", не имевшего никакого отношения к описываемым событиям, путешествовавшего в одиночку и все больше на Филиппины. Жак Ширак немедленно выступил с заявлением, в котором, возмущаясь терактом, клеймил "неприемлемое поведение некоторых наших соотечественников за границей". Ему вторил Лионель Жоспен, напоминая, что сексуальный туризм, даже если в нем участвуют только совершеннолетние, запрещен законодательно. Две статьи, в "Фигаро" и в "Монд", задавались вопросом, как бороться с упомянутым бедствием и какую позицию должно занять мировое сообщество.

В последующие дни Жан Ив попытался дозвониться до Готфрида Рембке; в конце концов ему это удалось. Глава TUI сожалел, искренне сожалел, что так случилось, но ничем помочь не мог. Таиланд так или иначе выпадал из турбизнеса не на один десяток лет. Отголоски разразившейся во Франции полемики докатились и до Германии; мнения там, правда, разделились, но большинство все же осудило сексуальный туризм; в этой ситуации Рембке предпочитал выйти из игры.

2

Как я не понял, зачем меня перевезли в Бангкок, точно так же не знал, почему меня отправили в Париж. Больничный персонал меня не жаловал, наверное за пассивность; хоть на больничной койке, хоть на смертном одре — человек вынужден постоянно ломать комедию. Медработники любят, когда пациент сопротивляется, проявляет недис-

циплинированность, которую ему, медработнику, надо исхитриться преодолеть, разумеется, для блага больного. А я ничего такого не проявлял. Меня можно было повернуть на бок, сделать укол и через три часа застать ровно в том же положении. В ночь перед отъездом, разыскивая туалет в больничном коридоре, я врезался в дверь. Наутро лицо мое было залито кровью — я разбил себе бровь; пришлось мыть, перевязывать. Самому мне и в голову не пришло позвать медсестру; если честно, то я просто ничего не почувствовал.

Перелет не ознаменовался ничем особенным; я даже курить отвык. У конвейера с багажом я пожал руку Жану Иву; потом взял такси и отправился на авеню де Шуази.

Войдя в квартиру, сразу понял, что находиться в ней не могу и не смогу. Распаковывать чемодан не стал. Я взял целлофановый пакет и стал складывать в него все фотографии Валери, какие только мог найти. В основном они были сделаны у ее родителей в Бретани, на пляже или в саду. Еще мне попалось несколько эротических — эти я снимал дома: мне нравилось смотреть, когда она себя ласкала, у нее красиво получалось.

Затем я сел на диван и набрал номер, который мне дали на случай, если я почувствую себя плохо, звонить можно было круглосуточно. Это был пункт психологической помощи, созданный специально для пострадавших от теракта. Размещался он в одном из корпусов лечебницы Святой Анны.

Многие из тех, кто сюда обратились, и в самом деле пребывали в плачевном состоянии: несмотря на мощные дозы транквилизаторов, по ночам их мучили кошмары, они выли, кричали от ужаса, рыдали. Встречая их в коридоре, я всякий раз поражался их перекошенным, обезумевшим лицам; страх в буквальном смысле разъедал их изнутри. И от него не отделаться до конца жизни, думал я.

Сам я ощущал главным образом бесконечную усталость. С постели вставал лишь затем, чтобы выпить чашку растворимого кофе или погрызть сухарь; есть здесь не заставляли, лечиться тоже. Серию обследований я все-таки прошел, а через три дня после поступления имел беседу с психиатром; обследования выявили "крайне притупленную реакцию". Я ни на что не жаловался, но действительно чувствовал себя крайне, сверх всякой меры "притупленным". Доктор спросил, что я собираюсь делать. Я ответил: "Ждать". Я проявил разумный оптимизм, сказал, что грусть пройдет и я снова буду счастлив, надо только подождать. Видимо, я его не убедил. Доктор был человеком лет пятидесяти с полным, жизнерадостным и напрочь лишенным растительности лицом.

Через неделю меня перевели в другую психиатрическую клинику, теперь уже на более долгий срок. Мне предстояло провести там три с лишним месяца. К своему изумлению, я обнаружил там все того же психиатра. Ничего удивительного, объяснил он мне, оказывается, здесь его постоянное место работы. Помощью жертвам теракта он занимался временно, он на ней в некотором роде специализировался: ему уже доводилось работать в аналогичном пункте, созданном после взрыва на станции метро Сен-Мишель.

Его манера говорить отличалась от обычной болтовни психиатров, он был сносен. Помнится, он внушал мне, что надо "освободить себя от привязанности": попахивало буддизмом. Что мне освобождать? Я сам привязанность. Будучи существом эфемерным, я, соответственно своей природе, привязался к тому, что эфемерно, — тезис не нуждался в комментариях. А будь я вечным, добавил я для поддержания беседы, непременно привязался бы к чему-нибудь вечному. С теми из пострадавших, кого преследовали кошмары и страх смерти, его метод якобы хорошо срабатывал. "Это не ваши мучения, в действительности вы не страдаете; это призрачная боль, она существует лишь в вашем воображении", — говорил он им, и люди в конце концов верили.

Трудно сказать, когда именно я стал понимать, что произошло, сознание возвращалось короткими вспышками. А потом наступал долгий период — по правде говоря, такие периоды бывают и сейчас, — когда Валери и не думала умирать. Одно время я мог растягивать его до бесконечности без малейших усилий. Помню, когда впервые возникли трудности и я по-настоящему ощутил бремя реальности: это случилось сразу после визита Жана Ива. Встречу с ним я перенес тяжело, он оживлял воспоминания, от которых мне трудно было отмахнуться; прощаясь, я не сказал ему, чтоб он заходил еще.

Приход Мари Жанны, напротив, принес облегчение. Она говорила мало, рассказала, что делается на работе; я сразу объявил ей, что не собираюсь возвращаться, потому что переселяюсь в Краби. Она молча кивнула. "Не беспокойся, — сказал я ей, — все будет хорошо". Она посмотрела на меня с сочувствием; странно, но, кажется, она мне поверила.

Самой тяжелой была, конечно, встреча с родителями Валери; психиатр, по-видимому, объяснил им, что у меня случаются периоды *неприятия действительности,* — в результате мать Валери рыдала почти без остановки, отец тоже чувствовал себя неловко. Они пришли, кроме всего прочего, уладить некоторые практические вопросы, принесли чемодан с моими вещами. Они полагали, что я не собираюсь возвращаться в квартиру в XIII округе. "Разумеется, разумеется, — сказал я, — там видно будет"; и мать Валери снова заплакала.

В больнице жизнь течет сама собой, человеческие потребности в основном все удовлетворены. Я снова стал включать "Вопросы для чемпиона", это единственное, что я смотрел, новости меня теперь не интересовали нисколько. Другие проводили перед телевизором целые дни. Меня это не привлекало: слишком мелькает. Я считал, что если сохранять спокойствие и думать как можно меньше, то все в конце концов уладится.

Однажды апрельским утром я узнал, что, оказывается, и впрямь уладилось и что меня скоро выпишут, каковое обстоятельство я воспринял скорее как осложнение: придется искать комнату в гостинице, в нейтральной среде. Хорошо хоть, у меня были деньги. "Надо видеть все с лучшей стороны", — сказал я медсестре. Она удивилась: я заговорил с ней впервые.

Против неприятия действительности, объяснил мне психиатр во время нашей последней встречи, не существует конкретного лечения, здесь нарушена не психика, а представление о мире. Все это время он держал меня в клинике только потому, что опасался попыток самоубий-

ства — они нередко случаются, если пациент внезапно осознает реальность; но теперь я вне опасности. "Ах, вот оно что", — сказал я.

3

Через неделю после выписки я улетел в Бангкок. Определенных планов я не имел. Были бы мы нематериальными, мы бы довольствовались солнцем в небе. В Париже слишком отчетливо выражена смена времен года, она источник постоянной суеты и волнений. В Бангкоке солнце встает в шесть и в шесть садится, а в означенном промежутке движется по неизменной траектории. Говорят, тут бывает период муссонов, но я его ни разу не заставал. Городская суета присутствует, но причины ее мне толком неясны, она — как естественная среда. Здешние жители наверняка имеют свою судьбу, свою жизнь, насколько позволяет уровень доходов; но я знал о ней не больше, чем о жизни леммингов.

Я остановился в "Амари бульвар"; гостиницу заполняли преимущественно японские бизнесмены. Здесь мы в последний раз останавливались с Валери и Жаном Ивом; неудачный выбор. Два дня спустя я перебрался в отель "Грейс", всего в нескольких десятках метров от первого, но обстановка тут была совсем другой. Кажется, это было последнее место в Бангкоке, где еще селились сексуальные туристы-арабы. Они старались незаметно скользнуть вдоль стенки и по возможности не высовывать носа из гостиницы — здесь имелась дискотека и собственный массажный салон. Изредка их можно было встретить на близлежащих улочках, где продавали кебаб и располагались международные переговорные пункты, а дальше — нет. Между прочим, сам того не желая, я приблизился к больнице Бумрунград.

Можно поддерживать в себе жизнь одним только чувством ненависти; многие люди так и делают. Ислам разбил мою жизнь, ислам — подходящий объект для ненависти; в течение нескольких дней я старательно проникался ненавистью к мусульманам. Мне это неплохо удавалось; я даже снова стал следить за международной политикой. Всякий раз, узнавая, что палестинский террорист, ребенок, беременная палестинка сражены пулей в секторе Газа, я радовался, что одним мусульманином на свете стало меньше. Что ж, и вправду, этим можно жить.

Однажды вечером в гостиничном кафе со мной заговорил банкир-иорданец. Этот любезный господин непременно пожелал угостить меня пивом; возможно, его угнетало насильственное затворничество в гостинице. "Я понимаю здешних жителей, я на них не сержусь, — сказал он мне. — Мы сами виноваты. Тут не исламская земля, и непонятно, зачем тратить сотни миллионов на строительство мечетей. Не говоря уже о том взрыве... — Заметив, что я его внимательно слушаю, он заказал еще пива и расхрабрился. — К несчастью для мусульман, — продолжал он, — обещанный пророком рай уже существует на земле: есть места, где девушки сладострастно танцуют, ублажая мужчин, где можно опьяняться нектарами под звуки небесной музыки; таких мест штук двадцать в радиусе пятисот метров от гостиницы. Они легко доступны; чтобы в них попасть, нет нужды исполнять семь обязанностей мусульманина и вести священную войну, достаточно заплатить несколько долларов. А чтобы увидеть их, вовсе не обязательно отправляться в дальнее путешествие — надо просто обзавестись пара-

болической антенной". Он нимало не сомневался, что исламский мир обречен: капитализм восторжествует. Молодые арабы думают только о потреблении да о сексе. Их заветная мечта — американский образ жизни, сколько бы они ни утверждали обратное; их агрессивность — лишь проявление бессильной зависти; к счастью, молодежь все больше отворачивается от ислама. Но сам он для этого уже стар, ему не повезло, он всю жизнь вынужден был подлаживаться к религии, которую презирал.

Вот и со мной примерно то же: настанет день, когда человечество освободится от ислама, но для меня это будет слишком поздно. Я, собственно, уже не живу; я жил в течение нескольких месяцев, что само по себе неплохо, не каждый может этим похвастаться. Увы, отсутствие желания жить не приводит автоматически к возникновению желания умереть.

Я увидел иорданца на другой день перед его отлетом в Амман; ему теперь целый год ждать следующего отпуска. Я был скорее рад его отъезду, иначе он наверняка затеял бы новую дискуссию, а мне от такой перспективы становилось не по себе: я теперь с трудом выносил интеллектуальные разговоры; я больше не стремился понять мир ни даже просто его познать. Тем не менее наша беседа оставила во мне глубокий след; иорданец полностью убедил меня, что ислам обречен; вообще-то, если вдуматься, это и в самом деле очевидно. От этой мысли всю мою ненависть как рукой сняло. И я опять перестал интересоваться международной политикой.

4

Бангкок все-таки слишком походил на обычный город, там крутилось слишком много деловых людей, болталось слишком много туристов. Две недели спустя я сел в автобус и уехал в Паттайю. Этим и должно было кончиться, сказал я себе, но потом подумал: нет, я не прав, детерминизм здесь ни при чем. Я мог бы провести остаток дней с Валери в Таиланде, в Бретани, где угодно. Стареть вообще не здорово; стареть в одиночестве — хуже некуда.

Едва только я поставил чемодан на пыльную площадку автовокзала, я понял, что это и есть моя конечная станция. Старый, иссохший наркоман с длинными седыми волосами просил милостыню у турникета, на плече у него сидела большая ящерица. Я дал ему сто бат и зашел выпить пива в "Хайдельберг Хоф" напротив вокзала. На улицах раскачивали бедрами пузатые и усатые педерасты-немцы в рубашках в цветочек. Возле них три русские девчонки, три жалкие сосалки, развратные донельзя, извивались под орущий гетто-бластер, корчились, чуть по земле не катались. Кто только не повстречался мне на улице за несколько минут: рэперы в бейсболках, маргиналы из Голландии, киберпанки с красными волосами, лесбиянки-австриячки с пирсингом. Дальше Паттайи ехать некуда, это клоака, сточная канава, куда сносит все отбросы западного невроза. Будь ты хоть гомо-, хоть гетеросексуален, хоть и то и другое сразу, Паттайя — твой последний шанс, потом остается только отказаться от желаний. Отели, естественно, различаются по уровню комфорта и цен, а также по национальному составу проживающих. Две самые большие общины — немецкая и американская (в них растворены австралийцы и даже новозеландцы). Попадается немало русских, безошибочно уз-

наваемых по неотесанному виду и гангстерским замашкам. Есть заведение и для французов, называется "Ma maison"[1]; в гостинице всего десяток комнат, но ресторан пользуется успехом. Я прожил в ней целую неделю, пока не обнаружил, что не питаю особого пристрастия к французским сосискам и лягушачьим лапкам, могу обходиться без спутниковых трансляций чемпионата Франции по футболу, могу не просматривать ежедневно раздел культуры в газете "Монд". Мне все равно надо было искать долговременное пристанище. Обычная туристическая виза выдается в Таиланде на месяц; однако чтобы ее продлить, достаточно заново пересечь границу. В Паттайе множество агентств предлагают однодневную поездку на камбоджийскую границу и обратно: три часа на микроавтобусе, час или два в очереди на таможне, обед на камбоджийской территории (оплата обеда и чаевые таможенникам включены в стоимость путевки) — и назад. Большинство постоянно проживающих здесь иностранцев проделывают это ежемесячно; получить долгосрочную визу куда трудней.

В Паттайю приезжают не для того, чтобы начать жизнь заново, а для того, чтобы приемлемым образом ее закончить. Если хотите формулировку помягче — для того, чтобы взять тайм-аут, сделать длительную остановку, которая может оказаться последней. Именно так выразился один гомосексуалист лет пятидесяти, с которым я познакомился в ирландском пабе; большую часть жизни он проработал газетным верстальщиком и скопил немного денег. Проблемы начались у него лет десять назад: он продолжал ходить по вечерам в те же бары, что и обычно, но все чаще возвращался ни с чем. Разумеется, он мог бы получить свое за деньги, но, если уж на то пошло, предпочитал платить азиатам. На этом месте своего рассказа он извинился и выразил надежду, что я не усматриваю в его словах расистского оттенка. Нет, ни в коем случае, я его понимал: унизительно платить человеку и думать, что, будь ты моложе, он бы любил тебя бесплатно; куда проще иметь дело с людьми, не вызывающими у тебя никаких воспоминаний и ассоциаций. Если секс платный, лучше, чтобы он был в какой-то мере недифференцированным. Всем известно, что первое впечатление, которое возникает при встрече с людьми другой расы, — это невозможность их дифференцировать, ощущение, что все лица похожи одно на другое. Если прожить в регионе несколько месяцев, впечатление рассеивается, а жаль — оно в известной мере отражает реальность: люди, в сущности, все ужасно схожи между собой. Можно, понятно, поделить их на мужчин и женщин; можно при желании провести границу между возрастными категориями, но более подробное членение есть педантизм, навеянный, возможно, скукой. Скучающий индивид любит копаться в нюансах и выстраивать иерархии — это его характерное свойство. По Хатчинсону и Роулинзу, развитие систем иерархического главенства в животном сообществе не обусловлено практической необходимостью или естественным отбором; оно есть не что иное, как способ борьбы с угнетающей скукой природной жизни.

Итак, бывший верстальщик премило доживал свой век, услаждая себя за деньги стройными мускулистыми юношами со смуглой кожей. Раз в год он ездил во Францию навестить семью и кое-кого из друзей. Его сексуальная жизнь протекала не так бурно, как можно предположить,

1. Мой дом (*франц.*).

рассказывал он мне; он выходил раз или два в неделю, не чаще. В Паттайе он обосновался шесть лет назад; обилие дешевых и изысканных услуг приводит, как ни странно, к ослаблению желания. Он всякий раз был уверен, что сможет обработать и пососать прелестных мальчиков, а те ублажат его чувственно и умело. Коль скоро возможностей предоставлялось вдоволь, он пользовался ими умеренно и тщательно готовил каждый выход. Из его речи я понял, что во мне он видит гетеросексуальный аналог самому себе, то есть человека, обуянного сексуальным неистовством первых недель в Паттайе. Я не стал его разубеждать. Он держался приветливо, непременно пожелал сам заплатить за пиво, надавал мне адресов, где можно разместиться на долгий срок. Ему было приятно встретить соотечественника: проживающие здесь голубые были в большинстве своем англичане, он поддерживал с ними хорошие отношения, но время от времени ему хотелось поговорить на родном языке. С французской общиной, посещающей ресторан "Ma maison", он мало общался; она состояла в основном из зажиточных гетеросексуалов, бывших колониальных чиновников и военных. Если я поселюсь в Паттайе, мы могли бы встречаться иногда вечерком: все чин чином, разумеется; он оставил мне номер своего мобильника. Я его записал, зная, что никогда не позвоню. Он был симпатичен, любезен, интересен даже, если хотите; просто я не желал больше общаться с людьми.

Я снял комнату на Наклуа-роуд, вдали от городской суеты. Тут имелись кондиционер, холодильник, душ, кровать и еще кое-что из мебели; стоило все три тысячи бат в месяц, то есть немногим более пятисот франков. Я сообщил новый адрес в свой банк и послал заявление об уходе в Министерство культуры.

У меня осталось очень мало дел в этой жизни. Я купил несколько пачек бумаги 21 × 29,7, решил записать кое-что из воспоминаний. Вообще, людям следовало бы чаще это делать перед смертью. Странно думать, что столько народу проживает целую жизнь, не оставив о ней никаких соображений, никаких комментариев — ни словечка. Не то чтобы эти комментарии и соображения были кому-то адресованы или имели какой-то смысл; но все-таки мне кажется, лучше их написать.

5

Прошло полгода, я живу все там же, на Наклуа-роуд; кажется, я скоро закончу свою работу. Я скучаю по Валери. Если бы, начиная писать эти страницы, я надеялся смягчить боль потери или сделать ее терпимой, то теперь мог бы с уверенностью сказать: у меня ничего не вышло. Я страдаю от того, что Валери нет со мной, больше прежнего.

На третий месяц моего здесь существования я решил начать ходить в массажные салоны и секс-бары. Не скажу, чтобы меня туда очень тянуло, я опасался полного фиаско. Но нет, мой агрегат функционировал нормально, просто ни разу больше я не испытывал удовольствия. Девушки, понятно, ни при чем, они не стали менее нежными и умелыми — это я сделался бесчувственным. Поначалу я продолжал раз в неделю посещать массажный салон, вроде как из принципа; потом бросил. Человеческих контактов предпочтительнее избегать. Если я не верил в возможность наслаждения для себя, наслаждение могла испытать девушка, тем более что мой бесчувственный прибор мог держаться часами, когда я

собственным усилием не прерывал упражнения. А там, глядишь, мне захотелось бы доставлять ей наслаждение, у меня появилась бы какая-то цель, а это лишнее. Моя жизнь совершенно пуста, и лучше ей такой остаться, потому что, если проберется в нее капля страсти, следом вскоре придет боль.

Моя книга приближается к завершению. Большую часть дня я теперь лежу на кровати. Иногда включаю утром кондиционер, а вечером выключаю; между этими двумя действиями не происходит ничего. К жужжанию кондиционера я привык, хотя вначале оно меня раздражало; но привык и к жаре, так что мне все равно, включен он или нет.

Я давно перестал покупать французские газеты; думаю, президентские выборы уже состоялись. Министерство культуры, небось, худо-бедно со своими обязанностями справляется. Может быть, Мари Жанна меня иногда вспоминает, когда надо подсчитать бюджет выставки; я не пытался с ней связаться. Не знаю также, что стало с Жаном Ивом; после того как его уволили из "Авроры", он, наверное, работает на более низкой должности и, видимо, не связанной с туризмом.

Жизнь, из которой ушла любовь, становится в определенной степени условной и противоестественной. Ты сохраняешь человеческое обличье и повадки, но это внешнее; а сердце, как говорится, уже ни к чему не лежит.

Вниз по Наклуа-роуд проносятся мотороллеры, поднимая облака пыли. Уже полдень. Проститутки из отдаленных кварталов стягиваются к барам в центре города. Вряд ли я сегодня выйду из дома. Или, может, под вечер — съесть супу в лавчонке на углу.

Когда ты отказался от жизни, последние контакты, которые еще сохраняются, — это с лавочниками. В моем случае они ограничиваются несколькими английскими словами. Я не говорю по-тайски, отчего вокруг меня само собой образуется тоскливое безвоздушное пространство. Возможно, я никогда по-настоящему не пойму Азию; но это и не важно. В мире можно жить и не понимая его, надо только приспособиться получать пищу, ласки и любовь. В Паттайе пища и ласки стоят дешево по европейским и даже азиатским меркам. Что касается любви, мне трудно об этом говорить. Я твердо знаю: Валери была счастливым исключением. Она принадлежала к тем людям, которые способны посвятить жизнь счастью другого, сделать это своей целью. Для меня это загадочный феномен. В нем секрет счастья, простоты, радости; но я до сих пор не понял, как и почему такое может происходить. А если я не понял любовь, что толку стараться понять остальное?

Я до конца своих дней останусь сыном Европы, порождением тревоги и стыда; я не смогу сказать ничего обнадеживающего. К Западу я не испытываю ненависти, только огромное презрение. Я знаю одно: такие, как мы есть, мы смердим, ибо насквозь пропитаны эгоизмом, мазохизмом и смертью. Мы создали систему, в которой жить стало невозможно; и хуже того, мы продолжаем распространять ее на остальной мир.

Наступает вечер, над дверьми пивных баров зажигаются разноцветные гирлянды. Пожилые немцы садятся за столики, кладут толстую лапу на ляжку спутницы. Тревога и стыд знакомы им лучше, чем другим народам, потому им так необходимы эти нежные тела и мягкая освежающая кожа. Лучше, чем другим народам, им знакома жажда самоуничтожения.

В их среде редко встретишь сытый вульгарный прагматизм англо-американских туристов и привычку постоянно сопоставлять услугу и цену. Они редко занимаются гимнастикой, не стремятся поддержать тело в хорошей форме. Обычно они много едят, пьют много пива, жиреют; большинство из них скоро умрет. Многие из них приветливы, любят шутить, угощать, рассказывать анекдоты; общение с ними успокаивает и навевает грусть.

Я понял смерть; не думаю, что она причинит мне страдания. Я познал ненависть, презрение, уныние и многое другое; я даже познал короткие мгновения любви. От меня не останется ничего, я и не заслуживаю того, чтоб от меня что-то осталось; я прожил заурядную во всех отношениях жизнь.

Почему-то я воображаю, что умру посреди ночи, и все-таки немного волнуюсь при мысли о боли, сопровождающей отделение души от тела. Мне трудно представить себе, чтобы жизнь прекратилась совсем безболезненно и незаметно; я знаю, я неправ, но мне трудно убедить себя в обратном.

Несколько дней спустя меня обнаружат аборигены; полагаю, довольно скоро; в здешних широтах трупы начинают быстро смердеть. Они не будут знать, что со мной делать; возможно, обратятся во французское посольство. Я не нищий, не бродяга, разобраться будет просто. На моем счету останется немало денег; не знаю, кому они достанутся, наверное, государству или, может, каким-нибудь дальним родственникам.

В отличие от других азиатских народов, тайцы не верят в привидения и мало заботятся об участи покойников; чаще всего хоронят их в общей могиле. Поскольку я не оставлю специальных указаний, так же поступят и со мной. Выпишут свидетельство о смерти и далеко отсюда, во Франции, поставят галочку в книге актов гражданского состояния. Кое-кто из бродячих торговцев, привыкших встречать меня на улице, покачает головой. Квартиру мою сдадут другому иностранцу. И меня забудут. Очень быстро.

Мириам Ван хее

Стихи

Перевод с нидерландского Д. Сильвестрова

Понедельник

можешь сто раз
открывать, закрывать окно
заваривать кофе, брать почту
делать покупки
и быть не в своей тарелке

что из того
что садишься за стол
и пробуешь написать
стихотворение о себе самой
как о ком-то другом
кто ни в чем не виновен

можешь упасть
и не вставать

© Miriam Van hee, 1978, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996
© Д. Сильвестров. Перевод, 2002
Редакция выражает благодарность Мириам Ван хее за разрешение безвозмездно опубликовать свои стихи в русском переводе на страницах нашего журнала.

Вторник

вторник зима
без просвета
привокзальный буфет
наряженный к Рождеству
за столиками там и сям
люди греются кофе
этот читает комиксы и хохочет
на стенах фотографии:
две пропавшие девушки

у меня дочь, читает
на постель забравшись с ногами
или в ванной комнате без конца
расчесывает волосы, не говорит
счастлива она или нет
еще узнает об этом
думаю о ней
хотя как этого мало

Во вторник ли в среду ли

во вторник ли в среду ли
я опять тебя потеряла
я валяюсь в постели
гляжу в свет за окном,
с зимы на весну –
то ли у меня выходной то ли больна
то ли у меня все не так
а у других все как надо

ты сказал, что не можешь
ничего обещать,
да я бы и не настаивала
и так все ясно

о чем в развешанном белье шепчет ветер
и вода, капающая из крана?

фонари на улицах зажигают так рано

Четверг

сидела в поезде, мчавшемся в город
на работу за окном скользили
луга и пашни
зелень деревьев еще хранила
ночную влагу, воздух, казалось,
изменчивый, неуловимый
пальцы тянулись к ручке
но слова не шли
я думала о тебе и о
связи вещей
о том что ты не здесь
а бог знает где и что
потому я смотрю
на деревья, поля и воздух
что все это грустно
преходяще прекрасно

Пятница

ночь шла уж за полночь
по радио на фортепиано
играли Баха

мне не хотелось ни спать
ни ждать пока ты придешь
и взглянешь а может тебе
просто не хотелось выходить из дома

снег утром лег
на крыши чтоб к полудню
уже растаять

Без сна

ночью проснувшись
когда никак не заснуть
я касаюсь тебя
большого спящего рядом
утомленный ты отворачиваешься
словно хочешь сказать
что я ошиблась

а то вдруг прижмешься
и я лежу до рассвета
впитывая твое тепло своей кожей
и думаю что когда-нибудь
я тебя потеряю — ты этого не говоришь
но и не споришь —
ты уйдешь поселившись
там наверху на не знающих тени
известковых плато где всегда ветер
где летний дождь бесплодно
уходит в землю

Осень

осень еще прекрасна
когда все что не нужно
в цвет перешло и ветер
окно распахнув со стола
неотправленные письма
сметает

свет оскудел
и гаснет на склонах холма
тускнеет вид из окна
сыреет постель
и сжимаются губы

осень-затворница скоротечна
и утром вдруг в самую рань
ты в ловушке первого снега

***

помню я купила кому-то книгу
но уже было поздно
и я оставила ее подкидышем
на остановке трамвая
откуда наутро
конечно она исчезла

но все ж не совсем, потому что
и через столько лет я вижу
как она лежит в синей бумаге
перевязанная серебряной лентой

стояла осень почти стемнело
еще я знаю, я думала
что никогда уже там не буду
но шла, налетевшим ветром
листья взметнулись кверху
и опять, опять опадали

***

снять комнату на море
чтобы смотреть на бесконечность
на воду что приходит и уходит
что подступает и откатывается
почти, почти играет

смотреть на идущих против ветра
и их беззвучные крики

чтобы домой вернуться
обещанья бросать на ветер,
письма писать,
в отчаянье и в изнеможенье,
но в надежде на ответ на понимание
или непонимание

Франсин Проуз

Голубой ангел

Роман

Перевод с английского В. Пророковой

***

СВЕНСОН ждет, пока студенты покончат с обычной возней: расстегнут-застегнут все молнии, разложат ручки и тетрадки, выбранные с особым тщанием и соответствующие настрою их юных трепетных душ; эта суета повторяется всякий раз перед началом занятия — так они демонстрируют свою готовность, раз уж положено, торчать в этом кабинете целый час, без гамбургеров, чипсов и телевизора. Он обводит взглядом сидящих за столом, насчитывает девятерых — отлично, все на месте, — перелистывает текст рассказа, который обсуждают сегодня, держит паузу и наконец говорит:

— Это плод моего воображения или мы на самом деле в последнее время постоянно читаем рассказы о людях, вступающих в сексуальные отношения с животными?

Студенты взирают на него с ужасом. Он сам не верит, что сказал это. Его жалкая попытка сострить прозвучала так, что сразу становится ясно: этот вопрос он придумал и отрепетировал, пока шел через Северный дворик, мимо готических аркад, мимо часовни Основателей, чудесных двухсотлетних кленов, только начинающих ронять рыжую листву, толстым ковром укрывшую обложку рекламного буклета Юстон-колледжа. На пейзаж он внимания не обращал, полностью сосредоточившись на грядущем испытании — ему предстояло провести обсуждение расска-

© Francine Prose, 2000
© В. Пророкова. Перевод, 2002
Роман печатается с незначительными сокращениями. Полностью будет опубликован в издательстве "Иностранка".

за одного из студентов, рассказа, в котором пьяный подросток, обломавшийся на неудачном свидании с подружкой, при свете холодильника трахает куриную тушку.

А с чего Свенсону начинать? На самом деле хочет он спросить другое: этот рассказ написан специально, чтобы меня помучить? Юный садист, видимо, решил, что забавно будет послушать, как я разбираю технические недочеты опуса, где две страницы занимает описание того, как мальчишка ломает грудную клетку курочки, чтобы обеспечить своему разгоряченному члену удобное вместилище. Но Дэнни Либман, автор рассказа, вовсе не намеревался мучить Свенсона. Он просто хотел, чтобы его герой совершил какой-нибудь неординарный поступок.

Студенты уставились на Свенсона, глаза у них мутные, веки полуприкрыты — точь-в-точь как у курицы, чью свернутую голову во время ночного кухонного акта любви герой поворачивает к себе. А ведь куры в домашних холодильниках чаще всего уже безголовые, отмечает в уме Свенсон, чтобы потом к этой детали вернуться.

— Что-то не пойму, — говорит Карлос Остапчек. — Какие были еще рассказы про животных?

Карлос всегда начинает первым. Служил на флоте, сидел в колонии для малолеток. Настоящий мужчина-альфа по классификации Хаксли, единственный из студентов, побывавший хоть где-то помимо школьной аудитории. Вышло так, что он к тому же единственный, не считая Дэнни, студент мужского пола.

Действительно, какие рассказы имеет в виду Свенсон? Он и сам никак не вспомнит. Может, это было в другом году, в другой группе. Слишком уж часто такое стало происходить: за ним словно захлопывается дверь и умственная деятельность замирает. Не начало ли Альцгеймера? Ему же всего сорок семь. *Всего* сорок семь? Лишь миг назад он был ровесником своих нынешних студентов — и что произошло за этот миг?

Может, виной всему жара и духота, столь странные для конца сентября? Эль-Ниньо нагнал вдруг на север муссон. Его класс — на верху колокольни колледжа — самое жаркое место во всем кампусе. Летом рабочие закрасили оконные рамы так, что окна не открываются. Свенсон пожаловался в отдел строительства и эксплуатации, но их сейчас интересуют только выбоины в тротуарах, за которые, если кто пострадает, могут вчинить иск.

— Вам плохо, профессор Свенсон? — Клэрис Уильямс участливо склонила свою хорошенькую головку, на этой неделе выложенную рядами змееобразных ярко-рыжих кудельков. Все, в том числе и Свенсон, в Клэрис немножко влюблены и немножко ее побаиваются, наверное потому, что ум и очарование в ней сочетаются с холодной красотой африканской принцессы, ставшей супермоделью.

— С чего вы взяли? — удивляется Свенсон.

— Вы стонали, — отвечает Клэрис. — Дважды.

— Со мной все в полном порядке. — Свенсон стонет в присутствии студентов. Разве это не доказывает, что с ним все в порядке? — Но кто меня еще хоть раз назовет профессором, того за семестр не аттестую.

Клэрис цепенеет. Расслабься, я пошутил! Студенты Юстона зовут преподавателей по имени, за это их родители и платят по двадцать восемь тысяч в год. Кое-кто из ребят не может заставить себя говорить "Тед": стипендиаты, такие как Карлос (который избрал окольный путь и называет его Тренером), дети с вермонтских ферм, такие как Джонелл,

черные — Клэрис, Макиша, которых совсем не веселят его шутливые угрозы. В Юстоне таких студентов обычно немного, но этой осенью по какой-то неведомой причине все они оказались в группе Свенсона.

На прошлой неделе обсуждали рассказ Клэрис о девочке, которую мать берет с собой убираться в доме богатой дамы, — произведение зловещее и впечатляющее, с жизнерадостной ноты переходящее в кошмар: уборщица, прихлебывая "Тандерберд", бродит по дому, устраивая разор во всех комнатах, а в финале на глазах у перепуганного насмерть ребенка скатывается с лестницы.

Студенты от смущения потеряли дар речи. Все они, как и Свенсон, решили, что рассказ Клэрис если и не взят целиком из жизни, то по меньшей мере болезненно близок к реальности. В конце концов Макиша Дэвис, вторая черная студентка, сказала, что ей осточертели истории про чернокожих сестер, которые либо становятся наркоманками или алкоголичками, либо торгуют своим телом, либо помирают.

Свенсон заступился за Клэрис. Он даже Чехова притянул, чтобы объяснить классу: писателю ни к чему рисовать картину идеального мира, его задача — описать мир таким, каков он есть, не проповедуя и не вынося приговоров. Будто студентам не плевать с высокой колокольни на какого-то давно покойного русского, которого Свенсон по традиции эксгумирует, дабы подкрепить свои шаткие выводы. И все же, достаточно было Свенсону помянуть Чехова, как он начинал чувствовать себя не таким безнадежно одиноким, словно за ним с небес приглядывал святой, который не станет судить его за умышленный обман — за то, что он прикидывается, будто этих ребятишек можно научить тому, чему, как Свенсон прикидывается, он их учит. Чехов заглянет ему в душу и поймет, что он искренне желал бы дать своим студентам то, о чем они мечтают: талант, славу, деньги, работу.

После семинара, где разбирали ее рассказ, Клэрис осталась поговорить. Свенсон пытался найти способ сказать ей потактичнее, что он знает, каково писать что-то автобиографичное, делая вид, будто это художественный вымысел. В конце концов, его второй роман... Трудно поверить, но он и сам не подозревал, каким трагичным было его детство, пока не опубликовали его же роман и он не узнал об этом из рецензий.

Но он не успел поведать ей сказочную повесть о своем кошмарном детстве и фантастическом успехе, поскольку Клэрис, упредив его, сообщила: ее мать — директор школы. А не прислуга-алкоголичка. Что ж, ей определенно удалось одурачить Свенсона и провести всю группу. Почему она даже не намекнула, зачем держала напряжение столь высоким, что все с облегчением вздохнули, перейдя к рассказу Карлоса о мечтательном пареньке из Бронкса, запавшем на свою соседку, рассказу о романтической любви, разбившейся вдребезги, когда приятель героя сообщил ему, что он подглядывал в окно к этой соседке и видел, как она делает минет немецкой овчарке?

Вот это и был другой рассказ о сексе с животными. Свенсон ничего не нафантазировал, а теперь вспомнил и еще один — рассказ Джонелл Бривард о вермонтской фермерше, муж которой во сне повторяет имя любимой коровы... Три рассказа с зоофилией, а семестр только начался.

— Например, Карлос, ваш рассказ. Немецкая овчарка — это плод моего воображения?

— Ох, а я и забыл, — кивает Карлос.

Класс смеется — ехидно, но снисходительно. Они-то знают причину этого вытеснения. Обсуждение его опуса переросло в бурную дискуссию о мужчинах, предающихся болезненным фантазиям на тему женской сексуальности.

Эта группа работает вместе всего пять недель, а у них есть уже свои дежурные семейные шуточки, они уже устраивают жаркие дебаты. На самом деле хорошая группа. Они друг друга вдохновляют. В этой зоофилии энергии куда больше, чем в опостылевших за прошлые годы вялых рассказиках про неудачные романы и детей с разведенными родителями-наркоманами. Свенсон должен быть благодарен студентам за опусы, в которых есть хоть что-то живое и жизненное. Так почему он упорно видит в их невинных сердцах и душах минные поля, через которые надо пробираться со всей саперской осторожностью?

Почему? Потому что это минные поля и есть. Пусть коллеги сами попробуют. Те, кто считает, что это легко — ни тебе длиннющих текстов, ни лекций, ни экзаменов. Те, кто завидует его классу с панорамным обзором всего кампуса, — пусть-ка попробуют открыть эти окна, пока никто из студентов в обморок не грохнулся. Пусть позанимаются с группой, в которой каждый уверен, что его карьера зависит от того, как он научится болтать о зоофилии, не задевая ничьих чувств. Никто не говорит, что невозможно написать отличный рассказ о юноше, находящем утешение с куриной тушкой. Гений — скажем, Чехов — создал бы гениальное произведение. Только вряд ли на такое способен Дэнни. А в этой группе сделать вид, что Дэнни может превратить свою дохлую курицу в произведение искусства, — все равно что совершить оскорбление действием.

В классе наступила тишина. Что, кто-то задал вопрос? Свенсон ведь мог задуматься и потерять нить и вот сидит теперь, молчит, а студенты ждут, что будет дальше. Только начав преподавать, он хотел, чтобы весь класс в него был влюблен — на меньшее бы не согласился. Теперь он счастлив, когда удается провести урок без серьезного ущерба для психики.

— Так-с, — улыбается Свенсон. — О чем это мы? Я, кажется, отключился.

Студенты смеются — он прощен. Свенсон такой же, как они. Их преподаватели химии не отключаются или же не признаются в этом. Алкоголь и наркотики научили этих детишек тому, что такое провалы сознания. Присутствующие обмениваются понимающими полуулыбками, и Дэнни говорит:

— Может... может, обсудим мой рассказ?

— Да, конечно. Простите, — говорит Свенсон. — А каково ваше мнение? Что вам понравилось? Что тронуло за живое? — Долгая пауза. — Кто начнет?

Начнет? Желания нет ни у кого. Свенсон их не винит. Они похожи на мультяшных зверят, прислушивающихся к щебету птичек. Свенсон вырос в семье квакеров. Он умеет держать паузу. Наконец Мег Фергюсон говорит:

— Мне понравилось, что автор честно написал про то, что некоторым парням все равно — заниматься любовью с девушкой или трахать дохлую курицу.

— О! — восклицает Свенсон. — Начало интересное. Спасибо, Мег.

Предсказать заранее невозможно. Свенсон должен был бы догадаться, что Мег увидит в рассказе бесстыдное торжество фаллоса над беззащитной птичкой.

Мальчики никогда не отвечают Мег напрямую. Они дают высказаться какой-нибудь девушке посдержаннее, а уж потом вступают в бой. Застенчивая Нэнси Патрикис, влюбленная в Дэнни Либмана, говорит:

— Рассказ вовсе не об этом. Юноша любит девушку. А она его обидела. Вот он, так сказать, и вымещает это на курице.

— Вот оно! — оживляется Карлос. — Ты уж мне поверь, Мег, парни знают, в чем отличие секса с женщиной от секса с курицей.

— Да уж, подруга, постарайся в это поверить, — говорит Макиша. — Иначе всем нам туго придется.

— Прошу прощения, — вступает Свенсон. — Не могли бы мы отвлечься от обсуждения мужской сексуальной неразборчивости и вернуться к рассказу Дэнни?

— По-моему, это отвратительно. — Кортни Элкотт поджала губы, тщательно накрашенные бледно-розовой помадой и обведенные коричневым контуром.

— Кортни — бостонская аристократка. Барби из Бэк-Бея[1], думает Свенсон. Ее макияж девочки из хорошей семьи, подчеркнуто модный стиль — таким ей видится протест против розовощеких юстоновских детей природы — безмерно раздражают Макишу и Клэрис.

— Отвратительно... — задумчиво повторяет Свенсон. — Может, что-нибудь... э-э... поконкретнее?

— То место, где описывается, что Дэнни сделал с курицей, — говорит Кортни.

Все замечают, что Кортни сказала "Дэнни", хотя героя зовут Райан.

— Райан, — поправляет Свенсон. — Персонаж...

— Да какая разница, — говорит Кортни.

— Разница есть, — возражает Свенсон. — Это имеет значение. Вряд ли Дэнни хотел, чтобы мы решили, будто он сам так поступил с курицей.

— Он наверняка думал об этом, — говорит Мег. — Иначе не писал бы.

— Подумать и сделать — разные вещи. — Свенсон ловит себя на том, что начинает вещать. — Авторы детективов — не убийцы. Не обязательно убийцы. Всякий раз, когда мы воспринимали персонажа как альтер эго автора, мы с вами попадали впросак.

Когда это мы попадали впросак? — думают они. И вспоминают: с рассказом Клэрис. Про маленькую девочку и уборщицу. Все смотрят на Клэрис, и та выходит из положения, возвращая класс к рассказу Дэнни.

— Мне рассказ... понравился, — говорит Клэрис. — Последняя часть очень уж неожиданная. Эта сцена на кухне, она непонятно откуда взялась.

Все согласно кивают — как всегда, когда говорит Клэрис. Их убеждают ее глубинная интуиция, авторитетность, здравомыслие. Свенсон вполне может отправляться домой — она и сама проведет занятие.

— В таком случае, — говорит Свенсон, — скажите, как сделать, чтобы последняя сцена не была такой шокирующей? Да, конечно, все, что случится, будет для читателя... сюрпризом. Но он должен быть правдоподобным, а не взявшимся непонятно откуда, как говорит Клэрис, — он по возможности цитирует своих студентов, это дает им позитивную установку: они чувствуют себя участниками совместного проекта. — Если, конечно, вы тоже считаете, что это взялось непонятно откуда.

1. Бэк-Бей — фешенебельный жилой и торговый район Бостона. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

— Точно не знаю, — говорит Нэнси. — Возможно, я бы как-нибудь изменила характер героя, чтобы читатель понимал: этот человек способен и на такое.

Вот это группа вполне может и поддержать. Что и требуется. Попробуйте увязать этого отщепенца, насильника птичек, с образом вполне нормального лонг-айлендского подростка, который в рассказе ведет свою подружку поесть пиццу. А она признается ему, что познакомилась со взрослым парнем, работающим в итальянской траттории на Манхэттене. Она говорит, что этот новый кавалер пригласил ее к себе в заведение и обещал угостить их фирменным блюдом — полентой с грибами ("Ты же терпеть не можешь грибы", — говорит герой, и это лучшая фраза в рассказе) и мясом на углях.

— Сделай этого парня более жестоким, — предлагает Мег. — В пиццерии есть официантка? Пусть он ей нагрубит. И когда придет домой...

Свенсон бросает взгляд на Дэнни: у того вид слегка отупевший — как у каждого, чью работу обсуждают, тем более что по давней садистской традиции им в беседу вступать запрещено. Дэнни и вправду тот самый мальчик из рассказа. И официантке он никогда не нахамит.

— Таким вот мы представляем себе героя? — Свенсон кидает тонущему Дэнни соломинку. — Мелким пакостником? Или же...

— Послушайте! — перебивает его Нэнси. — А что... а что, если его подружка закажет себе в пиццерии *курицу*? Нет, лучше так: пусть тот, другой, закажет ей не мясо, а курицу! И когда мальчишка возвращается домой, когда... делает это... с курицей, он по сути мстит и девчонке, и тому взрослому парню...

— О, самое оно! — одобряет Карлос Остапчек.

— Так держать, подруга! — кричит Макиша.

— Интересно, — говорит Клэрис.

Остальные бурно выражают свое восхищение. Дэнни усмехается и бросает взгляд на Нэнси, которая улыбается ему в ответ. Дэнни уверен, что написал рассказ, который надо только чуточку доработать, и тогда его истинная сущность — творение гения — проявится. Ему не терпится отправиться к себе в комнату и занести все в компьютер.

Свенсон считает, что это убогая идея. Банальная, искусственная, схематичная. Дерьмо на уровне школы имени О. Генри. Ну кто заказывает в закусочной курицу, кто насилует куриные тушки лишь потому, что счастливый соперник работает в ресторане, где их подают? Хуже нет, чем когда весь класс настаивает на каких-нибудь губительных "поправках". В таких случаях Свенсон либо хранит гробовое молчание, либо берет на себя роль сноба и выпендрежника, который рад все испортить. Ну и что, что он преподаватель! Да кого интересует его идиотское мнение? "Все с этим согласны?" Ради бога, хоть кто-нибудь скажите же "нет"!

— По-моему, от всего этого несет дерьмом, — вступает высокий звонкий голос, и все оборачиваются на Анджелу Арго.

Анджела Арго после того, как в самом начале семестра все они, впервые войдя в класс, смущенно назвали свои имена, рта не раскрывала. Тощая и бледная девушка с ярко-оранжевыми и изумрудно-зелеными прядями в рыжих волосах, лицо тонкое, с острыми чертами, проколоты и уши, и губы, и брови; носит (несмотря на жару) черную кожаную косуху и полный арсенал браслетов, ошейников и цепей.

Свенсон побаивается тихонь. Одному Господу известно, что у них на уме. Но Анджела-металлистка превзошла всех. Никогда ни слова не про-

ронит, только убийственно пожмет плечами или вздохнет красноречиво, вот и весь комментарий, но ее присутствие — как блеск фейерверка, полыхающего прямо посреди класса. Свенсон старается на нее не глядеть — из-за пирсинга. Сейчас она сидит и постукивает шипованным браслетом о стол.

— Анджела, вы хотите сказать, что, если переписать рассказ именно так, получится... дерьмо? — спрашивает Свенсон рефлексивно-иронично и рефлексивно-печально. Вдруг Анджела решит, что он ее передразнивает, и снова замкнется в молчании?

— Еще какое! — говорит Анджела.

В то же мгновение они чувствуют сейсмические толчки, у всех закладывает уши — это предупреждение, что через несколько секунд загудят колокола. Юстонские колокола расположены в куполе, как раз у них над головой. Беседа прерывается. Попробовали бы те преподаватели, которые так мечтают заполучить эту аудиторию и которые обычно слышат сладкий перезвон издалека, помучиться так каждую неделю.

Студенты машинально сверяют часы, после чего обращают робкие взоры на Свенсона, ждут указаний учителя, которого только что перебили эти бронзовые перезвоны. Свенсон иногда улыбается, иногда пожимает плечами или прицеливается и делает вид, что пускает в гудящие колокола пулю. Сегодня же он смотрит на Анджелу — не хочет терять контакт. Надеется, что, как только все стихнет, она продолжит с того места, на котором ее прервали, и спасет — Свенсон этого сделать не в силах — Дэнни, не позволит изуродовать его рассказ. Хуже будет, если Свенсону придется в одиночку пойти против коллектива, в очередной раз взять на себя роль всезнающего оракула... Да и что, собственно, он знает? Сам-то написал только два романа, последний из которых имел столь оглушительный успех, что и сейчас, спустя десять лет, ему все еще предлагают, хоть и гораздо реже, то выступить перед читателями, то рецензию написать.

Бьют колокола дважды в час. И каждый раз студенты вздрагивают.

Свенсон неотрывно глядит на Анджелу, она — на него, но во взгляде ее нет ни любопытства, ни вызова, ни агрессии, ни кокетства, отчасти поэтому он и позволяет себе пялиться на нее на глазах у всей группы. Он, собственно говоря, ее толком и не видит, просто глядит в ее сторону, пока не замечает некоего беспокойства в рядах и не понимает, что колокола уже отгремели.

— Анджела, вы говорили о...

— Не знаю, — говорит она. — На мой взгляд, самое лучшее — единственное, что получилось, — то, что конец такой странный и неожиданный. В этом-то и весь смысл. Любой мог совершить нечто подобное. Так мог поступить не только псих, не только парень, подружка которого свинтила к официанту, в чьем ресторане подают итальянскую курицу. Пришел на свидание с девицей, она его кинула, он в тоске тащится домой. А там эта курица. И он делает это — ну, просто так. Мужчины часто вытворят какую-нибудь фигню и сами себе удивляются: думали-то, что не из тех, кто на такое способен.

— Прости, Анджела, — вступает Карлос, — но большинство мужчин не стали бы трахать курицу...

— Карлос, — говорит Анджела мрачно, — можешь мне поверить. Я знаю, как поступает большинство мужчин.

Откуда у Анджелы такая уверенность? Это что, женское бахвальство? Свенсону, пожалуй, лучше и не пытаться считывать код, которым пользуются его ученики.

— Что здесь происходит? Я чего-то не улавливаю... — Он чувствует, как они встают плечом к плечу: чтобы загородить от него свой мир. Он — учитель, они — ученики, между ними грань, с которой они порой соскальзывают — по необходимости. — Продолжим обсуждение, — говорит он. — Я считаю, что Анджела права. Если рассказ Дэнни не просто история болезни человека, который может, придя домой... и так далее... Если рассказ хороший, автор заставляет читателя представить себя на месте этого мальчишки, увидеть мир его глазами. Почему он это делает? Не потому, что его подружка ела курицу, не потому, что ее новый парень подает своим клиентам — цитируем Анджелу — итальянскую курицу, а потому, что вот он и вот эта курица. Обстоятельства, судьба, случайность. И мы узнаем в нем самих себя, видим, чем он похож на нас.

Ребята словно проснулись. Он вытащил своих учеников из огня, не оставил камня на камне от той шаткой постройки, которую они пытались возвести. Он предложил им исправить рассказ. И показал, как это сделать. Самые недовольные, самые упрямые решили, что деньги плочены не зря. Свенсон что-то им дал — полезный навык, психологический прием. Даже если писателями не станут, все равно научатся видеть мир по-другому, каждый человек будет для них персонажем, в чью шкуру, чтобы его понять, нужно влезть. Все мы потенциальные насильники, не гнушающиеся курочками, все мы грешники из Достоевского.

— Ну хорошо. — Свенсон постепенно приходит в себя. Из тумана ясно вырисовывается лицо Клэрис Уильямс, которая пристально на него смотрит.

Что с Клэрис? Может, она не поняла, что Свенсон только что вытащил все обсуждение на качественно новый уровень? Ах, да! Это же Клэрис предложила увязать конец рассказа с началом. А Свенсон с помощью Анджелы не просто отринул ее совет, он сделал это слишком резко и решительно, что никак не соответствует принятым здесь деликатным микрохирургическим методам.

— Впрочем, — сдает позиции Свенсон, — никто не может советовать писателю, что и как делать. Дэнни сам решит, что ему нужно.

Он счастлив, что сумел выйти из положения. Начинает собирать свои бумаги. Все присутствующие — тоже. Свенсон кричит, стараясь заглушить скрип стульев:

— Эй, погодите! Что у нас дальше по плану? Чей рассказ разбираем на следующей неделе?

Анджела Арго поднимает руку. Вот уж неожиданность.

— У вас он с собой? — спрашивает Свенсон. — Надо сделать ксероксы и раздать...

— Нет. — Анджела говорит чуть слышно, почти шепотом. — Он еще не совсем готов. Можно я приду к вам поговорить? Завтра же у вас присутственные часы.

— Разумеется! — громогласно соглашается Свенсон.

Присутственные часы? Он вносит в план на семестр по два индивидуальных занятия с каждым студентом, но предпочел бы у себя в кабинете вообще не появляться. Лучше бы сидел дома и писал. Пытался бы писать. Если уж приходится торчать в кабинете, там он любит просто ду-

мать. Или дрочить. А еще — звонить по междугородной за счет университета.

Ученикам он, естественно, этого сказать не может. Он хочет, чтобы они считали его щедрым преподавателем, не жалеющим себя для студентов. Хочет быть таким и был таким, когда только начинал преподавать. Ну да ладно... все равно он должник Анджелы — она же его вытащила, помогла спасти класс, дружно мчавшийся к пропасти.

— А в какое время у меня приемные часы? Кто-нибудь помнит?

— Завтра с утра, — отвечает Нэнси Патрикис.

— У меня с утра приемные часы? — изумляется Свенсон. — Точно?

— Так у вас на двери кабинета написано.

Дэнни рад подыграть, он счастлив, что занятие закончено. Так, значит, не отвертеться.

— Хорошо, Анджела. Встречаемся в девять.

— Договорились, — говорит, обернувшись, Анджела уже в дверях.

***

Выйдя из аудитории, Свенсон, как всегда, чувствует себя безвинно приговоренным к пожизненному заключению человеком, которому вдруг отменили наказание. Он спасен, он жив, исполнение приговора отсрочено... по меньшей мере на неделю. Он торопливо идет по дворику и едва не врезается в группу туристов, бродящих по кампусу. Он жалеет кроссовки, поэтому не идет напрямик по заболоченной лужайке, а тащится позади школьников-старшеклассников, проходящих унизительную процедуру посещения университета с родителями.

Медвежий угол Северо-Восточного царства — час езды до Монтпилиера, шестьдесят миль до Берлингтона, сто пятьдесят — до Монреаля. Студенты, выбирающие для учебы столь удаленные и столь аристократичные колледжи, предпочитают Бэйтс или Боуден, у которых репутация лучше, побережье Атлантики и одежду от "Л. Л. Бин". Юстонский университет расположен прекрасно — посреди крохотного, в два квартала, городка Юстон и девственных лесов, где гуляют лоси, что так мило было сердцу его основателя Элайи Юстона.

Недавно команда спецов по связям с общественностью порекомендовала администрации Юстона *рекламировать* прежде всего его уединенность. Поэтому экскурсовод Келли Штейнзальц — в прошлом году посещала его курс "Основы художественного мастерства" — рассказывает, что она полностью сосредоточена на учебе благодаря тому, что ничто ее не отвлекает. Родители кивают. Подростки мрачнеют. Вот об этом они и мечтают! Четыре года сосредоточенной учебы!

Свенсон не может представить себе, каким кажется Юстон тем, кто видит его впервые. Денек как на заказ. Старинные здания в дымке теплого тумана, развесистые клены, изумрудно-зеленые лужайки. Одного они представить не могут — а Свенсону и иже с ним это отлично известно, — того, как этот мягкий зеленый ковер превратится в снежную пустыню.

— Прошу прощения, — говорит Свенсон.

Никто не реагирует. Все слишком увлечены: кто изображает напряженное внимание, кто — презрение. Свенсон, попавший в ловушку, слушает рассказ Келли Штейнзальц, как Элайя Юстон мечтал о том, что четыре года обучения гуманитарным наукам вдали от соблазнов цивили-

зации выпестуют духовных лидеров, которые вернутся в мир и сумеют его изменить. Родители так исполнены почтения, так стараются произвести впечатление, будто Келли — председатель приемной комиссии. Одна из матерей спрашивает смущенно:

— Скажите, а не мешает вам то, что университет так... мал?

— Никоим образом, — отвечает Келли. — Это наша община, и все мы ее члены. И он вовсе не мал. Это круг избранных. Круг... близких по духу.

Келли вещает про то, как Элайя Юстон основал Юстонскую академию, чтобы обучать в ней своих шестерых сыновей и семерых дочерей (тут один папаша удивленно присвистнул), но печальный рассказ о проклятии рода Юстонов опускает: три дочери умерли от дифтерита, две другие покончили с собой. Келли говорит об университетских традициях, но умалчивает о распространенном здесь поверье: считается, что в кампусе обитают привидения — дочери основателя, охочие до душ девушек-выпускниц.

Не упоминает Келли и о том, что процент девушек, бросающих учебу, в Юстоне опасно высок, что породило еще один своеобразный обычай: каждую весну старшекурсницы звонят в колокола — в честь того, что выдержали пытку до конца. Для Женской лиги университета это стало вопросом вопросов, они исполнены решимости выяснить, почему Юстон оказался настолько "опасным" местом для девушек, что большинство из них бежит отсюда, не доучившись. Опасное место? Да дело здесь не в опасности — безопасности. Просто женщины гораздо сообразительнее, они быстрее понимают, что в этом богом забытом уголке впустую тратят родительские денежки.

— Позвольте пройти! Позвольте пройти! — кричит Свенсон, и экскурсанты расступаются.

— О, профессор Свенсон! — восклицает Келли. — Это профессор Свенсон, писатель, преподающий в нашем университете. Возможно, вы читали его роман под названием...

Свенсон вежливо кивает, но предпочитает не дожидаться, вспомнит она название или нет. Он проходит Матер-холл: в этом викторианском здании с башенками, откуда в случае пожара выбраться практически невозможно, у него кабинет. Построено оно на месте пруда, который после того, как в его мрачных водах утопилась одна из дочерей Элайи Юстона, велено было осушить. Свенсон идет в университетскую амбулаторию — маленькое типовое строение, аккуратно обшитое вагонкой и расположенное на безопасном расстоянии от аудиторий и общежитий.

Звенит звоночек при входе, и Свенсон оказывается в пустой приемной. Он садится в пластиковое кресло, над которым висит плакат, где изображена бодренькая блондинка из группы поддержки бейсбольной команды, которой и в голову не приходило, что ее может сразить ВИЧ. В комнате пусто. Может, Шерри в кабинете с пациентом? Свенсону бы порадоваться минутке покоя. Полистал бы женские журналы, лежащие на столике, узнал бы, как полезно передохнуть в тишине. Он откашливается, возит креслом по полу... Ну ладно, предпримем что-нибудь поэффективнее.

— Сестра! — орет он. — Скорее! На помощь!

В приемную влетает Шерри. Сколько лет уже Свенсон не перестает восхищаться ее буйной красотой: жена его вполне может соперничать с

брызжущими жизненной силой актрисами из итальянских послевоенных фильмов. Он обожает эту прорытую временем ложбинку между бровями, живое и подвижное лицо, выражение которого в секунду из встревоженного становится несколько нарочито жизнерадостным.

— Господи, Тед! — говорит она. — Я услышала, кто-то зовет на помощь. Даже не поняла сначала, что это ты.

— Почему ты так уверена, что мне помощь не нужна?

— Инстинкт, — говорит Шерри. — Двадцать лет опыта.

— Двадцать один, — уточняет Свенсон.

— Это мне нужна помощь, — вздыхает Шерри. — Неужели я столько лет замужем за кретином, который, чтобы привлечь к себе внимание, вопит во всю глотку? Тед, ради бога, кончай на меня пялиться.

Вот они, преимущества брака — он может смотреть сколько пожелает. При нынешнем политическом климате прежде чем позволить себе подобный взгляд, рекомендуется заблаговременно вступить с женщиной в отношения супружеской близости по обоюдному согласию. Наряд Шерри, белый халат поверх джинсов и черной футболки, не у каждого мужчины вызвал бы невольную, как у собаки Павлова, эрекцию, но Свенсон реагирует именно так.

— Сестра, со мной что-то не то, — говорит он.

Таковы были его первые слова, обращенные к ней. В то утро — это было в Нью-Йорке — он встал с кровати и упал, потом, одеваясь, падал еще дважды, вышел выпить кофе и тут же поцеловал тротуар. Очевидно, опухоль мозга. Он дождался следующего падения и отправился в больницу Святого Винсента.

Народу в приемном покое было немного. Медсестра — это и была Шерри — повела его в кабинет врача, который находился в состоянии, близком к невменяемому, поскольку от него только что вышла Сара Воан[1]. Врачу хотелось побеседовать о стрептококковой ангине Сары, а вовсе не о недуге Свенсона, оказавшемся воспалением среднего уха. Свенсон поблагодарил его, встал и рухнул на пол. Когда он очнулся, Шерри держала его за руку — и до сих пор держит. Так он всегда говорил, рассказывая эту историю, чего он, впрочем, давно уже не делает — людей, которые ее не слышали, в их окружении не осталось. А Шерри обычно добавляла: "Чем я думала, влюбившись в мужчину, уже находившегося в бессознательном состоянии!"

На кафедральных обедах в Юстоне тут обычно следовала напряженная пауза. Шерри явно шутила. Чего присутствующие не понимали. Свенсон обожал такие моменты: ему казалось, что они с Шерри здесь все еще чужаки и у них нет ничего общего с этими тупицами и их покорными женушками, раскладывающими по тарелкам витаминный салат. Уже когда Руби родилась, они с Шерри все еще считали себя бунтарями, соучастниками преступления, притворяющимися благонадежными гражданами на детсадовских праздниках и родительских собраниях. Но потом все начало как-то... пробуксовывать. Он знает, Шерри винит его в том, что Руби, уехав в прошлом сентябре учиться, с ними почти не общается.

Шерри смотрит в окно — не идет ли кто — и говорит:

— Ну что ж, давайте посмотрим. Пройдите за мной.

1. Сара Воан (1924—1990) — знаменитая джазовая певица, получившая прозвище "Божественная".

Свенсон идет по коридору в процедурную. Шерри закрывает дверь, присаживается на краешек каталки. Свенсон встает между ее ног и целует ее. Она соскальзывает с каталки. Он трется своими бедрами о ее, Шерри одной рукой обнимает его, и он, споткнувшись, отступает назад.

Шерри говорит:

— Как ты думаешь, если нас застукают за таким занятием в университетской амбулатории, нашей карьере это повредит?

Но ничем таким они заниматься не собираются. Это всего-навсего приветствие, возобновление знакомства, не истинное желание, а скорее попытка после такого вяло-тепловатого денька поднять градус настроения.

— Мы бы сказали, что занимаемся этим в терапевтических целях, — говорит Свенсон. — Исключительно по медицинским показаниям. Но вообще-то мы бы могли затрахать друг друга до полусмерти, и никто бы не услышал.

— Неужели? Прислушайся!

За дверью кого-то рвет. Вулканические извержения сменяются стонами. Когда они стихают, Свенсон слышит шум льющейся воды. Затем снова извержения, и опять льется вода. Звуки не самые возбуждающие. Он отходит в сторону.

— Чудесно! — говорит Свенсон. — Спасибо, что обратила мое внимание.

— Желудочный грипп, — объясняет Шерри. — Мерзость ужасная. Но звучит хуже, чем есть на самом деле. Представляешь, Тед, дети приходят сюда поблевать. Когда мы были в их возрасте, у нас хватало ума отползти куда-нибудь подальше и очищать желудок вдали от публики. В амбулаторию шли, только перебрав ЛСД, когда по ногам уже зеленые змейки ползли.

— Трудный день? — устало спрашивает Свенсон.

Видно, что-то случилось. Шерри уж никак не назовешь черствой по отношению к пациентам, во всяком случае к юным. Сколько раз он возил ее в амбулаторию в четыре утра — из-за сердечных приступов, которые оказывались острыми приступами невроза первокурсников. Или действительно пугающими, но отнюдь не летальными последствиями алкогольных излишеств. У нее хватает терпения на всех, разве что кроме самых мрачных ипохондриков, которые держат ее за прислугу и возмущаются, почему она не имеет права выписывать рецепты на антидепрессанты. Но и тогда она их выслушивает без раздражения. Однако в этом семестре Шерри не дает спуску университетским спортсменам, увиливающим от экзаменов, — к нюням, которые, ушибив мячом палец, требуют, чтобы руку загипсовали по локоть. С такими она ведет себя не как мамочка, а как сестра Рэтчет[1].

— Давай забьем на все это, а? — говорит Свенсон. — Поедем домой, рухнем в койку.

— Боже мой, Тед! Какое домой? У нас же сегодня днем эта встреча, сам знаешь.

Не знал он ничего. Или знал. Знал и забыл. Ну почему Шерри говорит так раздраженно, словно он дитя, неразумное и безответственное? Могла бы быть чуть терпимее к его легким провалам в памяти. Разве можно винить его, если он забыл, что всех преподавателей и сотрудни-

1. Персонаж одного из комедийных телефильмов Билли Кристала.

ков пригласили (обязали прийти) на собрание, где будет обсуждаться политика Юстона по отношению к сексуальной агрессии.

Уже полгода в Юстоне с тревогой и волнением следят за скандалом, разразившимся в Стейте, университете, где учится Руби: там прошлой весной преподаватель на лекции по истории продемонстрировал учащимся слайд с классической греческой статуей, обнаженной женщиной. В выражении своих чувств он был краток. Произнес только "ням-ням". Это "ням-ням" ему ой как аукнулось. Студенты обвинили его в демонстрации вожделения. Он сказал, что это была примитивная, так сказать, нутряная реакция на произведение искусства. И "ням-ням" касалось эстетики, а никак не гениталий. Тут они заявили, что он ставит их в неловкое положение. С этим уже не поспоришь. Не стоило ему употреблять слово "гениталии", тем более в оправдание. Вот его и выгнали без выходного пособия, и он отстаивает свои права через суд.

Раздается робкий стук в дверь. Наверняка проблевавшееся дитя.

— Войдите, — говорит нараспев Шерри, и перед ними предстает Арлен Шерли в белоснежной рубашке и брюках.

Арлен — коренная жительница Вермонта, пожилая вдова, чья хроническая неуверенность в себе слышна даже в дребезжащем голосе, в любой момент готовом перейти в плач. Порой позвонит Шерри с дежурства, и у них от ее интонаций сердце замирает. Уж не помер ли кто?

— Господи, хорошо-то как на улице, — плачущим голосом возвещает Арлен. — А подумаешь, что скоро все станет серым и унылым и впереди эта бесконечная зима...

Собственно говоря, Свенсон и сам так думал, тащась по кампусу за толпой экскурсантов, но слышать это от Арлен невыносимо.

— Так идите, Арлен, предавайтесь развлечениям! — говорит он. — Наслаждайтесь, пока не поздно.

Шерри берет Арлен под руку, под пухлый локоток.

— Мы опаздываем на собрание, — говорит она. — Если я тебе понадоблюсь, тут же звони. Безо всякого стеснения.

Шерри со Свенсоном идут на стоянку, к его пятилетнему "аккорду". Они знают, что поездка через кампус приравнивается к экологическому преступлению, но хотят смыться, как только собрание закончится.

— С чего это ты привязался к Арлен? — спрашивает Шерри.

— Прошу прощения, — говорит Свенсон. — Сам не знаю, что на меня нашло. Сегодня я имел удовольствие разбирать шедевр одного из своих подопечных: рассказ заканчивается тем, что парень трахает курицу.

— Курице-то понравилось?

— Курица была мороженая, — говорит Свенсон.

— Бедная курочка. А может, оно и к лучшему? И как же прошло занятие?

— Ну, прошло себе. Мне удалось продержаться, не сказав ничего, что могло бы спровоцировать Женскую лигу устроить сегодня вечером пикет у моего дома. С работы пока что не выгнали. Вроде бы.

Они подъезжают к университетской церкви, где, быть может, ректор Фрэнсис Бентам уже сообщил собравшимся, что те, кто разбирает на занятиях рассказы про секс с домашней птицей, автоматически подлежат увольнению.

Кажется, успели вовремя. Кучка заядлых курильщиков (естественно, из числа штатных преподавателей) толпится у входа. Когда Свенсон подруливает к зданию, они как раз успевают докурить до фильтра и бро-

сают тлеющие окурки на дорожку. Свенсон и Шерри входят, держась за руки, следом за курильщиками и находят себе места в заднем ряду.

— Дай мне свои солнечные очки, — шепотом просит Свенсон.

— Отвяжись.

Свенсон пригибается так низко, что едва не касается каблуков сидящей перед ним дамы, и осматривает зал. Вся клика на месте: и нервные, анемичные младшие преподаватели, и седеющие ровесники Свенсона, и даже удалившаяся на заслуженный отдых старая гвардия. Все они послушно приползли в эту мрачную церковь, где пару веков назад преподобный Джонатан Эдвардс[1], посетивший Юстон в рамках турне "Грешники в длани Господа карающего", вселял в души слушателей ужас, описывая в красках, как обреченных на муки швыряют в адское пламя, как поджаривают их, вопящих от ужаса, на сковородах. В память об этом событии на стене висит портрет Эдвардса — он сурово смотрит из-за плеча ректора Фрэнсиса Бентама, который, поднимаясь на кафедру, бросает на картину взгляд и едва заметно вздрагивает. Коллеги подобострастно хихикают.

— Недоносок, — шипит Свенсон.

Дама, сидящая впереди, разворачивается к ним.

— Полегче, — говорит Шерри.

Свенсон еще по гнезду седых волос и напряженной, почти воинственной осанке безошибочно определил, что это Лорен Хили с английской кафедры, специалистка по феминистским трактовкам художественной литературы, нынешняя глава Женской лиги. Свенсон с Лорен обычно имитируют сдержанную вежливость, но по причинам, для него непостижимым (есть подозрение, что виной тому аллергия на тестостерон), Лорен ненавидит его всеми фибрами души.

— Лорен! Привет! — говорит Свенсон.

— Привет, Тед, — произносит Лорен одними губами.

Ректор Бентам — в пижонском блейзере, вызывающем бордовом галстуке-бабочке, ярко-синие глаза сверкают из-за очков в золотой оправе — напоминает садиста-педиатра, присланного из Англии, дабы научить наглых американских детишек вести себя прилично. Ректора взяли в университет лет шесть назад, когда у преподавательского состава случился коллективный приступ ненависти к себе; появившись в Юстоне еще в качестве кандидата на должность, он не скрывал свойственного выпускникам Оксбриджа чувства превосходства над трогательными, но безнадежно наивными идиотами-туземцами.

Бентам обеими руками опирается на кафедру, наклоняется, словно собираясь ее поцеловать, затем резко выпрямляется и, размахивая над головой листом бумаги, говорит:

— Уважаемые друзья и коллеги! Здесь изложена стратегия университета Юстона по вопросам сексуальной агрессии. — Он улыбается: вот, полюбуйтесь, на редкость забавный симптом, так вылезают пережитки пуританского прошлого, — и тем не менее напоминает директора школы, из тайных извращенцев, которые за малейшее отступление от правил с наслаждением хлещут провинившихся розгами. — В начале каждого учебного года все вы получаете по почте этот документ, в одном пакете с расписанием работы спортзала и буфета. И тут же отправляете все это в мусорную корзину.

1. Джонатан Эдвардс (1703–1758) — священник, философ, считающийся одним из крупнейших мыслителей Америки.

Преподаватели посмеиваются чуточку виновато, но довольно. Да, неплохо папочка их изучил.

— Я, например, выкидываю эти бумажки не читая. Хотя сам их вынужден писать. Но веяние времени таково (про абсурдные события в Стейте всем нам известно, сплетничать не будем), что приходится признать — правила игры меняются. Так что я решил, надо нам с вами найти время и всем вместе это проглядеть.

Зал тихонько стонет — так преподаватели выражают робкий протест. Ректор позволяет им продемонстрировать свои чувства и приступает к делу.

— Ага, в случае, если кто подаст на университет в суд, они заявят, что нас предупреждали, — шепчет Шерри на ухо Свенсону.

Да, конечно, Шерри как всегда все сразу поняла — ей незачем выслушивать бесплодные рассуждения о культурной агрессии Британии и этическом наследии пуритан. Шерри знает, что все гораздо проще, что речь идет о гипотетическом возмещении убытков. Судебные процессы внушают университету такой же ужас, какой внушало Джонатану Эдвардсу адское пламя. Один солидный иск, и Юстон с его крохотными фондами окажется на краю гибели.

— Пункт первый, — зачитывает Фрэнсис Бентам ироничным тоном. — Никто из преподавателей Юстонского университета не имеет права вступать в интимные отношения со студентами или выпускниками университета или же требовать за профессиональную поддержку сексуальных услуг.

Ну что ж. С этим можно согласиться, при условии, что правило обратной силы не имеет. В старые времена романы со старшекурсницами считались льготой, положенной по статусу. Однако Бентам уже перешел от четких запретов, простых и трудновыполнимых, как десять заповедей, к расплывчатым материям: враждебной обстановке, атмосфере угроз и шантажа. Это еще что. Как и те, кто внимал некогда Эдвардсу, внимающие теперь Бентаму обратились от темы неминуемого возмездия к вопросам попикантнее — задумываются о том, вскроются ли их собственные тайные грешки.

Пуританство живет и процветает. Хвала Господу за то, что человеческая психика многое умеет вытеснять. А если бы кто-нибудь встал и сказал про то, что у многих из них сейчас на уме, — про то, что есть нечто эротическое в самом преподавании, в потоках информации, текущих во все стороны, как... телесные соки. Ведь Книга Бытия возводит первый грех к тому самому надкушенному яблоку, плоду не с абы какого дерева, а с древа познания.

Влечение, возникающее между учеником и учителем, — издержки профессии. Сколько студенток за эти годы влюблялось в Свенсона. Но он на собственный счет не обольщается. Это заложено в систему. Впрочем, интерес их ему льстит, это приятно само по себе, и порой на их внимание он отвечал, однако, самым безобидным образом. Ну что с того, что работу мисс А. он прочитывал первой или же специально смотрел, как отреагирует на его шутку мисс Б.? Чаще всего это были те студентки, которые либо трудились старательнее, либо знали больше других. И все эти... мимолетные привязанности никогда не переходили во что-нибудь посерьезнее. Да Свенсона впору канонизировать. Он — юстонский святой!

Каким бы это ни показалось невероятным — всем, в том числе ему самому, — но он проработал здесь двадцать лет и ни разу не переспал со

студенткой. Он любит Шерри. Он дорожит браком. Он всегда... сторонился других женщин. И безо всякого ректора знал, какие моральные обязательства накладывает на преподавателя его власть. Так что ему всегда удавалось избежать... неловкостей. Он говорил о литературе. Беседы на профессиональные темы воздвигали между ним и потенциально привлекательными студентками невидимые барьеры, которые уже не удавалось преодолеть. И это делало невозможным их общение на другом уровне — к примеру, на межполовом.

Сейчас даже имена этих студенток припоминаются с трудом — одно это доказывает, что они не значили для него ничего, что он не стал бы ради них рисковать своей работой; и ему, сидя здесь, нечего стыдиться и бояться, что всплывет из прошлого некая тень и заявит, что за пятерку по "Основам литературного мастерства" она вступала с ним в интимные отношения. Но Бентам говорит как раз о том, что необязательно должно произойти нечто конкретное. Костер войны полов может возгореться от крохотной искорки. Лучше не смотреть студентам в глаза, не жать им руки. Каждая аудитория — пещера со львом, каждый преподаватель — Даниил. А Свенсон каждый вторник должен обсуждать чей-нибудь рассказ про инцест, про неуклюжий подростковый секс, про первые опыты минета, и с кем — с самыми трепетными и чувствительными юстонскими студентами, иные из которых, вполне вероятно, презирают его по причинам, о коих можно только догадываться: он учитель, а они нет, или он, допустим, напоминает чьего-то отца.

Наступает долгая тягучая тишина. Ректор Бентам с напускным смущением оглядывается на портрет Джонатана Эдвардса и, вновь развернувшись к залу, говорит с усмешкой:

— В отличие от вашего достопочтенного отца и учителя я вас пугать не собираюсь. Но чтобы на несчастных поселенцев никто из засады не нападал, они должны быть постоянно готовы к обороне. Очевидно, что остались еще охотники на ведьм, которые готовы отправить на костер любого, кто посмеет при виде греческой статуи причмокнуть губами. Ну вот и всё. Проповедь закончена. Кстати, я совершенно не опасаюсь, что нечто в этом роде может приключиться у нас в Юстоне.

Атмосфера в часовне мрачная — словно Бентам сообщил о надвигающейся эпидемии, которая поражает наугад, словно он известил о том, что Господь решил покарать их мирный муравейник.

Свенсону и Шерри удается улизнуть до того, как их поглотят зыбучие пески досужих разговоров. Свенсон выруливает со стоянки, тащится по кампусу, подскакивая на "лежачих полицейских", медленно выезжает из ворот, проезжает два квартала, образующие центр Юстона. И только после этого жмет на газ, и — ура! свобода! да здравствует мистический экстаз скорости!

Каким могучим, каким уверенным он чувствует себя, когда рядом сидит Шерри, — вдвоем они защищены от мира, проносящегося мимо — пусть это всего лишь крошечная часть мира. И все же он радуется сгущающейся тьме, отделяющей его от Шерри, укрывающей его покровом одиночества, под которым он может взглянуть в лицо фактам и признаться себе, что по-настоящему расстроили его не Бентам и не сослуживцы, не спартанские интерьеры часовни Основателей, даже не потрясение, которое он вдруг испытал, поняв, что все эти годы проторчал как в темнице в цитадели пуританских устоев Новой Англии. Нет, по-настоящему задело его — но в этом он признаётся себе с трудом и, если бы не полу-

тьма, даже подумать бы не рискнул — то, что он оказался настолько глуп ли, напуган ли, застенчив ли, что так и не переспал с этими студентками. А что, собственно, он хотел доказать? Какие принципы хотел исповедовать, какой нравственный постулат декларировал? Постулат один: он обожает Шерри и всегда ее обожал. Он никогда не причинит ей боли. И теперь в качестве особой награды за то, что был таким хорошим мужем, во всех отношениях замечательным мужиком, ему досталось лишь удовлетворение: он пронес знамя самоотречения почти до могилы. Потому что все уже кончено. Он слишком стар. Он уже вне всего такого.

Он был прав, что поступал именно так. И не поступал иначе. Он ищет в темноте руку Шерри. Их пальцы сплетаются.

— О чем вздыхал? — спрашивает Шерри.

— Я вздыхал? — удивляется Свенсон. — Думал, что надо все-таки заняться этим зубом. — Он поворачивается к ней и языком показывает, каким именно.

— Хочешь, я позвоню зубному?

— Нет, спасибо. Я сам позвоню.

Брак значит для него все. Он столько раз представлял себе, как при случае расскажет об этом восторженным студентам, но случая так и не представилось.

— Это, безусловно, облегчит мне жизнь, — говорит Шерри.

Будь у него настроение получше, он бы радовался тому, с какой легкостью, свидетельствующей об истинной близости, жена то вдруг продолжает старый разговор, то без предисловий меняет тему. Но сейчас это его раздражает. Почему Шерри не может прямо высказать свои мысли? Он-то знает, что у нее на уме. Экстренная психологическая помощь входит в ее обязанности, и если политика борьбы с сексуальными домогательствами действительно победит, меньше будет студенток, пострадавших от университетских Ромео. У Шерри накопилось столько информации — хватит, чтобы весь университет засадить за решетку, — но она удивительно сдержанно и терпимо относится ко всему, с чем сталкивается в своей амбулатории. Если бы Свенсон переспал с какой-нибудь студенткой, она бы такой терпимой и сдержанной не была. Шерри любит напомнить, что ее предки — сицилийцы, из деревень, где заблудших мужей дядюшки и братья обманутых жен обычно сбрасывают со скал. Сколько раз она заявляла, что, если он ей изменит, разведется с ним, а потом выследит и убьет. А то, что она уже много лет об этом не вспоминает, угнетает сейчас еще больше.

— Везет тебе. — Он чувствует, как Шерри вздрагивает.

— Прости, — говорит она. — Что я не так сделала?

— У меня нервы на пределе, — бормочет Свенсон.

— А у меня что, нет? — говорит Шерри. — Ты даже вообразить не можешь, какие у меня сегодня были кошмарные пациенты.

Свенсон должен бы спросить, почему кошмарные, но не испытывет ни малейшего желания.

— Знаешь, — говорит Шерри, помолчав, — ты расслабься. Никто тебя не уволит за то, что ты на занятиях разбираешь порнографические рассказы своих студентов.

Да как она смеет недооценивать те опасности, которые поджидают его ежедневно? Вот бы сама входила каждый день в аудиторию, врала бы про то, что *она* любит больше всего на свете, а потом заползала бы в свою нору и пыталась писать собственный роман!

Шерри достает кассету, ставит ее в магнитофон. "Разбуди меня, не давай так долго спать". "Дикси Хамминбердз". Чума. Прощай, благословенная тишина. Шерри слушает свое любимое, то, что обычно нравится и Свенсону. Этим летом за городом он и сам включал звук на полную мощь, наслаждаясь торжественными голосами, которым впору петь в хоре ангелов. Но сейчас он говорит:

— Терпеть не могу эту песню. Так и подмывает свернуть с дороги, рухнуть на колени в кювете и принять Христа как Спасителя. Плюс ко всему, я начинаю изнывать от зависти к тем счастливчикам недоноскам, которые в это верят.

— Эй! — Шерри поднимает руку. — В чем я-то виновата? В том, что поставила музыку?

Разбуди? Не давай спать? Неужто "Дикси Хамминбердз" и в самом деле боятся проспать Страшный суд? Здесь, на земле, Свенсон и Шерри ищут хотя бы шаткого равновесия между адом взаимных упреков и чистилищем тишины, которая вполне сойдет за дружеское расположение.

Шерри выключает магнитофон.

— Извини, — говорит Свенсон. — Хочешь слушать — слушай.

— Да ладно. Тебе и так сегодня досталось.

— Я тебя люблю, — говорит Свенсон. — Это тебе известно?

— И я тебя, — отвечает Шерри.

***

Свенсону снится, что его дочь Руби позвонила и сказала, что думает о нем, что все прощено и забыто. Он заставляет себя проснуться — в глаза ему бьет яркий солнечный свет, наступило утро, которое приветствует его сразу тремя не самыми приятными вещами.

Во-первых, надрывается телефон.

Во-вторых, это не Руби, которая как уехала в свой колледж, так домой и не звонит. Она с ним разговаривает, когда он сам звонит ей в Стейт, в общежитие, впрочем, "разговаривает" — сильно сказано, бурчит что-то в ответ, и все эти невнятные междометия красноречиво свидетельствуют о ненависти, которая кипит в ней с тех пор, как Свенсон — по глупости — воспрепятствовал ее первой настоящей влюбленности, объектом которой был выбран самый распутный за всю историю Юстонского университета студент.

В-третьих, он почему-то провел ночь на диване в гостиной.

Почему никто не подходит к телефону? Где, черт подери, Шерри? А может, это Шерри и звонит — объяснить ему, почему он спал на диване. Если бы они поссорились, он бы об этом помнил. Кроме того, они никогда не ложатся спать, не помирившись или хотя бы не притворившись помирившимися, даже если с утра тлеющие угли ссоры разгораются еще жарче. Почему Шерри не разбудила его, не отправила в спальню? Слава богу, телефон перестает звонить еще до того, как он находит в себе силы подняться. Если это и вправду Шерри, он ведь станет выяснять, какого черта она его бросила в гостиной. Итак, телефон умолкает, и Свенсон сползает с дивана. Он перезвонит Шерри, когда придет в себя. Стоп! Она не могла уйти! У них же сейчас одна машина — вторая в ремонте.

— Шерри! — кричит он. Случилось что-то непоправимое. Скоропостижная смерть — единственное объяснение тому, что его бросили на диване. — Шерри! — Он не может без нее жить!

Он бросается в кухню, на солнечный свет, струящийся из окна. Посреди стола белеет лист бумаги. Наверняка записка от Шерри.

"У тебя был такой усталый вид. Не хотела тебя будить. За мной заехала Арлен. Люблю-целую. Ш."

Бедняга Шерри! Замужем за психом, решившим, что она его покинула — а она всего-навсего хотела, чтобы он выспался. Шерри любит его. Ведь приписала же "Люблю-целую."

Зажав записку в кулаке, он бредет к окну. Они его прорубили, когда во второй и последний раз пытались из старого деревенского дома сделать нечто, удовлетворяющее их нуждам или хотя бы признающее за ними право на существование. Вообще-то, поселившись здесь, они позволяли дому делать все, что он пожелает. Хотя (а может, именно поэтому) они и попросили плотника-хиппи, чтобы окно не выглядело как эркер в типовом доме; оно именно так и выглядит. Ну и что. Окно со своей задачей справляется: сидя за столом, они могут любоваться садиком Шерри.

Садик им достался в наследство от старой хозяйки, которая соглашалась продать дом только тому, кто будет следить за ее клумбами и грядками. Шерри все что угодно пообещала бы ради того, чтобы съехать из общежития, где они жили в блоке для семейных, буквально у всех на виду: Руби зачать удалось лишь потому, что желание пробуждает изобретательность. Но обещание свое жена выполнила. От цветов Этель Тернер не осталось почти ничего: на севере Вермонта понятие "многолетние цветы" звучит как жестокая насмешка, однако на их месте растут другие — Шерри брала саженцы из питомника или сама кое-что выращивала из семян. Садик процветает — благодаря природному дару Шерри, наверное перешедшему ей через ДНК от дедушек и бабушек. Она-то всю юность провела в городских квартирах, а потом — в больничных палатах.

В это время года сад похож на археологический раскоп: шалашики обрезанных веток, охапки соломы, кучки палой листвы, прикрывающие самые капризные из цветов. Очень похоже на поминальные обряды, совершаемые во имя будущей жизни покойных. Вот в чем разница между Свенсоном и Шерри. Шерри верит, что весна настанет, тогда как Свенсон искренне изумляется всякий раз, когда тает снег и из земли вылезают первые крокусы. Он завидует Шерри, ее оптимизму и умению верить. Хотя... Кто-то же должен это уметь.

Он открывает холодильник — не потому, что голоден, а потому, что хочет по его содержимому определить, что было вчера на ужин, и обнаруживает остатки феттучини с комками масла и сыра. Шерри пытается придерживаться диеты, но признает, что порой без ударной дозы холестерина не обойтись. Они ужинали на диване в гостиной, перед телевизором, и оба были так рады возможности помолчать, что раздражение, которое испытывали, едучи домой, рассосалось, и на смену ему пришло чисто животное чувство покоя.

Он уже тянет руку к телефону и думает о том, как скажет сейчас Шерри, что любит ее, что жизнь с ней для него счастье. И тут, к его изумлению, телефон, опередив его, трезвонит сам. Телепатическая связь!

— Радость моя! — говорит он.

— Э-ээ... м-мм, — звучит женский голос.

Ого! Студентка. Наверняка. Не знает, как к нему обратиться. "Мистер Свенсон"? "Профессор"? "Тед"? Ну уж точно не "радость моя". Студенты никогда не звонят ему домой, хотя в начале каждого семестра он сообщает им свой номер. Обычно он как бы в шутку предлагает им звонить, если их жизни угрожает опасность. Неужели какой-то студентке угрожает опасность? В половине десятого утра?

— Это Анджела Арго, — говорит девушка. — У нас назначена встреча на девять. Я ждала у вашего кабинета. Может, я что-то перепутала? День? Время? Правда, мы вчера договаривались...

Свенсон наконец вспомнил. Он был счастлив, что то занятие закончилось, и готов был обещать что угодно кому угодно.

— Вы ничего не перепутали, — говорит Свенсон. — Извините.

— Это вы меня извините. Я вас разбудила? Ой, простите!

— Я уже не спал.

— Боже мой! Вы работали? Я вас отвлекла?

— Нет, я не работал. — Звучит это чуть резче, чем ему бы хотелось.

— Еще раз прошу прощения.

— Не за что. Оставайтесь на месте. Я подъеду через пятнадцать минут.

— Хорошо, — соглашается она. — Вам точно удобно?

— Абсолютно точно, — говорит он.

Несколько мгновений он стоит у телефона. Давно надо было уволиться. Университетская администрация, предприняв очередную безуспешную попытку избежать финансового краха, предлагала штатным преподавателям, согласным оставить должность, годовую зарплату в качестве компенсации. Но — так каторжники привыкают к своим кандалам — почти никто на это не пошел. Сидел бы он дома, писал, читал, смотрел телевизор — и не должен был бы тратить впустую еще один день своей единственной жизни.

Итак, у него пятнадцать минут, за которые надо успеть помыться, побриться, одеться и доехать до университета, что практически невозможно, потому что только дорога занимает пятнадцать минут. К черту личную гигиену. Детка хочет писать? Так пусть полюбуется на то, как выглядит *писатель* в половине десятого утра.

Свенсон идет по коридору, машинально останавливается перед порожком между комнатами. Где же портфель? Ему всегда кажется, что он его потерял, оставил где-то. В нем обычно ничего важного, но всегда есть что-нибудь — студенческие работы и всякое такое, что очень долго и муторно восстанавливать. Это достаточный повод для паники; он расшвыривает лежащие кругом книги и бумаги, психует все больше, пока не находит наконец портфель под пачкой вчерашней почты.

Не время сейчас заниматься почтой — надо торопиться, его ждет студентка. Перед выходом из дому он обязательно должен проверить, везде ли выключен свет; он заходит даже в комнату Руби, которой сто лет никто не пользовался. Отучившись год в Стейте, Руби устроилась на лето официанткой — чтобы домой не приезжать.

Свенсон стоит в дверном проеме, безуспешно пытаясь вспомнить, как комната Руби выглядела раньше: детская с колыбелькой, потом комната маленькой девочки, пока не застыла навеки чердаком мисс Хэвишем[1], увешанным лицами актеров, рок-музыкантов, спортсменов, чьи звезды с тех пор, как Руби наклеила их фотографии, наверняка успели

1. Персонаж романа Ч. Диккенса "Большие ожидания".

закатиться. В комнате всегда был свой запах, живой и постоянно меняющийся: сначала пахло молоком и тальком, потом кроссовками, лаком для ногтей, индийскими благовониями. Пыль и духота разогнали эти фантомы.

Сорвав с крючка вельветовый пиджак, он ловит свое отражение в огромном зеркале, решившем именно сейчас продемонстрировать ему его жуткую морду: небритый, морщины как у Бастера Китона, седеющие волосы стоят торчком — ну просто разведенный коп из телесериала, а уж никак не приличный мужчина хоть и средних лет, но не утративший привлекательности и жизнелюбия, писатель, преподаватель, муж, отец. Под глазами мешки, очки забрызганы непонятной белой гадостью. Свенсон отскребает ногтем какую-то дрянь с переднего зуба, проверяет языком тот задний, который его беспокоит.

Так! Этим займемся потом. Сейчас — на работу.

Пробежка вверх по четырем пролетам лестницы — вот и вся зарядка Свенсона, но сегодня утром пользы вообще никакой: он слишком нервничает, что опаздывает. На третьем этаже он начинает задыхаться. Боль в груди? Может быть. Вполне вероятно. Неужто такова его судьба — рухнуть замертво у обутых в "Доктор Мартен" ножек этой... затянутой в кожу малявки? Анджела сидит на полу, прислонившись к стене и водрузив на белеющие сквозь прорези в джинсах коленки какую-то книжку.

За несколько ступенек до цели Свенсон успевает разглядеть название: это не опус какого-нибудь модного подросткового автора, как мог предположить Свенсон, а "Джейн Эйр". На Анджеле черные кожаные перчатки с обрезанными пальцами, ногти иссиня-фиолетовые. Ручки у нее такие крохотные (может, по сравнению с объемистым томом Шарлотты Бронте), что перчатки выглядят по-викториански строго и солидно. Конский хвост с оранжевыми и зелеными прядями делает ее похожей на разукрашенное мороженое в детском кафе.

— Доброе утро, — бормочет запыхавшийся Свенсон.

Анджела, оторвав взгляд от книги, словно удивляется странному совпадению, которое свело их здесь.

— Привет! — отвечает она неуверенно.

— Прошу прощения за опоздание, — говорит Свенсон. — Не уследил за временем.

— Ничего страшного. Не беспокойтесь.

Свенсон вцепляется в перила — отчасти для того, чтобы отдышаться, отчасти чтобы сдержаться и не придушить на месте эту неблагодарную соплячку, которая вытащила его из кровати (точнее, с дивана) чуть свет и заставила мчаться сюда, рискуя жизнью. "Ничего страшного!" Неужели? Спектр его возможностей ограничен, но четок. Либо прочесть ей сухую нотацию о хороших манерах и пользе выражений вроде "благодарю вас", либо стиснуть зубы и перетерпеть пятнадцать минут, в течение которых она будет нести что-нибудь про свою работу или, что вероятнее, про то, почему она с этой работой не справилась, — тогда он промямлит пару слов в ответ, и все будут счастливы.

— Может, перенесем? — предлагает он.

— Нет-нет-нет. Прошу вас! Мне необходимо с вами поговорить. Правда. Мне даже понравилось: я тут сидела, словно пряталась от кого-то. Как в детстве. Я вместо того, чтобы в школу ходить, залезала под веранду, сидела там и читала.

— Вы любите читать? Замечательно!

— Да, наверное, — говорит она и, опершись на руку, пытается подняться с пола.

Свенсон наклоняется, чтобы помочь ей. Она, решив, что он хочет взглянуть на книгу, послушно ее протягивает. Он делает вид, что действительно заинтересовался книгой. Она берет свой рюкзачок, а он перелистывает книгу, в которой некоторые места отчеркнуты. Ах вот оно что! Она читает ее к занятию.

— Вам нравится "Джейн Эйр"?

— Это мой любимый роман. Я его семь раз читала.

Свенсону следовало самому догадаться. Под этой кожаной оболочкой бьется нежное сердце гувернантки, сохнущей по мистеру Рочестеру.

— Больше всего мне нравится, — говорит Анджела, — как Джейн Эйр бесится. Она весь роман рвет и мечет, а в награду получает в мужья слепого мужика, который спалил на чердаке собственную женушку.

— Проходите, — говорит Свенсон. — Присаживайтесь.

Свенсон отпирает дверь, а Анджела продолжает:

— Ужас в том, что читаю я ее для семинара Лорен Хили. Война полов в художественной литературе. Все, что бы мы ни читали, оборачивается историей про торжество мужского шовинизма. Это, может, и верно — мне понятно, как приходят к такому выводу, — да только по-разному все бывает.

Он возится с замком и ключом, поэтому может отмахнуться от извечной дилеммы: следует или не следует соглашаться, если студент катит бочку на коллегу-преподавателя. К тому же его смущает, что эта девица, на занятиях хранящая угрюмое молчание, вдруг так разговорилась. Он рассчитывал, что их встреча пойдет по другому плану: она будет грызть от застенчивости ногти, а он — минут десять делать вид, что рассказывает ей нечто важное.

В кабинете Свенсона пахнет свитерами, которые так и лежат в шкафчике. Когда он здесь был в последний раз? Свенсон пытается вспомнить, но не может. Он распахивает окно. В комнату врывается поток свежего воздуха.

— Вам не холодно? — спрашивает он, прикрывая створку. — Вчера была тропическая жара, сегодня арктический холод. Планета свихнулась.

Анджела не отвечает. Она сосредоточенно шагает по комнате. И все же спотыкается о ковер, а наклонившись, чтобы его поправить, чуть не падает. Свенсон, наблюдая за этим, пугается. Господи, только бы не оказалась наркоманкой.

— Ну вот опять. Вечно я обо всякое дерьмо спотыкаюсь.

— Вы уж будьте поосторожнее, — по-отцовски заботливо говорит Свенсон.

— Обязательно буду. Спасибо. — Она что, ехидничает?

— Может, лучше сядете? Для надежности?

— Ничего, если я немного постою? — Анджела переминается с ноги на ногу.

— Как вам удобно... — говорит Свенсон.

— Как удобно? Знать бы...

Ну и ну, думает Свенсон.

Он усаживается за стол, с официальным видом перебирает пачку старых писем, складывает их в аккуратную стопку. Доктор сейчас вас примет.

— Как идут занятия? — ведет свою роль Свенсон.

— Прямиком в канализацию. — Анджела смотрит в окно.

— Прискорбно слышать. — Свенсон говорит искренне, хотя она об этом, скорее всего, не догадывается. На его вопрос полагается отвечать "нормально". Студенты ему не доверяют. А он их на откровенность и не вызывает. Может, у кого-то из них жизнь рушится, но они про это не рассказывают. Те, кто занимается в поэтическом семинаре, со всеми своими бедами бегут к Магде Мойнахен. Он же старается держаться подальше от университетских сплетен. Про то, что один из студентов помешался, он узнал только несколько лет спустя. Чему тут удивляться — у Свенсона свои проблемы. Их проблемы ему ни к чему; впрочем, порой он чувствует себя... на отшибе, что ли, его даже беспокоит собственное равнодушие к драмам, разворачивающимся вокруг. Он совершенно лишен наблюдательности. Поэтому-то и не может писать.

— А теперь я, пожалуй, сяду, — говорит Анджела.

— Да, конечно, — кивает Свенсон. — Располагайтесь.

Анджела плюхается в кожаное кресло, стоящее напротив стола. Сначала забирается в него с ногами — пытается усесться в позу лотоса, затем подтягивает колени к подбородку, после чего все-таки спускает ноги на пол и откидывается назад, а рукой елозит по подлокотнику. Свенсон никогда не видел, чтобы люди так мучительно усаживались. Отчего она такая заведенная? На наркотики не похоже. Затянувшийся пубертатный период. Ее кожаная куртка все время скрипит — звук такой, будто сдирают пластырь.

Она предпринимает последнюю попытку скрутить ноги в очередную йоговскую позицию, затем садится, выпрямив спину, и смотрит на него — ни дать ни взять дрожащий от возбуждения щенок чихуахуа. Побрякушек на ней сегодня немного — серебряная спиралька в одном ухе и в носу тоненькое кольцо с зеленым камнем, поблескивающим у ноздри, как изумрудная сопелька. Она вынула кольца из бровей и верхней губы, отчего смотреть на ее бледное треугольное личико стало гораздо приятнее. Глаза у нее бесцветные, вернее, блекло-серые, как у новорожденного.

— Итак, что же с занятиями?

— Семинары — сплошное дерьмо, — выпаливает она.

— Все без исключения? — спрашивает он ровным голосом.

— Кроме вашего! — говорит Анджела. Ему и в голову не пришло, что она говорит и о его занятиях, и теперь он думает: а, собственно, почему? — Ваш семинар — единственный, на который я хожу. Единственный, который мне нравится.

Господи, почему именно мой, думает Свенсон. Я-то чем заслужил?

— Что в этом смешного? — спрашивает Анджела.

— Ничего, — удивляется Свенсон. — Почему вы спросили?

— Вы улыбнулись.

— Мне было лестно, — врет он, — узнать, что вам нравятся мои занятия.

— Больше всего на свете я хочу писать, — говорит она. — Только это мне и интересно.

— Приятно слышать. — Снова ложь. — Мы хотим, чтобы студентам было интересно. Но не стоит забрасывать остальные предметы. Если бы Толстой прогуливал занятия, его бы в два счета выперли из Юстона. — К чему этот жаргон? Он что, пытается говорить на ее языке? Да, в общении со студентами это случается рефлекторно.

Анджела вздрагивает. Столько брони, а под ней — трепетная фиалка. Они часто бывают такими ранимыми, эти зеленоволосые и проклепанные. Большинство студентов Юстона одеваются как будущие вице-президенты. Выбранный Анджелой стиль говорит о твердом решении никогда в эти ряды не вступать.

— Можно мне здесь покурить? — спрашивает она.

— Лучше не надо, — отвечает Свенсон. — Вы уйдете, а дым будет весь день держаться. Я, видите ли, сам курил, знаю...

— Да не важно. Я почти что не курю. — Она отчаянно жестикулирует. — Во всяком случае, я не таскаюсь на занятия попусту. Я сижу за компьютером. Пишу прозу.

— Очень хорошо! — говорит Свенсон. — Просто замечательно. Значит, вы нам дадите что-нибудь для следующего семинара?

— Я пишу роман.

— Роман... — с тоской повторяет Свенсон.

Да, можно представить... Или нельзя? Бывает и такое: капитан университетской команды по лакроссу[1] вдруг выдает готический роман про маньяка-потрошителя. В прошлом году юноша с синими волосами и таким же маникюром целый семестр работал над романом под названием "Кал королей". Первые десять страниц представляли собой слова "Кал королей", набранные разными шрифтами. А еще как-то раз две совершенно неразличимые девицы (не близняшки, как решил было Свенсон, а просто подружки) совместно трудились над научно-фантастической повестью про двух андроидов Зипа и Запа. Одна писала от лица Зипа, вторая — от лица Запа. Через несколько лет он посмотрел фильм, в котором две подружки задумали убить мать одной из них, и их идиотская упертость напомнила ему об этих студентках.

— Как называется роман? — спрашивает он.

— Можно я ваши книги посмотрю? Так я быстрее успокоюсь.

Свенсон может попросить ее не курить. Но не может же он запретить ей встать и посмотреть его книги. Он хочет сказать: "Это рабочая встреча. Давайте не будем отвлекаться".

— Ради бога, — кивает он. — Будьте как дома.

— Давайте сначала просто поговорим о чем-нибудь, — предлагает она. — А то мне как-то неловко.

Анджела бродит по кабинету, бросает взгляд на старые открытки, фотографии в рамках, задерживается у полок с Толстым, Чеховым, Вирджинией Вулф.

— Глазам не верю! — говорит она. — У меня висят такие же открытки.

Так давно никто (и сам он в том числе) не обращал внимания на то, чем он себя окружает. Много лет назад девушки, придя к нему домой, обязательно смотрели на его книги, его безделушки. Это было очень эротично: сидишь, бывало, и разглядываешь девичий зад, пока его обладательница расхаживает вдоль полок. На сей раз — никакой эротики, может, потому, что зад Анджелы — два аккуратных белых полукружья — и так просвечивает сквозь драные джинсы.

Анджела рыщет взглядом по книжному шкафу, примечает одну книжку, достает ее и показывает Свенсону. Естественно, это Стендаль. "Красное и черное". Он не помнит, говорил ли он в классе, в минуту эгоистического откровения, что работает над романом, в чем-то перекли-

1. Лакросс — канадская национальная игра в мяч, распространенная и на севере США.

кающимся с книгой Стендаля. Кажется, нет. Это что, совпадение или телепатическая связь, почему Анджела говорит: "Этот роман я люблю не меньше, чем "Джейн Эйр"?

— Почему? — осторожно спрашивает Свенсон.

— Очень мне нравится, как Стендаль умеет быть и внутри Жюльена, и снаружи: ты представляешь, будто делаешь то же, что и Жюльен, одновременно думая, что сам на такое никогда не пойдешь.

Вот это у Свенсона никак не выходит. Он не может проникнуть внутрь своего героя, Джулиуса Сорли. Свенсон смотрит только снаружи — наблюдает со стороны.

Анджела снова усаживается в кресло.

— Вы как? У вас сейчас был такой расстроенный вид.

— Все отлично, — говорит он.

— И у меня тоже. Вроде как. Мне гораздо лучше. Так... — Она делает глубокий вздох. — Мой роман называется "Яйца".

— Интересное название. — Свенсон внутренне содрогается, представив себе трехсотстраничный опус, поток яйцесознания в духе Анаис Нин. — И о чем же он?

— Не хочу рассказывать. Я вам принесла первую главу. Давайте побеседуем, когда вы ее прочтете. И знаете что? Давайте я скажу заранее, пока вы сами этого не поняли. У меня ужасный текст. Насквозь фальшивый.

— Наверняка нет, — говорит Свенсон. — Мы можем обсудить его на следующем семинаре?

— Вы лучше почитайте сначала. Я могу приносить вам главу за главой. У меня уже половина написана — я с лета над ним работаю.

Главу за главой. Три самых страшных слова в английском языке.

— Давайте сначала я прочту первую, — говорит он, — а там посмотрим. Может, лучше будет разобрать ее в классе. Решим, что делать.

— Решать будете вы, — говорит Анджела.

Она долго роется в рюкзачке, наконец выуживает конверт, уже изрядно помятый. Цвет его — ярко-оранжевый — наводит на мысль о том, что выбран он не случайно.

— Гадость какая! Ну во что я его превратила! — Она вспархивает с кресла и с шутливым полупоклоном протягивает Свенсону конверт. — Спасибо вам, — продолжает она. — Спасибо, что уделили мне время. И еще раз умоляю, извините — я, может, вас разбудила или оторвала от работы...

— Вовсе нет. — Свенсон улыбается — максимально доброжелательно. Беседа близится к концу.

Близится ли? Анджела мнется в нерешительности.

— Мы можем обсудить это на следующей неделе? Не хочу навязываться, но если вы прочтете раньше, вы можете мне позвонить или послать письмо по электронной почте. Ой, понимаю, я так навязываюсь. Но мне необходимо знать ваше мнение. Я ужасно нервничаю. Этого еще никто не читал.

— За неделю прочту. — Пора заканчивать. Девица что, намеков не понимает?

— До встречи, — говорит Анджела. — И еще раз спасибо. — Она открывает дверь, оборачивается помахать Свенсону на прощание и застывает в проеме. — Ой, да! Чуть не забыла. Там в тексте несколько опечаток. Я собиралась их исправить...

– Про опечатки забудьте, – говорит Свенсон.
– Ага! Извините. До скорого!
– Увидимся, – отвечает Свенсон.

Он ждет, пока не стихнут ее шаги на лестнице. Ее конверт он сует в портфель, где лежит позавчерашняя "Нью-Йорк таймс". Он посмотрит текст, со временем. А пока что... с глаз долой. Ему бы домой, заняться *своим* романом. Вместо этого он опять всю свою творческую энергию спустил – растратил на беседу со студенткой, а от этого только тупеешь. Сегодня опять денек, когда не пишется, а если не пишется, возникает куча проблем, и одна из них – как убить время.

Наверняка надо куда-нибудь позвонить. Черт, жаль, своему редактору, Лену Карри, он звонил всего пару недель назад. У издательства Лена контракт на следующий роман Свенсона. Все тактично молчат о том, что сроки уже два года как вышли. Раз в полгода он звонит Лену, тот всегда рад его слышать и рассказывает в основном о том, как его заела работа.

А вот в Монтпилиер он не ездил уже дней десять. Можно посидеть часок в книжном магазине – попить кофе, полистать малотиражные журнальчики, покупать которые ему не по средствам, хоть и следовало бы – дабы поддержать литературное сообщество. Литературное сообщество... Хватит и того, что он постоянный клиент "Брэдстрит букс", а мог бы ездить в другую сторону, в берлингтонский "Барнс энд Ноубл", – расстояние то же, а кофе лучше.

Вот такой идеологической белибердой и забит мозг писателя. Отсюда вывод: быть писателем значит уметь выбрать свой книжный магазин.

***

Адам Би запускает кофеварку на всю мощь и посетителей приветствует, дергая за рычаги и выпуская кверху клубы пара. Ту-туу! Очень рады, заходите! Свенсон отвешивает агрегату шутливый поклон, в глубине души стыдясь того, что мечтает он об огромном книжном магазине, где никто никого в лицо не знает. Это нечестно по отношению к кофеварке, к ней Свенсон испытывает нежные чувства. Кофеварка – единственное серьезное новшество, появившееся с тех пор, как в начале семидесятых Адам Би открыл "Брэдстрит букс". Злые языки поговаривают, что в Монтпилиере он поселился, скрываясь от обвинений в участии в терактах "Уэзерменов"[1].

– Ола! – радостно приветствует его Адам, престарелый гном с седой бородой, нависшей над огромным дирижаблем пуза.

– Привет, дружище! – говорит Свенсон. – Как делишки?

– Да вроде справляюсь. Как обычно?

Диалог скорее для бара, нежели для книжного магазина. Свенсону на самом деле жаль, что он не пошел попросту в бар.

– Как обычно, – отвечает он.

Машина издает звук, весьма напоминающий последний вздох, и Адам протягивает Свенсону двойной эспрессо.

– Как работается? – спрашивает Адам.

1. "Уэзермены" ("Метеорологи") – подпольная организация, сформированная в 1969 г. Выступала за применение насилия против существующей в стране власти, ушла в подполье и занялась террористической деятельностью.

Да пошел ты, думает Свенсон. А ведь Адам спрашивает из вежливости. Как на ферме? Как жена, дети? Он вовсе не хотел досадить Свенсону, который с тех пор, как Адам был свидетелем одного из многих унижений Свенсона — их с Магдой Мойнахен совместного литературного вечера здесь, в магазине, — считает, что Адам взял над ним опеку.

Провести этот вечер их уговорил Адам. Они назвали его "Юстонские чтения". Естественно, в тот день случилась метель и, естественно, никто не пришел. Были одни ряды пустых стульев. На столах вино и канапе с сыром, а угощаться некому, кроме Адама, Магды, Свенсона и парочки этих мерзких андрогинов, которых Адам выписывает из Годдарда.

Была единственная слушательница. Старушка в заднем ряду. Поэтому они решили, что отменять ничего нельзя — она же пришла в такую непогоду. Свенсон читал начало первой главы "Часа Феникса", которое цитировали, превознося его суровую энергетику, все рецензенты, — то место, где отец героя-подростка устраивает самосожжение в знак протеста против войны во Вьетнаме. Через несколько минут старушка подняла руку и попросила Свенсона читать погромче. Он вежливо предложил ей сесть поближе, но она отказалась, сказав, что ей, возможно, придется уйти до окончания чтений.

Кто его знает, помнит ли это Адам. Наверное, только Свенсон всякий раз, когда оказывается в "Брэдстрит букс", заново все переживает. Он берет кофе и садится за самый дальний от Адама столик, для чего ему приходится сделать круг по залу — проход две молодые мамаши заставили колясками. Он прихлебывает горькое пойло. Услада интеллектуала — кофе и книги. Итак, что будем читать?

Он берет экземпляр "Художественной литературы сегодня". Посмотрим, кто чем занимается. В первом рассказе писатель, чья фамилия кажется ему смутно знакомой, описывает, как отец семейства хладнокровно убивает собственного пуделя. Он это пролистывает, заглядывает в следующий рассказ: опять фамилия вроде бы знакомая, автор — какая-то женщина, но бросает читать, когда мамаша, заводя машину в гараж, давит котенка рассказчицы. Это что, тематический номер? Или редакторы не заметили? Может, его ученики читали то же самое? Это бы многое объяснило. Они слишком юные, слишком трепетные, они не решатся убивать животных, вместо этого они их насилуют. Ему *хочется* думать, что его ученики это читали. Он ставит журнал обратно на полку, берет "Поэтов и писателей", пролистывает рекламу летних семинаров (на которые его уже не приглашают) и антологий (участвовать в которых ему не предлагают), проглядывает интервью с довольно известной писательницей, где та объясняет, как учит своих студентов избегать в рассказах описаний еды.

Можно почитать и главу, которую принесла Анджела. Портфель стоит на стуле. Вернувшись к столику, он залпом допивает эспрессо, достает оранжевый конверт. "Яйца. Роман Анджелы Арго." Он собирается с духом, прочитывает первую строчку и не отрываясь читает дальше.

Каждый вечер после ужина я шла сидеть с яйцами.

Мы с мамой, сполоснув тарелки, закладывали их в машину, отец начинал клевать носом над своими медицинскими журналами, и только тогда я, выскользнув из задней двери, шла во двор, холодный и темный, где пахло прелой листвой, где было слышно, как она шуршит под ногами. Я оглядывалась на черный силуэт нашего дома, содрогавшегося в такт посудомоечной машине. Я ны-

ряла в сарай — там всегда было тепло, горели красные огоньки инкубатора и тишину нарушало только биение сердечек в оплодотворенных яйцах.

Яйца насиживают двадцать один день. Мне не везло. Я винила во всем себя. Считала, что это наказание за мысли, которые надо было от себя гнать, за то, что я только об одном и думала, сидя с закрытыми глазами в теплом и темном сарае, рядом с невылупившимися цыплятами, плавающими внутри скорлупок.

Я проверяла термометры на инкубаторах, делала пометки в таблице. Потом мне начинало казаться, что я ошиблась — поставила крестики не в тех графах. Я возвращалась и начинала все сызнова. Если не поддерживать температуру, цыплята не вылупятся или родятся уродами.

Опыт с яйцами был моей работой по биологии за одиннадцатый класс. Но это только с виду. На самом деле за аккуратными таблицами, дневниками наблюдений, ровными рядами оплодотворенных яиц скрывалось иное: это был опыт черной магии, попытка через колдовство обрести то, чего мне не следовало желать, но к чему я стремилась и что в конце концов получила.

Пациентку моего отца, миссис Дэвис, хватил в курятнике удар, она едва не умерла, а когда очнулась, повсюду вихрем кружили перья. Она решила, что кур теперь ненавидит, и предложила отцу взять вместо платы за лечение инкубаторы. Зачем врачу инкубаторы? Затем, что мне нужно было ставить опыты.

Лежа в больнице, миссис Дэвис велела своему сыну перерезать всех кур. Ее внук — мальчик, которого я знала по школе — принес нам в сочащихся кровью пластиковых пакетах две дюжины ощипанных тушек. Внук тащил по три пакета в каждой руке, четыре тушки в пакете.

Мама готовила курицу со спагетти, курицу в ананасовом соусе, в миндальном, с карри. Мясо было жилистое, с привкусом тины. Но мама сказала, что мы должны доесть этих кур, которых бедная старая женщина зарезала, чтобы отблагодарить отца.

Отец сказал:

— Их не для меня резали. И тебе, черт возьми, это отлично известно. Их зарезали за то, что они имели несчастье видеть, как бедная Элис Дэвис упала замертво.

— Может, они желали ей смерти, — сказала мама.

— Тромбу, гулявшему по ее артериальным путям, было плевать на желания каких-то кур, — сказал отец.

Договорились, что через несколько недель, когда миссис Дэвис придет в себя, мы с отцом заберем инкубаторы, и миссис Дэвис научит меня, как выводить цыплят. Но я все-таки заказала брошюры министерства сельского хозяйства: отец не верил, что можно чему-нибудь научиться у беззубой старухи. Я все время перечитывала брошюры, но ничего в них не понимала — как всегда, думала о постороннем.

Миссис Дэвис ходила с палочкой, правая рука у нее была на перевязи, один глаз не моргал. Уголок рта был всегда опущен. По пальцам здоровой руки она пересчитала основные пункты: поддерживать постоянную температуру и влажность, яйца переворачивать по нескольку раз в день.

Неморгающий глаз смотрел на отца кокетливо.

— Через неделю посмотрите яйца на свет, проверьте, есть ли цыплятки, а пустые выбросьте, иначе они хорошие попортят.

Отец попробовал перевести ее взгляд на меня.

— Вы это дочери рассказывайте, — сказал он. — Она у нас будет ставить научный эксперимент.

— Научный эксперимент? — переспросила миссис Дэвис.

Она повернулась ко мне, но безумный глаз так и смотрел на отца. Она явно решила, что я все испорчу. Брызгая слюной, она объясняла, что случится, если я не услежу за температурой. Новорожденные цыплята на тощих, подламывающихся ножках, птенчики, отдирающие свои тельца от скорлупы, бедняжки, подыхающие, не успев клювом пробить яйцо, одноглазые чудовища, гибнущие от удушья.

Я слушала вполуха. Меня гораздо больше интересовало, что скажет мистер Рейнод, когда я расскажу ему об этом завтра после репетиции. Я была до безумия влюблена в учителя музыки и, вернувшись из школы домой, думала о нем постоянно.

Свенсон кладет рукопись на стол. Это что, инкубаторы гудят? Нет, кофеварка. Он снова перелистывает страницы, будто надеясь, что, еще раз проглядев текст, найдет разгадку тайны, поймет, как Анджела Арго сумела такое написать. Откуда Анджела знает про "артериальные пути"?

Узнав ближе кое-каких писателей — а Свенсон в предыдущей жизни достаточно их перевидал, — перестаешь думать, что человек похож на свои тексты. Но здесь различие столь велико, что он должен... вернее, не может исключить возможности... плагиата. Пару лет назад студентка из класса Магды сказала ей, что стихотворение ее соученика содрано с оды Майи Эйнджелоу, написанной в честь инаугурации Клинтона. Неужели Магда не узнала текста? Магда, к чести ее, не узнала. Ей пришлось убить несколько месяцев на тошнотворные беседы с родителями плагиатора, ректором, университетским психологом.

Не может это быть плагиатом, или девочка совсем сумасшедшая — она же умоляла его прочитать ее текст, пришла к нему на беседу, утверждала, что смысл ее жизни в творчестве. Плагиаторы обычно сдают работы самыми последними. Им раз по десять приходится напоминать. Да ведь Анджела еще и "Джейн Эйр" любит, и Стендаля. Может, из нее действительно получится писатель. И не такое в жизни случается. Вся рукопись испещрена поправками — что-то убрала, что-то добавила, кое-какие слова заменила, причем всякий раз удачно.

Адам ставит на столик чашку с кофе, и Свенсон нервно вздрагивает.

— Спокойно, — говорит Адам. — Не дергайся. Это от заведения. Вид у тебя, старина, какой-то потерянный. Творческий застой? В семье нелады? Могу я чем-нибудь помочь?

— Да все со мной нормально, — говорит Свенсон. — Вот, сижу проверяю работы студентов. — Демонстрируя, как ему это надоело, он закатывает глаза.

— А хочется, небось, свое писать?

— В точку попал, — соглашается Свенсон.

Адам чешет загривок, перебрасывает на грудь хвост седых волос, стянутый черной резинкой.

— Сдается мне, там наверху так устроили, чтобы платили нам не за то, что нам нравится. Думаешь, мне охота жать на кнопки этой кофеварки...

— А ты бы чем хотел заняться? — спрашивает Свенсон. Зачем держать книжный магазин, если тебе это дело не нравится? Впрочем, он ни разу не слышал, чтобы Адам говорил о книгах.

— Чем бы я хотел заняться? — задумчиво повторяет Адам.

Стоп! Свенсон вовсе не ждет ответа. Он не хочет пускаться с Адамом Би в откровенные беседы.

— Хотел бы траву выращивать, — говорит Адам.

— Что тебе мешает? Люди на этом состояния делают. А если тебя поймают, считай, никакого разговора у нас с тобой не было.

— Да я не про дурь, — говорит Адам. — Разве что для личных нужд. Я даже курить больше не могу, у меня эмфизема начинается. Нет, я про лечебную траву. Гинкго, зверобой, женьшень. Это все новые рубежи. Борьба со СПИДом, с раком. Только силы уже не те, старого пса новым трюкам не обучишь...

Адам нависает над ним, ждет, едва не упираясь животом ему в ухо, когда Свенсон попробует кофе. Очутившись в этой живой картине — один стоит и смотрит участливо, а второй сидит, силясь изобразить благодарность, — Свенсон чувствует себя провинциалом-меланхоликом из Чехова или Тургенева, которому прислуживает старый слуга — Герасим или Фирс, — у которого тоже имеется своя потаенная мечта, отчаянная и недостижимая: домик собственный или белая кобыла. Свенсону тошно оттого, что Адам не может выращивать свою хипповскую усладу.

— А ты все-таки попробуй, — говорит Свенсон. — Найми ребятишек на черную работу. — Звучит фальшиво, но говорит он совершенно искренне. Он смотрит в слезящиеся глаза Адама. Да Адам моложе его!

— Кофе на рукопись не расплескай, — говорит Адам. — А то придется еще перед учеником извиняться.

Перед каким учеником? Свенсон рассматривает рукопись, будто видит ее впервые. И тут у него возникает странное желание сказать Адаму, что он только что прочел на редкость интересную первую главу — ничего подобного раньше не попадалось. Действительно хорошо написано. Ему вдруг кажется, что сочувствие к Адаму, в нем проснувшееся, каким-то образом связано с текстом Анджелы. Как он сам вчера говорил на занятии, хороший писатель помогает читателю *видеть других людей*. Ты становишься не лучше, а... раскрепощаешься.

— Ученик меня поймет, — отвечает Свенсон. — Они сами жить не могут без кофе.

— Да ну? Прямо-таки жить не могут? — говорит Адам.

Адам глядит на него с усмешкой. Но Свенсону плевать. Храни Господь Адама, храни Господь "Брэдстрит букс". Свенсон едет домой.

***

Свенсон взлетает вверх по лестнице. Настроение у него самое бодрое, от обычных тоски и подавленности не осталось и следа. Не так уж и противно преподавать, если есть хоть один студент, которому его слова могут пойти на пользу, который хотя бы в состоянии понять, что он говорит.

Через два дня после того, как он прочел рукопись, Свенсон позвонил Анджеле Арго. Но сначала долго решал, когда позвонить, что говорить и вообще нужно ли это. Порыв у него правильный — альтруистический и великодушный. Он редко приходит в искренний восторг. Кроме того, Свенсон боялся: а вдруг он чрезмерной похвалой смутит Анджелу и она откажется от своих экспериментов.

В конце концов на третий день вечером он позвонил ей из дому. К удивлению своему, он услышал, как автоответчик Анджелы нежно напевает голосом Роберта Джонсона "Ты лучше посиди со мной на кухне, видишь — собирается дождь". Затем раздался голос Анджелы: "Если хоти-

те, оставьте свое сообщение. Дождитесь...” Длинный гудок. Он забыл, что собирался сказать, хотел уже повесить трубку, но пробормотал все-таки что-то маловразумительное — мол, первая глава ему действительно понравилась, и если она не рвется обсуждать ее в классе, пускай продолжает работать, можно будет поговорить и на консультации. Его прервали короткие гудки. Пленка кончилась кстати, не то он бы не удержался и сказал, что ему до чертиков не хочется слушать, как ее однокашники будут ей советовать, чем “улучшить” текст.

Повесив трубку, он понял, насколько осложнил себе жизнь. Теперь придется обзванивать всех остальных — искать рассказ для обсуждения, потом делать ксероксы, раздавать их всем. Рут Мерло, святая женщина, секретарша кафедры, увидела, что он бродит с растерянным видом по университету, и — о ангел! — предложила взять это на себя.

Итак, сегодня, если он ничего не перепутал, они разбирают рассказ Барби из Бэк-Бея. Пардон, Кортни Элкотт. Он спрашивал Кортни, не родственница ли она Луизы Мэй, но она такой не знает.

Настал черед Кортни: теперь ее свяжут, засунут в рот кляп и будут у нее на глазах расчленять ее дитятко. Свенсон, как всегда, начинает отождествлять себя с тем студентом, чей рассказ разбирают. Он всегда старается подать знак приговоренному — подмигнуть, кивнуть. Вот он и ищет глазами Кортни, но взгляд его упирается в Анджелу Арго, которая судорожно роется в своем рюкзачке. Как этому вертлявому хорьку удалось создать текст, лежащий — Свенсон проверяет, на месте ли он — у него в портфеле. С виду и не скажешь, что эта девица способна на такие синтаксически сложные предложения, что это она написала пронзительную сцену в курятнике.

Студенты наконец угомонились, и Свенсон говорит:

— Полагаю, все успели прочитать рассказ Кортни? — Это почему-то вызывает оживление. — По какому поводу веселье? — спрашивает Свенсон.

— Мы его не получили, — объясняет Карлос. — Кортни всех обломала.

Кортни одной рукой нервно проводит по лицу, а другой теребит медальон — оскалившийся серебряный бульдог, висящий на толстой цепи.

— У меня все экземпляры с собой, — говорит она голосом мультяшной мышки, прикрыв рот ладонью с трехсантиметровыми перламутровыми ноготками. — Я просто положила их в сумку и забыла раздать.

— Наверное, Кортни не хотелось, чтобы ее рассказ обсуждали, — говорит великодушная Нэнси.

— Надо было отдать тексты Клэрис, — говорит Макиша, и с ее логикой не поспоришь. — Тогда все бы их уже получили.

— Они у меня с собой, — повторяет Кортни. — Можно и сейчас прочитать. Рассказ короткий.

— Пусть Кортни сама нам его прочитает, — предлагает Мег. — А мы будем следить по тексту.

А Свенсону что сказать? Не позволю я Кортни читать вслух этот идиотский рассказ, не желаю такого терпеть и вам не советую?

— Кортни?

— Я согласна. — Кортни всегда разговаривает так, будто у нее во рту жвачка.

Ничего не поделаешь. Свенсон берет один экземпляр, остальные передает дальше.

– Что ж, спасибо, Кортни. За то, что нас выручила и спасла семинар.

Кортни делает глубокий вдох.

– Мне этот рассказ нравится. Это первая вещь из всего мной написанного, про которую я подумала: вот ведь хорошо получилось.

– Уверен, что и нам он понравится. – Господи помилуй, молча молится Свенсон. Как ведь скверно может все обернуться.

– Называется он "Первый поцелуй. Городской блюз", – говорит Кортни.

– Так это же два названия, – говорит Макиша.

Кортни ее реплику игнорирует и начинает читать.

Летняя жара опустилась на раскаленную улицу, дышать было невозможно, особенно Лидии Санчес. Лидия сидела на грязных замусоренных ступеньках многоквартирного кирпичного дома и смотрела на детишек, возившихся в луже воды, натекшей из сломанного пожарного крана. Еще вчера она была такой же, как эти дети. Но теперь все изменилось.

Лидии было очень плохо. Утром она накричала на мать и ударила младшего братишку, отчего ей стало еще хуже. Она привыкла к городским улицам, по которым разгуливали преступники и наркоманы, и всегда держалась в стороне. Но теперь все было по-другому.

Кортни, похоже, долго трудилась над началом. Но дальше огрехи в грамматике и синтаксисе просто мешали следить за сюжетом. Говорилось в нем о Лидии, у которой возникло "серьезное чувство" к "красавцу парню" по имени Хуан, который был членом "крутой городской банды", называвшейся "Латинос дьяблос". Хуан хотел, чтобы Лидия вошла в "женский отряд" банды. Он пришел к ней и поцеловал ее, сидевшую в задумчивости среди "грязи и мусора, так похожего на человеческие отбросы, которыми было завалено все вокруг. Но это... это был ее первый поцелуй. И для Лидии он значил многое".

Хуан почти что уговорил Лидию пройти "суровый обряд инициации", после которого она бы стала настоящей "Латина дьябла". Но тут мать рассказала ей, что одного ребенка, "чудесную маленькую девочку", которую Лидия сама нянчила, убили – ее настигла случайная пуля во время уличной перестрелки. Кто это сделал? Конечно же "Дьяблос".

Кортни вздыхает с облегчением – читка близится к концу – и торжественно переходит к развязке.

И в этот момент Лидия поняла, что никогда не сможет жить в мире Хуана. Она не сможет любить человека, который в таком замешан. Однако ей нелегко будет сказать Хуану, что она отвергает его. И сумеет ли она? Найдет ли в себе силы? Лидия и сама не знает точно. Во всяком случае, пока.

На этом все. Конец рассказа. Больше она не написала ничего. Студенты дочитывают текст, и у Свенсона есть несколько секунд, чтобы придумать, что сказать, как вести обсуждение этой душераздирающей полуграмотной белиберды, именно что душераздирающей, поскольку, как он понимает, в опусе отражены лучшие душевные качества Кортни.

Он отказывается это принимать. Его преподавательский долг – отказаться принять такое. Кортни способна на большее. Чертовски жаль, что здешние правила не позволяют ему высказаться напрямик. Боже

упаси посоветовать Кортни или любому другому ученику все порвать и начать заново, хотя именно так и поступают настоящие писатели, и сам он десятки раз отправлял в корзину рассказы и даже начало романа.

И вот теперь они все смотрят на него с тем же выражением ужаса, которое, он подозревает, прочитывается и на его лице. Или им рассказ понравился и они настолько взволнованы, что не могут подобрать слова? Да, конечно, и ему свойственно ошибаться... Он молча смотрит на класс, а затем говорит:

— Хорошо уже и то, что здесь никто не вступает в интимные отношения с животными.

— Да по сравнению с этим, — говорит Макиша, — история про курицу была гениальной. Опять эта расистская блевотина! Ну да, как встретишь на улице темнокожего, наверняка — либо бандит, убивающий невинных деток, либо наркоман. Как она называет наших братьев? "Человеческими отбросами"?

— Посдержаннее, Макиша, — говорит Свенсон. — Мы к этому еще вернемся. Обычно обсуждение мы начинаем с того, что нам в рассказе *понравилось*.

Он ждет невозможного, но тут вскидывает руку Анджела.

— Мне понравилось название "Латинос дьяблос". И еще — "Латина дьябла", похоже на "Леди Годива". Отличное название для банды.

Анджела выглядит как-то по-новому — увереннее, спокойнее. Будто замедлились психические реакции — ничего резкого, порывистого, словно кто-то положил ей руку на плечо, и она, угомонившись, притихла. Неужели все это из-за сообщения, которое оставил на ее автоответчике Свенсон?

— А "дьябла" — это испанское слово? — спрашивает Клэрис. — Бывает дьявол женского рода? — Свенсон порой не может понять, что Клэрис делает в Юстоне.

— Спорим, нет? — говорит Мег. — Они бы нам никогда такой власти не дали. Даже у дьявола должен быть член.

Свенсон укоризненно качает головой. Студенты сочувственно хихикают.

— Надо подумать, — говорит Карлос. — Вы же знаете, мои предки с Доминики. Мне насчет diabla ничего не известно. Есть слово bruja. Это что-то вроде колдуньи. По-моему, не совсем то.

— Можно заменить на Latin brujos, — воодушевляется Анджела. — И на Brujas latina. Тоже хорошо.

Макиша говорит:

— Ну как, мы закончили обсуждать то, что понравилось? Я опять хочу сказать гадость.

— Разве закончили? — спрашивает Свенсон. — Друзья, кто хочет рассказать о том, что ему понравилось в рассказе Кортни? — Кортни сидит, уставившись в стену. — По-моему, была предпринята попытка коснуться серьезных социальных проблем. Это кто-нибудь заметил?

Молчание. Высказываться никто не хочет. Среди его учеников идиотов нет.

— Ну что ж, — вздыхает Свенсон. — Прошу вас, Макиша.

— Знаете, по-моему, это тот самый случай, когда человек пишет о том, в чем ни хрена не понимает. Ты-то сама, Кортни, где росла? Небось, в каком-нибудь бостонском особнячке? А прикидываешься, будто знаешь, что творится в душе этой девчонки, когда она торчит там, на улице.

А Макиша где выросла? Кажется, в Дартмуте, вспоминает Свенсон. Однако умеет в нужный момент перейти на сленг "братьев и сестер", чем с успехом и пользуется.

— Макиша, — говорит Свенсон, — вы полагаете, невозможно вообразить того, чего сами не испытали?

— Я этого не говорила, — отвечает она. — Я просто считаю, что есть вещи, которых ты вообразить не можешь, да просто права не имеешь, если ты...

— Это не так, Макиша! — перебивает ее Анджела. — Вообразить можно что угодно, если, конечно, постараться. Ну вот Флобер, он же не был женщиной, а читаешь "Госпожу Бовари" и поражаешься тому, сколько он про женщин знал. Кафка не был насекомым. Люди пишут исторические романы про те времена, когда их еще на свете не было...

Карлос принимает пас и продолжает:

— Научную фантастику тоже не инопланетяне пишут.

— Анджела и Карлос правы, — говорит Свенсон. — Если работаешь с полной отдачей, то можешь влезть в чью угодно шкуру. Вне зависимости от ее цвета. — Он что, действительно в это верит? В настоящий момент, пожалуй, да.

— Ну да, — соглашается Кортни. — И я так считаю. Почему мне нельзя писать о черной сестре, если мне хочется?

Так, немедленно отступаем. Что-то не заладилось: похоже, Кортни приняла его слова в защиту воображения за одобрение своего рассказа. Хуже того, заговорив, Кортни нарушила главное правило обсуждения.

— Хо-ро-шо-оо, — тянет нараспев Свенсон. Кортни он решает оставить на произвол судьбы. — Вопрос в том, справилась ли с этим Кортни. Ваше мнение?

— Меня ее текст не убедил, — говорит Клэрис. — И Лидия, и ее приятель получились какие-то... абстрактные. Это могли быть любая девушка, любой парень, любая улица...

— Браво, Клэрис! — одобрительно кивает Свенсон. — Вы снова ухватили суть. И как же Кортни это исправить? Как заставить нас поверить, что Лидия и Хуан — конкретные молодые люди с конкретной улицы, а не абстракции? Что они не безликие?

— О, безликие! — подхватывает Макиша. — В том-то и дело. У этих убогих типов словно нет лиц.

— Так что же делать? — интересуется Свенсон.

— Дать описание внешности? — предлагает Дэнни.

— Рассказать про город, где все происходит? — подает голос Нэнси.

— Не помешает, — соглашается Свенсон.

— А может, нужно знать, откуда они родом? — говорит Карлос. — Кто они — мексиканцы, пуэрториканцы или полукровки, например с польскими корнями? Я вам так скажу: здесь разница существенная.

— Наверняка, — говорит Свенсон. — Занятное предложение. Еще что?

— Пусть эти ребята как-нибудь выскажутся, — предлагает Макиша. — Мозги у них имеются? Личности они или нет?

— Интересно, — говорит Свенсон. — А как бы вы, Макиша, решили эту задачу?

Макиша не успевает ответить, потому что в разговор вступает Мег.

— Может, к концу рассказа героиня должна... задуматься о своем положении? О том, как притесняют... цветных женщин?

Повисает пауза. В это лезть не хочет никто.

— Нужны значимые детали, — говорит наконец Анджела.

Благослови тебя Господь, думает Свенсон.

— Да? Какие, например? — интересуется Кортни, и в голосе ее слышны нотки раздражения: девушка из рода Элкоттов не привыкла получать указания от панков вроде Анджелы.

— "Грязные", "замусоренные" — таких эпитетов для улицы недостаточно. — Анджела свернула листы с рассказом в трубочку и размахивает ей как кистью, которой собирается живописать квартал, в котором обитает Лидия Санчес. — Почему это именно ее дом, ее лестница? Да поставь там... ну хотя бы "лондромат"[1]. Или винную лавку.

— Бананами пусть торгуют! — предлагает Клэрис.

— Почему бананами? — вмешивается Карлос. — Лучше жареными свиными ушками. И запах прогорклого масла заползает во все окна.

— А у этого придурка бандита пусть будет вся грудь в татуировках, — говорит Дэнни.

— "Рожденный проиграть", — кисло шутит Джонелл.

— Ни один латино такой татуировки не сделает, — говорит Карлос. — Нет, там будет Mama. Mi Vida Loca. Mi Amor[2] и тому подобное.

— Вы что хотите сказать? — спрашивает Кортни. — Мне что, надо этнографическое исследование проводить?

— Нет, — говорит Анджела. — Закрой глаза. Сосредоточься и постарайся увидеть эту улицу, девушку, ее приятеля. Ну, словно тебе сон про них снится. А потом запиши, что увидела.

Да, главу романа Анджела написала сама. Почему Свенсон в это сразу не поверил?

— Ну хорошо, — говорит Кортни. — Это я могу сделать.

Да не можешь ты, думает Свенсон. Героиня Кортни будет как Натали Вуд в "Вестсайдской истории". Кортни дали наказ — поверить в то, что наблюдательность действительно поможет оживить текст, что средствами языка можно заставить и деревяшку ходить и говорить. Свенсон и не надеется дать им большее. Вот сейчас все вместе они хоть что-то выдоили из убогого текста Кортни. Плюс к этому обошли стороной скользкий вопрос: возможно ли при помощи достовернейших деталей и красот стиля скрыть неуклюжесть самого сюжета про девушку, решившую не вступать в банду, по вине которой погиб ребенок. Об этом упоминать вовсе необязательно. Они совершили очередное чудо — вылечили смертельно больного, ограничившись косметической операцией.

— Подождите! — говорит Джонелл.

Свенсон и ждет, что Джонелл как всегда скажет: рассказ и так отличный, и не надо ничего переделывать. Почти в каждой группе есть такой вот добровольный блюститель интересов автора, который ведет себя очень активно, даже воинственно, но делает это не по доброте душевной, а лишь для того, чтобы свести на нет потраченные остальными время и силы.

— Вы даже не дали Кортни слова сказать в заключение, — заявляет Джонелл. — Может, она хочет спросить нас о чем-нибудь или еще что.

Обычно автор только благодарит класс. И все же эта заключительная реплика необходима.

1. Прачечная самообслуживания.
2. Мама. Моя безумная жизнь. Моя любовь (*исп.*).

– Прошу прощения, Кортни, – говорит Свенсон. – Хотите сказать что-нибудь напоследок?

– Спасибо, ребята, – говорит Кортни. – Теперь я знаю, что делать дальше.

Это звучит как заключительная молитва. А еще похоже на завершение собрания квакеров, когда все встают, пожимают друг другу руки и лица кругом такие теплые, озаренные Внутренним Светом. Свенсон, сам не зная почему, смотрит на Анджелу Арго. Они обмениваются взглядами, из которых ясно: Анджела останется после занятия обсудить свою главу.

– Эй, погодите! – восклицает он. – Не расходитесь! Чей рассказ разбираем на следующей неделе?

Карлос протягивает ему рукопись.

– Вот – правда, по-моему, это полный отстой.

– Очень в этом сомневаюсь, – говорит Свенсон. – Благодарю, дружище!

Боковым зрением Свенсон видит, что Анджела встает. Она что, уходить собирается? Неужели он ошибся и никакого безмолвного уговора не было?

– Анджела! – Голос Свенсона чуть дрожит. Карлос странно смотрит на него. – Раз уж мы заканчиваем раньше, можете задержаться, обсудим вашу рукопись.

– Я на это и рассчитывала, – отвечает Анджела. – Если вы не против... Я просто встала размяться. Но только если вам удобно, если у вас есть время. Я бы не хотела надоедать...

– Мне вполне удобно, – говорит Свенсон. – Я же сам предложил. Останемся здесь или перейдем ко мне в кабинет? – Собственно, кто здесь главный? Почему он *ее* спрашивает?

– Лучше в кабинет. Там обстановка другая, не то что здесь. Если вы не против. – Анджела говорит тихо, почти через силу.

– Тогда идемте. Всем остальным – до свидания, увидимся на следующей неделе.

Оказывается, это так странно – идти куда-то со студенткой. Даже когда стоишь на месте, разговор не клеится. А уж когда идешь – столько возникает неловких моментов: то случайно заденешь спутницу плечом, то решаешь, пропускать ее вперед или нет, слева идти или справа, только и думаешь о том, что ты преподаватель и это обязывает. Студент ли проявляет уважение и уступает дорогу преподавателю, или Свенсон на правах старшего должен придержать дверь и пропустить ученика? И зависит ли это от того, мужского пола ученик или женского?

Естественно, зависит. Идучи по двору с Анджелой, Свенсон кожей чувствует – вот придвинься он чуть ближе, и кто-нибудь обязательно доложит: шли и держались за руки. Хорошо еще, во дворе почти никого. Повезло, что занятие закончилось раньше – в перерывах здесь не протолкнешься, и со всеми знакомыми надо здороваться. Он поднимает глаза на огромные окна корпусов Клеймора, Теккерея, Комсток-холла – интересно, кто-нибудь его заметил?

Анджела говорит:

– У вас такое бывает: представишь, что за тобой кто-то следит, и так не по себе становится? Вроде ты идешь, а в это время какой-нибудь Ли

Харви Освальд берет тебя на прицел. Ну, например, некий псих, которому вы поставили низший балл, а он...

— Можете не волноваться, — усмехается Свенсон. — За мой курс оценок нет — зачет или незачет.

— Это здорово, — улыбается в ответ Анджела.

Они идут слишком медленно. Темп должен задавать Свенсон. Но ноги у него невесть отчего словно деревянные. На прошлой неделе он, пока ждал Шерри в поликлинике, прочитал статью про женщину, с которой случился удар, а началось все с того, что ей стало казаться, будто она идет сквозь толщу воды. Женщина была моложе Свенсона.

— Очень интересное было занятие, — говорит Анджела.

— Спасибо.

— Случилось чудо. Это при том, что рассказ Кортни отстойный.

Студенты не должны говорить преподавателю, что рассказ их соученика отстойный. Существует студенческая солидарность; учитель — начальник, они — подчиненные. И профессиональная (родительская) обязанность учителя — не позволять ученикам (детям) говорить друг про друга гадости.

— Ого! — говорит Свенсон.

— Вы же сами прекрасно понимаете.

— У Кортни все еще получится. — Анджела что, его коллега, с которой он обсуждает возможности ученика? Кажется, Свенсону следует ей напомнить о правилах поведения.

Но он этого не делает. И наказание настигает его — оно мчится по дорожке им навстречу. Но разве это наказание — встреча с единственной близкой ему по духу преподавательницей? Однако по какой-то непонятной причине ему совершенно не хочется сейчас общаться с Магдой.

Свенсон и Магда Мойнахен чинно, по-дружески целуются в щечку, так же как когда они встречаются за ланчем, только в присутствии Анджелы Арго это получается не совсем естественно, немного напоказ. Мол, с виду мы, может, и похожи на учителей, но вообще-то мы самые обыкновенные люди, у нас даже друзья имеются.

— У нас перерыв, — говорит Магда. — Я забыла кое-какие стихи у себя в кабинете.

Магда всегда куда-то несется впопыхах, что-то забывает. Она автор двух стихотворных сборников, имевших успех, ее бывший муж — поэт более известный, Шон Мойнахен, недавно женился снова, на юной поэтессе, подающей большие надежды, — хорошенькая девица, копия Магды двадцатилетней давности. Примерно раз в месяц Свенсон с Магдой отправляются вдвоем на ланч посудачить о юстонских сплетнях.

— А мы закончили раньше, — объясняет Свенсон. — Мы с Анджелой идем обсуждать ее роман.

— Анджела! — поворачивается к ней Магда. — Как дела?

— Добрый день! У меня все отлично, — мило улыбается Анджела.

— Как насчет ланча, Тед? — спрашивает Магда.

— Давай на следующей неделе.

— Ты мне позвони.

— Непременно. — Все обмениваются улыбками и расходятся.

— А вы занимались на... — Свенсон не знает, как спросить. Как это называлось? "Курсы для начинающих поэтов"?

— На семинаре первокурсников, — подсказывает Анджела. — Мои стихи всё испортили.

— Быть такого не может.

— Вы уж мне поверьте. Испортили. Я сочиняла дикие сексуальные вирши.

Надо будет спросить у Магды про стихи Анджелы, думает Свенсон.

— Семинар был не очень интересный, — продолжает Анджела. — Магда держалась... довольно напряженно. Мне казалось, что мои стихи ее нервируют. Так сказать... на личностном уровне.

Одно дело, когда Анджела разносит рассказ другой студентки или язвит по поводу семинаров Лорен Хили, и совсем другое — когда эта дурочка позволяет себе критиковать его лучшего, единственного в Юстоне друга. Свенсон не собирается выяснять, что за сексуальные стихи писала Анджела, из-за которых Магда нервничала "на личностном уровне". К тому же он вынужден признать, что инфантильная часть его души очень довольна. Всегда хочется, чтобы тебя студенты любили больше, чем других преподавателей.

У входа в Матер-холл Свенсон говорит:

— Идите наверх. Я заберу почту и вас догоню.

У него нет ни малейшего желания подниматься на четвертый этаж, лицезрея перед собой ее попку. Почтовый ящик любезно предоставляет в распоряжение Свенсона несколько ярких рекламок, которыми он и помахивает Анджеле, смотрящей на него сверху. Она отходит в сторонку, давая ему отпереть дверь, и при входе даже, кажется, не споткнулась. На сей раз она сразу усаживается в кресло и умудряется изобразить подобие йоговской позы, которая, по-видимому, необходима ей для душевного равновесия. Свенсон долго роется в портфеле, но тревога оказывается ложной, и он в конце концов вытаскивает оранжевый конверт, который протягивает Анджеле.

— Как я понимаю, вы получили мое сообщение, — говорит он.

— Я даже запись в автоответчике не стерла, — отвечает Анджела. — Тыщу раз ее слушала. Ой, мамочки! Что я несу? Давайте сделаем вид, что я этого не говорила. А надо было вам отзвонить? Знаете, я была ужасно смущена. Боялась, вы решите, будто я хочу, чтобы вы похвалили меня еще раз.

— Я вовсе не ждал вашего звонка, — говорит Свенсон. — Это у вас Роберт Джонсон на автоответчике?

— Неужели узнали? Правда, он неподражаем? А вы знаете, что он умер лет в шестнадцать? Подружка из ревности подсыпала ему в вино яд.

— Да, слышал, — отвечает Свенсон. — Итак... Даже не знаю, что добавить к тому, что я сообщил на автоответчик.

— Вы опечатки нашли? — спрашивает она.

— По-моему, почти все. Я их отметил. И сделал еще две-три пометки. А так... пишите дальше. Только не показывайте всем подряд. И ради бога не приносите в класс. Никому не позволяйте вам советовать. Серьезно, никому. Даже мне.

— Господи боже мой, — говорит Анджела грудным голосом. Свенсон с легким ужасом наблюдает, как ее глаза наполняются слезами. — Я просто счастлива. — Она вытирает глаза ладонью. — Не только потому, что вы мой учитель. Я ведь на самом деле восхищаюсь вашими романами. "Час Феникса" моя самая любимая в мире книжка.

— А я думал, "Джейн Эйр".

— Это другое, — говорит Анджела. — Ваша книга спасла мне жизнь.

— Спасибо.

Свенсон не хочет знать, каким образом. Он подозревает, что ответ ему уже известен. Когда он на вечерах читал отрывки из "Часа Феникса", к нему потом подходили благодарные слушатели и говорили, что в романе он описал их жизнь. У них тоже отцы были психами. Поначалу он чувствовал себя обязанным выслушивать их рассказы — ужасные истории про алкоголиков, алиментщиков, черствых и замкнутых трудоголиков. Но разве он про это писал? Неужели они не читали той главы, в которой мальчик из теленовостей узнает, что его отец пошел на самосожжение? Они что, хотят сказать, что и с ними такое было? В конце концов он научился говорить прочувствованное "Спасибо". Простого "спасибо" было вполне достаточно.

Но, кажется, не для Анджелы.

— Когда я училась в старших классах, отец все время грозился покончить с собой. И я не знала ни одного человека — ни в классе, ни среди всех знакомых в нашем нью-джерсийском захолустье, — который бы прошел через то же, что я. А когда папа все-таки это сделал, со мной случилось нечто... странное. Вот тогда-то мой врач и дал мне эту книгу. Благодаря ей я поняла, что люди и такое выдерживают. Она действительно мне помогла. Спасла меня. Да и роман замечательный. По-моему, на уровне Шарлотты Бронте и Стендаля.

— Спасибо, — говорит Свенсон. — Я польщен.

Это правда. Свенсон счастлив. Как же приятно думать, что его книга помогла этой девочке. Когда журналисты спрашивали, каким он представляет своего идеального читателя, он говорил, что пишет для людей нервных, чтобы им было что почитать в самолете. Теперь он думает, что отвечать надо было так: для школьников из нью-джерсийского захолустья, для девочек, считающих, что только их жизни изуродовала судьба.

— Можно я вас о чем-то спрошу? — говорит Анджела.

— Валяйте, — говорит Свенсон.

— Вот это все, что описано в романе, так на самом деле было?

— По-моему, мы обсуждали в классе. Нельзя задавать этот вопрос...

— Мы же сейчас не в классе.

— Не в классе, — соглашается Свенсон. — Мой отец погиб именно так. Мы с мамой действительно узнали о случившемся из новостей. Он стал знаменитостью — на четверть часа. И сцена в молельном доме квакеров, когда к мальчику подходит старик и говорит, что его жизнь поднимется из пепла отцовской жизни, — все тоже было на самом деле. — Свенсон столько раз это произносил, что исповедью не считает. Собственно говоря, это предательство его собственного тяжелого прошлого, заранее отлитое в удобную форму, и всякий раз, когда журналисты расспрашивали его про "Час Феникса", он отвечал просто на автомате. — Вы ведь знаете про Вьетнам? И про антивоенное движение?

Анджела вздрагивает и закатывает глаза.

— Ну зачем вы так? Я же не умственно отсталая.

Свенсону стыдно за свой менторский тон, и он пытается вспомнить какую-нибудь новую подробность.

— Вот ведь смешно... Я иногда и сам не могу вспомнить, что происходило на самом деле, а что я выдумал.

— Я бы помнила, — говорит Анджела.

— Вы еще молоды. А как насчет материала к вашему роману? Что там правда?

Анджела вжимается в кресло.

— Ну и вопросик...

Ей явно не по себе, и это заразительно. Но кто объяснит, почему она имеет право задавать такие вопросы, а когда он обращается с тем же к ней — это уже насилие над личностью и назойливость?

— Да ничего, — говорит Анджела. — Я все выдумала. Ну... была у меня подруга, она ставила опыты с яйцами — для урока биологии. Но остальное я сама придумала.

— Что ж, замечательно! — говорит Свенсон.

— Вот так... я хотела спросить, как по-вашему, мне надо что-нибудь переделать в этой главе?

Он же только что просил ее не слушать ничьих советов.

— Давайте вместе посмотрим.

Анджела протягивает ему рукопись, он ее перелистывает. Действительно здорово. Он не ошибся.

— Последняя фраза... Ее можно опустить, и текст только выиграет. Вы и так уже все дали понять.

— Какая фраза? — Анджела пододвигает кресло поближе, они оба, едва не соприкасаясь лбами, склоняются над рукописью.

— Вот эта. — Свенсон читает вслух: — "Я была до безумия влюблена в учителя музыки и, вернувшись из школы домой, думала о нем постоянно". Мы же узнали это из предыдущего предложения. Главу можно закончить и так: "Меня гораздо больше интересовало, что скажет мистер Рейнод, когда я расскажу ему об этом завтра после репетиции".

До Свенсона наконец дошло. Как он умудрился, дважды прочитав текст, не обратить внимания, что это рассказ о влюбленной в учителя девочке? Почему? Да потому, что не хотел понимать. Беседа с Анджелой и без того его вымотала.

— А когда вы начали писать свой... роман?

— В начале лета. Я приехала к маме, и у меня снова был нервный срыв. — Анджела достает из рюкзака ручку, вычеркивает последнюю фразу. — Еще что-нибудь?

— Нет, — говорит Свенсон. — Больше ничего.

— Можно я вам дам продолжение? — Она уже достала новый оранжевый конверт и протягивает его Свенсону.

— Давайте, — говорит он. — Можем обсудить его на следующей неделе, после занятий. Вас это устроит?

— Классно! — говорит Анджела. — Ну, тогда до встречи! Всего!

Уходя, она случайно хлопает дверью и кричит из коридора:

— Ой, извините! Спасибо вам! Пока!

Свенсон прислушивается к ее шагам на лестнице, затем открывает конверт, достает рукопись и читает первый абзац.

Мистер Рейнод сказал: "Есть один малоизвестный факт. В дни равноденствия и солнцестояния яйцо можно поставить вертикально, и оно не упадет". Эта информация показалась мне гораздо более значимой, чем то, что я успела узнать про яйца и инкубаторы. Все, что мистер Рейнод говорил, взмывало ввысь, уносилось к чему-то такому необъятному, как Вселенная, равноденствие, солнцестояние.

Свенсон пересчитывает страницы, их всего четыре — на целую неделю. Он старается читать медленнее, как всегда, когда книга, которая ему нравится, подходит к концу. Да что же такое, черт подери? Это ведь все-

го-навсего роман юной студентки. Он пододвигает к себе телефон, набирает номер.

— Офис Лена Карри. Чем могу вам помочь? — отвечает молодой голос с четким английским выговором.

— Лен здесь?

— Он на совещании — сообщает юный британец. — Что-нибудь передать?

— Я перезвоню позже. — Свенсон вешает трубку.

О чем он, собственно, хотел говорить с Леном? Звезды были к нему благосклонны, послав вместо Лена секретаря.

Так, для одного дня достаточно. Свенсон заслужил отдых. В амбулатории его ждет Шерри. Пора ехать за женой.

***

Ужин у них праздничный. В некотором смысле. Машину Шерри наконец починили. Шерри объясняет, в чем там было дело, но Свенсон слушает вполуха. Удалось уложиться в сумму — на этом он в состоянии сосредоточиться — в два раза меньшую, чем они предполагали. Что они и празднуют — ремонт, обошедшийся малой кровью. Сегодня вечером по всей Америке писатели пьют за великие произведения, за шестизначные авансы, за творческие и личные успехи, за новых друзей и новые БМВ. А Свенсон на своем пустынном островке чокается с женой и поднимает тост за то, что их "сивику" пришлось только поменять генератор за двести долларов.

А что в этом плохого? Они пьют из оплетенной бутылки чудесное монтепульчьяно, прибывшее из самого Абруццо для того, чтобы порадовать их здесь, в Вермонте. Они едят курицу в белом вине с чесночным соусом и свежим фенхелем, выращенным Шерри. В салате — последние в сезоне помидоры, дозревшие на подоконнике: Свенсону ведь повезло, он женат на женщине, которая целыми днями работает в поликлинике, но не забывает о маленьких радостях, выкладывает помидоры на подоконник — специально ему на салат. Перед ужином, когда Шерри стояла у плиты, Свенсон подошел к ней сзади, обнял, прижался к ней, и она в ответ выгнула спину, запрокинула голову. Неплохо для двух сорокасемилетних людей, двадцать один год состоящих в браке. Хорошее вино, хороший ужин, легкое возбуждение. Свенсон не безумец. Он знает, что мир — юдоль слез. Но ему жаловаться не на что. А он, строго говоря, и не жалуется.

Шерри, хотя уже стемнело и ничего не видно, смотрит в окно на свой сад. Наверняка думает о том, что еще нужно сделать до зимы. А как же Свенсон? Эй, привет, я здесь, стою на несколько ступеней выше в той же пищевой цепи, что и те растения, которые выживут или нет — но вне зависимости от усилий Шерри.

Проходит несколько минут, и она говорит:

— Знаешь что, Тед? Очень странное ощущение: вот мы тут сидим, едим фенхель, а грядка с таким же фенхелем смотрит на нас через окно.

Свенсон улыбается — да, забавный ход мысли, а потом думает: это она лишний раз напоминает, что фенхель выращен ею.

— Расслабься, — говорит он. — Со двора ничего не видно. Трава пока что за нами не следит.

– Шучу, – ласково говорит Шерри. – Извини.

– А фенхель замечательный, – говорит Свенсон.

Шерри сосредоточенно подбирает корочкой остатки соуса. Свенсон обожает смотреть, как она ест. Но сегодня вечером он допускает ошибку: смотрит поверх ее головы, на стену. Обои в цветочек – достались еще от прежних хозяев, – потрескавшиеся, в бурых пятнах, а на них ряд изображений святых, наследство двоюродной бабушки Шерри. Она повесила их ради хохмы, но у святых все всерьез, и они стоят, воздев руки, кто в исступлении восторга, кто в муках, один вообще распят вниз головой.

Свенсон вспоминает портрет Джонатана Эдвардса, выглядывавший из-за плеча ректора. Почему религия побуждает людей вешать на стены такие страшные картины? Чтобы те понимали, что они делают в церкви, чего пытаются избежать. По нему уж лучше молельный дом квакеров с голыми стенами, где нет ничего пугающего, где страшно разве что отцу Свенсона, у которого эти жуткие картины были в голове, а вера вынуждала каждое воскресенье проводить час в этой пыточной. Как-то раз после утреннего собрания (Свенсону тогда было лет двенадцать) отец отвел его позавтракать в "Молден Дайнер" и там спокойно объяснил, к какому он пришел выводу: все дурное в этом мире – его личная вина. Рассказывая, отец Свенсона, человек щуплый, съел три завтрака подряд. А вскоре после этого случая он и поджег себя на ступенях Палаты представителей.

Шерри смотрит через плечо, поворачивается к Свенсону.

– Господи, Тед! Ты смотрел на стену с таким видом, что я решила, может, один из святых заплакал.

– Я не смотрел на стену.

– Мне показалось?

– Я вообще ни на что не смотрел.

Шерри кладет себе еще салата. Она вовсе не намерена лишать себя удовольствия поесть последних помидоров только потому, что Свенсон капризничает.

– На работе опять был сумасшедший денек. Не иначе как Меркурий в ретрограде. Пришла одна девица и заявила, что она ловит флюиды от призраков дочерей Элайи Юстона.

– А ты-то что могла сделать?

– Валиум дала.

Свенсона это даже забавляет: оказывается, чудесные юстонские ребятишки тоже добывают наркоту обманом.

– Может, это моя студентка.

– Первокурсница. Специализируется на театре. А потом – новая гадость. Приходит один подонок, этот, новенький из приемной комиссии, приносит заявление одного старшеклассника. У мальчишки по отборочным тестам потрясающие результаты. Но у него рак яичек. Так они хотят, чтобы я позвонила в Берлингтон и узнала, какие у него шансы. Боятся, видите ли, что, если парень болен неизлечимо, у них место пропадет.

– Он так и сказал? – спрашивает Свенсон.

– Нет. Это было бы противозаконно. Но он имел это в виду. Я звонить в Берлингтон не собиралась. Однако вовсе не хотела, чтобы мальчика завернули. Поэтому через час позвонила в приемную комиссию и сказала, что прогнозы у медиков самые благоприятные. Ну вот, чувст-

вую себя героем. А потом до меня доходит: они же могут принять парня, и четыре года у меня на руках будет тяжело больной человек.

Свенсон искренне надеется, что этого не случится. Иначе четыре года подряд ему придется говорить только о раке яичек. В последнее время, когда он слушает рассказы Шерри, ему кажется, что он говорит с неизлечимым ипохондриком. Вины Шерри здесь нет, но эти истории болезней все чаще звучат как пророчества о том, чем Свенсон неминуемо заболеет.

Вообще-то Свенсону (он никогда не скажет этого вслух, да и себе редко признается) почти не интересно, что происходит в амбулатории. Он женился на Шерри, убедив себя, что покорен тем, как она распорядилась своей жизнью. Нет, он на самом деле был в восхищении, и не только по причинам романтическим. Через несколько дней после того, как он очнулся на полу приемной и прохладные пальцы Шерри щупали его пульс, он начал писать рассказ о враче, который безумно влюбляется в джазовую певицу и губит свою карьеру ради того, чтобы утолять ее всепоглощающую жажду любви, замаскированную под ненасытную страсть к морфину и таблеткам для похудания. Рассказ перерос в его первый роман, "Голубой ангел", который требовал своего — Свенсон жаждал сведений в области медицины. Вот он и вернулся в больницу Святого Винсента, где его дожидалась Шерри. Они влюбились друг в друга так стремительно, будто он вдруг решил собрать материал для рассказа о человеке, которого страсть к женщине захватила настолько, что ему остается одно — погубить свою жизнь.

Тем летом они смотрели "Голубого ангела" в "Бликере", и Свенсон, следя за тем, как профессор ради певички из ночного клуба Лолы-Лолы (ее играла Марлен Дитрих, женщина с прокуренным голосом и умопомрачительными ногами, от которых невозможно отвести глаз) превращается в жалкого фигляра, понял, каким будет роман. Из фильма он взял название клуба, в котором работала певица, и заглавие романа. Тогда он впервые почувствовал, что это будет нечто большее, чем месть врачу, который был столь потрясен прелестями Сары Воан, что не обнаружил у Свенсона воспаления среднего уха. Он понял, что новый этап его жизни — когда он любил, а не *желал* любви, писал, а не *желал* писать — начался словно по волшебству, на него снизошла благодать, он укутан ею, как плащом, но она может так же мгновенно испариться. Нет, оказалось, что не мгновенно. Постепенно. Она уходила по капле.

После долгого молчания Свенсон заговорил первым:

— Знаешь... Сегодня утром мне так хотелось закончить занятие пораньше, поехать в Берлингтон, прийти к Руби в общежитие, позвонить в дверь, увидеть ее, сводить в кафе...

— И что же?

— Я этого не сделал.

— А может, надо было? — говорит Шерри. — Может, это бы помогло.

— Поможет только время, — говорит Свенсон.

Оба это знают, и оба в это не верят. Руби ничего не забывает. Она с младенчества отличалась феноменальным упрямством. Мимолетный испуг, игрушка, которую ей захотелось, — она могла говорить об этом непрерывно. Почему они надеялись, что она изменится? Да потому, что все меняется. Их веселая озорная дочка превратилась в упитанного подростка с сальными волосами и угрюмым лицом — как с пожелтевшей фотографии крестьянской семьи. Руби отдалялась от них все больше. Шер-

ри говорила, пройдет, девочки в переходном возрасте часто такими бывают. Она даже принесла Свенсону книжку про это, но он ее читать отказался. Ему было противно, что его собственная жена считает, будто дешевые бестселлеры из цикла "Помоги себе сам" имеют какое-то отношение к их родной дочери.

В конце концов они убедили себя, что на самом деле им повезло. С Руби все в порядке. В школе она училась на "хорошо". Даже здесь (а может, именно потому, что здесь), в тихом Юстоне, сколько ее одноклассниц беременели, подсаживались на наркотики. Но как-то осенью, когда Руби была в выпускном классе, Арлен Шерли сообщила Шерри, что видела Руби с парнем, сидевшим за рулем красной "миаты".

В кампусе была одна "миата", алая роза в бутоньерке самого проблемного студента Юстона. Младший сын сенатора с Юга, избалованный, пьющий, Мэтью Макилвейн перевелся в Юстон на второй курс, после того как его выгнали из двух других университетов: в первый раз за несданную сессию, во второй — за изнасилование девушки, за которой он ухаживал. Его появление вызвало бурю возмущения, но через несколько недель, когда объявили о строительстве нового корпуса библиотеки, корпуса Макилвейна, скандал стих. Внешность у парня была как у манекенщика — типичный самовлюбленный красавчик. Что он делал с Руби? Свенсону даже думать об этом не хотелось. Шерри же сказала, что студенты-новички часто чувствуют себя одиноко.

Им бы радоваться, что у Руби появились свои секреты, радоваться, что у нее наконец есть парень. Свенсона так беспокоило, что ее школьные приятельницы сплошь недалекие простушки. Любые друзья-подруги, но только не Мэт! И кто бы укорил Свенсона за то, что он хочет спасти свою дочь от негодяя и насильника?

Свенсон побеседовал с куратором Мэта, затем с самим Мэтом, который тут же с Руби порвал. Свенсон видел это так: играла́ кошка с мышкой, потом кошку что-то отвлекло, и мышка убежала. Он еще решил, что мышка будет ему благодарна.

Свенсон и Шерри знают: главное — ни в чем друг друга не обвинять. Порой это странно возбуждает: у них общее горе, есть нечто, связывающее только их двоих. Но груз того, о чем они не могут говорить, с каждым днем все тяжелее. Шерри ни в чем не повинна. Она его предупреждала, что это не сработает, Руби не забудет и не простит. И хотя Шерри никогда не скажет, что он все сделал неправильно, он знает, что она именно так и думает. Поэтому он может винить ее за то, что она винит его, а ведь это он имеет право предъявлять обвинения.

Шерри допивает вино.

— Руби сумеет это преодолеть. Она ведь нас любит.

— Откуда ты знаешь? — говорит Свенсон. — За что ей меня-то любить?

Шерри вздыхает и качает головой.

— Дай мне передохнуть, — говорит она.

После ужина Свенсон идет в кабинет. Он берет свой роман, и к горлу подкатывает тошнота. Держа страницу на вытянутой руке — похоже, дальнозоркость прогрессирует, — он читает одну фразу, другую.

Джулиус вошел в галерею. Он знал здесь всех и знал наверняка, сколько человек только и ждет его провала. Через голову женщины, которая с притвор-

ной радостью целовала его в обе щеки, он видел свои работы, похожие на трещины, расползшиеся по выложенным плиткой платформам подземки, они умирали на стенах галереи.

Кто же это пишет так мертво и убого? Да уж никак не Свенсон. Мертвечина на стенах, мертвечина на бумаге — закодированное предупреждение самому себе. Он смутно помнит, каково это, когда работа идет, когда, садясь утром за письменный стол, словно ныряешь в теплую ванну или в ласковый речной поток, и волны слов уносят тебя... Он открывает портфель, достает рукопись Анджелы Арго. Читать не будет, только взглянет. Но он начинает читать и забывает, о чем думал, а потом забывает и про свой роман, и про роман Анджелы, про свой возраст, про ее возраст, про свой талант, про ее талант.

Мистер Рейнод сказал: "Есть один малоизвестный факт. В дни равноденствия и солнцестояния яйцо можно поставить вертикально, и оно не упадет". Эта информация показалась мне гораздо более значимой, чем то, что я успела узнать про яйца и инкубаторы. Все, что мистер Рейнод говорил, взмывало ввысь, уносилось к чему-то такому необъятному, как Вселенная, равноденствие, солнцестояние.

Я никогда не пробовала ставить яйцо вертикально — ни в равноденствие, ни в солнцестояние. Я не верю в астрологию. Я знала только, что моя жизнь — как это яйцо, и точка ее равновесия — те несколько минут после занятий, когда я могу поговорить с мистером Рейнодом.

Последние десять минут репетиции были для меня сущим адом: сколько времени осталось, сколько мы будем еще играть, если мистер Рейнод опять прервался, кричит на барабанщика за то, что тот поздно вступил, и нам приходится начинать все сначала, и заканчиваем мы только со звонком. Вот как научилась математике — когда все это высчитывала. Если мы заканчивали играть раньше, эти несколько минут доставались мне. Если нет — передо мной простиралась пустыня: ночь, день, выходные.

Я была первым кларнетом. Я следила за тем, чтобы все вступали вовремя. Я отбивала ритм ногой. Может, мистер Рейнод думал: ну что за ребячество — отбивать ритм? Я представляла себе, как он смотрит на мои ноги. Я считала такты, держа кларнет на коленях. Мистер Рейнод, оглядывая оркестр, бросил взгляд и на мой кларнет.

Он научил нас готовить инструмент за три такта. Мы держали мундштуки во рту и вступали по знаку дирижера. Вступили дружно, ну разве что кто-то задержался на секунду, и, услышав хор деревянных духовых, я забыла обо всем, осталось лишь прохладное журчание безукоризненной мелодии Пятого Бранденбургского концерта Баха, хоть и в переложении для школьного оркестра, но по-прежнему недосягаемой.

За три такта до конца мир вернулся. Смотрел ли мистер Рейнод на мою ногу? Будто у него дел других не было — только и смотреть на мою идиотскую ногу.

Началось все прошлой весной, когда мы возвращались домой с окружного музыкального фестиваля. Победил школьный оркестр Куперстауна с пьеской под названием "Тропой войны", где мерзко грохотали тамтамы, выли виолончели, имитируя пение воинов в вигваме, потом завизжали флейты-пикколо — видно, с кого-то снимали скальп. Толпа, собравшаяся в школьном спортзале, бесновалась от восторга. Судьи одобрительно кивали головами. Наш нежный, звонкий Моцарт с треском провалился.

Мистер Рейнод был за рулем фургона с инструментами, с ним ехали все концертмейстеры, его отборные силы. Обычно мы болтали без умолку. Кому этот нравится, кому — та, будто мистера Рейнода здесь нету. На самом деле все эти разговоры велись специально для него: мы демонстрировали ему, какой крутой жизнью живут подростки. Но после фестиваля все так расстроились, что говорить не хотелось. Мы проиграли, и проиграли по своей вине.

Мистер Рейнод вдруг поддал газу, сменил полосу. Инструменты задребезжали. Взревел и затих клаксон. Из-за спины мистера Рейнода я смотрела, как ползет по кругу стрелка спидометра. Обычно он ездил, как мои родители: чуть медленнее лимита скорости. А сейчас он несся по шоссе, обгоняя все машины. Я решила, что мы разобьемся.

Он снова перешел на крайнюю полосу, въехал на площадку для отдыха и сказал:

— Всё, выходите. Вперед, шагом марш!

Мы удивленно на него посмотрели. Говорил он всерьез. Он когда-то служил в морской пехоте.

Он чуть не угробил нас на шоссе, но мы, ни секунды не колеблясь, отправились следом за ним в лес. Это была еще одна из его безумных выходок, за которые его и любили ученики. Как-то раз на репетиции он велел нам всем поменяться инструментами, и мы играли труднейший отрывок на том, на чем играть не умели.

Мы шли за ним по дорожке, мимо карты, висевшей на стенде под пыльным стеклом, мимо мусорных баков. Лес был темный и сырой. Следуя за мистером Рейнодом, мы то и дело теряли его из виду. Он шел, расправив плечи и высоко подняв голову. Она и была для нас ориентиром.

— Ну хорошо, остановились! — сказал он. — Посмотрите вокруг. Вот здесь жили индейцы. Вы хоть на секунду можете поверить, что они играли эти тупые голливудские песенки? Настоящая индейская музыка ничего общего с таким дерьмом не имеет.

Он не ругал нас за то, что мы провалились. Доказательством тому было слово "дерьмо", которое он произнес. Ругался он только в присутствии концертмейстеров, и мы поняли, что нравимся ему по-прежнему.

— Ладно, — сказал мистер Рейнод. — Идем назад к фургону.

Все пошли, а я вдруг поняла, что не могу тронуться с места. Мне ужасно захотелось спать.

Мистер Рейнод схватил меня за руку.

Я так испугалась, что почему-то улыбнулась. Лицо мистера Рейнода было совсем близко. Я глядела ему в глаза, с трудом фокусируя взгляд. Видела только свое искаженное лицо, оно отражалось в его очках. Он открыл рот, снова закрыл.

— Иди вперед, — велел он мне. Но продолжал держать меня за руку. — Прости, — пробормотал он. — Я не хотел... — И тут он меня отпустил.

***

Это всего лишь третья консультация, но Анджела держится гораздо спокойнее и только немножко ерзает, усаживаясь в кресло. Что ж, у нее есть основания быть спокойной. Свенсон сам ей позвонил и назначил эту встречу. Она вполне могла решить, что он так поступает со всеми студентами. Она скрещивает ноги под сиденьем.

— Ну как вам? Что скажете?

— Что это у вас на руке написано? — спрашивает Свенсон.

Анджела, нахмурившись, смотрит на надпись, сделанную шариковой ручкой.

— Это? В воскресенье лунное затмение. Я боялась забыть. Так что вы думаете о моем романе?

— Вы играете на каких-нибудь музыкальных инструментах?

— Вообще-то нет. Завалила экзамен во втором классе. По флейте.

— А откуда тогда такие познания в музыке?

— У меня есть друзья. Я у них спрашивала. Кое-что выдумала. Вам не понравилось, да? Это хотите сказать?

— Вовсе нет. Потрясающе получилось. Я отметил пару мест, посмотрите, может, решите что-то поменять.

— Выкладывайте! — Анджела достает ручку.

— Да там пустяки. Ну вот, например, вы пишете "будто мистера Рейнода здесь нету". Точнее будет "здесь нет". Впрочем, можно и так.

— Вы это отметили?

— Отметил. И вот тут еще... как насчет правдоподобия? Она действительно могла увидеть свое лицо в его очках? Или вам просто так захотелось и вы нарочно ввели эту деталь?

Анджела откидывается на спинку кресла.

— Ого! А это обидно, — говорит она. — Можно в ваши очки посмотреться? Ладно. Проехали. Извините. Вам недостаточно, что она думает, будто видит свое отражение? Ведь она в этот момент очень расстроена.

— Оставьте как есть. — Свенсон не собирается спорить. — Может, потом когда-нибудь еще разок взглянете...

— Что еще? — спрашивает Анджела.

— Вот здесь... То же самое предложение. Хотите — оставляйте. "Видела только свое искаженное лицо". "Искаженное" — это слово ничего нам не говорит.

— А значить может что угодно.

— Вот именно.

— Обязательно это отметьте, — просит Анджела.

— Уже отметил.

— Неужели это я написала! — говорит Анджела. — Спасибо вам огромное-преогромное.

Свенсон воодушевленно просматривает рукопись еще раз.

— Тут посмотрите. Эпизод в фургоне. Слишком все быстро. Она действительно думает, что они разобьются, что аварии не избежать? Значит, когда машина тормозит, все чувствуют облегчение, но... смешанное со страхом, так?

Анджела сначала кивает, потом задумывается. Свенсон наблюдает за ней.

— Вы правы, — говорит она. — Это я понимала. Но очень торопилась — хотела поскорее перейти к их походу в лес. Она остается с ним наедине всего на минуту, но для нее это очень важно, после этого все меняется...

Свенсон, помолчав немного, говорит:

— Вы еще кому-нибудь показывали? Или роман никто больше не читал? — Кажется, она говорила, что никому его не давала, но Свенсону почему-то хочется знать наверняка.

— Никто, — говорит Анджела. — Ну, только мой друг. Ой, Господи! Я сейчас сказала про своего близкого друга "никто". Как вы думаете, что это может значить?

— Терпеть не могу психологических изысканий, — говорит Свенсон. — И каково мнение вашего друга?

— Он говорит, здорово. — Анджела пожимает плечами. — Вот, я вам еще принесла. — Она достает из рюкзачка новый оранжевый конверт. Происходит обмен оранжевыми конвертами, Анджела свой чуть не роняет и смущенно хихикает.

Глядя в пол, она продолжает:

— Собственно говоря, там всего один абзац — я хотела добавить его в конец отрывка. У меня еще есть, уже готовые главы, но я решила не спешить. Чтобы вас не слишком пугать. С вами удивительно интересно работать. После наших встреч мне хочется писать и писать. Просто не успеваю печатать. А потом сажусь и начинаю все по тыще раз переделывать — чтобы не стыдно было вам показать. Если меня поймают на том, что я все остальные занятия пропускаю, и мое дело передадут ректору, вы сможете им написать, как я работала?

— К сожалению, нет, — говорит Свенсон. — Но с удовольствием прочту то, что вы написали.

— До вторника, — говорит Анджела.

— До вторника.

Он слушает, как она бегом спускается по лестнице, а затем открывает конверт.

На следующий день я играла через силу. Никак не могла сосредоточиться на музыке. Все думала, зачем тогда, в лесу, мистер Рейнод схватил меня за руку? Это стало темой моего научного эксперимента: я анализировала все подробности с такой тщательностью, какой не удостаивала несчастных цыплят, которых пыталась вывести в нашем сарае за домом.

Свенсон кладет листок на стол, тянется к телефону. Кому он собирается позвонить? Лену Карри звонил на прошлой неделе. С Шерри беседовать неохота. Он набирает добавочный Магды Мойнахен.

— Тед! — тут же откликается Магда. — Как дела?

Ему нравится в Магде многое, но особенно приятно то, что она всегда ждет каких-то неприятных звонков и искренне радуется, если звонит Свенсон.

— У меня сейчас консультация, — говорит она. — Можно я перезвоню?

— Давай лучше договоримся встретиться, тогда и поболтаем. Как насчет ланча завтра?

— Отлично! Где всегда?

— Конечно, — говорит Свенсон. — Вместе поедем?

— Я приеду из Монтпилиера. Так что давай встретимся уже там, в половине первого.

***

Свенсон знает по опыту, что Магда никогда не приходит вовремя, поэтому приезжает чуть позже и, поняв, что Магда опаздывает еще больше, начинает злиться. У него ни книги, ни газеты, и единственное, что может отвлечь его в мрачных интерьерах "Орлеанской девы", — стаканчик шардоне, от которого, впрочем, обязательно разболится голова. В зале ресторана, построенного в конце пятидесятых семейством из Квебека,

окон нет, стены обшиты темным деревом, и все здесь напоминает клуб садомазохистов: кругом развешаны железные доспехи и скрещенные топоры, со стропил свисают остроконечные булавы и велосипедные цепи — все это имитация старины. Где теперь такое купишь? Да уже нигде.

Три поколения хозяев заведения до блеска начищали доспехи, сохраняли дизайн ресторана, куда преподаватели Юстона приходят пообщаться с коллегами. Студенты сюда не заглядывают, поэтому можно спокойно на них жаловаться, не опасаясь, что они сидят за соседним столиком. В тех редких случаях, когда университет подбирает новых сотрудников, их тоже ведут сюда: если везти их в Монтпилиер, где кормят лучше, они ведь решат, что так и придется ездить на ланч за шестьдесят миль. Кандидатов на должность угощают старой юстонской шуточкой: "В "Орлеанской деве" подают бифштексы, сожженные на костре".

Сегодня две трети столиков, как обычно, заняты преподавателями и сотрудниками администрации. Проходя по залу, Свенсон всех их поприветствовал. Ходит он сюда исключительно с Магдой. Только здесь можно позволить себе ланч с коллегой противоположного пола, не провоцируя сплетен. Влюбленные парочки, если не желают известить всю общественность о природе своих отношений, сюда не заглядывают. Это было бы все равно что обниматься посреди Юстонского дворика.

У Свенсона с Магдой дружба такого рода, которая месяцами вибрирует на грани флирта, но опасной черты они не преступали никогда в силу непреодолимых обстоятельств: они ведь коллеги, Свенсон состоит в браке, Магда состояла, к тому же они слишком хорошо друг друга знают. Но легкий намек на романтику все же присутствует, о чем свидетельствует и тот факт, что Свенсон, когда Магда влетает в зал, снова восхищается тем, какая она хорошенькая.

Свенсон приподнимается со стула. Магда целует его в щеку. Он обнимает ее, неуклюже поглаживая по спине. Она сбрасывает пальто, садится, опирается локтями на стол, подается вперед и так пристально смотрит ему в глаза, что, будь это не в "Орлеанской деве", со стороны могло бы показаться, что у них и в самом деле роман.

Большинству женщин Свенсон нравится, главным образом потому, что они нравятся ему. Ему интересно то, о чем они рассказывают, он не подозревает их в тайном желании его извести. Вот почему у него счастливый брак, вот почему все библиотекарши и секретарши сделают для него что угодно и вот почему он единственный на весь Юстон идиот, который не переспал ни с одной студенткой. Женщины говорили ему, что от большинства мужчин он отличается отсутствием агрессивной враждебности. Может, этим они давали понять, что спать с ним никогда не будут.

А вот Магда едва на это не пошла — был один эпизод у нее в квартире. Тогда как раз случился очередной период взаимного влечения, причем острого, и Свенсон весь день предвкушал, как зайдет к Магде, — он должен был отнести ей кое-какие бумаги, и там он отреагировал на тонкие нюансы ситуации тем, что за первые двадцать минут выпил бутылку вина. Он сидел, развалясь, на диване, придвигался к Магде все ближе и ближе, и в тот самый момент, когда они могли — должны были — поцеловаться, Свенсон понял, что слишком пьян. И, вскочив с дивана, пулей

помчался к двери. Знаменательно то, что они никогда, ни разу не вспоминали тот вечер.

— Чем занималась в Монтпилиере? — спрашивает он.

— Ездила в книжный, — говорит Магда. — Вот взгляни.

Он бросает взгляд на название.

— "Лучшие стихи о собаках"?

— Попадаются просто потрясающие стихи. Настоящая поэзия. Я не шучу.

— И что же? Ты тоже решила купить собаку? А потом о ней писать?

— Тед! — говорит она. — У меня есть собака.

— Ну да, — произносит он неуверенно.

— Моя собака тут ни при чем. Понимаешь, один первокурсник написал совершенно убогое стихотворение про смерть собаки. Я точно знаю, что это его собака. И что я должна сказать? "Мне очень жалко твоего песика. Да, кстати, стихи получились отвратительные". Вот я и подумала, покажу-ка я парню, как пишут про собак и про их смерть, будет хоть с чего начать разговор.

— Ты великий педагог. Тебе это известно?

— Спасибо огромное.

— Да, в самом деле. Ты так серьезно ко всему относишься. И студенты тебя обожают. — Свенсон вспоминает, что Анджеле семинар Магды не нравился.

— Тед! Что с тобой?

— Прости, задумался. Мои ученички писали бы про секс с мертвой собакой.

— Что-что? — переспрашивает Магда.

— То есть с дохлой курицей. Слушай, тебе не кажется, что они в этом году все какие-то странные? Что с ними такое? Мои только и пишут про секс с животными.

— Безопасный?

— Дэнни Либман порадовал шедевром про мальчишку, который приходит домой со свидания и совокупляется с куриной тушкой.

— Гадость какая, — говорит Магда.

— Ты бы им это сказала.

— А ты-то что сказал?

— Ограничился техническими подробностями, — например, насколько точны детали. Напомнил, что кур теперь продают без головы. — Свенсон врет, чтобы позабавить Магду.

— Сексуальная агрессия по отношению к курам... Можно и дело завести...

— Да уж, — кивает Свенсон, и оба замолкают.

Магда вдруг спрашивает:

— А как дела у Анджелы Арго?

Свенсон рад, что она заговорила об Анджеле первая. Он и сам собирался. Но тут появляется официантка Дженет, грубоватая, но добродушная.

— Ну, как вы? — интересуется она.

— Великолепно, — отвечает Свенсон.

— Аналогично, — говорит Магда.

— Ага, на пять с плюсом, — кивает Дженет.

Свенсон заказывает то же, что и всегда, что заказывает любой завсегдатай (другие сюда не ходят): сандвич с идеально прожаренным (если верить меню) мясом и пюре с мясной подливкой.

— Мне то же самое, — говорит Магда.

— Понятно. Можно было и не спрашивать. — Дженет разворачивается и уходит довольная и одновременно чуть огорченная тем, что больше они ничего не заказали.

Да будут благословенны Дженет и "Орлеанская дева" — заказы здесь принимают быстро, поэтому можно тут же вернуться к беседе.

— Ты почему спрашиваешь? — говорит Свенсон.

— О чем?

— Об Анджеле Арго. — Свенсон произносит это с такой же интонацией, как сама Анджела, когда на первом занятии называла свое имя. Она еще глаза закатила, и Свенсон испугался, не припадок ли это.

Магда смотрит на него испытующе. Она явно обладает какой-то информацией, только вот непонятно какой. Ну, если ей что-то известно, пусть выложит Свенсону. Но нет, она все портит, потому что говорит следующее:

— Тед, если ты переспишь с Анджелой Арго, я перестану с тобой общаться.

Что за чушь Магда несет! И как, собственно, они перешли от рассказа Дэнни к возможным перспективам отношений Свенсона и Анджелы? Вчера Магда видела их вместе. Неужели она подумала, что... Может, уловила некие сигналы, которые мужской радар Свенсона пока не заметил?

— Боже мой, Магда, откуда такие мысли? Ты что, спятила? Ты же была на собрании. Если бы я решил рискнуть своей работой, то уж никак не ради Анджелы. И вообще, сама знаешь, я такими вещами не занимаюсь.

Магда знает это наверняка. И это ее несколько успокаивает.

— Ну, и чем Анджела теперь занялась?

— Роман пишет, — говорит Свенсон. — Хороший. На самом деле хороший.

— Меня это не удивляет, — говорит Магда. — Хотя мне она приносила нечто ужасное. Но видно было — человек она талантливый. Только вот хлопот с ней не оберешься.

— В каком это смысле?

— Ну... — говорит Магда, замявшись, — в ней будто... стержня нет.

— То есть?

— Она врет.

— Как это — врет? — У Свенсона перехватывает дыхание.

— По мелочам. Например, взяла у одного студента несколько книг: Рильке, Неруду, Стивенса, — а когда он попросил вернуть, сказала, что ничего у него не брала. Он пробрался к ней в комнату и нашел их на ее столе. Не так все было просто, потому что, по-моему, мальчик был в нее влюблен. Но факт остается фактом — книги были у нее.

— Книжки ворует — ну, это не самое страшное преступление. По мне, так пусть наши детки воруют книжки — значит, читать хотят. Да и дружок ее поступил не лучшим образом — тайком пробрался к ней в комнату. Кстати, это тот, с которым она сейчас встречается?

— Она разве с кем-нибудь встречается? Тогда мне казалось, что у нее никого нет. Короче, история некрасивая. Но в конце концов это ребят очень сплотило. По-моему, никто и словом не обмолвился.

У Свенсона в группе такого не бывает. Ничего, что, по Магдиному выражению, их бы сплотило.

— Не знаю, может, все дело было во мне, — продолжает Магда. — Анджела из тех студентов, с которыми у меня не получается наладить контакт. Я вот тебе минуту назад сказала, что у нее плохие стихи, но это не совсем так. Стихи по-своему сильные. Наверное, мне такие противопоказаны. Чересчур неистовые и непристойные.

— Неистовые и непристойные? Ого! И о чем шла речь?

— Это были, скажем так, драматические монологи. Или диалоги. Как бы запись разговоров девушек из "Секса по телефону" с клиентами.

И тут, естественно, приносят заказ. Впрочем, разговор явно захватил обоих и так просто не прервется, вполне можно сделать паузу, приняться за еду.

Магда отправляет в рот первый кусок.

— И еще одно... Героиня этих стихотворений называла себя "Анджелой-911".

— Господи боже мой! — изумляется Свенсон. — Что, теперь в Юстон принимают и девушек, работавших в "Сексе по телефону"?

— Работавших или работающих — кто знает? У меня возникло ощущение, что все это очень похоже на правду. И еще было что-то такое в том, как к ней относились ее сокурсники. Страх? Уважение? Не знаю. У меня правило: не спрашивать, не вмешиваться. Сразу видно, что мальчик пишет о смерти своей собаки, но если он не захочет...

— Отлично понимаю, — перебивает ее Свенсон. Он счастлив сменить тему и от эротических стихов Анджелы перейти к обсуждению работы в семинаре. Они же для этого и встретились. Коллеги беседуют о делах. — Не спрашивай. Не вмешивайся. Чем меньше знаешь, тем лучше.

— Что касается этого — безусловно да. Но ведь она была первокурсницей. Я даже думала: может, надо об этом кого-нибудь известить? Хотела посоветоваться с Шерри.

— С Шерри? Ты ей что-нибудь сказала?

— Нет. Подумала, еще впишут Анджеле в карту какой-нибудь диагноз. И... стыдно признаться, но я не хотела в это ввязываться. Сам знаешь, как бывает. Говоришь себе: потерпи, семестр скоро закончится. И вообще, мне не надо было ничего узнавать специально. Анджела сама все сообщала. В ее стихах было много про отца этой девушки из "Секса по телефону", про то, как он ее изводил сексуальными домогательствами. Как-то раз, на консультации, Анджела дала понять, что это так на самом деле и было.

— Что она сказала?

— Не могу вспомнить. Я тогда просто обалдела. Впрочем, половина студентов заявляют, что они едва избежали инцеста.

— Мне они такого не рассказывают, — говорит Свенсон.

— Повезло тебе, — усмехается Магда. — Было в Анджеле нечто такое... В общем, я в это поверила.

— Почему? — спрашивает Свенсон осторожно.

— Сама не знаю. Не в одной Анджеле дело. Все их поколение... Мне порой кажется, они считают, что секс — это нечто постыдное. Они будто в глубине души уверены, что если ты думаешь о сексе или испытываешь желание, — значит, ты страшный человек.

— Исключение они делают для зоофилии, — говорит Свенсон. — Господи! Несчастные дети! — Он умолкает, пораженный тем, что ведет такие разговоры с Магдой.

Оба они приложили немало усилий, чтобы подавить собственные сексуальные порывы. Может, Анджела не без оснований сказала, что с Магдой не все в порядке. Одно ясно наверняка: Магда не читала роман Анджелы. И все же Свенсон с облегчением думает, что Магда, возможно, права — и насчет Анджелы, и насчет всего ее поколения.

— Отец, про которого она упоминает в стихах... он покончил с собой?

— Покончил с собой? О самоубийстве она ничего не говорила. Знаешь, Тед, у меня было очень странное ощущение — будто все это выдумано, но сама она разницы не чувствует.

— Роман вполне настоящий, — говорит Свенсон.

— Рада слышать, — отвечает Магда.

— У тебя эти стихи случайно не сохранились? — Свенсон уставился в тарелку. Он понимает, что вопрос идиотский. Сам он хоть какие-нибудь студенческие работы хранит?

Но Магда нисколько не удивляется.

— Знаешь, и это тоже странно. — Она откусывает кусочек сандвича, утирает рот ладонью. Свенсон глядит на ее руку. Ему хочется дотронуться до нее, погладить. — Вот тебе пример того, насколько Анджела упертая. Под конец весеннего семестра звонит мне Бетти Хестер, библиотекарша.

— Я знаю Бетти, — говорит Свенсон. — Матушка Хаббард[1].

— Тед, не надо так. Злая шутка. Так вот, Бетти рассказывает мне, что одна из моих учениц — понятно, что Анджела — сделала книжку своих стихов: распечатала на принтере, нарисовала обложку, сброшюровала и преподнесла в дар Юстонской библиотеке, в память о своем первом курсе. И попросила Бетти поставить на полку современной американской поэзии. Бетти ее поблагодарила, сочла, что это очень мило с ее стороны. А потом прочитала несколько строк и поняла, что к чему. Тогда-то она и позвонила мне, спросила, можно ли отказаться от подарка Анджелы. Я поинтересовалась, нет ли у нас в университете правил, запрещающих вводить в фонд книги студентов. Бетти ответила, что нет — такого прежде не случалось. Я сказала, что Анджела вполне может как-нибудь зайти проверить, что сделали с ее книгой, и, увидев, что книги на полке нет и она никому не выдана, запросто устроит скандал.

— Анджела? — Свенсон пытается совместить два образа — мстительную гарпию, о которой рассказывает Магда, и застенчивого воробышка, благодарного за каждую кроху похвалы.

— Да, Анджела, — говорит Магда. — В конце концов я посоветовала Бетти ввести эту проклятую книжку в каталог, поставить на полку и надеяться, что никому, кроме Анджелы, она не понадобится. Никто ее и не заметит. А когда Анджела закончит университет, книжку можно будет списать. Сам понимаешь, прежде всего мне самой не хотелось проблем с администрацией. Стихи ведь были написаны к моему семинару. А я до сих пор не в штате.

— Так что, книжка в библиотеке? — спрашивает Свенсон.

— Насколько мне известно, да.

— Надо будет взглянуть.

— Да ради бога.

1. Персонаж детской английской песенки.

Оба вдруг замечают, что едва притронулись к сандвичам, и смущенно принимаются за еду.

— Я проголодался, — говорит Свенсон.

— Я, похоже, тоже, — кивает Магда. — Да, кстати, Тед. Когда будешь в библиотеке, возьми "Моя собака Тюльпан" Акерли. И дай почитать своим ученикам. Это лучшее произведение про половые сношения с животными.

— Спасибо, — говорит Свенсон. — Я всегда знал, что на тебя можно рассчитывать.

— Мы же друзья, так ведь?

***

В библиотеке, как всегда, пусто. Интересно, где студенты работают? Эхо разносит звук шагов Свенсона по огромному вестибюлю. Он чувствует себя крошечным и никчемным, но одновременно громадным и оглушительно шумным.

И тут он видит Бетти Хестер, сидящую за столиком у входа. Высокая, с прямой спиной, в ручной вязки темно-лиловом платье с широкой юбкой, под которую можно упрятать весь ее выводок (работая в Юстоне и получая ученые степени по библиотековедению, Бетти родила шестерых), она напоминает тряпичную бабу на чайник.

— Тед! — свистящим шепотом приветствует его Бетти. — Сколько лет, сколько зим! Неужели столько пишешь, что и читать некогда?

— Если бы! — Свенсон скромно пожимает плечами — он как бы опровергает предположение Бетти, допуская, однако, что она, возможно, и права.

— Трудно вам, творцам. Как Шерри?

— Прекрасно, — говорит Свенсон. — Как дети?

— Все отлично. Итак, могу я чем-нибудь помочь?

— Нет, спасибо. У меня тут кое-что не клеится... Решил зайти порыться в книжках — вдруг вдохновение осенит.

— Да ты настоящий читатель, — говорит Бетти. — На таких библиотеки и держатся.

Свенсон украдкой бросает опасливый взгляд параноика-извращенца и понимает, что с места, где сидит Бетти, видно карточный каталог, который он по старинке предпочитает компьютеру, где никогда ничего не понятно. Он что, вообразил, будто Бетти, увидев, как он идет к ящику на "А", догадается, что он ищет "Непристойные стихи Анджелы Арго"? И тут его действительно осеняет. Он поищет книжку, которую посоветовала Магда, — "Моя собака Тюльпан" Акерли, — а уж потом...

Свенсон наспех записывает на листочке бумаги шифр Акерли, после чего якобы случайно выдвигает соседний ящик и находит карточку "Арго, Анджела. "Анджела-911". Напечатано автором". В воздухе ни единой лишней молекулы кислорода — все насквозь пропитано плесенью. Он проводит пальцем по корешкам книг, находит брошюру, прошитую алой нитью, и тут же отдергивает руку, словно дотронулся до раскаленного железа. Легкие сжимаются, и ему перестает хватать воздуха. Он берет себя в руки, выуживает книгу — книжонку — с полки. Понятно, с чего Бетти так распсиховалась. На обложке заглавие: "Анджела-911" алыми буквами. Под ним компьютерная фотография — Венера Милосская с грубо подрисованными руками. Одна рука прикрывает лобок, другая держит телефонную трубку.

Свенсон слышит (или ему мерещится?) шаги, замирает, прислушивается. Смотрит в проход между стеллажами. Книжка дрожит в руках. Он открывает первую страницу, там посвящение "*Моим маме и папе*". Как это мило -- посвятить непристойные стихи об инцесте и сексе по телефону своим родителям. Он закрывает книгу. Кто-то идет? Или это потрескивают старые стеллажи, скрипит под их тяжестью пол?

Свет здесь тусклый, читать невозможно, но в зал он выходить не решается — вдруг там кого-нибудь встретит, до полки далеко, обратно не поставишь. Он ставит книжку на место, идет искать Акерли, находит, возвращается за брошюрой Анджелы, прячет ее под томик Акерли. После чего направляется к столу в самом дальнем углу — сюда никто никогда не заглядывает.

Он листает страницы, находит первое стихотворение и читает:

Я отец четырех дочерей.
Три из них уже спят,
А четвертая ждет меня.
Вот я вам и звоню.
Вы что, спите? Не спите! Слушайте!
Я все думаю об ее упругих грудках.
Моя рука у нее между ног.
Ее бедра вздымаются вверх.
Вы что, спите? Слушайте!
Я слышу ее стон —
Так она ворковала в младенчестве,
А теперь этот стон для меня, он мой.
Ее косточки тонкие, словно птичьи.
Я осторожно ложусь на нее,
и пенис упирается ей в гладкое бедро.
Вот я вам и позвонил.
Вы слушайте! Не спите. Слушайте.
Я же сказала, я не сплю.
Я жду, я жду тебя.
Ты меня так возбуждаешь.
Представь, что ты лежишь на мне.
Представь, что я — твоя дочь.

Ну что ж, она не Сильвия Плат. Хорошо, что проза у нее настолько лучше стихов. Свенсон готов выдать еще сколько угодно обидных замечаний, но прекрасно понимает: все это лишь попытки отвлечь себя, не думать о том, почему это у него случилась эрекция. Ну что он за чудовище? Возбудился, прочитав стишки про инцест, про совращение невинной девчушки! Все эти годы он морочил себе голову своими так называемыми нравственными принципами, интенсивной внутренней жизнью, обязанностями — он же учитель, муж, отец, да, отец, воспитывающий дочь. А если бы кто-то проделал такое с Руби? А если бы с Анджелой?

Да Свенсон просто нелюдь! Животное. Дикий зверь. Он судорожно скрещивает ноги, закрывает глаза, делает глубокий вдох. От книжной пыли у него начинается кашель. Так, вспомни о раке легких! Сколько лет ты курил! Ну вот, кажется, эрекция потихоньку спадает. Нужно просто успокоиться. Хватит себя уничтожать! Эрекция — не такое уж тяжкое преступление, это же не изнасилование, не домогательство. Даже

католики не считают, что дурные мысли так же греховны, как дурные дела. В старших классах, когда на скучнейших уроках математики у него случалась эрекция, он представлял себе, что его родители умерли. А теперь-то они действительно мертвы, и сам он умрет, и Шерри, и Руби. О, срабатывает отлично! Безотказный антиафродизиак.

Собственно говоря, член у него встал не из-за стихов Анджелы, банальных, в сущности, по содержанию. И не потому, что написаны они студенткой, которую он знает лично, девушкой, о кое-каких сторонах натуры которой он бы и не догадался — а может, догадался бы, но был предусмотрителен и гадать не пытался. Ему сорок семь лет, и опасность сексуальных эксцессов почти миновала. Столько лет ему удавалось отделываться легким флиртом со студентками, причем прехорошенькими, и было бы безумием сойти с дистанции перед самым финишем ради этой пигалицы Анджелы Арго. Нет, причина эрекции не стихи. И точно уж не Анджела. Все дело в атмосфере — душная библиотека, нравственные табу, сама тема секса, как ни банально она преподнесена, и где — в этом унылом, аскетичном храме мудрости.

Он хочет прочитать остальные стихи. Только не здесь, не среди этих пыльных книг. Дома все по-другому. Чище. Спокойнее. Одна загвоздка — как пронести книгу мимо Бетти Хестер.

Может, просто ее украсть? Он окажет Бетти, да и Магде услугу. Почему он не прихватил с собой портфель? Можно сунуть книгу под мышку и вынести через центральный вход. Только с его-то везением наверняка окажется, что она намагничена, сработает сигнализация, которую установили несколько лет назад — питали идиотские надежды на то, что студенты будут воровать книги. Магда сказала, что Анджела ворует книги. А теперь этим, похоже, займется и Свенсон.

Он хочет заполучить эту книгу. Ему необходимо ее прочесть. Только никак нельзя брать ее на абонемент — запись об этом будет навеки внесена в компьютер. Может, сделать ксерокс? Там всего страниц пятнадцать-двадцать. Обрадовавшись, что нашелся такой простой выход, он спешит вниз, но по дороге вспоминает: копировальный аппарат стоит рядом с каталогом и его отлично видно от стола Бетти. Так, ксерокс отпадает. Главное — сохранять спокойствие. Не встречаться взглядом с Бетти, дать ей жестом или отсутствием оного понять, что он принес эту брошюру с собой, а теперь уносит домой.

Уголком глаза он замечает, что Бетти за столом нет. Но тут из-за стеллажей со справочниками Бетти кричит:

— Тед! Сию секунду подойду!

Разве соблюдение гробовой тишины не входит в ее профессиональные обязанности?

Свенсон выдавливает из себя улыбку. Только не впадать в панику. Он взял на себя труд проверить, над чем его ученица работала в прошлом году, на что он имеет полное право, более того, это говорит о его исключительной ответственности. Что это на него нашло: уважаемый писатель, преподаватель университета испугался, не пристыдят ли его за то, что он вздумал почитать какие-то дилетантские скабрезные стишки! Будто мальчишка, которого поймали с порножурналом.

Бетти берет Акерли, Свенсон украдкой перекладывает книжку Анджелы в другую руку. Это его. Он этого никому не отдаст. И Бетти это не касается.

— Тед!

— Да? — Он тянет время.

— Где твоя карточка?

— Ой! — Он отворачивается, чтобы Бетти не заметила "Анджелу-911", свободной рукой шарит по карманам, достает бумажник.

— "Моя собака Тюльпан"? Название незнакомое.

— Профессор Мойнахен посоветовала почитать, — говорит он. И непонятно зачем добавляет: — Мои ученики словно сговорились — пишут рассказы про людей, которые проникаются неподобающими чувствами к своим домашним животным. — Ну зачем он об этом?

— Да, наверное, и такое бывает. — Бетти проверяет книгу и, удовлетворенная выданной компьютером информацией, отдает Акерли Свенсону — все в порядке, можете идти.

— Спасибо тебе. — Свенсон говорит это с пылом — имитирует дружеское прощание.

И тут Бетти голосом учительницы начальных классов, велящей положить ей на стол шпаргалку или выплюнуть жвачку, спрашивает:

— А эту?

Свенсону бы сказать: "А это моя". Он не обязан ей ничего показывать. Но он протягивает книгу. Немой вопрос — выражением глаз, жестом: он что, просто забыл или не хотел ее предъявлять? Во взгляде Бетти мелькает тень подозрения, но тут же улетучивается. Бетти берет брошюру, они оба рассматривают обнаженную Венеру Милосскую, прикрывающую срам и беседующую по телефону.

— О! Кажется, я знаю автора. Она твоя студентка?

— То-то и оно, — благодарно кивает Свенсон.

— Ей повезло.

У Свенсона в глазах слезы облегчения. Сколько событий за день — ланч с Магдой, потом этот инцидент с самим собой, там, за стеллажами. Слава богу, милейшая Бетти своим поведением его успокаивает, дает понять, что нет ничего извращенного или постыдного в желании прочесть книгу, написанную студенткой.

Бетти заносит данные в компьютер, отдает книжку ему. Он едва сдерживает себя — ему хочется поскорее, пока она на передумала, схватить томик, сунуть в портфель.

— Как Шерри? — интересуется Бетти. Кажется, об этом она уже спрашивала.

— Отлично, — во второй раз отвечает Свенсон.

— А Руби?

— Отлично.

— Передавай им привет.

— А ты — своим, — говорит Свенсон.

***

Когда ректор Фрэнсис Бентам открывает дверь своего викторианского особняка на Мэйн-стрит, Свенсона и Шерри окутывают клубы едкого дыма.

— Добро пожаловать в крематорий, друзья! — приветственно машет рукой Фрэнсис. — Входите, если отважитесь! Но предупреждаю: обстановка накалена до предела. Высокие технологии и кулинарное искусство сошлись в последней схватке.

— Что-то горит? — спрашивает Шерри.

— Наш ужин, — сообщает Фрэнсис. — Видно, надо было провести полевые испытания нашей новой "Дженн-Эр". Первый блин комом. Эти встроенные грили — с ними замучаешься. Наверное, что-то с воздушным клапаном. Только я положил сосиски на решетку, они стали взрываться как петарды.

Свенсон с Шерри украдкой обмениваются взглядами. Так тебе и надо, думают они.

Фрэнсис подает гостям исключительно жареное мясо. Во-первых, потому, что, даже живя в дикой вегетарианской колонии, упорно придерживается британских традиций; во-вторых, обожает издеваться над любимым занятием всех американцев вообще и университетской профессуры в частности — борьбой за здоровый образ жизни.

Свенсон любит говядину. И всегда ест с удовольствием, тем более что дома ее подают нечасто. Он определенно предпочитает мясо студенистым запеканкам с цуккини, которыми потчуют на университетских ужинах. Однако Свенсон полагает, что не следует подчеркивать свое положение посредством выбора блюд. Кому какое дело до твоей должности? Ректор у себя на ужине подает то, что пожелает. Хочешь — ешь, хочешь — сиди голодный. Тут Свенсон вспоминает про зуб, надо бы его вылечить, таких пиршеств плоти бедняге не выдержать. Он щупает зуб языком. Жевать придется другой стороной.

Раньше они с Шерри всегда ходили на университетские ужины, но после рождения Руби много сидели дома, а теперь и охота пропала, да и приглашают их редко. В общине вроде юстонской если отказываешься от приглашений, на короткое время становишься самым желанным гостем. Но довольно скоро интерес угасает, и тебя просто перестают приглашать.

Давненько они не участвовали в подобных мероприятиях. Убийственные беседы, пошлые до предела. Неужели и правда миссис профессор Икс видела сегодня утром на кормушке красноголовую гаичку? В самом ли деле профессор и миссис Зет заказали двойной спальный мешок, а одинарный, присланный по ошибке, отправили назад? Сплетни — от умеренно гнусных до злонамеренных и жестоких. А эта отвратительная еда — да, было десятилетие, когда домохозяйки открыли для себя радости оливкового масла, чеснока, паэльи, жареных куриных грудок, фалафеля, но теперь бал правят аскеты-вегетарианцы, от которых ничего, кроме соевого сыра и поддельных сосисок, не дождешься.

Свенсона сюда не заманишь, но как назло, когда позвонила секретарша ректора, к телефону подошла Шерри. Шерри считает, что обижать коллег — все равно что самому рыть себе могилу. Мало ли о чем придется попросить. И игнорировать приглашения Бентама ни в коем случае не следует.

Свенсон напрочь забыл, что прием назначен на сегодня, поэтому был избавлен от мук ожидания, однако теперь вынужден испить чашу до дна. Хозяин проводит Свенсона и Шерри через огромную викторианскую дверь, по бокам которой Марджори Бентам понавесила каких-то национальных ковриков, притащенных с конференций в странах третьего мира. Дом обставлен на манер английского загородного особняка, он, как и положено, слегка обшарпан — тут уж постарались трое детишек Бентама, спортивного вида здоровяки, резвые, как породистые щенки: один теперь учится в Принстоне, другой — в Йеле, третий — в школе-интернате. Сегодня вечером детали неряшливо-аристо-

кратического быта затуманены дымом. Бентам откашливается, тем самым позволяя, даже предлагая Свенсону и Шерри, напитав свои легкие летающими в воздухе ошметками пережаренного белка, последовать его примеру.

– У нас без церемоний, – говорит Бентам. – Пристройте свои пальто вон там. Я бы вам помог, да вот... – Он демонстрирует свои руки в заляпанных жиром резиновых перчатках.

Раньше ответственность за ужин несли жены, но теперь зачастую обязанности кухарки берут на себя мужчины, предупреждающие все возможные обвинения в феминизации тем, что кухню объявляют своей территорией и никого к ней не подпускают. Такие мужчины – Фрэнсис Бентам из их числа – с поварешкой наперевес рады продемонстрировать гостям, что это исключительно мужское занятие.

С чего это Свенсон так взъелся? В чем виноваты эти люди? Скучная вечеринка – не преступление. Они же не снимают на видео детское порно. Можно посмотреть на это глазами Чехова – и увидеть сборище заблудших душ, которые изо всех сил стараются сделать вид, будто в этой глухой провинции они вовсе не заедены тоской и скукой. Чехов бы сострадал им, а не судил, как делает Свенсон. И кто он такой, чтобы их судить? Сомнительный тип, у которого член встает даже на эротические стишки юной студентки.

Стоило вспомнить про инцидент в библиотеке, и ему тут же кажется, будто кожа у него липкая, словно клеем вымазанная. А что, если кухонная гарь к нему пристанет? И он представляет себя персонажем из Готорна, чей грех обнаруживается на факультетском приеме. А какое, собственно, преступление он совершил? Взял почитать чьи-то стихи? Он же не кинулся, придя домой, в кабинет, не упивался ими тайком. Они лежат там, где он их оставил, – на письменном столе.

Кстати, о Готорне... Вот и Джерри Слопер – мистер Американская Литература, его багровое лицо едва виднеется в едких клубах дыма. Кого еще Бентам пригласил? Ну должен же быть кто-то помимо сотрудников английской кафедры. Ректор ведь любит звать новых людей, ежели таковые в Юстоне появляются. Идучи сюда, Свенсон втайне надеялся, что Бентам пригласил Амелию Родригес, весьма сексапильную сурового вида пуэрториканку, которая недавно возглавила новую кафедру – латиноамериканской культуры. Вечно недовольная Амелия хоть привнесла бы экзотическую нотку, была бы надежда получить – пускай мазохистское – удовольствие: все гости по очереди пытались бы ее развлечь, и ни один бы в этом не преуспел.

Но Амелии среди собравшихся в гостиной нет: на диванах и в креслах – знакомые всё лица, попивают коктейли, закусывают крекерами, намазанными какими-то фекалиями. Одному богу известно, сколько уже принято водок и двойных виски. От говядины, они, может, и воздерживаются, но святого не тронь.

– "Мармайт"[1]! – восклицает Бернард Леви, пожилой спец по восемнадцатому веку. – Я ж его последний раз ел в Оксфорде, в свой wunderyahr[2]!

– Вам нравится? – спрашивает Мардж Бентам. – Американцы его почему-то не любят. – Ремарка Леви воодушевила Мардж: она хватает с

1. Название питательной белковой пасты.
2. Замечательный год (*нем.*).

блюда два печенья и машет ими перед носом Свенсона и Шерри с таким видом, что ясно — отказа не примет, и они спешат отведать угощение.

"Мармайт"! Неужто садизму Бентама нет предела? Что последует за этим — холодец из телячьих ножек? Пирог с почками? Если Марджори известно, что большинство американцев, вернее, большинство нормальных людей "Мармайт" терпеть не может, то почему это единственная закуска? Свенсон храбро отправляет свой крекер в рот целиком и очень старается проглотить ошметки отрубей, склеенных мерзкой соленой пастой, не поморщившись. Остальные гости пристально следят за тем, как он это будет глотать.

Итак, кто же лицезреет смертельный трюк, исполняемый Свенсоном? Бентамы, Джерри Слопер, Бернард Леви, престарелый англофил с супругой, многострадальная Рут. Дейв Стеррет — викторианство — и его дружок Джейми — постструктурализм. Кремовые розочки на торте — неизменная поклонница Свенсона Лорен Хили, отъявленная феминистка и председатель Женской лиги. Он счастлив видеть Магду — его безумный взгляд, мечущийся по гостиной, с радостью выхватывает из толпы единственное родное лицо. Но радость сменяется легким беспокойством, причины которого он осознает не сразу: ах да, сегодняшний ланч, стихи Анджелы.

— Дружище, это надо немедленно запить, — советует Бентам.

— Водкой. Двойной. Будьте добры. — Свенсон чувствует, как Шерри буравит его взглядом. Ну и пей свое белое вино.

Опасения Свенсона подтвердились — здесь только английская кафедра. Все предсказуемо, никаких неожиданностей, никакой интриги. Спокойно, это всего-навсего ужин, не смерть же, не вечные же муки. Состав гостей указывает на то, что собрались здесь не для удовольствия, а для дела: ректор устраивает смотр одного из своих подразделений. Бентам будет задавать глубокомысленные вопросы и вполголоса отпускать сочувственные реплики, а они кинутся по очереди перерезать себе горло, и кто-то будет чересчур зажат, кто-то излишне наивен, кто-то чрезмерно ответственен, и даже штатные сотрудники испугаются за свои должности, а Бентам будет сидеть и смотреть, как отвратительно они себя ведут.

Дым потихоньку рассеивается, минуты дружеского единения перед лицом стихии подходят к концу. И вот они наконец могут увидеть друг друга в истинном и крайне нелицеприятном свете.

— Присаживайтесь, — говорит Бентам.

Свободны только два места — кресло времен королевы Анны и довольно широкий пуф. Свенсон и Шерри устремляются к пуфу.

— Привет, Тед! — говорит Берни Леви.

Предполагается, что Свенсон забыл, как двадцать лет назад Берни, боевой задор которого тогда еще не иссяк, выступал против кандидатуры Свенсона, заявляя, что писатель и кафедра литературного творчества университету ни к чему. Какая тут кафедра — всего-то Свенсон да Магда. Не о чем было Берни беспокоиться. Жаль только, что Берни проиграл. А то остался бы Свенсон в Нью-Йорке.

— Вот и наш творец! — говорит Берни. — Как тебе пишется, старина?

— Привет, Шерри, — сурово роняет Рут Леви.

— Привет, Рут, — отвечает Шерри.

— Спасибо, нормально, — говорит Свенсон.

— Роман продвигается? — спрашивает Дейв Стеррет, самый милый человек из здесь присутствующих, которого ежедневно мутузит его дружок-садист, постструктуралист Джейми.

— День на день не приходится. — Неужели это Свенсон сказал? Да, достаточно здесь появиться, и тут же цепляешь вирус неистребимой пошлости.

— Творческая работа — это подвиг, — говорит Рут Леви. — Требует полной отдачи.

Постструктуралист Джейми мечет в безобидную идиотку Рут свирепые взгляды, а Лорен Хили, готовая в любой момент броситься защищать старушку от мужчин-шовинистов, сурово уставилась на Джейми.

— Можете рассказать, над чем вы сейчас работаете?

Джейми что, шестым чувством уловил, что Свенсон не работает? И вообще, какое Джейми дело? Он ненавидит книги, или, как он их называет, тексты. Особенно он ненавидит писателей, наваливающих кучи бумажного дерьма, которые ассенизатор Джейми вынужден убирать.

С тех пор как Джейми зачислили в штат, он не дает себе труда скрывать презрение, которое питает ко всем остальным преподавателям. Исключение составляет Дейв — в него Джейми влюбился, едва попав в Юстон. Странно все-таки, что Берни Леви, выступавший против зачисления в штат Свенсона, с таким радушием приветствовал Джейми, оказавшегося гадюкой, которую они пригрели у себя на груди. Джейми не преминул сообщить, что книг Свенсона никогда не читал и не собирается, но время от времени интересуется его более знаменитыми и удачливыми собратьями по перу. Любит спросить, почему того или иного так перехваливают.

— Вот почему расспрашивать писателя о его творчестве считается верхом неприличия? — говорит Джейми.

— Пойду помогу Мардж, — заявляет Лорен. — Бедняжка там, наверное, одна замучилась.

Да, действительно, Бентам бросил Мардж разбираться с последствиями пожара одну. Он стоит с бокалом в руке, картинно облокотившись о каминную полку.

— Извините, Джейми, я не расслышал, — говорит Свенсон. — Что вы спросили? — Одно дело пропустить удар у себя на семинаре, и совсем другое — на ужине у ректора.

— Вы работаете над романом?

— Ну, теперь понятно, почему я сразу не услышал вопроса, — улыбается Свенсон. — Собственно говоря, да, работаю.

Шерри с Магдой не сводят с них глаз, обе мечтают, чтобы сменили тему.

— О чем ваш новый роман? — спрашивает Бентам. — Или вы уже рассказывали? Извините, я забыл.

А что, если Свенсон и впрямь уже рассказывал? Каково ему будет узнать, что этого обычно цепкая память ректора не удержала?

— Нет-нет, — успокаивает его Свенсон, — вам я не рассказывал. Вообще никому не рассказывал. Даже своей дражайшей и обожаемой, — кивает он на Шерри.

— Не смотри на меня так, — говорит Шерри.

Все хихикают.

— Ну хотя бы как называется? — жеманно вопрошает Фрэнсис. — Неужели и это секрет?

– Отчего же, – говорит Свенсон. – Он называется "Яйца".

Чувствует он себя как героиня "Экзорциста"[1]. Какой бес его попутал это сказать? Его так и подмывает оглянуться, посмотреть, откуда донесся этот голос.

– Очень любопытное название, – говорит Дейв.

– Тед, – шепчет Шерри недоуменно, – я думала, твой роман называется "Черное и черное".

– Похоже, жены обо всем узнают последними, – говорит Дейв.

– "Черное и черное"? – переспрашивает Рут. – Тоже интересное название.

– И вполне понятное, – бросает Джейми.

– Оба названия хорошие, – говорит Магда.

Свенсону очень хочется выяснить, знает ли Магда, как называется роман Анджелы. Называл он его за ланчем или нет?

– Название – коварная штука, – говорит Свенсон.

Он больше не в силах это выносить, поэтому встает и направляется к двери – будто ему понадобилось в уборную. А почему бы и нет? Можно пойти и не спеша помочиться, а заодно хоть несколько минут отдохнуть от этого приятного общества.

– Вот, на дорожку, – говорит Бентам.

В стакан Свенсона льется водка. Он одним глотком выпивает половину. Он все еще чувствует жжение в горле, когда по пути в ванную сталкивается с Лорен Хили, выплывающей из кухни с плетеным подносом, на котором ровными рядами выложена новая порция крекеров с "Мармайтом". Обычно Лорен носит темные костюмы, но сегодня она в хлопчатобумажном платье, тоже темном, с высокой талией, с морем складок по груди – помпезном и по-девичьи кокетливом одновременно. Свенсон окидывает Лорен оценивающим взглядом, Лорен за ним наблюдает. Затем подплывает к нему почти вплотную. Она ниже его чуть ли не вполовину и, воинственно вскинув голову, оглядывает его снизу вверх.

– Тед, зачем ты здесь? – почему-то таинственным шепотом спрашивает Лорен.

– Это в каком смысле?

– Ты же в штате. Тебе от Бентама ничего не нужно. Может, ты хочешь годичный отпуск? Или решил объявить новый семинар? А?

Лорен что, решила, раз он принял приглашение ректора, он трус и подхалим? Или так тоскует по светской жизни, что готов идти, куда бы ни пригласили?

– К телефону подошла Шерри. Иначе, уверяю тебя, сюда бы меня не затащили.

Лорен, услышав это, вся съеживается. До Свенсона слишком поздно доходит, что она, быть может, вовсе не собиралась его унижать, а просто решила пококетничать. Но это он пресек, упомянув Шерри. Он точно и холодно констатировал факт: меня бы тут – с тобой, с вами со всеми – не было, если бы меня к этому не вынудила жена.

Лорен, тряхнув головой – как собачонка, вымокшая под дождем, – удаляется с подносом крекеров. Свенсон отправляется в ванную, где мочится, но не как собирался – не спеша и с удовольствием, – а прежде долго стоит, вдруг смутившись оттого, что держит пенис в руке, ошарашенно разглядывает безупречно чистые, изысканных расцветок махро-

1. Фильм Уильяма Фридкина (1973).

вые полотенца Мардж, куски мыла, похожие на огромные карамельки. Он так счастлив хотя бы нескольким капелькам мочи — видно, с простатой проблемы, — что прощает себе мокрое пятно на брюках, хотя и понимает, что Лорен увидит в этом очередную декларацию воинственного мачизма.

Он возвращается в гостиную, которая за время его отсутствия опустела. На мгновение его охватывает паника, но тут он слышит голоса в столовой, куда все, кроме этого грубого, невоспитанного и уже пьяного писателя, успели перейти.

— Прошу прощенья.

Свенсон устремляется к единственному свободному стулу, который — то ли это его вечное невезенье, то ли Мардж постаралась — оказывается рядом с Фрэнсисом Бентамом и напротив Лорен. Будь он понаглее, заставил бы всех передвинуться и сел рядом с Шерри, которая слегка встревоженно следит за ним с дальнего конца стола. Только вот будь он понаглее, он бы вообще сюда не пришел.

Ректор раздает тарелки с едой. Мардж ухитрилась-таки спасти сосиски — сняла обгоревшие шкурки, а то, что осталось, мелко нарезала, смешала с мясной подливкой и подала с картофельным пюре — получилась импровизированная "пастушья запеканка". Это, конечно, не тот пир плоти, которым славятся Бентамы, но вполне съедобно. Гости оживились. Они склоняются над тарелками, по очереди бормочут комплименты в адрес Мардж и ее кулинарных способностей, старательно не замечая того, что подливка пропахла дымом и гарью. Запивают они это месиво реками кислого красного вина, которое ректор разливает из запотевшего графина.

— Великолепно получилось, — одобряет Лорен.

— Угу-мм, — соглашаются остальные.

— Замечательно, Марджори. Ну что ж, друзья, — говорит Фрэнсис, — что новенького на баррикадах?

Все продолжают есть — первым высказываться не хочет никто.

— Как вам надежда и гордость Юстона? По сравнению с прошлым годом? Или с предыдущими?

— Думаю, — начинает Берни Леви, — я никого не шокирую, если скажу, что каждую осень новички кажутся менее подготовленными, чем худшие ученики предыдущего года.

— Точно, — презрительно усмехается постструктуралист Джейми. — Сдается мне, в нынешних школах совсем позабыли Драйдена и Попа[1].

— А у вас как, Джейми? — спрашивает Фрэнсис. — Ваши что, из другого теста?

Не собирается ли Джейми сказать ректору, что те пятеро или шестеро ни на что другое не годных старшекурсников, которые выбирают его семинар по теории литературы, способнее тех, кто идет к Берни? Даже Свенсон, к Берни теплых чувств не питающий, напрягается.

— У меня в основном старшекурсники, — говорит Джейми. — Так что, когда они ко мне попадают, школьных учителей винить уже не в чем. Им успевают заморочить голову эти вот ребята, — показывает он на своих коллег. И смеется. В одиночестве.

1. Джон Драйден (1631—1700), Александр Поп (1688—1744) — английские поэты-классицисты.

— Тут на днях интересный случай случился, — говорит Джерри Слопер. — Он показал, какие нынче студенты и как они отличаются от меня в их возрасте.

— Я в их возрасте никогда не был, — признается Берни.

— Мы в этом не сомневаемся, — с готовностью подхватывает Дейв, явно смущенный нападками Джейми.

— "Случай случился"! — не выдерживает Джейми. — Господи помилуй!

— Джерри, прошу вас, продолжайте, — говорит Бентам.

— Шли занятия по введению в американскую литературу, — рассказывает Джерри. — Мы занимались Эдгаром По. Я решил начать с биографии... посвятить в кое-какие детали, так сказать, заинтересовать их бытовыми подробностями...

— Бытовые подробности! — вмешивается Берни. — До чего мы докатились! Сценарий для ток-шоу.

— Классно получилось бы! — говорит Джейми. — Например, По и его тринадцатилетняя кузина обсуждают свой брачный контракт в шоу Салли Джесси Рэйфел[1].

— Интересно, — подает голос Рут.

— Господи Иисусе, только не это, — говорит Свенсон.

— Ой, Тед, ты такой предсказуемый, — тут же вступает Лорен. — Вечно заступаешься за писателей-мужчин.

— Короче, я рассказал им, что у По были проблемы с алкоголем и опиумом, — продолжает Джерри. — Шатался по трущобам и тому подобное. Их очень интересуют эксперименты с расширением сознания. Но когда я стал рассказывать о супружеской жизни По, все вдруг притихли. Я спрашиваю, в чем дело, — молчат. Наконец одна молодая особа говорит: "Вы что, хотите сказать, что мы изучали произведения растлителя малолетних? Я считаю, прежде чем давать задание, нас следовало об этом предупредить".

— Быть не может, — изумляется Дейв.

— Может, — говорит Джерри.

— Растлитель малолетних? — вздыхает Магда. — Бедный Эдгар Аллан!

— Эдгар Аллан? Вот как? — усмехается Дейв. — Ох уж эти мне поэты! К великим обращаются по имени.

Магде приятно, когда ее называют поэтом, и она, обернувшись к Дейву, улыбается ему.

— Очаровательно! — Ректор кокетливо подпирает подбородок рукой и обводит взглядом всех сидящих за столом. — И многие из вас замечают повышенное внимание к... такого рода темам?

Еще одна тайна раскрыта! Оказывается, продолжение следует — начинается обсуждение основных вопросов недавнего собрания коллектива. Сексуальные домогательства — это навязчивая идея Бентама? Или он выполняет свой профессиональный долг? Неусыпное наблюдение за правовым статусом университета, его бюджетом, его репутацией?

— Мы должны быть крайне бдительны, — говорит Берни. — Когда я в своем кабинете разговариваю со студенткой наедине, дверь я оставляю открытой настежь. А в столе держу магнитофон, чтобы включить его, если дело примет рискованный оборот.

1. Известная ведущая телевизионного ток-шоу.

Присутствующие смотрят на Берни с плохо скрываемым изумлением, не в силах представить себе студентку, которой взбредет в голову ждать от Берни домогательств.

— Ну а каково мнение остальных? — спрашивает Фрэнсис. — Есть основания считать, что в Юстоне это животрепещущая проблема? Или всего лишь... обостренная реакция на современные тенденции?

— Все это крайне опасно, — говорит Дейв Стеррет. — Скажем так, взрывоопасно.

Гости сосредоточенно копаются в "пастушьей запеканке".

Пока в Юстоне не появился Джейми, Дейв, будучи куратором Союза студентов-геев, много лет подряд тесно общался с самыми сексапильными членами этой организации. Когда Джейми и Дейв полюбили друг друга, весь университет вздохнул с облегчением; впрочем, поскольку к тому времени все уже успели узнать Джейми, беспокоиться стали за Дейва. Свенсон никогда не мог понять, почему Дейв — высокий, тощий, болезненно застенчивый, к тому же на редкость прыщавый — пользуется таким успехом. Очевидно, в нем есть скрытые ресурсы — исключительная честность или безудержная храбрость, ведь решился же он ответить на вопрос ректора, хотя любой другой, будь у него такое прошлое, сидел бы и тихо ел свое картофельное пюре.

Дейв говорит:

— На прошлой неделе мы изучали "Большие ожидания". Один из моих учеников — здоровенный малый, любитель пива — спросил, не намекает ли Диккенс на то, что Пип и Магвич состояли в гомосексуальной связи. Он что, хотел меня поддеть? Они все знают, что я гей. Я сказал, что, вероятно, есть литературоведческие труды на эту тему — он может к ним обратиться. Но я лично не считаю, что Диккенс имел в виду такое прочтение. А нас ведь прежде всего интересуют намерения автора.

— Какие еще намерения автора? — кричит Джейми. — Дейв, как ты можешь! Неужели я тебя так ничему и не научил?

Дейв к такому привык. Он пропускает реплику Джейми мимо ушей и продолжает:

— Я думал, на этом все и закончится. Но на следующий день одна девица — она на занятиях говорит такое, что я подозреваю, в прошлой жизни она была протестанткой — пришла ко мне в кабинет и заявила, что после этого разговора не чувствует себя... в безопасности. Она так это произнесла... Признаюсь вам, у меня от таких слов мурашки по коже.

— Почему это? — возмущается Лорен. — Вполне нормальное английское слово, с очень конкретным значением.

— О господи, — вздыхает Джейми, — и тут семантика!

— А ты что, Дейв? — спрашивает Магда.

— Я ей напомнил, что разговор был начат не мной. Сказал, что хочу, чтобы мои студенты могли задавать любые вопросы. Прочел ей двухминутную лекцию о пределах академической свободы. После чего отправился домой и лег в постель с тяжелейшим приступом депрессии.

— Н-да, — говорит ректор и поглядывает то на Дейва, то на Джерри. — А эти случаи — с По и Диккенсом, — они оба на прошлой неделе произошли?

— Да нет, — отвечает Джерри. — С месяц назад.

Бентам качает головой.

— Статистика показывает, что обстановка, я бы сказал, накаляется. Вы что скажете, Лорен? У вас на занятиях подобное случается? По моему разумению, для области гендерных исследований это животрепещущая тема.

Свенсон силится вспомнить, как называется семинар, который Лорен ведет на старших курсах. "Гек-гермафродит: гендерные маски и подлинная сущность Марка Твена. Или — Сэмюэля Клеменса?" Так шутили на факультете, когда вывесили список семинаров. Но теперь все знают, что желающих попасть к Лорен хоть отбавляй. Воспоминание о презрении, которым Анджела облила Лорен и ее трактовку "Джейн Эйр", греет Свенсону душу.

— Конечно, случается, — говорит Лорен. — Я сама эти темы поднимаю. Хочу, чтобы они верили: я на их стороне. Хочу, чтобы они чувствовали себя на занятиях в безопасности — у меня, в отличие от Дейва, от этого слова мурашки по коже не бегут. Хочу, чтобы знали: они всегда могут со мной поговорить, и если у них возникают такого рода проблемы — будь то сексуальное домогательство или что еще, — они могут мне довериться, и я отнесусь к этому со всей серьезностью. Я считаю это своей обязанностью: будучи одной из немногих женщин...

Лорен никогда не упустит случая напомнить, что она была первой женщиной, принятой в штат на английскую кафедру, и до сих пор единственная в штате.

— Всем нам прекрасно известна история Юстона — мученическая гибель дочерей Элайи и так далее. Как бы то ни было, я убеждена, что, когда мы со всем этим разберемся открыто, атмосфера в университете изменится. Воздух станет чище. И тогда мы сможем — ничего не опасаясь — говорить обо всем, не опасаясь неловкостей.

Так вот в чем ошибка Свенсона. Будь у него хоть капля мозгов или хотя бы зачатки инстинкта самосохранения, он бы создавал атмосферу доверия, располагал студентов к себе, говорил бы, как хочет, чтобы они чувствовали себя в безопасности. Тогда бы они вели совершенно свободные дискуссии о совокуплении с целым выводком кур.

— Магда, а что с вашим семинаром? — спрашивает ректор. — Раз зашла речь о дамах вне штата, надо послушать нашу очаровательную поэтессу.

— Даже не знаю, — говорит Магда. — Мне трудно. Все время допускаю ошибки.

Хрипловатый голос Магды дрожит. Свенсону хочется помочь ей, увести из столовой. Не стоит Магде такое говорить. Этим людям доверять нельзя. Они принесут ей вреда больше, чем самый неуравновешенный студент.

— Ошибки какого рода? — спрашивает ректор.

— Кто-нибудь хочет добавки? — спрашивает Марджори.

— Какие ошибки, Магда? — повторяет ректор.

— О господи, — вздыхает Магда. — Просчеты. Ну хорошо, вот вам пример. Я заметила, что мои студенты ограничиваются в своих стихах довольно узким кругом тем. И я прочла им стихотворение Ларкина[1], начинающееся со слов "Они тебя затрахали, твои отец и мать".

— Обожаю Ларкина! — Дейв, святая простота, первым решается нарушить гнетущую тишину. Все остальные просто остолбенели. Магда что, не хочет в штат?

1. Филип Ларкин (1922—1985) — английский поэт.

— Я понимала, что это... небезопасно. — Магда включает обаяние — решила подать себя в качестве преподавателя, ночами напролет думающего, как помочь студентам. — Много об этом думала. Понимала, что иду на риск. Но их реакция оказалась гораздо хуже, чем я предполагала. Они все просто с лица спали.

Свенсон подливает себе вина. Сколько Магда выпила? У нее установка на саморазрушение? Жалко ее — у всех, даже у бессердечного Джейми, сердце кровью обливается.

— Может, дело было не в лексике, — говорит Джейми. — Дело в самом Филипе Ларкине. Вот его почему-то переоценивают. Да что там есть, кроме самолюбования и жалости к самому себе? Сплошные муки капризного дитятки, изображающего из себя преклонных лет библиотекаря.

— А какой он женоненавистник! — вступает Лорен. — Ни единой позитивной, жизнеутверждающей строчки во всех его произведениях!

Для Свенсона слушать такое невыносимо. Он искренне любит прекрасные стихи Ларкина, в которых правды гораздо больше, чем хочется публике. Не помогает даже мысль о том, что мало найдется столовых, где если не все, то уж точно большинство присутствующих знает, кто такой Ларкин.

— Магда, милая, — говорит Берни, — если ты хотела, чтобы твои студенты немножечко "расковались", следовало ссылаться на другие образцы. Вот Свифт, например. Свифт, как тебе прекрасно известно, мог быть очень и очень раскованным, местами порнографичным.

Свенсон осушает бокал. У него очень странное ощущение: желание, нет, даже потребность высказаться жжет мозг. От чего это несет горелым — от его собственного серого вещества или от бентамовских сосисок? Череп раскалывается, но взрыва допустить нельзя. На Магду накинулись за то, что она произнесла слово "затрахали", а он на своих семинарах часами обсуждает описание скотоложских утех. Человеку, у которого на столе лежат непристойные стихи Анджелы, в это вмешиваться никак не следует.

Мысль об Анджеле придает ему сил. Его раздрызганные чувства, сосредоточившись на факте ее существования, успокаиваются. Она словно бы стала приютом, в котором он может найти покой. Она напоминает ему о мире, существующем за пределами этого угнетающего душу ужина, о мире, где обитают молодые люди, мечтающие писать, что некоторым из них даже удается.

И конечно же, именно в этот самый неподходящий момент, в этой самой неподобающей обстановке Свенсон начинает задумываться, а не влюбился ли он самую капельку в Анджелу Арго. Он же думает о ней, ждет с ней встреч. Нет-нет. Он только ждет с нетерпением продолжения ее романа.

Он смотрит через стол на Шерри. Она тут же ловит его взгляд. Шерри любит его. Понимает. У них есть дочь. Они прожили вместе двадцать один год — здоровенный кусок жизни. Но Шерри терпит происходящее на этом ужине, а Анджела, наверное, не стала бы. Шерри привыкла к компромиссам — как и он, — а Анджела, наверное, до сих пор верит, что ей удастся этого избежать. Шерри хочет только одного — вытерпеть происходящее до конца. Анджела бы ни за что не пожелала мириться с их тупым самодовольством. Она бы закатывала глаза или же буравила взглядом дырки в полированном столе Бентама.

Свенсон — ради Анджелы — обязан высказаться начистоту. Ему кажется, будто в носу у него появились серьги, на голове выросла ярко-зеленая шевелюра. Лоб горит, щеки раскраснелись, кожа на лице подобралась.

— Мне вот что пришло в голову, — слышит он собственный голос. — Так сказать, новый подход. — Прочие гости оборачиваются к нему и видят, что лицо его алеет, как поджаренная креветка.

— И что же это, Тед? — спрашивает Бентам.

— По-моему, мы решили сдаться без борьбы, — говорит Свенсон. Шерри и Магда обеспокоенно переглядываются. Он подмигивает им и продолжает: — Мы поддались требованиям цензуры. А должны бы помогать им преодолевать трудности. Надо пытаться вернуть их в нормальное психическое состояние — как это делают сайентологи...

— Тед, ты что, сайентолог? — изумляется Лорен. — Вот не знала! Интересно.

— Тед — квакер, — говорит Дейв Стеррет, единственный, кто прочел — во всяком случае, утверждает, что прочел — романы Свенсона. И действительно, он часто приводит примеры — как будто его кто станет проверять.

— Уже нет, — говорит Шерри. — Тед уже не квакер. — Шерри — знаток его внутренней жизни.

— Естественно, я не сайентолог. Лорен, ты думаешь, я идиот? Я просто читал об их методах. И в них есть некоторый смысл. Тебя подсоединяют к детектору лжи и зачитывают вслух список слов, которые непременно вызывают эмоциональную реакцию. Мать. Отец. Ребенок. Секс. Смерть. Эти слова повторяют снова и снова, пока график не выровняется. Так может, нам устроить нечто подобное для этих обывателей, для зануд... долдонящих про сексуальные домогательства? Запрем их в комнате и будем бомбить неприличными словами, пока они не повзрослеют. Говно-говно-говно. Жопа-жопа-жопа. И так далее. Мысль ясна?

Так, ему удалось завладеть их вниманием. Все гости вежливо слушают, как он на все лады повторяет непристойности, — ну просто шизик на прогулке.

— Твою мать. Пенис. И все такое. Никаких изысков, ничего из ряда вон выходящего. Самые обычные, проверенные временем англосаксонизмы. Мы окажем им огромную услугу, нравственную, духовную, — поможем быстрее повзрослеть, и пользы от этого будет неизмеримо больше, чем если мы будем с ними нянчиться, потакая их капризам и неврозам.

— У Теда... — говорит Шерри, — у Теда синдром Туррета[1]. Проявился в зрелом возрасте. Очень редкий случай.

Не смеется никто.

Свенсон говорит:

— Отличная идея! Наймите умственно неполноценных. Найдите людей с синдромом Туррета, пусть они и говорят непристойности.

Его коллеги кто тупо уставился в тарелку, кто смотрит в никуда.

— Так! — восклицает наконец Марджори. — Замрите! Не двигайтесь! Сидите на местах, а я уберу со стола.

— Марджори, ужин изумительный, — говорит Магда.

— Помощь точно не нужна? — спрашивает Лорен.

1. Разновидность гиперкинезов: разнообразные тики, а также копролалия, то есть непроизвольное произнесение вульгарных или нецензурных слов.

Еще комплименты, еще предложения помочь. Все как один — даже Шерри — избегают встречаться взглядом со Свенсоном. С дальнего конца стола Магда посылает ему такую ободряющую, такую вымученную улыбку, что до него наконец доходит — он провалился с треском.

— Десерт Марджори готовила весь день, — с гордостью объявляет ректор. В дверях появляется Марджори, в руках у нее результат ее суточных трудов — огромный пудинг, верхний слой которого (похоже, это клубничное желе) дрожит под тяжестью крохотных серебристых шариков карамели и разноцветной посыпки. Сияние химической радуги.

— Бисквитный торт, — раскрывает секрет Мардж.

Гости ахают и как по команде начинают улыбаться, будто она их фотографирует, делает групповой портрет взрослых мужчин и женщин в предвкушении десерта.

***

Дурной знак: выйдя от Бентамов, Шерри мчится вперед и садится за руль. Другой дурной знак — тишина: оба, пока машина выезжает на Мейн-стрит, хранят молчание.

— Господи, Тед! — говорит Шерри. — Что на тебя нашло? Я все ждала, когда ты рухнешь лицом в тарелку и начнешь извергать блевотину.

— Знаешь что странно? Я тоже думал про "Экзорциста", совсем недавно. И чувствовал себя тем ребенком... — Свенсон смеется с ожесточенным удовольствием.

Он чувствует себя удивительно счастливым от того, что не разыгрался стандартный сценарий: мрачная жена отчитывает заблудшего мужа за то, что он преступил границы общепринятых приличий и оскорбил власти, которые принимают решения о — пускай микроскопических — прибавках к жалованью. Шерри не превратилась в его мамашу, попрекающую расшалившегося сыночка-мужа. Они оба так и остались непокорными ребятишками, детьми-бунтарями, сохранившими свою испорченность даже среди этих анемичных слабаков Новой Англии.

— Рад, что тебе понравилось, — говорит Свенсон. — Господи Иисусе, как я мог такое выкинуть? Это все Джейми, он начал поносить Филипа Ларкина, и я как с цепи сорвался.

Шерри молчит до поворота на юстонскую маслобойню.

— А Магда в тебя влюблена как кошка. Тебе это известно? — Шерри спрашивает из любопытства? Ревнует? Гордится? Или просто поддерживает разговор?

— Магда не в моем вкусе, — говорит он. — Не люблю я этой нервозности, истеричности, свойственной ирландским католикам. Любил бы — женился бы на маме. — Он понимает, что предает Магду, он винит себя за ложь — качества, которые он только что осудил, всегда ему нравились. Но это самый быстрый способ сменить тему. — А почему ты так решила?

— Она на тебя так смотрит, — говорит Шерри. — С неприкрытым восхищением. Бедняжка! Мне хотелось ее придушить.

— Неприкрытое восхищение — это ты проецировала, — говорит Свенсон.

— Точно, — соглашается Шерри и смеется.

— Я польщен. Только мне не кажется, что Магда в меня влюблена. Поздно уже. Я слишком стар. Все в прошлом. В меня никто уже не влюб-

ляется. Даже студентки. Неужели ты думаешь, я еще могу кому-нибудь нравиться?

– Думаю. – Шерри кладет руку ему на бедро, ведет к промежности. Да, он счастливчик – у него красавица жена, которую его отвратительное поведение на факультетском ужине только возбуждает.

Руки их сплетаются, и Шерри высвобождает свою уже на подъезде к дому. К двери она подходит раньше его – вылезая из машины, Свенсон понимает, что пьян сильнее, чем думал, – и, стоя в прихожей, ждет, пока он войдет. Они обнимаются. Свенсон проводит ладонью по ее спине, притягивает к себе.

– Поднимайся и жди меня в спальне, – говорит он. – Мне тут пришла в голову одна мысль, хочу записать ее, пока не забыл.

– Ладно, – кивает Шерри. – Только ты недолго. Я почти засыпаю.

Теперь Свенсон точно знает, что пал, опустился ниже всех границ приличий, чести, самосохранения. Его привлекательная, взрослая жена ждет его в супружеской постели, а он крадется крысой сквозь тьму в свою нору – не может дождаться утра, ему не терпится сейчас же прочесть непристойный стишок, написанный юной девицей.

Свенсон находит "Анджелу-911", спрятанную под грудой неоплаченных счетов. Он наугад открывает книжку и сосредотачивает взгляд, потому что иначе буквы расползаются по всей странице.

> Он говорит: Это 859-6732? Это Анджела-911?
> Анджела, это ты?
> Я говорю: Чем хочешь заняться сегодня?
> Он: Тс-сс! Молчи! Слушай, что я делаю.
> Я подхожу к тебе сзади.
> Я зажимаю тебе рот ладонью.
> Я: Миленький, как же мне говорить по телефону,
> Если ты зажал мне рот?
> Он: Не называй меня миленьким.
> Я зажал тебе рот ладонью.
> Ты стоишь, согнувшись над мусорным ведром.
> Я задираю тебе юбку,
> Легонько шлепаю по заднице,
> Чтобы ты раздвинула ноги. Ты приподнимаешь зад –
> Так мне легче будет войти в тебя.
> Я: Милый, ты же знаешь, я не могу говорить.
> Пока. Я вешаю трубку.

Свенсон закрывает книжку, выключает свет. Он не хочет думать об этих стихах, он вообще не хочет думать. Ориентируясь по тусклому лунному свету, он ощупью добирается до спальни. Шерри заснула? Он раздевается, ложится с ней рядом. Рукой проводит по ее бедру.

– Тед, – говорит она сонно, – послушай...

Он закрывает рот Шерри рукой. Она проводит языком по его ладони, быстро и нежно, – и словно сноп разноцветных искорок взрывается у него в паху.

– Только ничего не говори.

– Хорошо, – соглашается Шерри. – Ни слова. Обещаю.

Порой Свенсон никак не может вспомнить, что происходило на прошлом занятии, и тогда, отыскав самого обиженного и насупленного

студента, определяет, чей рассказ громили последним. Сегодня ему устроили настоящую пытку. Мрачны все, и особенно свирепой выглядит Кортни; судя по тому, как она садится, как неестественно прямо держит спину, как стискивает руки, память подсказывает: "Первый поцелуй. Городской блюз".

Впрочем, все остальные также источают недовольство. Может, в университете ввели новые правила — запретили пивные вечеринки в общежитии? Или это просто упадок сил, наблюдающийся у всех в середине семестра, — да вроде рановато. Или они все каким-то образом пронюхали, что их преп всю неделю читал стихи Анджелы? Вспоминаются рассказы из жизни матадоров и укротителей львов. Говорят, в день несчастья они кожей чувствуют, что животное не в настроении.

В клетке с разъяренными зверями самым напуганным выглядит Карлос.

— Карлос! — говорит Свенсон. — Друг мой!

— Угу, — угрюмо мычит Карлос.

За столом только одно свободное место — между Анджелой и Клэрис. Свенсон втискивается ровно посередине, дыхание у него перехватило, он надеется лишь, что, если потеряет сознание, рухнет на колени Клэрис, а не на Анджелу Арго, что было бы совсем уж предосудительно. Никого не насторожили капельки пота, выступившие у него на лбу? Заметил это кто-нибудь? Вроде нет. Вот и отлично. Зловещий внутренний голос, якобы успокаивая его, талдычит мантру из трех слов: никто не знает. Никто не знает. Никто не знает, что стихи Анджелы лежат у него дома в кабинете, заперты на ключ в ящике стола. Никто не знает, что ее мерзкие верлибры засели у него в башке — так малярийный комар пересекает океан в салоне самолета. Стихи про инцест, про насилие...

Но сейчас будем разбирать работу Карлоса. Свенсону нужно сосредоточиться на рассказе — утром он только наспех его проглядел. Вроде неплохой, но какой-то тревожный, а студенты не любят, когда их тревожат, поэтому обсуждение опуса с неудачным названием "Унитаз" наверняка будет бурным.

"Унитаз" начинается с описания героя — "жирной белой рыбы", — лицо которого другие обитатели исправительной колонии для мальчиков окунают в вышеуказанный сосуд. Далее героя вынуждают к самоубийству, о чем читатель догадывается со второго абзаца. В душераздирающей и на удивление хорошо получившейся сцене перед самым финалом мальчишку уговаривает покончить с собой его сосед по нарам, который рассказывает ему путаную, изобилующую садистскими подробностями историю про то, как собаку убили из сострадания, и объясняет, в чем сострадание заключается.

Свенсон предлагает:

— Карлос, почитайте нам немного.

Карлос шумно вздыхает.

— Не, я не смогу.

— Карлос, это обязательно для всех. Ну, вперед! Ты ж в морской пехоте служил! — говорит Джонелл.

— На флоте, — уточняет Карлос. — С твоего позволения.

— Ладно вам, друзья, — говорит Свенсон. — Это и вправду тяжело. Дайте Карлосу передохнуть.

Анджела говорит:

— Да уж — это мука несусветная. Я вот в таком ужасе от того, что вы будете обсуждать мою работу, что просто не приношу ее, и точка.

Эта группа, как и прочие, обращает внимание на минимальные перемены статуса своих соучеников. Всем известно, что Свенсон читал рукопись Анджелы. Вот она и дала им понять, что дело не в особом к ней отношении, это не признание исключительности ее таланта, а всего лишь снисхождение к ее детским страхам. Она ведет себя как маленький пушистый зверек, который в разгар яростной дарвинистской кампании упал лапками кверху и притворился мертвым.

— Точно! — говорит Нэнси. — Прошлой весной Анджеле так досталось на поэтическом семинаре у Магды, что она больше рисковать не хочет.

Вот, значит, какой им представляется Анджела: сочинительницей посредственных эротических стишков. Однако они читали ее стихи, обсуждали на занятиях наименее откровенные, а Свенсон даже наедине с собой стесняется их читать. Разница в том, что им задавали читать стихи Анджелы, а Свенсон делает это по доброй воле. Был бы он поувереннее в себе — гордился бы тем, что искренне заинтересовался творчеством одаренной студентки.

— Так и есть, — говорит Свенсон. — Все мы знаем: когда твою работу обсуждают в классе, приятного в этом мало. Давайте же помолчим и уделим внимание Карлосу.

— Ладно, Тренер. Поехали. За дело. — Карлос откашливается.

Эдди был рад тому, что на дне унитазов не устанавливают зеркал. Иначе бы он видел свое бледное, жирное лицо, растекающееся медузой, похожее на подводное чудище, видел бы ужас, застывший в голубых водянистых глазах, видел бы, как изгибается собственная шея, когда он отхаркивает вонючую воду и молит своих мучителей о пощаде...

Свенсон дает Карлосу почитать еще немного.

— Благодарю, — наконец говорит он. — Это очень смелый рассказ. Действительно смелый. А теперь послушаем, что скажут остальные. Помните, сначала о том, что вам понравилось...

— Что же, — говорит Макиша, — проблема очерчена в самом первом абзаце. Какой идиот станет размышлять о зеркалах на дне унитаза, когда его окунают туда с головой?

— Макиша права, — подхватывает Дэнни. — Чушь насчет зеркал в унитазе — сразу понятно, так описывает этого парня Карлос, а вовсе не о том речь, что парень думает на самом деле...

— На самом деле? — перебивает его Анджела. — Откуда тебе известно, что ты на самом деле будешь думать, когда тебя окунут головой в унитаз?

Давай, Анджела, мысленно подбадривает ее Свенсон. Его бесит благодарный взгляд, который бросает на Анджелу Карлос. Он же раньше на нее никакого внимания не обращал. И в отместку Свенсон не напоминает классу, что сначала положено обсуждать то, что им понравилось.

— Честно говоря... — Когда Мегги говорит "честно говоря" или "лично я", всем хочется бежать куда подальше. — Мне вообще было скучно. Лично я сыта по горло всей этой лабудой о парнях, которые друг друга убить готовы, лишь бы не признаваться в том, что больше всего на свете им хочется друг у друга отсосать.

– Мег, прошу вас! – вступает Свенсон. – Мы же договорились: сначала о том, что понравилось.

– А я, Мег, по горло сыт твоей лабудой, – говорит Карлос. – Если ты и впрямь считаешь, что парни только и мечтают, как бы друг у друга отсосать, понятно, почему ты у нас розовая.

Тут Свенсон ясно, будто на киноэкране, видит, как он в кабинете Фрэнсиса Бентама отвечает на обвинения Мег, заявившей, что именно на его занятиях ее обозвали "розовой". Но не Свенсон же такое сказал. Его вины тут нет. Он чист. Чист!

– Друзья мои! – говорит он. – Уверен, есть способы вести обсуждение, держась в рамках приличия. Хочу всем вам напомнить, что на наших занятиях мы говорим о языке, и некоторые выражения в этом классе употреблять не рекомендуется.

– Как это? – говорит Макиша. – Братья и сестры так и разговаривают...

Свенсон ее игнорирует.

– Клэрис, – в голосе Свенсона слышится тоска, – что *вам* понравилось в рассказе Карлоса?

– Там есть... несколько удачных пассажей, – снисходит Клэрис. – Мне понравилась последняя сцена. То место, где другой парень – не помню имени – рассказывает про собаку...

– Дуфи, – подсказывает Нэнси.

– Дуфи, – повторяет Клэрис. – Да, точно. Ну вот, мне понравилась его телега про то, как пристрелили собаку, которую переехал грузовик. Понравилось, потому что ясно – он перебирает, даже когда пытается заставить Эдди почувствовать себя этой собакой.

– Этот кусок – про кровь, кишки, мозги – ну просто Квентин Тарантино. – Для Джонелл это никакой не комплимент.

– Слишком уж прямолинейно, – говорит Кортни. – Это сравнение мальчишки с собакой.

– Так и было задумано, – возражает Клэрис. – Но я не верю, что рассказ Дуфи подтолкнул Эдди к самоубийству.

Клэрис опять попала в точку. Концовка совершенно неправдоподобная. Эдди выбрасывается из окна и ломает себе шею.

Джонелл говорит:

– Все получилось чересчур предсказуемым. По заданной схеме. С первых строк ясно, что Эдди это сделает.

– Откуда ясно? – не выдерживает Карлос. – Ну-ка, покажи! Где в первом предложении об этом говорится?

– Карлос, – говорит Свенсон, – прошу вас, посдержаннее.

– Знаете, что я подумала? – говорит Кортни. – Я все пыталась вспомнить, где я такое читала. А потом вспомнила: в кино видела, был такой фильм, там все как в рассказе Карлоса, только про солдат, морских пехотинцев, что ли. Один солдат – глупый, толстый, все в казарме над ним издеваются, он потом застрелился в ванной, а отряд отправили во Вьетнам. Или куда-то еще.

– Это же Кубрик! – говорит Дэнни. – "Цельнометаллический жилет". Один из величайших фильмов всех времен и народов.

– Мне он показался скучным, – говорит Кортни. – Но все же получше рассказа Карлоса.

И тут звенит звонок. Фраза Кортни повисает в воздухе. И Свенсон, мгновенно забыв о том, что должен защитить Карлоса от жаждущих кро-

ви однокашников, чувствует, как дрожит пол, — это Анджела под столом перебирает ногами. Пока звенит звонок, он думает только о том, как бы засунуть руку ей между бедер. Он так живо представляет себе это, будто уже щупает ее. И только через несколько секунд понимает, что, слава богу, ничего такого не сделал.

Звонок стихает.

— Итак, — говорит он, — на чем мы остановились?

Анджела говорит:

— Вы, ребята, слишком уж накинулись на Карлоса. В его рассказе есть удачные куски, и он близко не похож на этот фильм. То место, где Дуфи рассказывает о собаке, очень здорово получилось.

Это она специально для меня, думает Свенсон. Мне нужно было, чтобы она так сказала. Карлос смотрит на Анджелу с неприкрытым восторгом.

— Похоже, мнения разделились, — говорит Свенсон. — Уж не знаю, Карлос, извлекли ли вы для себя какую-нибудь пользу. Хотите что-нибудь сказать?

— Спасибо, Анджела, — говорит Карлос. — Хоть кто-то понимает.

Все расходятся, только Карлос стоит у двери — ждет Анджелу. Но Анджела нарочно копается — дожидается Свенсона. То, что происходит, совершенно очевидно: так красавица самочка льнет к оленю, только что победившему соперника. Пусть Карлос моложе и сильнее, но Свенсон — преподаватель.

Карлос наблюдает за происходящим от двери, обо всем догадывается и уходит, на прощание бросив на Свенсона понимающий — изучающий — взгляд.

Свенсон говорит:

— Вы, Анджела, кажется, опять спасли занятие. Я уж думал, они разорвут беднягу Карлоса на мелкие кусочки и устроят пир.

— Я просто сказала правду. Рассказ у него неплохой.

— И опять вам спасибо.

— Не стоит меня так часто благодарить, — говорит Анджела. — За все приходится расплачиваться. — Она смотрит на него в упор, и Свенсон вдруг слышит уверенный, профессиональный, зомбированный голос, звучащий в ее стихах. Ему кажется, что это он звонит сейчас Анджеле 911, ждет от нее запретных утех. Но нет же, ничего подобного не происходит, это игра воображения...

— И чем же платить мне? — Звучит это помимо его воли кокетливо.

— Временем, — говорит Анджела. — Своим трудом. Как отрывок, который я вам дала, — получился?

— Вполне. Отлично дополняет текст. Но я надеюсь прочитать и больше...

— Очень хорошо. Я на это и рассчитывала. У меня для вас еще одна глава. Но тут у меня кое-какие сомнения. Понимаете, мне кажется... она провальная. Я попробовала писать от лица матери. Ну, вы понимаете, насчет расплаты — это просто шутка. Я знаю, я вас сильно гружу, если у вас нет времени, могу подождать до следующего раза или когда вам будет удобно.

— Что за глупости! — говорит Свенсон. — Я с удовольствием. Только зря не волнуйтесь: на это у меня уйдет несколько дней.

— Не буду. — Анджела протягивает ему очередной оранжевый конверт. — Буду ждать звонка... Ой, да, вот что — можно вас попросить еще об одном одолжении?

Свенсон инстинктивно напрягается.

— Мои мама с отчимом приезжают на родительский уик-энд. Они, может, зайдут к вам побеседовать. Вы мне окажете огромную услугу, если объясните им, что я не пускаю их деньги на ветер. Оценки у меня хреновые, и отчим все время грозится, что заберет меня отсюда, отправит в наш местный колледж...

— Неужели они пойдут на такое? — Голос у Свенсона чересчур взволнованный.

— Может, и нет. Сейчас меня туда, возможно, просто не возьмут.

— Что смогу, сделаю, — говорит Свенсон. — Рад буду с ними познакомиться.

Пешком по кампусу, стремглав по лестнице на четвертый этаж, что полезно для сердца и сосудов, — и запыхавшийся Свенсон отпирает дверь своего кабинета, садится за стол, начинает читать.

Все то лето мистер Рейнод провел со своей семьей в летнем лагере для учителей музыки. Лежа в шезлонге на заднем дворе и усиленно загорая, я воображала его там. Мне виделась зала, обшитая деревянными панелями, со звукопоглощающим ковром на полу. Я представляла себе, как он обхватывает ногами свою виолончель и мелодия баховского хорала устремляется ввысь.

В начале одиннадцатого класса, увидев его в артистической, я на мгновение изумилась. Что он делает здесь, в реальной жизни, вне моего воображения?

— Как вы провели лето? — спросила я через силу.

Он положил ладонь мне на руку — на ту самую руку, за которую схватил меня прошлой весной. Мне почудилось, что он на лето меня отпустил, а теперь единственным прикосновением вернул назад. Садясь на место, я несла эту руку как драгоценность. Увидев, как он здоровается со всеми, как обнимает концертмейстеров, я поняла, что его прикосновение не значило ничего. Я не была единственной.

Девчонки все еще ходили в маечках без рукавов. Розовые руки скрипачек напоминали сырые сосиски и мелко дрожали, когда смычки взмывали вверх. Окна были открыты. Пахло горелой листвой. Крики с футбольного поля увязали в душном воздухе. Я вспотела, волосы слиплись и напоминали засохшую кисточку, измазанную масляной краской.

Впервые я мечтала, чтобы занятие закончилось попозже. Мне совершенно не хотелось задержаться в классе и привлечь внимание мистера Рейнода. Вдобавок я не выспалась. Утром проснулась совершенно больная. Даже подумала, не подцепила ли какую заразу в курятнике миссис Дэвис.

Я взяла кларнет и уже шла к двери, когда мистер Рейнод меня окликнул.

— Что с вами со всеми сегодня? — сказал он.

— Не знаю. Жара.

— Ты как?

— В полном порядке, — сказала я. — Правда. Просто вчера вечером ходила в этот идиотский курятник — мне для опыта надо, по биологии.

— Для какого опыта? — спросил мистер Рейнод.

— Я вывожу цыплят.

— Что, высиживаешь?

— В инкубаторе.

Тогда-то он мне и сказал, что в дни равноденствия и солнцестояния яйца можно ставить вертикально.

— Ого! — только и сказала я.

— Я рос на птицеферме, — продолжал он. — Так что, если тебе помощь понадобится, если чего не знаешь — не стесняйся, спрашивай. Я буду рад поделиться мудростью, которую накопил, общаясь с курами.

Тут прозвенел звонок — он меня спас.

Он забыл написать записку следующему преподавателю, что задержал меня, поэтому мне пришлось бежать сломя голову, и только после уроков нашлось время поразмыслить. Он серьезно предложил помочь мне с цыплятами? И этот странный рассказ про птицеферму... Я отлично помнила, как он рассказывал на репетиции, что детство провел в чикагских трущобах.

Заключительная фраза должна бы заставить читателя вздрогнуть от неожиданности, но Свенсону и финал, и вся глава приносят успокоение. Он наконец вспоминает, что привлекает его в Анджеле Арго — уж никак не эти мерзкие стихи. У девочки талант, который он должен поощрять, за это ему и платят.

К следующей странице приклеена записочка от Анджелы. "Этот кусок меня серьезно беспокоит. Точка зрения матери".

Только после того, что случилось дальше, я стала понимать, что происходило теми осенними вечерами, когда она говорила отцу, чтобы он не ходил в сарай, не помогал ей — она, мол, все будет делать сама.

Он, как всегда, не подавал виду, что обижен, обращал все в шутку. Ха-ха-ха, дочка-подросток сказала, что сама проведет опыт. Я наблюдала за ним, а он за ней.

— Она совсем еще ребенок, — говорил он. — Кларнет, отличные отметки, теперь эта история с яйцами.

И углублялся в чтение своих медицинских журналов, пил вечернее виски, дремал у телевизора. Я смотрела порой на него спящего — рот приоткрыт, очки набок — и все думала: куда же подевался тот молоденький красавчик доктор, который много лет назад спас меня — подхватил на руки, когда я потеряла сознание прямо в приемном покое.

На этом месте Свенсона самым настоящим образом пробирает дрожь, начинает ломить виски. Врач, не дающий больному рухнуть на пол, — случайное совпадение? Возможно, и случайное, но вряд ли. Скорее всего украла — быть может, сама не отдавая себе отчета — из его романа "Голубой ангел". В котором, в свою очередь, многое позаимствовано из его жизни.

Он читает дальше.

Это было в Бостоне, в пятидесятые. Я жила на Копли-сквер. Мечтала стать джазовой певицей. Мой возлюбленный играл на гитаре. Говорил, что он из цыган. Говорил, что его зовут Джанго. Но как-то раз позвонила старушка, его бабушка. Судя по акценту — итальянка. И попросила позвать Тони.

Почему он меня ударил? Я ничем его не спровоцировала — ни словом, ни жестом. И раньше такого не бывало. Он отправился играть в клуб, а когда вернулся, стащил меня с матраца, на котором мы спали, и ударил кулаком в лицо. Я помню, как пахла его злость — горелыми шинами, разлитым на асфальте мазутом.

Свенсон отрывается от рукописи. Так, она точно читала "Голубого ангела". Там героиня — джазовая певица, которая приходит в себя после

бурной любовной истории: она только что рассталась с одним музыкантом. И как ему поступить? Дать ли Анджеле понять, что он заметил, как перекликается ее роман с его? Такое случается — безо всякого умысла. Фраза, описание, поворот сюжета западают человеку в память, а потом всплывают в его тексте, причем он и не подозревает, что это заимствовано. Вот в таком ключе он и поведет разговор: максимально отвлеченно и побольше теории. По книжке Фрэнсиса Бентама — в третьем лице. Иногда написанное другими западает человеку в память... Но и это может все испортить, разрушить возникшее между ними доверие. Анджела такая ранимая: возьмет и решит, что он обвиняет ее в плагиате. Лучше об этом не упоминать, просто сказать, что кусок о прошлом ее матери показался ему лишним, он только отвлекает внимание. Анджела же говорила, что сама в нем сомневается. Он ей предложит вообще выбросить эту часть.

Что-то его еще беспокоит... Ага! Понял. В "Голубом ангеле" пассаж о возлюбленном певицы частично взят из его жизни. Когда они с Шерри познакомились, она как раз рассталась с этим парнем... Так, минуточку! Странно как. Настоящий возлюбленный Шерри играл именно на гитаре. А в романе он был барабанщиком. И вот Анджела снова сделала его тем, кем он был на самом деле. Впрочем, ничего такого уж удивительного, тем более что Анджела, сознательно или нет, но отталкивается от его романа. Естественно, она выбрала для своего героя другой инструмент. На чем вообще играют джаз?

Он находит место, где остановился, и читает дальше:

Я молодая была. Все зажило. Синяки прошли. Только однажды утром я проснулась, вылезла из постели и по дороге в ванную упала. Когда попыталась встать, перед глазами все закружилось, и я снова рухнула на пол. Теперь я по-настоящему испугалась. Решила, что, когда он меня ударил, что-то случилось с мозгом. Я вызвала такси. Поехала в больницу. Врач был молодой и симпатичный. Мне не хотелось ему рассказывать, что мой друг чуть меня не убил. Я сказала, что не понимаю, в чем дело. Он попросил показать горло. Сказал, что у меня воспаление уха. Я так обрадовалась, что вскочила и кинулась его благодарить...

Очнулась я на полу. Вокруг суетились медсестры. Красавец доктор щупал мне пульс. Читатель, я стала его женой.

На этом все. Тут рукопись заканчивается, и очень кстати, потому что Свенсон воспринимать ничего больше не может. У певицы в его романе была ангина — как у той, настоящей, которая пришла на прием перед ним. Воспаление среднего уха было у самого Свенсона, в романе об этом ни слова.

Вот уж о чем Анджела узнать никак не могла. Это же просто невозможно — невероятно, — что она так на него настроилась и, словно неким чудесным радаром, улавливает подробности из его прошлого. Впрочем, бывают случаи и более странные. Он отлично помнит, как его приятели-писатели (тыщу лет назад, когда у него еще были приятели-писатели) разговаривали о сверхъестественных совпадениях, которые случаются сплошь и рядом. Придумываешь героя, сочиняешь сюжет, а через несколько дней встречаешь такого человека или с тобой происходит то, что ты напридумывал.

А что, если он рассказывал эту историю на занятиях? Или кому-нибудь, кого Анджела знает? Они с Шерри представляли ее в лицах на фа-

культетском ужине, но это было много лет назад. Может быть, это Магда? Нет, он не в состоянии представить себе Магду, по-приятельски выкладывающую Анджеле историю о том, как профессор Свенсон познакомился со своей женой.

Он тянется к телефону — это уже становится привычкой. Начитавшись текстов Анджелы, он испытывает настоятельную потребность поболтать по телефону. Кому позвонить? Пожалуй, сейчас не лучшее время выслушивать жалобы Лена Карри, сокрушающегося, как трудно быть удачливым, хорошо зарабатывающим и очень популярным редактором с Манхэттена. Шерри он звонить не хочет, и Магде не позвонит — как бы снова якобы случайно не свести разговор к Анджеле Арго. Анджеле он тоже не готов звонить: не станет же он обсуждать с ней новую главу, думая только об одном — как она разузнала подробности его жизни.

Ну ладно, если у него уже выработался рефлекс на телефон, так и позвоним — на рефлексе. Свенсон чувствует только, как пальцы жмут на кнопки. М-мда, чей же это номер? Это, конечно, просто шутка, но — ого! — похоже, он звонит по номеру из стихов Анджелы, в "Секс по телефону".

Непонятно только, как он его запомнил. Он же все забывает. Ответ один: он давно знал, что позвонит.

Он испытывает легкое волнение: так волнуешься, переворачивая страницу, только на сей раз страницей окажется телефонный счет английской кафедры. Сексуальные услуги по телефону за счет университета — не повредит ли это его репутации? Да чего, собственно, бояться? Секс по телефону не считается преступлением. При мысли о том, что ему могут запретить звонить по секс-номеру, он решает, что позвонит непременно и будет разговаривать, пока его не оттащат от аппарата.

Нет, скорее всего у него спросят номер кредитной карточки. И в университетский счет это не попадет. Да он вообще не собирается ни с кем беседовать. Только узнает, кто подойдет. Вообще-то он уверен, что номер выдуманный. Попадет к какому-нибудь старикану из Мидлберри или в авторемонтную мастерскую в Плейнфилде. Интересно просто, кто ответит, а потом Свенсон извинится и повесит трубку.

— Добрый вечер, — деловым тоном служащей авиакассы говорит какая-то женщина. — Это "Интим по телефону". С кем бы вы хотели побеседовать?

Свенсон никак не может ответить. Она наверняка к такому привыкла. Наконец, прикрыв ладонью трубку (этим ее, конечно, тоже не удивишь), он решается:

— Можно Анджелу-911?

— Увы, дорогой мой. Она здесь больше не работает. Не желаете ли побеседовать с какой-нибудь другой дамой?

— Нет, благодарю. — Свенсон вешает трубку.

В нем бурлит адреналин. Накатывает такая волна облегчения, что кружится голова. А чего он ждал? Что воображал себе? И что бы он делал, если бы Анджела-911 ответила?

Свенсон покидает свой кабинет, едет домой, причем участвует в этом только мизерная часть души. Бóльшая же нашла занятие поинтереснее — она решает вопрос о том, откуда Анджела разузнала про его прошлое. Скорее всего, это просто совпадение. Такой ответ его вполне удовлетворяет. Да, дрожь, конечно, пробирает, но об этом думать куда

спокойнее, чем о том, что он пять минут назад с университетского аппарата звонил в "Секс по телефону".

После ужина у Бентамов он, к своему неудовольствию, понял, что Анджела занимает гораздо больше места в его мыслях, чем следовало бы. Не забыл он и про то, как меньше часа назад, притворяясь, что ведет занятие, представлял себя ласкающим ее промежность. Но фантазия — это же не поступок! Браво! — вот вам вытеснение, а вот и чудесный беленький домик показался за поворотом.

Шерри еще не вернулась. Свенсон идет в кабинет, находит номер и звонит Анджеле в общежитие.

Голос у Анджелы сонный.

— Я прочитал вашу главу, — говорит Свенсон.

— Уже? Ого! Я польщена.

— Не стоит. — Как-то это все убого. Занятие только что закончилось, а он уже прочел работу студента, да еще сообщает об этом. — Роман, похоже, хороший. Сюжет меня зацепил.

— Вам новая глава совсем не понравилась? Поэтому вы так сразу позвонили?

— Вовсе нет. Первая часть замечательная.

— Она о чем?

Неужели сама не помнит? Когда она дала ему первый отрывок, все опечатки знала наперечет. Голос у нее какой-то хриплый. Спала? Или, может, он позвонил в разгар свидания с дружком, о котором она упомянула вскользь тогда, у него в кабинете? У нее что, автоответчик не работает? Зачем было трубку снимать?

— Вы сказали, что первая часть замечательная. Значит, вторая провальная, да? Там, где про мать. Я как раз за нее и беспокоилась. — Вот, заговорила прежняя Анджела, а не та самозванка, которая подошла к телефону.

— Даже не знаю, — говорит Свенсон. А вдруг это когда-нибудь опубликуют и Шерри или кто-нибудь из знакомых прочтет? — Трудно сказать... Я поймал себя на том, что хочется эти страницы пролистать и читать дальше про девочку и учителя музыки. Место, где мать встречает отца... в больнице. Не уверен, что оно нужно. По-моему, это лишнее.

Он умолкает. Отличная идея. Историю матери — побоку. Она здесь ни к чему.

Анджела чуточку раздражена.

— Можно, наверное, убрать эту глупую шутку из "Джейн Эйр" в конце. Но точка зрения матери просто необходима. Из-за дальнейшего. Там столько такого, о чем читатель должен узнать и что не может быть рассказано от лица девочки. Это стилистический прием, но без него не обойтись, вы сами потом убедитесь.

Прием! Так они обсуждают стилистические приемы, писатель с писателем. Свенсон трогает языком зуб, резкий укол боли возвращает его к реальной жизни. Жизни, где есть зубной врач, есть Шерри, есть дом.

Он говорит:

— Откуда вы взяли эти подробности — про больное ухо, про обморок в больнице?

— Что? — переспрашивает Анджела. — А, это... С моей школьной подружкой был такой случай. Она рухнула без сознания в приемном покое, а врач пытался потом назначить ей свидание. Пока сестра не показала ему ее карту. Где был указан возраст.

— Понятно. — Эту историю Свенсон обсуждать не собирается.

Пауза в беседе. Пора прощаться.

– Ну, а как... как дела? Учеба, творчество, как вообще жизнь?

В это мгновение он поднимает голову и видит стоящую в дверях Шерри. Она в плаще. В волосах блестят капли дождя.

– Прошу прощения. Мне нужно идти, – говорит он и вешает трубку.

– Ты с кем говорил? – спрашивает Шерри.

– Я? Да... с Магдой.

– Я так и подумала. Ты хоть понимаешь, что провоцируешь ее? Или это входит в твои планы?

– Вовсе нет, – говорит Свенсон. – Можешь мне поверить. И вообще, ты все придумываешь. Я никого не могу провоцировать. Вернее, никто не захочет, чтобы я провоцировал...

– С тобой все нормально? – спрашивает Шерри.

– А ты сама как считаешь?

– Я считаю, у тебя все получится, – говорит Шерри.

– У меня такой уверенности нет, – говорит Свенсон и, подойдя к ней, целует ее в макушку.

***

Утром в субботу, в родительский день, Свенсон идет по университетскому дворику. Он одаривает студентов и их гостей блаженными улыбками, чувствуя при этом, что преодолел границы собственного эго, стал чистой душой, открытой миру, готовой принять на себя боль несчастных родителей – этих средних лет дам, таких трогательных в своих мешковатых брючках, с холщовыми сумочками; их мужей – мальчишек-переростков, с ужасом осознавших, что они больше не студенты; родителей стипендиатов, папаш в бейсбольных кепках и соломенных шляпах, представителей меньшинств и деревенских жителей, глазеющих на ухоженный кампус с таким изумлением, словно это парк юрского периода.

Как неловко они себя чувствуют рядом с детьми! Ну кто поверит, что эти оробелые чужаки меняли им подгузники, кормили с ложечки? Они так послушно трусят за здоровенными парнями, за жующими жвачку девицами, словно это приехавшие из столицы знаменитости, крупные чиновники, олигархи; они сыплют вопросами – как ты питаешься? какие у тебя соседи? кто ведет математику? – которые дети игнорируют и только прибавляют шагу, а родители несутся следом, не спуская глаз с собственного дитятки, однако успевая на бегу сравнивать свое семейство с остальными – у этих сынок совсем угрюмый, а у тех девчонка явно переигрывает, прикидывается, будто от всего этого в восторге.

Когда Свенсон с Шерри год назад, в августе, привезли Руби в университет, они оказались на последней строчке родительского рейтинга. Их дочь была самой мрачной и замкнутой, больше всех стеснялась своих предков и факта собственного существования. Руби злилась на них так неприкрыто, что Свенсон замечал, как другие родители, отвлекшись от собственных переживаний, оборачиваются и смотрят им вслед. К тому моменту Руби уже несколько недель с ними не разговаривала и за весь день ни словечка не проронила. Когда Шерри подошла поцеловать Руби на прощание, та наклонила голову с видом ребенка, смирившегося с тем, что шерстяную шапочку на него все-таки напялят.

Что Свенсон с Шерри такого совершили, чем заслужили эту ненависть? Заставили ее порвать отношения с обманщиком, лжецом, насиль-

ником. В чем была проблема — в порушенной любви или же дело в том, что Руби вообразила, будто она человек слабый, будто родители могут ее подавить, заставить отречься от человека, которого она полюбила?

Время от времени Свенсон встречает Мэтта Макилвейна с новой жертвой. Когда они сталкиваются нос к носу, Мэтт ему подмигивает. Рано или поздно Руби узнала бы правду, прибежала бы к Свенсону, своему обожаемому папочке, кумиру и защитнику, ведь раньше, в детстве, она только так его и воспринимала.

Свенсон одет продуманно: в футболку и спортивную куртку. Профессор на субботней прогулке — за версту видно, что это преподаватель, но держится демократично. Он перемерил три футболки и две куртки, подбирая одежду в расчете на тех воображаемых родителей, которые могут заглянуть к нему в кабинет. Он будет на месте с половины десятого до двенадцати, вход свободный — предварительной договоренности не требуется. Подразумевается, что для их детей двери его кабинета открыты круглый год, и это вполне справедливо с учетом того, сколько их родственники отстегивают за обучение. Свенсон раскладывает на столе книги и бумаги — пусть будет видно, что за столом работают. Вытаскивает из стопки книжку "Моя собака Тюльпан", в которую с тех пор, как использовал в качестве прикрытия для стихов Анджелы, он и не заглядывал. А стихи дома, в столе. Надо их оттуда забрать. Только сейчас, в ожидании родителей, вовсе ни к чему про эти стихи вспоминать. Добрый день, добрый день! Я — Тед Свенсон. Большой поклонник непристойных виршей вашей дочери. Он открывает томик "Моя собака Тюльпан".

Едва он дал понять, чего хочет, она позволила ему на себя взгромоздиться и стояла не шевелясь, раздвинув задние лапы и подобрав хвост, а он обхватил ее лапами за круп. Но почему-то задачи своей выполнить не сумел. Его удары, как было видно мне, стоящему рядом с ними, не достигали цели... Они повторяли попытки снова и снова, и каждый раз одно и то же — как только он готов был в нее войти, она вырывалась — словно девственница — и не пускала его. Грустно было наблюдать, как страдают эти два прекрасных животных: они готовы спариться, но не могут друг к другу приноровиться. Я не знал, чем им помочь, кроме как смазкой для Тюльпан, — так я и поступил, поскольку оба они, казалось, сделали все, что было в их силах, кроме одного — они так и не смогли совокупиться.

И тут раздается стук в дверь. Здравствуйте! Проходите, пожалуйста, я вам сейчас зачитаю замечательный пассаж о двух собаках, об их несостоявшейся случке. Он кладет открытую книжку на стол, обложкой вверх. Профессор читает! А что, если они знают эту книгу — знают, что это не столь умилительная, как можно судить по названию, история про братьев наших меньших? Многие ли родители читали Акерли? Свенсон не хочет рисковать. Он кладет сверху какую-то брошюру и едва слышно говорит:

— Да-да, войдите.

Дверь открывается, в ней появляется голова мужчины (клочковатая борода, очки в серебристой оправе — скорее это он похож на профессора), который смущенно улыбается. Дверь открывается пошире, вплывает его жена — высокая, тоже седая, у нее улыбка напряженная: она явно старается всем нравиться.

— Я — доктор Либман. А это моя жена Мерль.

— Мы — родители Дэнни, — говорит женщина.

— Проходите, пожалуйста, — приглашает их Свенсон. — Ваш сын написал очень любопытный рассказ, про курицу.

— Мы просто зашли поздороваться, — говорит мать Дэнни.

— Хотели узнать, как у него дела, — добавляет отец. — Так, в общем.

— Он обожает ваш семинар, — сообщает мать. — Только про него и говорит. На прошлой неделе по телефону все восхищался, какой рассказ написал его однокурсник — о самоубийстве.

— А, это рассказ Карлоса. — Свенсон горд собой: он вспомнил автора. — Но вы как мать, наверное, обеспокоены тем, что ваш сын восхищается рассказами о самоубийствах.

— О, эти матери, — говорит отец. — А что, скажите, их *не* беспокоит? Если мальчику нравится "Преступление и наказание", они решают, что он тоже собрался прикончить старушку.

Двух старушек, мысленно уточняет Свенсон.

— По-моему, беспокоиться не о чем. Дэнни — очень собранный юноша. Он много работает. Хочет совершенствоваться. Тут на днях было очень интересное обсуждение одного из его рассказов.

— Какие рассказы? — изумляется мать. — Про свои рассказы он ничего не говорил.

— Весьма любопытно, — говорит отец. — И про что был рассказ?

— Про жизнь в предместье.

— Но не про нас, надеюсь? — хихикает миссис Либман.

— Беспокоиться не о чем, — повторяет Свенсон.

Родители Дэнни горячо его благодарят и удаляются. В коридоре никто не ждет? Похоже, нет. Свенсон вытаскивает "Мою собаку Тюльпан" и начинает с того места, где Акерли пишет, как он повстречал в саду близ Фулемского дворца старушку, катившую в детской коляске перебинтованную собаку; после этой сцены автор плавно переходит к рассказу о своем романе с восточноевропейской овчаркой, которую он любил так нежно и трогательно, как любят женщин. Свенсон счастлив перенестись из своего кабинета в Лондон конца пятидесятых, взглянуть на мир счастливыми глазами Тюльпан и Акерли. Он забывает обо всем, не следит за временем и, когда раздается стук в дверь, вздрагивает от неожиданности.

Входит женщина, которая говорит:

— Я — мать Клэрис.

Миссис Уильямс — хмурая дама лет за пятьдесят, никоим образом не стремящаяся подчеркнуть то, что осталось от былой красоты, унаследованной дочерью. Будучи директором школы, она чувствует себя вправе обращаться со Свенсоном как с мальчишкой, которому может диктовать свои условия. Клэрис обязана учиться медицине, миссис Уильямс не желает, чтобы ей дурили голову литературой, и незачем Свенсону было давать ей читать эту чушь, эту Тони Моррисон[1] — одной чернокожей дали премию, но это отнюдь не значит, что такая дорога открыта всем.

Что должен говорить Свенсон? Ей нечего бояться. Из Клэрис писательницы не получится. Она внимательный и тонкий критик, отлично чувствует, где что не так, диагност, можно сказать, от Бога. Только таланта у нее нет. А у Анджелы есть.

— Одному Богу известно, почему Клэрис выбрала этот университет, — вздыхает миссис Уильямс. — Я ее тыщу раз предупреждала. Ее ведь брали в Йель. Слышали об этом?

1. Американская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе (1992).

— Нет, — смущенно признается Свенсон. — Но я вам обещаю: я сделаю все, что в моих силах, чтобы уговорить вашу дочь не тратить время попусту. И вообще, Клэрис у вас умница, думаю, она и сама не захочет быть писательницей.

— Очень на это надеюсь. — Миссис Уильямс вскидывает одну бровь. — Благодарю вас, — произносит она ледяным голосом, поднимается и уходит.

Он смотрит на часы. Половина двенадцатого. Похоже, это конец. Обошлось, можно сказать, без крови. Могло быть гораздо хуже. Так что же он расстраивается? А, хотел познакомиться с родственниками Анджелы. Ему что, хочется еще разок побеседовать с родителями? Уж не спятил ли он?

Свенсон слышит стук в окошко на двери, металлом по стеклу.

Он понимает, что это родители Анджелы, еще до того, как женщина говорит:

— Вы профессор Свенсон? Наша Анджела у вас в семинаре...

Металла на ней почти столько же, сколько на Анджеле, правда, в ее случае это золото. Дребезжащие браслеты, цепочки, серьги. Она несет свой груз гордо и смиренно — как индусская невеста, и каждый карат отмечает расстояние, пройденное по пути к вершинам мира. Ей сорок с хвостиком, глаза большие, темные, взгляд по-кукольному удивленный, волосы светлые крашеные, брови черные. На ней роскошное голубое платье, лодочки в тон — вот так же она нарядилась бы на свадьбу. Муж постарше, невысокий, полноватый, в бежевой тенниске и клетчатой куртке. Кольцо у него на руке тоже золотое.

— Извините за опоздание, — говорит мать Анджелы. — Выехали из Джерси в половине шестого утра, чтобы не платить в мотеле за две ночи.

— Профессору об этом знать необязательно, — говорит ее муж.

— Ой, да? Еще раз извините.

— Что вы, — говорит Свенсон. — Вы пришли абсолютно вовремя. Наш ужасный университетский ланч будут подавать еще полтора часа.

— Здесь подают ланч? — говорит мать. — Ты хочешь ланч? — спрашивает она мужа.

— Поесть мы успеем, — отвечает он. — Мы, кажется, пришли сюда поговорить об Анджеле.

— Очень рад, что вы заглянули! — Свенсон почти что орет. — Прошу вас! Присаживайтесь!

Мать усаживается, закидывает ногу на ногу и качает голубой туфелькой. Ее муж то скрещивает ноги, то сдвигает, неуклюже ерзает и так похож при этом на Анджелу, что Свенсону приходится напомнить себе: он же не биологический отец. И все же у этого типа есть некое сходство с Анджелой — в разрезе глаз, которые Свенсон разглядывает, когда тот, сняв очки, потирает переносицу.

— Восемь часов в пути, — говорит мужчина. — Как сюда добираются?

Он гораздо больше схож с Анджелой, чем мать. А может, он похож на настоящего отца Анджелы? Женщины часто выбирают мужчин одного типа. Но ясно: это никак не родители из ее романа, нет в них ничего общего со сдержанным и властным доктором и его угрюмой женой. Впрочем, где гарантии, что это не тот мужик из стихов, растлитель малолетних и любитель секса по телефону? Свенсон заранее готов его возненавидеть. Но не стоит судить предвзято. Он же сам всегда предосте-

регает студентов: не ищите в художественном произведении автобиографических подробностей.

— Ну, так как же, — говорит отчим, мучительно долго усаживаясь поудобнее, — идут дела у Анджелы? Она нам велела обязательно зайти к вам. Сказала, что вы единственный преподаватель, который может ее похвалить. Тут-то я задумался: почему бы нам не сходить к тем, кто хвалить не будет? Зачем попусту тратить время на те предметы, с которыми у нее все в порядке?.. О нет, я никак не хотел сказать, что мы тратим время попусту. Боже ты мой! Я вовсе не...

— Я понял, — говорит Свенсон.

— Анджела только и говорит, что о вашем семинаре, — продолжает мать. — Вы... вы для нее идеал! Она считает, что вы величайший в мире писатель!

— Вот-вот, — говорит ее муж. — Профессору очень интересно, что думает какая-то там малявка о его творчестве.

— Действительно интересно. — Свенсон лелеет надежду, что они не заметят, как его переполняет гордость. — Очень приятно, когда твою работу ценят. Тем более когда ценит ее такой талантливый человек. Я считаю, из Анджелы может получиться настоящий писатель.

— Она всегда писала, — говорит отчим. — Только буквы выучила, я ей компьютер купил, и она стала делать газету — про нас, про семью. Писала, например, сколько времени утром ждала, когда я освобожу ванную. Я сразу понял: за компьютерами будущее. Они и в делах мне пригодились — я ведь аптекарь. Без них теперь не обойтись.

Свенсон не может вызвать в себе ненависть к этому человеку. Он настолько же не похож на папашу из стихов, как и на отца из романа. Только вот что-то не вяжется... Анджела же говорила, что отец покончил с собой, когда она была подростком. Поэтому она и полюбила "Час Феникса", считала, что роман спас ей жизнь. А из слов этого мужчины выходит, что он знает ее с раннего детства. Неужели Анджела наврала? Но какой в этом смысл? Как бы спросить, родной он ей отец или отчим и правда ли, что ее родной отец покончил с собой, — но так, чтобы не показаться излишне любопытным? Да нет, правда и без того откроется.

— Она работает над романом, — говорит Свенсон. — У нее получается.

— А о чем книга? — спрашивает мать.

— О девочке-старшекласснице, — отвечает он, помолчав.

— А поконкретнее? — не отстает мать Анджелы.

— Ну... — Готов ли он рискнуть? Чем ближе к краю пропасти он подойдет, тем больше вероятность, что, заглянув в нее, увидит то, что хочет узнать. — О девочке и преподавателе музыки, который не всегда... не всегда соблюдает нормы поведения с учениками. Во всяком случае, так я понял по тем нескольким главам, которые успел прочесть.

Родители Анджелы переглядываются.

— А в чем дело? — Свенсон боится, что догадывается, в чем дело. Роман автобиографичен: в нем речь идет о непростых отношениях самой Анджелы и ее преподавателя музыки. Ему очень не хочется, чтобы это оказалось правдой, не хочется узнавать о том, что он общается со студенткой, обожающей соблазнять собственных учителей. — Так в чем дело? — повторяет Свенсон.

— Понимаете, — говорит миссис Арго, — нечто подобное случилось у Анджелы в школе. Там был учитель биологии...

— Анджела к этому не имела никакого отношения, — поспешно добавляет ее муж. — Тот тип путался со своими ученицами. Завел себе настоящий гарем. Туда попали и подружки Анджелы.

— Ее лучшая подруга, — говорит мать Анджелы, — она ... ну, понимаете, она тоже имела отношения с этим учителем.

— А Анджела — нет, — говорит ее муж. — Анджела всегда была умной девочкой.

— Она еще такой ребенок, — не без гордости говорит мать. — Весь этот пирсинг — пусть вас это не сбивает с толку. Анджела такой ласковый котеночек.

В последней фразе слышится намек на мурлыканье, на нежное урчание: я, мол, тоже кошечка. Или Свенсону показалось? Страсть к соблазнению — это черта, которую Анджела переняла от матери? Что за мысли? Анджела вовсе не похожа на соблазнительницу, ни в коей мере. И самое привлекательное в ней то, как усердно она искореняет в себе все, что может вызвать желание.

— Знаете, — говорит ее мать, — мне всегда казалось, что Анджела ведет себя с мальчиками как-то подозрительно, как-то... странно.

— В каком смысле странно? — спрашивает Свенсон.

— Ну... если ей нравился какой-то мальчик, она за ним повсюду ходила хвостом, но стоило ему обратить на нее внимание, она даже по телефону с ним разговаривать отказывалась.

А как же ее парень? Как бы об этом спросить? Свенсон пытается сформулировать вопрос — потактичнее, не выказывая излишнего любопытства, но тут отец Анджелы говорит:

— Да угомонись ты! Это же ее преподаватель, а не психотерапевт.

Помолчав немного, Свенсон натянуто говорит:

— Как бы то ни было, но писатель она замечательный.

— Большое вам спасибо, — говорит мать.

— Ну что ж, здорово! Писатель! — добавляет отец.

— Спасибо, — повторяет мать Анджелы, вставая. — Спасибо, что уделили нам время.

Ее супруг наконец ловит намек и встает. Свенсон тоже поднимается из-за стола.

— Рад был с вами познакомиться, миссис Арго, мистер Арго! — Если он не мистер Арго или оба они не Арго, то, может, скажут об этом. И тогда он удостоверится, что мужчина — ее отчим, что он не Арго, не биологический отец.

— Спасибо вам, — снова говорит мать.

Ее муж кивает и, стремясь убраться поскорее, едва не врезается в косяк.

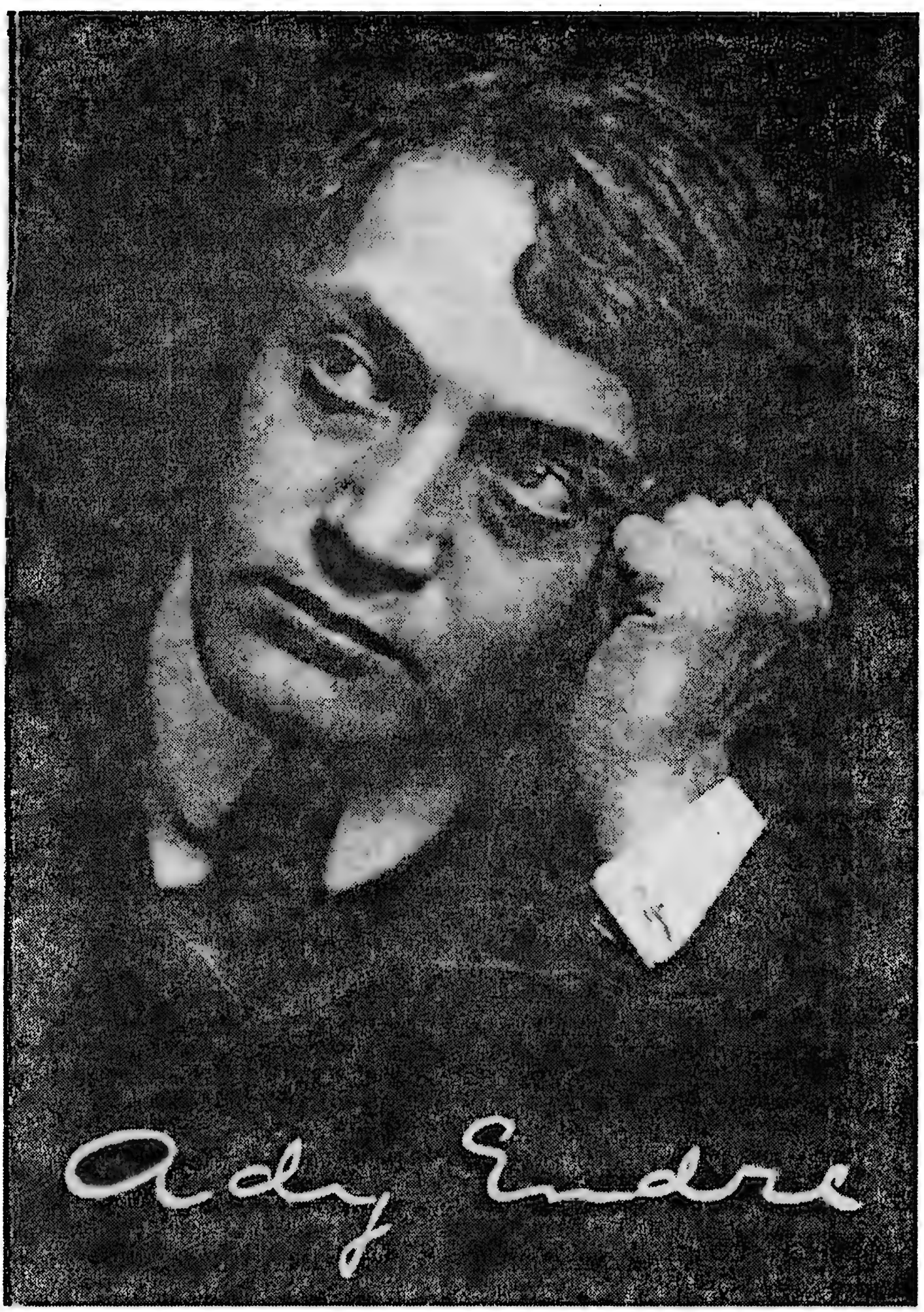
— Ой-ой-ой, чуть дверь не сшиб, — говорит он.

Точно отец, думает Свенсон.

Окончание в следующем номере

Эндре Ади
Стихи

Перевод с венгерского и вступление О. Россиянова



Имя Эндре Ади (1877—1919) — из виднейших в венгерской поэзии, историю которой на его родине очерчивают обычно тремя главнейшими: "Петёфи — Ади — Йожеф". С 1950-х годов стали переводить Ади и у нас, далеко не исчерпав, однако, этот лирический кладезь. Отчасти, может быть, потому, что само время не благоприятствовало.

© О. Россиянов. Перевод, вступление, 2002

Поэзию Ади по аналогии с русским историко-литературным календарем тоже можно причислить к достоянию серебряного века, хотя уже венгерского. Как и у некоторых русских поэтов той эпохи (например, у А. Блока), проникнута она ожиданием — даже более острым и страстным — революционных перемен. Таким мы прежде всего и узнали переводного Ади: гордым провозвестником исторических перемен, певцом символического Красного Солнца, которое спалит чванливых, корыстных узурпаторов жизни. Но мы почти не знаем Ади — израненную жертву жизненных разочарований, непрерывной газетной и политической травли, необеспеченного, живущего на жалкие крохи литератора. Переводы знакомили с его любовной лирикой, пылкой и почтительной, коленопреклоненно восхищенной. Однако трудно было даже догадаться, что эта лирика одновременно и смятенная, исполненная чувств святотатственно ожесточенных. Поэт и возвышал, и ниспровергал свою возлюбленную, словно вымещая на ней преследующую и калечащую обоих силу обстоятельств.

Поэзия Ади — это серебро с чернью: лирика с той трагической оттененностью, той вещей тревогой, которая ощутима у Блока; с теми глубокими сомнениями, опасениями и неудовлетворенностью, которые отчасти роднят Ади с другими его современниками: немецкими экспрессионистами. Лирика Ади — зеркало противоречивых душевных состояний; лирика не прямолинейно публицистическая, а философски, медитативно просвеченная, не наивно-уравновешенная, а проникнутая беспощадно откровенным сокрушением по поводу собственных слабостей — и беспредельной нежностью ко всем униженным и отверженным.

Творчество крупных поэтов узнается по их нестареющей новизне, способности бередить душу спустя годы и годы. И Ади, потрясенный свидетель непреходящего социального неблагополучия, "смертоубойной" мировой войны, тоже будит неравнодушный отклик. Не страданием только, но и выстраданной верой в человечность, за которую он, ратоборец лучшего Завтра, самоотверженно воевал. Лирика его до сих пор живое слово: драматические монологи, ожидающие не просто прочтения, а как бы гораздо большей отдачи, глубоко прочувствованного произнесения вслух.

Малую толику из этих стихов, восполняющих облик Эндре Ади, поэта, который ощущал жизнь во всем ее неостановимом беге, во всей горькой и отрадной бытовой и бытийной полноте, и предлагает переводчик.

Навстречу Завтрашнему дню

"Стой!" — с пестрой своей ордой
День вопит мне Вчерашний.
"Стой!.." А я иду, иду.

"Остановись!" Ломлюсь сквозь чащу
В тучи, к луне, в геенну
(И один, все один).

Шаг убыстряю: ждет ведь Завтра!
Предки, барды, попы —
Вас мне не нужно, не нужно!

Сверстники, старцы, вчерашние тени,
Братья по крови, застолью,
Мерзкая быль, отстаньте!

В грустно-дивную Тьму углубляюсь.
“Стой!..” Нет-нет. Меня Завтра
Заждалось. Скорее навстречу.

Спасительный нимб

Идут, проходят предо мною
Все грешные мои года
Суровой траурной чредою
И тягостные мечут пени.
И, каясь, в грудь себя бия,
Приемлю все их обвиненья.

Да, не был, не был, в самом деле,
Достаточно упорен, тверд
Я ни в едином добром деле.

Весну продолжить порывался
И упустил свою весну:
С ее уходом не скончался.

Всех любящих отторг, обидел,
Иуд же к сердцу прижимал.
Прав, кто меня возненавидел.

И все ж сквозь стыд мрачаще-алый
Спасительный провижу нимб...
Ибо и плакал я немало.

Ложе манит

Ах, лечь бы. Лягу. Ложе,
Ложе мое; недавно,
Недавно — грез обитель,
И грез, и сил источник,
Сил кладезь, пир лобзаний,
Пир страсти, грот объятий,
Убежище отрады,
Отрады... А что ныне?
А ныне ты — могила.
В могилу погружаюсь.

Проваливаюсь глубже,
Все глубже... В яму рухнуть,
Свалиться, ужаснуться
И в ужасе подняться...
Подняться — содрогнуться.
Я с дрожью подымаюсь.

Подняться, оглядеться,
Вглядеться, прийти в чувство,
Прийти в себя, очнуться,
Очнуться, суть провидеть,
Провидев, отшатнуться...
Отпрянув, сил набраться,
Набраться, затомиться,
Грустя, опять решиться,
Решиться — надломиться,
Сломиться — устыдиться.
О стыд, позор мой, ложе,
Ложе мое, могила!..
Могила... Как ты манишь,
Как манишь, лечь бы... Лягу.

В*ремя отдохнуть*

Мену ради мены
Вовсе не искал я.
Бурю ради бури
Никогда не звал я.
Лишь по праву чувства,
По веленью сердца
Бился-воевал я.

Время отдохнуть бы:
Жизнь уж миновала,
Но родись я снова,
Все начни сначала —
Ратоборцем чувства,
Песнопевцем сердца
Стал бы, как бывало.

Лавров не стяжали
Схватки боевые,
Всласть поизмывались
Доброхоты злые.
Ой, года лихие:
Синяки да шрамы...
А все ж — неплохие.

Песня к новой жатве

Ряды крестцов на жнивье,
Ряды крестов на могилах,
И на́ сердце крестная ноша;
Кресты — до глубокого тыла.
Лишь Крестотерпца не видно.

Сплошь, сплошь кресты по земле:
Крест на заветах Божьих,
Кресты на храмах, мундирах...
И — вышний глас: "Так зачем же,
На что мои крестные муки?.."

Литературное наследие

Макс Бирбом и его современники

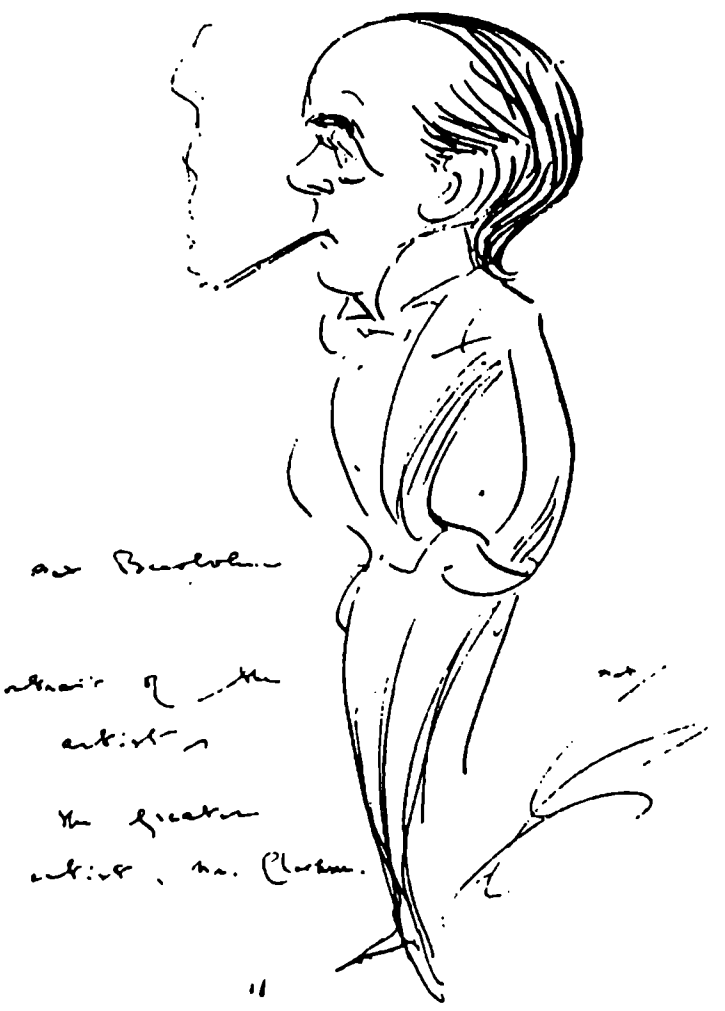
С английского

Маски Макса

Англия есть отечество карикатуры и пародии, всякое замечательное происшествие подает повод к сатирической картинке; всякое сочинение, ознаменованное успехом, подпадает под пародию. Искусство подделываться под слог известных писателей доведено в Англии до совершенства.

А. С. Пушкин.
Из публикаций в "Литературной газете" (1830–1831)

Как-то раз, уже в конце жизни, Макс Бирбом (1872—1954) заметил, перелистывая книгу воспоминаний об Эдмунде Госсе[1]: "Потомство не поймет, каким на самом деле был сэр Эдмунд Госс. Да и не только он — любой из нас. Как противоречивы наши ближайшие друзья! И как мало среди нас таких, кто способен верно понять себя!"



Автошарж

Пожалуй, Бирбом и сам был не из тех, кто понимал себя до конца. Не вполне удалось это и его биографам. Определить роль Бирбома, этой колоритнейшей фигуры английской культуры, известного остроумца, эссеиста и карикатуриста, собеседника и оппонента Уайльда, Шоу и Честертона, в контексте того или иного литературного направления и впрямь непросто. И прежде всего из-за того, что Макс Бирбом стал своеобразным музейным экспонатом еще при жизни. Отчасти произошло это потому, что он попал в разрыв между литературными поколениями. Его становление пришлось на годы, когда властите-

© Е. Ерасова, 2002

1. Эдмунд Госс (1849–1928) – английский писатель, автор ряда литературных биографий: Джона Донна, Генрика Ибсена, Уильяма Конгрива, Томаса Грэя и других. (*Здесь и далее – прим. автора.*)

лями дум были Уолтер Пейтер[1] и Оскар Уайльд, но известным писателем и карикатуристом он стал в эпоху Джеймса Джойса, Т. С. Элиота, Эзры Паунда и Вирджинии Вулф, чьи важнейшие сочинения выходили в свет одновременно с его произведениями[2]. Однако эстетически — и в этом состоит парадокс — он принадлежал другому времени, чем его великие современники-модернисты.

Казалось бы, изысканному стилисту Бирбому Вирджиния Вулф и ее блумсберийское окружение должны были быть близки, тем более что модернизм, при всей его серьезности, отнюдь не чужд был пародийного начала. И все же у Бирбома, по преимуществу писателя-пародиста, никогда не возникало желания "подыграть" модернистам: ему не нравились романы Вирджинии Вулф и изобретенный ею "поток сознания", как не нравилась и вся поэтика модернизма с ее культом субъективного и установкой на эксперименты. В письме от 1924 года он с искренним восхищением пишет Вирджинии Вулф о стилистическом совершенстве ее романов, но одновременно и укоряет: "Вы плохо относитесь к своим читателям. Кажется, вы совсем не помните о нас и заботитесь только о своей теме и методе. После Ваших романов на мне нет живого места. Я ухожу воя, весь избитый и исцарапанный, испытывая острое чувство унижения. Потом возвращаюсь и подвергаюсь тому же наказанию. Все без толку — меня выносят полумертвым". Иначе говоря, никаких точек сближения между новым писательским поколением и Бирбомом не возникло, что неудивительно — ведь он ощущал себя даже не эдвардианцем, а викторианцем и подлинными своими современниками считал не только Россетти, Морриса, Суинберна[3], Пейтера и Уайльда, но даже Теккерея и Карлейля. Он неуютно чувствовал себя в поствикторианской Англии и в возрасте тридцати восьми лет, в зените славы, переехал в Италию, где и прожил до конца своих дней. Свое кредо — "Быть несовременным — значит быть классиком" — он сформулировал довольно рано. Впрочем, это не значит, что он не насмехался над своими кумирами — живыми и мертвыми — и не подвергал осмеянию то, чем дорожил, — без этого он не был бы сатириком, но чем больше абсурда он находил в том, что любил, тем меньше хотел, чтобы оно менялось.

"Годы учения" молодого Бирбома протекли в Оксфордском университете, который он впоследствии с большим правдоподобием и с не меньшим комизмом описал в пародийном романе "Зулейка Добсон".

Оксфорд 90-х годов XIX века представлял собой любопытное культурное явление: в моде были античные штудии и спорт, поэтому молодые люди выходили из университета, с одной стороны, знатоками античности и приверженцами традиций, с другой — стильными и спортивными. В эту атмосферу Макс Бирбом погрузился целиком, но учился не особенно усердно; только один курс доставил ему настоящее удовольствие — творчество Аристофана. Зато будущий карикатурист постоянно выискивал комические черты у преподавателей и однокашников и регулярно делал зарисовки в специальном альбомчике.

В то время в Оксфорде преподавал Уолтер Пейтер, один из главных идеологов эстетизма, имевший множество последователей и в Оксфорде, и в Лондоне, самым известным из которых был Оскар Уайльд. Разумеется, Бирбом не мог не ув-

1. Уолтер Пейтер (1839—1894) — филолог-классик и писатель, автор манифеста английского эстетизма.
2. Приведем несколько дат: "Personae" Паунда увидели свет в 1909 г. — годом ранее вышел роман Бирбома "Зулейка Добсон"; "Дублинцы" Джойса появились в 1912 г. — в том же году вышел сборник пародий Бирбома "Рождественский венок"; "Любовная песнь Альфреда Пруфрока" Т. С. Элиота была напечатана в 1917 г. — спустя два года был опубликован сборник рассказов Бирбома "Семь человек".
3. Данте Габриэль Россетти (1828—1882) — английский художник и поэт, один из основателей Прерафаэлитского братства; Уильям Моррис (1834—1896) — английский художник, писатель, дизайнер, издатель; Алджернон Суинберн (1837—1909) — английский поэт, драматург, критик.

лечься идеями эстетизма, что наложило отпечаток и на его литературную манеру, и на манеру рисовать и одеваться. Еще в школе — а это был Чартерхаус — ему хотелось стать денди: до семнадцати лет он носил короткие пиджаки и итонские воротники. Ни у кого в школе не было такого широкого и ослепительно-белого воротника, такого тщательно вычищенного пиджака и таких отглаженных брюк, как у Бирбома. Забота о внешности — и в школе, и в университете (а потом и в зрелые годы) — была для него не заурядным тщеславием, а стилизацией поведения денди — любимого героя его воображаемого мира.

Молодому Бирбому нравился эстетизм Оскара Уайльда — и в жизни, и в литературе Уайльд, над которым он потом не раз смеялся, тем не менее навсегда остался его кумиром. К тому же мимо Бирбома, который по складу ума не был ни философом, ни проповедником прекрасного и совершенно не принял мистических аспектов эстетизма, не прошло и другое, быть может самое тонкое, искушение этого направления — жизнетворчество: стремление разыгрывать придуманную роль перед окружающими. И все же Бирбом всегда сохранял ироническую дистанцию по отношению к эстетизму. Хотя дендизм был для него сознательно избранным стилем жизни и он очень редко выходил из полюбившейся роли, роль эта неизменно была окрашена тонкой иронией.

В 1893 году Бирбом познакомился с художниками и писателями, сплотившимися вокруг декадентского издательства "Бодли Хэд", главным редактором которого был Джон Лейн, а главным художником — Обри Бердслей, уже успевший, несмотря на юный возраст, — как и Бирбому, ему было 20 лет — создать свой оригинальный стиль в графике и получить признание. Бирбома восхищало искусство Бердслея, а Бердслею нравились карикатуры Бирбома. Эта дружба имела очень важные последствия: когда в том же 1893 году Обри Бердслей, Генри Гарланд и Джон Лейн решили издавать литературно-художественный журнал под названием "Еллоу бук" ("Желтая книга"), Бирбома, в ту пору безвестного выпускника университета, пригласили участвовать в этом издании, и он написал для первого выпуска эссе "Защита косметики".

Одри Бердслей

Когда первая книжка журнала, с нашей сегодняшней точки зрения совершенно невинная, вышла в свет в апреле 1893 года, английское общество было скандализовано. "Таймс" так отозвался о "Еллоу бук": "Сочетание английского хулиганства с французской развращенностью"; "Вестминстерская газета" обратилась к парламенту с просьбой о запрете журнала. Критиков больше всего не устраивали три публикации: стихотворение Саймонса, рисунки Бердслея и эссе Бирбома. Стихотворение Саймонса было посвящено "запретной" теме — проституции, рисунки Бердслея служили выражением "декадентского духа", так что хотя бы теоретически понять недовольство обозревателей можно, но что же им не понравилось в маленьком очерке Бирбома?

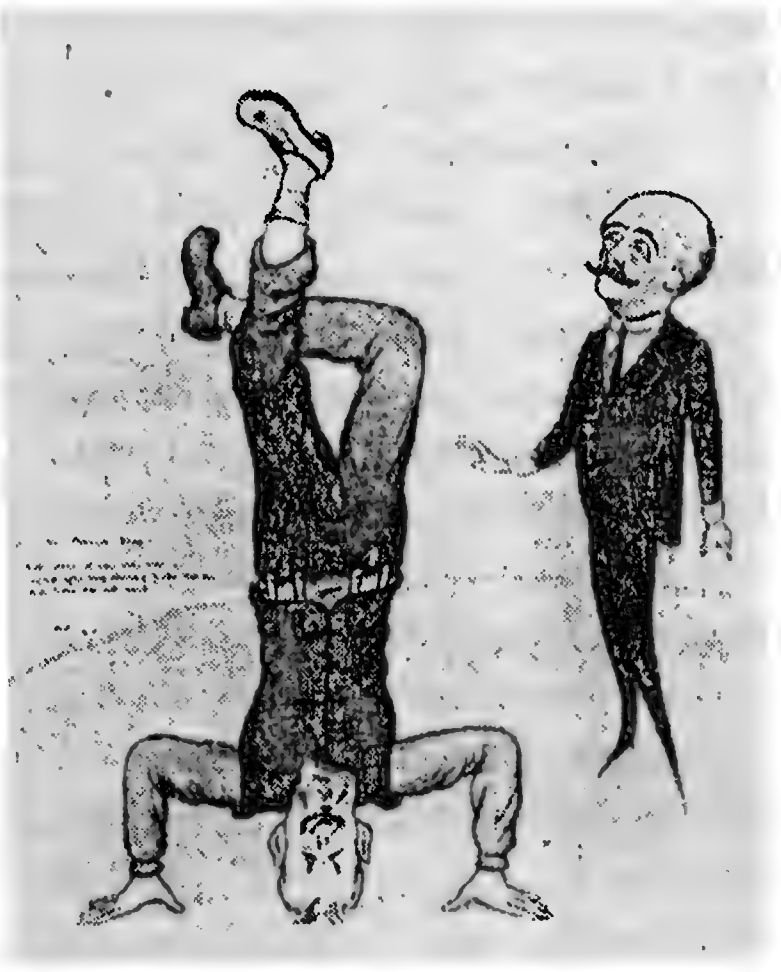
В эссе "Защита косметики" Бирбом провозгласил начало эпохи искусственного: "... искусственное должно царить в городе. Смотрите! ...Викторианская эра и время sancta simplicitas заканчивается". Автор утверждал, что маска — это совершенное воплощение индивидуальности: умело накрашенной англичанке предстоит изменить мир — ведь старая добрая Англия уже начинает терять военное и коммерческое превосходство. Косметика, как утверждал Бирбом, — на-

дежда цивилизации. Поначалу он даже было хотел назвать эссе "Философия румян", однако в конце концов предпочел "Защиту косметики", чтобы придать публикации полемический оттенок и напомнить читателю о таких известных критических манифестах, как "Защита поэзии" Филипа Сидни и Перси Биши Шелли.

В 1894 году парадоксальный тезис о превосходстве искусственного над природным не был новым словом в европейской литературе. "Защита косметики" Макса Бирбома не могла бы появиться на свет, если бы ей не предшествовали статья Т. Готье "Мода как искусство" (1858), цикл статей Ш. Бодлера "Поэт современной жизни" (1863) и "Портрет Дориана Грея" (1891) О. Уайльда, которому принадлежал афоризм: "Первейшая обязанность человека — быть искусственным, сколько возможно. Вторая — еще не открыта". Идея "Защиты косметики" уже содержалась в парадоксах Оскара Уайльда, а его "Замыслы" были одной из немногих книг, которые, по словам самого Бирбома, он запоем читал в Оксфорде. В "Защите косметики" Бирбом открыл для себя и опробовал принцип двойственности: с одной стороны — провозглашать идею, с другой — над ней подшучивать; с одной стороны — создавать маску эстета, с другой — его противника. Так родилась поэтика Бирбома-пародиста, суть которой состояла в смене масок, что зачастую приводило к любованию красотой наряду с комическим ее изображением. Любопытно, однако, отметить, что в реальной жизни ни мать Бирбома, ни его сестры не пользовались косметикой, а сам он не женился на своей возлюбленной — актрисе, потому что та злоупотребляла румянами и пудрой.

Бирбом довольно быстро стал модной фигурой в Лондоне. Двадцати шести лет от роду он получил предложение занять место театрального критика в "Сэтердей ревью" и, значит, сменить Бернарда Шоу, что было тем более лестно, что идея принадлежала самому Шоу. И это несмотря на то, что в статье "Профессия мистера Бернарда Шоу" Бирбом утверждал, что Шоу ничего не знает о жизни: зацикленный на "моральных ценностях", он создает лишь марионеток, философия его базируется на полном неведении человеческой природы, и единственное, чем он обладает, это конечно же чувство юмора: "Он пытается снова и снова быть серьезным, но его национальность не позволяет ему этого". Это было напечатано в журнале на странице 679, а тремя страницами дальше шла статья под названием "Прощальная" и подписанная "Дж. Б. Ш.". В своей "Прощальной" Шоу объявил: "Младшее поколение стучится в дверь. Я открываю, и входит несравненный Макс" — в ту пору эпитет "несравненный" уже крепко сросся с фамилией Бирбом.

На самом деле, отношения Бирбома и Шоу не были легкими и безоблачными — оба они занимали слишком близкие ниши в английской культурной жизни. "Я никогда не мог составить окончательного мнения о самом нашумевшем театральном явлении моего времени: о Бернарде Шоу, — признавался Бирбом. — Любил его я или ненавидел? Вы взираете на эту проблему с твердой скалы своих убеждений. Хотел бы я иметь такую скалу. Я же смотрел на это явление то с одной, то с другой стороны — меня бросало туда-сюда: то я искренне ненавидел Шоу, то увлекался его гением, то снова ненавидел. Перемены моего мнения о Шоу прискорбны, но были весьма занимательны для меня".



Дж. Б. Шоу и Макс Бирбом

Бирбом нарисовал больше карикатур на Шоу, чем на кого-либо другого, если не счи-

тать карикатур на Эдуарда VII и автошаржей. Он постоянно чувствовал, что чего-то не понял в Шоу, но и в статьях, и в карикатурах прежде всего насмехался над мифом о Шоу. "Апофеоз мистера Шоу — это чудо нашего века", — написал критик А. Б. Уолкли в "Таймсе" от 9 июля 1924 года. Макс Бирбом использовал эту строчку как подпись под карикатурой, на которой Шоу был изображен в виде святого на иконе, перед которой группа служителей держит лампады, струйки благовоний поднимаются прямо к его ноздрям, и Уолкли замечает: "А сам говорил, что не курит!"

В 1914 году Бирбом написал Реджинальду Тернеру, своему лучшему другу и постоянному корреспонденту, что видел фигуру Шоу в музее мадам Тюссо. "Несколько дней спустя, — уведомлял Бирбом, — обедая у Шоу, я упомянул об этом. Он покраснел и сказал, что не мог не позировать для музея Тюссо — отказ выглядел бы слишком снобистским. Понимая, что в тот день он был как никогда горд собой, я оценил его скромность". Здесь же Бирбом высказал предположение: "Мне кажется, что он меня боится". И было чего: Бирбом прекрасно понимал позерство Шоу. В том же письме Бирбом дальше пишет: "Я встретил его в ресторане Филиппа Сассуна, он был явно недоволен тем, что я застал его там". У Сассуна не было специальных вегетарианских блюд для Шоу, и Бирбом не без злорадства сообщает, что Шоу достались лишь картофель и фасоль. Не случайно в одной из своих пародий Бирбом, вслед за Честертоном, высмеивает "вегетарианскую жалость Шоу к рождественской индейке". Трудно сказать, побаивался ли на самом деле Шоу Бирбома или нет. Судя по воспоминаниям, не слишком. Но вот жена Шоу к отзывам и карикатурам Бирбома была весьма чувствительна. Однажды она в ярости разорвала карикатуру Бирбома на Шоу и бросила в огонь. Вот как Бирбом описывает Тернеру одну свою беседу с миссис Шоу: "Я говорил о нем с восхищением, но достаточно откровенно. Я сказал: 'Он не художник'. Ее лицо засияло, и она ответила: 'Очень рада, что вы так думаете. Именно это я повторяю ему — он реформатор'".

Конечно, между Шоу и Бирбомом существовало соперничество — оба они были известными остроумцами, но Бирбом создавал свои блестящие пародии и карикатуры под маской настоящего английского джентльмена — скромного и хорошо воспитанного, а Шоу не скрывался ни под какой личиной и смело провозглашал себя маргиналом. В письме к Уинстену, издателю юбилейной книги о Шоу "Дж. Б. Ш. 90", Бирбом очень красноречиво охарактеризовал свои чувства: "По отношению к Шоу у меня всегда было два желания: чтобы он никогда не рождался и чтобы никогда не умирал".

"Несравненный" Макс выбирал для своих карикатур заметные общественные фигуры. Сам он об этом говорил так: "Когда я начал свою карьеру, мне нравилось задирать известных людей". Бирбом атаковал многих знаменитых писателей, даже умерших. Он пародировал чуть ли не всех популярных авторов своего времени: Конан Дойла (Бирбом обращался к нему "Доктор" и называл его романы печальной ошибкой: "Я всегда относился к нему как к врачу и не более того"), Холла Кейна, который переделал свой моралистический роман "Христианин" в пьесу, в связи с чем Бирбом посоветовал тому не останавливаться и превратить пьесу в балет, поскольку диалоги ничего не потеряют, если перевести их на язык глухонемых. Бирбом часто рисовал карикатуры на критика из "Дейли телеграф" Клемента Скотта, который был противником Уайльда и Ибсена. Скотт был также поэтом и эссеистом, и Бирбом, очень смешно проанализировав в одной из рецензий его стихотворение "Фиалка", вежливо посоветовал автору оставить критику и Лондон. Скотт яростно ответил анониму: "Крыса, выходи из своей норы!" На что Бирбом спокойно ответил: "Да, я крыса, возможно молодая, но не лишенная чувства юмора. У меня есть христианское имя и фамилия, кото-

рые я указываю ниже. Я вылезла из моей бедной норы в конторе "Сэтердей ревью" и сейчас туда вернусь".

Бирбом часто рисовал карикатуры на Честертона, непременно изображая его с большим животом, чтобы посмеяться над его склонностью к чревоугодию, но его политические и религиозные взгляды никогда не подвергал осмеянию. Но, пожалуй, главной мишенью для бирбомовских эскапад служил Оскар Уайльд. Шутки над Уайльдом были популярны еще до выхода Макса Бирбома на арену публичной жизни. Так, брат Макса Герберт написал пародию на одно из американских интервью Уайльда, где тот "пожинал урожай любви к самому себе". В Оксфорде Бирбом рисовал карикатуры на книжках Уайльда — своих и тех, что дарил друзьям. В особенности досталось экземпляру "Замыслов", который украшен шестнадцатью рисунками. Иные из них пародируют внешность Уайльда — несоответствие мощного телосложения и утонченности, которую пропагандировали эстеты. На первой странице "Упадка лжи" Бирбом нарисовал химеру, видимо соглашаясь с автором книги, что истина эфемерна; а в начале "Замыслов" изобразил Уайльда, заглядывающего через изгородь в прекрасный сад, — карикатурист отлично понимал, что он и сам не более чем зритель пьесы, которую Уайльд разыгрывает перед публикой. Зрителем Бирбом был увлеченным и сочувственным, но неизменно насмешливым. Бирбом посвятил Уайльду несколько эссе. В первом он выражал сожаление, что люди не собираются толпами послушать Уайльда. В сущности, это первое эссе было признанием заслуг и индивидуальности мэтра, как называли Уайльда его ученики, но был там и скрытый вызов, который Уайльд прекрасно почувствовал и сказал, что стиль Бирбома "подобен серебряному кинжалу".

Многие мысли, высказанные в ранних эссе Бирбома, таких, как "Несравненная красота современного платья" и "Денди и денди", перекликаются с высказываниями Уайльда о невозможности применения к искусству моральных критериев — для Бирбома то была пора ученичества (заметим, что то же самое происходило в свое время с Уайльдом, когда он в начале пути повторял идеи Д. Рескина[1] и У. Пейтера).

Когда в 1893 году Бирбом познакомился с Уайльдом, он уже смотрел на него глазами карикатуриста: "Мне жаль, что Оскар пьет гораздо больше, чем следует: когда я впервые увидел его после долгого обожания издалека, он был в беспомощном состоянии опьянения. Он очень подурнел: щеки багровые, растолстел". Впоследствии бирбомовские изображения мэтра отличались определенной жестокостью: на карикатурах Уайльд всегда очень полный человек с толстыми пальцами и плотоядной улыбкой. Узнав, что тот жалуется на некоторые шаржи, Бирбом сказал: "Он просто моя бесплатная модель", но остроумию Уайльда подражал по-прежнему. Известно, что он переиначил высказывание Уайльда об Ирландии: "Ирландия трезвая — Ирландия свободная" в парадокс о самом авторе афоризма: "Предпочитаю Оскара свободного — Оскару трезвому".

В эссе "Взгляд в прошлое через замочную скважину", якобы написанном с точки зрения журналиста, который, желая уточнить некоторые сведения о викторианской эпохе, берет интервью у старого джентльмена, уединенно живущего на Тайт-стрит, Бирбом настойчиво относит Уайльда к прошлому и иронически характеризует его творчество как "книгу пародий на Россетти, несколько сказок в манере Ганса Андерсена, экспериментальный роман в стиле По и том эссе, от которых мистеру Пейтеру то и дело приходится отрекаться". Мистификация полностью раскрепостила фантазию Бирбома, и "Взгляд в прошлое через замочную скважину" — одно из лучших и самых смешных его творений.

1. Джон Рескин (1819—1900) — английский философ и писатель.

Когда в 1895 году Уайльда арестовали и судили, Бирбом был очень огорчен, но и тогда не снимал маски. Известие о начале судебного процесса застало его в доме у друзей Уайльда — Леверсонов. Вот как он описал этот вечер в одном из своих писем: "Мистер Леверсон объяснял, что всегда любил Оскара как человека и писателя, Альфред Дуглас сидел пепельно-бледный, а я был изысканно одет и не сочувствовал никому". За этой фразой "не сочувствовал никому" сквозит жестокость клоуна с обложки его собственной книги "Карикатуры на двадцать пять джентльменов".

Оскар Уайльд. Рисунок на книге О. Уайльда "Веер леди Уиндермир"

Выйдя в 1897 году из тюрьмы, Уайльд попросил друзей, и в том числе Макса, прислать книги, появившиеся в его отсутствие. Бирбом послал ему свои "Труды" и "Счастливого Лицемера" — пародии на сказку "Счастливый принц" и одновременно на "Дориана Грея". В "Счастливом Лицемере" говорится о герое: "Со временем он примирился с маской. Он не чувствовал ее присутствия на лице, она стала частью его самого". Это, в сущности, квинтэссенция модных нравов 90-х годов XIX века (любопытно отметить, что Уайльд спросил как-то у их общей с Бирбомом знакомой, снимает ли Макс лицо и показывает ли маску, когда они с этой дамой остаются вдвоем). Сюжет "Лицемера" напоминал сказку Уайльда о безобразной девушке, которая купила прекрасную маску, чтобы очаровать молодого человека, но и сняв ее, осталась красивой. Уайльд ответил Бирбому, что ему все очень понравилось, кроме парфянской стрелы в названии рассказа. Никогда не забывая о вышеупомянутом "серебряном кинжале" иронии Бирбома, он все же признавал в нем своего последователя и брата по духу. "Множество молодых людей, — писал он в "Упадке Лжи", имея в виду Бирбома, — начинают с природного дара преувеличения и, подражая лучшим образцам, вырастают в нечто великое и чудесное". Однако в комедии "Как важно быть серьезным" главный герой восклицает: "Генералы... Маллам, Максбом, Магли — какие неприятные имена!" И все же стоит вспомнить, что среди отзывов на "Защиту косметики" статья Уайльда была самой благожелательной. Смерть Уайльда полностью изменила отношение Бирбома к былому кумиру. Он написал почтительную статью, посвященную творчеству мэтра, и наказал своему издателю больше не публиковать "жестоких" карикатур на Уайльда. Когда в 1902 году была возобновлена постановка "Как важно быть серьезным", Бирбом написал рецензию, в которой подчеркнул смешение в пьесе поэзии и абсурда. И в этой статье, и в последующих Бирбом говорил об абсурде как о важной особенности поэтики Уайльда и о том, что Уайльд видел жизнь как соединение глупости и напыщенности, что и пытался передать через прием абсурда.

Известно, что Бирбом всю жизнь был озабочен тем, как подать себя в обществе. Однажды он появился на карнавале в маске, повторявшей его собственное лицо. Он и впрямь сделал своей маской карикатуру на самого себя. Ему доводилось рисовать многих известных людей своего времени, но никого он так удачно не изображал, как самого себя. Каталог Руперта Харт-Дэвиса содержит более семидесяти его автошаржей; эти работы фактически представляют собой законченный замысел: автор предстает перед читателями как денди, как игрок в крикет, как Бисмарк, Аполлон, Праксителъ, Гермес. Однако более всего обращает на себя

внимание карикатура 1904 года, которая называется "Уголок поэтов", где Бирбом изобразил себя маленьким человечком, который с благоговением направляет свет карманного фонарика на бюст некоего великого писателя. Лицо Бирбома, сознающего скромность своей особы на фоне выдающегося человека, выражает крайнее почтение.

Впрочем, все было не так просто: Бирбом часто называл свою эпоху "периодом Бирбома", а в одной из своих книг написал: "Для того чтобы дать точный и исчерпывающий отчет об этом времени, понадобится менее блестящее перо, чем мое". Он явно беспокоился о том, что думают о нем современники и как будут относиться к нему потомки. Когда в 1921 году Бохун Линч начал изучать его творчество и попросил о помощи, тот ответил: "Я малоодаренный человек. Но я очень хорошо использовал свои немногие таланты. Так я создал себе очаровательную маленькую репутацию. Избегайте фраз вроде: "В тот период молодой Бирбом... и т. д.". Моя жизнь (хотя она представляла и представляет интерес для меня) вряд ли вызовет всеобщий интерес. Не то чтобы я был несравненным. Сравнивайте меня. Я не такой человечный, как Лэм, не такой умный, как Хэзлит. Старайтесь меня недооценить". Но наверное, это не вся правда, и он надеялся, что его оценят по достоинству.

Елена Ерасова

Автошарж

Макс Бирбом

Дж. Б. Шоу – в Кеннингтоне

Из сборника "Вокруг театра"

ДРАМАТУРГ, который берется за перо, чтобы сочинить нечто, ему самому ненавистное, обречен на неудачу. Драматург, который, испытав отвращение к первым двум написанным им актам, пишет третий ради того, чтобы восстановить чувство собственного достоинства, и высмеивает два предыдущих, обречен на полный провал. А между тем "Ученик дьявола" – произведение первоклассное и к тому же снискавшее огромную популярность. Не знаю даже, что меня сильней удивляет: то, что мистер Бернард Шоу преуспел больше, чем джентльмены с романтическими сердцами и мелодраматическими мозгами, или то, что зритель остался очень доволен тем, что серьезная пьеса вдруг превратилась в фарс. Что до меня, то первые два акта я покатывался со смеху; добропорядочные же зрители в Кеннингтоне, которые понятия не имели, что собой представляет мистер Шоу, воспринимали пьесу со всей серьезностью. Впрочем, на их месте я вел бы себя точно так же, ибо, повторяю, пьеса совершенно великолепна. Однако для меня в самом ее великолепии кроется парадокс. В плохой мелодраме, написанной мистером Шоу, не было бы решительно ничего удивительного. Удивительно другое: мелодрама, вопреки ему самому, получилась хорошей! Вот почему фарсовый последний акт мне понравился не оттого, что позабавил меня больше предыдущих, а оттого, что дал мне повод разразиться смехом, который я с трудом сдерживал из уважения к восторгам зрительного зала. Кроме того, я с облегчением обнаружил, что и сам мистер Шоу подавлял смех не слишком долго и, невзирая на последствия, расхохотался именно тогда, когда ему стало совершенно невмоготу.

"Si ipsum audissetis!"[1] Каким бы презрением облил мистер Шоу свои собственные строки! Как бы он издевался над героем – симпатичным шалопаем, которого, понятное дело, зовут Дик и который, несмотря на все свои злодеяния, не может спокойно смотреть, как плачет женщина, питает теплые чувства к старой кляче Джиму и старому слуге Роджеру, хочет, чтобы англичане повесили его вместо другого, и пытается задушить майора за то, что тот назвал даму "женщиной"! Какому бы едкому сарказму подверг мистер Шоу этого человека, заявив, что он, Дж. Б. Ш., не видит ничего благородного в расточителе и негодяе, который предлагает совершить самоубийство в расчете на доверчивость трибунала! Мне никогда не сделать того, что мистер Шоу сделал столь убедительно. И я готов признать, что Дик показался мне отличным парнем, и я радуюсь от мысли, что, столкнувшись с жестоким непониманием и прожив жизнь среди "недостойных мужчин и – ах! – недостойных женщин", он нимало не утратил способности жертвовать собой. Да! Дик меня потряс. Вернее, потряс бы, выдумай его любой драматург, кроме мистера Шоу. А поскольку создал его именно мистер Шоу, я был потрясен другим – иронией судьбы, пожелав-

© А. Ливергант. Перевод, 2002

1. Если бы вы слышали его самого! (*лат.*) (*Здесь и далее – прим. перев.*)

шей, чтобы первым по-настоящему живым и убедительным персонажем мистера Шоу стал тот, кого автор изобразил со всем возможным цинизмом и с явным намерением сделать его совершенно ходульным. Когда в своих серьезных пьесах из современной жизни мистер Шоу изображает наше существование таким, каким оно ему видится, а людей — такими, какими он их знает, он — во всяком случае, с моей точки зрения — успеха не добивается. Для него чувство — лишь досадная помеха, разум же — основа всего сущего. Таким образом, его герои — абсолютно рациональные машины, свободные от таких излишеств, как плоть и кровь. Трудно вообразить менее живых людей, чем герои его пьес. Впрочем, самому мистеру Шоу они представляются совершенно реальными. Вполне возможно, он и сам признал бы, что они несколько опережают свой век и принадлежат скорее веку XX, чем XIX. Кстати говоря, нет никаких оснований полагать, что с ходом прогресса мужчины и женщины становятся существами более разумными и, уж тем более, что они когда-нибудь станут вровень с Виви Уоррен или Леонардом Чартерисом[1]. Мистер Шоу искренне верит и надеется, что так оно и будет, и означает это только одно: сам мистер Шоу тоже скорее опережает свой век, чем отстает от него. Но его трогательная вера в главенство разума отбрасывает его назад в век XVIII. Живи он тогда, он обрел бы много сторонников — не из числа властей предержащих, конечно, но все же много сторонников, преданных и верных. В наше же время мистер Шоу стоит особняком, в стороне от тенденций этого бурного века; и даже создается впечатление, будто он и сам немного устарел. Однако я вовсе не хочу, чтобы мистер Шоу стал другим. Я вовсе не собираюсь учить его жизни, как это делает мистер Арчер, который уговаривает его быть таким, а не эдаким и ни в коем случае не впадать в крайности. Напротив, я очень надеюсь, что мистер Шоу всегда будет точно таким же: столь же обворожительным в своих недостатках, сколь и в достоинствах. И у меня нет никаких сомнений, что надежды мои сбудутся. Можно перевоспитать ребенка, но не взрослого. Мистер Арчер об этом забывает. Он вообразил, что наступит время, когда мистер Шоу одумается и будет спасен. Но пусть он за него не беспокоится. Спасение мистера Шоу, как и спасение любого человека, — в том, чтобы оставаться самим собой. На протяжении двух первых актов мистер Шоу притворяется (для собственного удовольствия и для заработка, а вовсе не для того чтобы угодить мистеру Арчеру), что он себе изменил. В результате получились два прекрасных, трогательных акта. Но даже сто прекрасных, трогательных актов не компенсируют мне полного перевоплощения Дж. Б. Ш. Если бы мистер Шоу написал последнее действие в том же духе, что и два предыдущих, его пьеса была бы более совершенным произведением искусства, но зато куда менее блестящим! Успех "Ученика дьявола" может подвигнуть мистера Шоу на сочинение других мелодрам, и хочется верить, что он и впредь в последнем акте себе не изменит. И всегда "сорвет аплодисмент", что доказывает прием, оказанный ему в Кеннингтоне. Я искренне поздравляю мистера Шоу с тем, как мастерски он расправился с жанром мелодрамы, а также посмеялся над полусотней директоров лондонских театров, не обративших на его пьесу никакого внимания. Хочется надеяться, что, когда по прошествии времени я перестану быть театральным критиком и сделаюсь драматургом, у того, кто станет вести эту колонку вместо меня, будут все основания завидовать мне почти так же, как я сейчас завидую Дж. Б. Ш.

1. Персонажи пьес Дж. Б. Шоу "Профессия миссис Уоррен" и "Филантроп".

Поставлена пьеса превосходно. Мистер Карсон в роли Дика держит публику в постоянном напряжении. Его юмор и жовиальность как нельзя лучше подходят к этой роли. Этот актер интересен всегда, но я еще ни разу не видел, чтобы он играл лучше, с большей отдачей, чем в этот вечер. Даже мистеру Шоу, присутствуй он на спектакле, Дик показался бы убедительным. Все остальные роли также, по-моему, исполнены недурно, особенно же удалась роль генерала Бергойна, такая выигрышная сама по себе, что даже полная бездарь смотрелась бы в ней вполне пристойно, игра же мистера Луиджи Лаблаша выше всяких похвал. Но я с нетерпением жду публикации пьесы, чтобы посмотреть, как сам мистер Шоу проанализирует, по своему обыкновению, образ генерала в сценических ремарках. Думаю, он напишет примерно следующее: "Коль скоро профессия генерала состоит в том, чтобы безжалостно истреблять тех соплеменников, кто решительно не желает замечать, как их обдирают работодатели, генерал берется за дело, нисколько не скрывая того, что ему хочется как можно скорее довести его до удовлетворительного конца, однако делает это безо всякого энтузиазма, и, если б даже у него и был этот энтузиазм, он бы тщательно скрывал его от своих людей, ибо уж ему-то хорошо известно, что энтузиазм стал причиной девяноста процентов поражений его отечества. Когда же генерал обнаруживает, что его переиграли, то воспринимает поражение с полнейшим благодушием и сожалеет лишь о том, что американский климат и тупость американских генералов мешают ему перейти на сторону противника и тем продемонстрировать презрение к своей родине. В действительности он прагматик и если заблуждается, то только в одном — считает себя очень добрым малым. Добрым малым его (по всем цивилизованным понятиям) назвать нельзя никак. По сути своей, это сильно подпорченный вид английского джентльмена, которого, если б не былые заслуги, всем сердцем ненавидели бы окружающие, использовавшие генерала в своих корыстных целях и выигравшие от его поражений в кровавых битвах. К тому же...", но:

> Кто посмелее, выньте изо рта волынку
> У старца-пастуха.

7 октября 1899 года

Г. К. Ч-*стр-тн.* *Некоторые чудовищные ошибки касательно Рождества*

То, что человеку свойственно ошибаться, признают даже самые прогрессивные наши мыслители. И в этом состоит огромная разница между современной философией и философией прошлого. Будь Евклид сегодня жив (а я смею думать, что так оно и есть), он бы не сказал: "Углы равнобедренного треугольника равны", а сказал бы так: "Мне (существу слабому и несовершенному, о чем прошу вас помнить) почему-то кажется, что эти два угла обладают таинственным и прискорбным свойством быть равными друг другу". Нелюбовь школьников к Евклиду во многих отношениях объяснению не поддается — однако по сути своей нелюбовь эта вполне понятна. В ее основе — бунт против человека,

который либо ошибался, а значит (претендуя на безошибочность), был обманщиком, либо никогда не ошибался, а значит, не был человеком.

Так вот, коль скоро человеку свойственно ошибаться, свои самые серьезные ошибки мы совершаем относительно тех вещей, что вызывают у нас сугубо человеческие чувства и прежде всего чувство любви. Представим себе, что мы повстречали Евклида на Вестминстерском мосту; он отводит нас в сторону и признается, что если к параллелограммам и ромбам он относится с равнодушием, граничащим с презрением, то к равнобедренным треугольникам, напротив, питает безумную, почти противоестественную страсть. Предположим, он просит нас сопроводить его в ближайший магазин музыкальных инструментов, где приобретает гитару, дабы воспеть лучезарную красоту и столь же лучезарную доброту равнобедренных треугольников. Будучи людьми, мы должны, мне кажется, с уважением отнестись к его пылкости, поддержать и разделить ее. Однако, будучи поборниками истины, мы были бы вынуждены ко всем фактам, которые он сообщил о равнобедренных треугольниках, отнестись с крайней подозрительностью, проверить их со всей возможной придирчивостью. Ведь у обожания всегда затуманен взор. Больше того. Мы не говорим, что любовь близорука. Мы не говорим, что она косоглаза. Мы не говорим, что она страдает астигматизмом. Мы просто говорим, что любовь слепа. Мы можем пойти еще дальше и сказать, что любовь глуха. И это будет глубокой и несомненной истиной. Мы можем пойти даже еще дальше и сказать: любовь нема. Но это уже будет самой откровенной и очевидной ложью. Ибо любовь — самая неугомонная болтунья. Любовь — это пустомеля, в чьей голове гуляет порывистый небесный ветер.

Больше всего мы говорим о том, что больше всего любим. И, соответственно, в чем чаще всего ошибаемся. Вот почему уже почти две тысячи лет тема Рождества плодит больше ошибок, чем любая другая. Если бы человечество ненавидело Рождество, оно бы постигло его смысл с самого начала. Что бы тогда было, сказать трудно. Ибо то, что ненавистно, а значит, притесняемо и потому оказывает сопротивление, — живет вечно, тогда как то, что объяснимо, умирает в момент своего постижения — задохнувшись в наших могучих объятиях, так сказать. Между крайностями этой вечной дилеммы скрывается тайна нашего прекрасного зримого мира — и другого, еще более прекрасного, который остается незримым. И оттого, что мистер Шоу и писатели его школы не в состоянии, при всей своей непревзойденной искренности и проницательности, постичь, что и он, и они, и все мы зажаты в тисках этой дилеммы точно так же, как сегодня утром колесо моего сломанного велосипеда было зажато в тисках у моего механика; так вот, именно по этой причине мистер Шоу и его друзья не могут постичь принцип, лежащий в основе всего человеческого и божественного. К слову сказать, не все, что божественно, человечно. Но все, что человечно, божественно. Вернемся, однако, к Рождеству.

Выбираю наугад два наиболее очевидных заблуждения, связанных с Рождеством. Согласно первому, Рождество должно отмечаться весело, бесшабашно. Это (надо признать) — открытие недавнее. Такое никогда не приходило во взъерошенные головы пастухов, когда на них среди ночи снизошел свет Ангела Господа Нашего, и они встали и пошли воздать должное Младенцу. Такое никогда не приходило в голову и волхвам, чьи дары были не шуткой, но воздаянием. Такое никогда не приходило в голову святым и ученым, поэтам и художникам Средневековья. Глядя вспять, они

видели во мраке грубо сколоченных яслей всего лишь кроткую женщину, задумчивого старика и младенца, рожденного для страданий. Поборники просвещения в XVIII веке не видели и вовсе ничего. Одна из немаловажных заслуг викторианской эпохи заключается в том, что эпоха эта вновь открыла Рождество. Одна из немаловажных ошибок викторианской эпохи заключается в том, что эпоха эта сочла Рождество праздником.

Прозорливость слов "Мы играли вам на свирели, и вы не плясали; мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали" [1] состоит в том, что они могли в равной мере принадлежать любому человеку, который когда-либо играл на свирели или же пел печальные песни. В каждом человеке скрывается мрачный дух противостояния, увлекающий нас в сторону, обратную той, в какую мы, по логике вещей, должны двигаться. Так, на похоронах малейшая нелепица, неспособная в любое другое время рассмешить нас, вызывает у нас приступ с трудом подавляемого хохота. Напротив, на свадьбе мы порой едва сдерживаем слезы. Примерно то же происходит в наши дни и с Рождеством. Я готов согласиться с циниками, что Рождество — в том виде, в каком его отмечают сегодня, — может навеять меланхолию. Однако причина подобной меланхолии — просто наше с вами общее непонимание. Рождество в основе своей — это dies irae[2]. И если только циники сочтут возможным так его и воспринимать, даже самый язвительный и желчный из них вынужден будет признать, что день он провел на редкость весело и беззаботно.

И тут я перехожу ко второму заблуждению. Я имею в виду ту распространенную точку зрения, согласно которой Рождество наступает лишь раз в году. Может быть, в соответствии с календарем так оно и есть; подобная гипотеза любопытна, однако никакой или почти никакой ценностью не обладает, ибо не календарь, а Дух человеческий регулирует приход праздников — веселых и грустных. Так вот, если исходить из душевных потребностей, Рождество наступает ровно семь раз в неделю. И когда мы честно себе в этом признаемся и будем соответствующим образом себя вести, нам откроется мистическая и грозная красота этого дня. Ведь только то, что происходит ежедневно, открывается нам во всем своем невиданном великолепии. Человек, которого сбил на улице автобус, разражается проклятьями и обращается к адвокату; человек же, который попадает под автобус каждый божий день, непременно ощутит себя участником величественного и душеочистительного ритуала. Ежедневного удара судьбы он будет ожидать с той же покорной и благостной радостью, что воодушевляла индусов, ожидавших Вишну. Синяки и ссадины станут для него наградами, которые он будет носить со скромной гордостью ветерана войны, во всеуслышание повторяя слова покойного Уильяма Эрнеста Хенли[3]: "Моя голова окровавлена, но я держу ее высоко" и добавляя от себя: "Мои ребра сломаны, но не погнуты".

Хочется дожить до того времени, когда мы будем каждое утро желать друг другу "счастливого Рождества" и каждый вечер есть жареную индейку и сливовый пудинг; когда плющ не будут снимать со стен и триста шестьдесят дней в году все мы будем целоваться под омелой. Касается это и других "праздников". Придет время, когда каждое утро, позавтракав горячими булочками с изображением креста[4], мы будем танцевать

1. Евангелие от Матфея. **11**. 17.
2. День гнева (*лат.*).
3. Уильям Эрнест Хенли (1849–1903) — английский поэт, критик, издатель.
4. Горячие булочки с изображением креста едят в Страстную пятницу.

вокруг майского дерева[1] и каждый день до полудня дурачить друг друга первоапрельскими шутками. Глубочайший и истинный смысл Дня первоапрельского дурака, состоящий в том, что мы все до одного — дураки, слишком в наше время насущен, чтобы его утратить. Не воздается сегодня должное и высокой символике Масленичного вторника[2] — дня, когда отпускаются наши грехи. Впредь же блины будут есть каждый день либо до, либо после сливового пудинга. Есть медленно и благоговейно. И печь их будут на вечном огне, которому не дадут и на минуту погаснуть весталки. И бросать блины в звездное небо.

К теме Рождества я вернусь на следующей неделе.

1912 г.

Переводы А. Ливерганта

Повелитель слов

ПРОШЛАЯ неделя в Лондоне была отмечена одним совпадением. Открылась выставка Уистлера[3], и вышла книга Оскара Уайльда; критики писали, и болтуны болтали — сколько красноречия! — о том, как велик Уистлер и как велик Оскар Уайльд. Они блистали в Лондоне, Уистлер — в 70-е и 80-е, Оскар Уайльд — в 80-е и 90-е, когда критики и болтуны считали их только ловкими балагурами. Блеск блеском, но оба делали серьезное дело, к которому серьезно не отнесся никто. Ни тот ни другой не удостоились благодарности: Уистлеру недешево обошелся его фартинг[4], Уайльда приговорили к двум годам каторжных работ. В обоих случаях критиков и болтунов не особенно оскорбило решение суда. Прошло время. Ни Уистлера, ни Уайльда больше нет. Смерть сродни апокалипсису для критиков и болтунов, особенно в Англии; завистливое человечество поет хвалы тем охотнее, чем меньше их адресатам от этого проку. И вот — красноречиво и бесстрастно — мы превозносим тех, кого еще недавно уничижали. Для открытия выставки Уистлера пригласили месье Родена. Возможно, Англия закажет ему статую Уайльда. *Il ne manque que Ça*[5].

Некоторые критики, желая примирить нынешний энтузиазм с былым равнодушием или с былыми нападками, утверждают, что "De Profundis" не имеет ничего общего с прежним уайльдовским творчеством, что это случайное и единичное явление. Тюрьма, если верить им, чудесным образом преобразила Оскара Уайльда. Два заблуждения питают эту теорию. Первое — что Оскар Уайльд замечателен главным образом своим остроумием. На самом деле остроумие из его талантов наиме-

© А. Власова. Перевод, 2002

1. Майское дерево — украшенный цветами и лентами шест, вокруг которого в Англии танцуют 1 мая.
2. В католическом календаре: день, завершающий Масленицу, канун Пепельной среды — дня покаяния, которым начинается Великий пост.
3. Джеймс Эббот Макнил Уистлер (1834–1903) — художник и график американского происхождения, с 1859 года более или менее постоянно живший в Лондоне. В жизни — острослов и денди, заядлый спорщик, в живописи — реалист, прошедший импрессионистическую школу, поклонник японской гравюры.
4. В 1877 году по иску, вчиненному Джону Рескину, Уистлер получил компенсацию в один фартинг. Судебные издержки разорили его.
5. Только этого не хватает (*франц.*).

нее значимый. Прежде всего он был поэт, пожизненно влюбленный в красоту, и философ, пожизненно влюбленный в мысль. Его своеобразное остроумие и еще более своеобразный юмор коренятся в глубокой серьезности, как и должно настоящим остроумию и юмору. Но гениален Уайльд не этим, и будь они не присущи ему вовсе, возможно, его гений еще в пору расцвета оценили бы в Англии, где блестящая мудрость не в ходу и веселость права под запретом. Верный способ свести на нет заслуги Уайльда — сказать, что, несмотря на красоту и глубину его мыслей, он не был настоящим человеком, имеющим дело с реальными вещами. Он создал поэзию, создал философию, но ни душа его, ни опыт не являлись их источниками. Он мыслил ради мыслей и чувствовал ради чувств. Это, видимо, и имеет в виду Роберт Росс, когда в своем удивительном предисловии к "De Profundis" называет Оскара Уайльда "натурой в высшей степени умозрительной и искусственной". Тут я нашел ключ к старой загадке: почему Оскар Уайльд при всей его оригинальности был столь подвержен влиянию чужого творчества? И почему он, неистощимый изобретатель, порой опускался до плагиата? Если мысль была глубока и прекрасна, его не заботило, ни в чем ее суть, ни кому она принадлежит, — ему или кому другому. И наконец, действительно ли "De Profundis" — отражение искренних и подлинных чувств? Неподдельный крик души? Так утверждают критики. И это еще одно заблуждение.

Проницательный читатель, я думаю, не может не увидеть в "De Profundis" прежде всего артистизма натуры. Кажется, естественно полагать, что Оскар Уайльд, свергнутый с заоблачных высот, облитый грязью и брошенный в застенок, пройдя все это, неузнаваемо изменится. Ничуть не бывало, он не изменился. Он все тот же. Все так же играет мыслями и чувствами. "Теперь мне осталось только одно, — пишет он, — абсолютное смирение". О смирении он высказал много прекрасных истин. И, не сомневаюсь, высказывал их с чувством смирения. Но смиренным не был. Здесь не чувство искало выхода в слове, но само слово рождало его. Художник говорил, человек прислушивался. Стоило принять позу, и сердце начинало биться в соответствии с ней. Легко представить кардинала, который, омывая ноги нищему, преисполняется смирения и упивается им. Таково смирение Оскара Уайльда. Щедрый дар гордости. В "De Profundis" он по большей части откровенно горд — гордость естественна для столь богато одаренного человека — и все так же по-уайльдовски высокомерен. Даже "из глубин" он до нас снисходит. И снисходит не только к человечеству. Ему ведома высшая роскошь — снисходительность к самому себе. Иногда к себе прежнему, иногда к себе нынешнему. "Я, некогда повелевавший словами — не нахожу ни слова, чтобы передать мою муку и мой стыд...", — говорит он о смерти матери. И тут же празднует возвращение трона, великолепным пассажем опровергая драматическое признание собственного бессилия. "Она вместе с моим отцом завещала мне благородное имя... Я навеки обесчестил это имя. Я превратил его в пошлое присловье подлого люда. Я вымарал его в грязи. Я бросил его свиньям, чтобы они наполнили его свинством, и дуракам, чтобы они превратили его в синоним глупости. Что я тогда выстрадал и как страдаю теперь — перо не в силах выразить, а бумага не в силах выдержать"[1]. Однако перо выразило, а бумага выдержала и это. Повелитель слов обратил скорбь в радость.

1. Перев. Р. Я. Райт-Ковалевой и М. Н. Ковалевой.

"Повелитель слов". Безусловно, это не пустая похвальба. Как бы ни были великолепны мысли и чувства в "De Profundis", больше всего меня восхищает здесь само письмо, мастерство прозы. Помимо Рескина в период расцвета его таланта, ни один из современников не достиг в прозе такой ясности и лиричности, как Оскар Уайльд. Вы не просто читаете написанное — слова поют. Никакого педантизма, тяжеловесной и лукавой точности, свойственной большей части любимой нами (и справедливо) прозе. Смысл надуман, но само выражение всегда волшебно, естественно и прекрасно. Простые слова растут рядом, как цветы. Академичность Оскара Уайльда — отнюдь, кстати говоря, не декадентство, по мнению одного из критиков, — проявляется, когда он прибегает к рифме и размеру. Но проза "Замыслов", пьес, сказок совершенна в своей живой, безыскусной прелести. Это наслаждение — чувствовать в его поздней прозе былую и, несмотря на перенесенные им физические и нравственные страдания, неиссякнувшую силу.

Оскар Уайльд не менялся. В "De Profundis" отразился сильный характер, который никакие обстоятельства не смогли сломить, они даже не повлияли на него, а потому это блистательный личный документ. В тюрьме Оскар Уайльд остался самим собой — та же артистичность языка и та же оторванность от жизни. Здесь он явился перед нами зрителем собственной трагедии. Великой трагедии. Одной из тех, которым место лишь в романах. И главный герой наслаждается ею как художник. Уверяю вас, на скамье подсудимых в Олд-Бейли, в камере Редингской тюрьмы, "на центральной платформе в Клапаме", где он стоял "в арестантской одежде и наручниках на виду у всех", — даже страдая, он был утешен сознанием того, сколь велика его трагедия. С легким сердцем ожидая освобождения, он говорил: "Надеюсь, мои творческие способности восстановятся". То, что эти творческие способности, выдержав заключение, недолго прожили на свободе, — суровый удар для нашей литературы. Но даже и в сломленном, бессильном и беспомощном Уайльде бессмертный художник, должно быть, наслаждался, глядя со стороны на себя, пьющего последние горькие капли из чаши Судьбы.

16 октября 1954 года по случаю столетия со дня рождения Оскара Уайльда на Тейт-стрит в Челси была открыта мемориальная доска на его доме, и сэр Комптон Маккензи прочитал следующие слова Макса Бирбома:

Думаю, не много осталось людей, имевших удовольствие слышать Оскара Уайльда. Я один из них.

Мне посчастливилось встречать и многих других мастеров светской беседы: Мередита и Суинберна, Эдмунда Госса и Генри Джеймса, Августина Биррелла и Артура Бальфура, Гилберта Честертона, Десмонда Маккарти и Хилэра Беллока[1], — все они были, каждый на свой лад, великолепны. Но Оскар Уайльд, несомненно, превосходил их всех — одновременно величайшей непосредственностью и изяществом, мягкостью и неожиданностью.

В том, что речь его была преимущественно монологом, едва ли виноват он один. Он был весьма обходителен и старался вовлечь своих и чужих гостей в

1. Августин Биррелл (1850—1933) — английский политический деятель и писатель; Артур Бальфур (1848—1930) — британский государственный деятель; Десмонд Маккарти (1877—1952) — театральный критик, журналист и издатель; Хилэр Беллок (1870—1953) — английский писатель, друг и единомышленник Г. К. Честертона.

разговор, но редко кто отвечал ему многословно. Никто не желал прерывать блистательную игру этого виртуоза. Мне не довелось слышать доктора Джонсона или Эдмунда Берка, лорда Брума или Сидни Смита[1], но меня утешает то, что я слышал Оскара Уайльда.

"Венити фэйр", 2 марта, 1905

Гости и хозяева[2]

НЕСМОТРЯ на исключительную зыбкость английского языка, размытость английских понятий, сливающихся друг с другом подобно деталям пейзажа в сыром нашем воздухе, несмотря на то, что мы склонны к компромиссам и питаем отвращение к четкой, жесткой логике, мы не называем гостей хозяевами, а хозяев гостями в отличие от древних римлян. В языке их, ясном, как италийский воздух, в совершенстве отвечавшем четкой, жесткой логике, взлелеянной римским климатом, оба понятия выражались одним словом. Потомки римлян, мыслители столь же строгие, как ни странно, это положение вещей не изменили. Hôte, ospite, huesped так же таинственно двусмысленны, как hoépes[3]. Чувство почтения вынуждает меня сделать вывод, что, как бы там ни было, гость и хозяин суть одно и то же. Однако в глубине души я питаю смутное, неясное подозрение, что это не так. Что делать, снова компромисс. То есть, строго говоря, гость и хозяин — одно понятие, а то, что мы их различаем, лишний раз свидетельствует о безупречном здравом смысле, благодаря которому... etc., etc. Осмелюсь даже утверждать, что различие между ними не только частное и случайное, — я вижу здесь и более общую разницу, определяемую складом характера человека. Вы приглашаете меня на обед в ресторан, я говорю, что приду с удовольствием; вы заказываете блюда, я их расхваливаю; вы платите за обед, я наслаждаюсь тем, что за него не плачу, — каждый из нас, в соответствии с ролью, которую он играет в данном случае, заслуживает звания либо гостя, либо хозяина. Но здесь возможен и более широкий, философский подход. В каждом человеке преобладает одна из двух склонностей: активная, или позитивная, — оказывать гостеприимство, пассивная, или негативная, — пользоваться им. И склонности эти в человеческом характере столь значимы, что можно с полным основанием разделить всех людей на две большие группы — "гостей" и "хозяев".

Я как мог подготовил вас (четырьмя предложениями выше) к признанию, сделать которое меня вынуждает искренность. Я по своей натуре "гость". Вы поражены и отказываетесь читать дальше? Браво! Это значит, что у вас душа "хозяина". Я стараюсь развлечь вас, вы же этого не хотите. "Отдавать — вот высшее счастье!" — восклицаете вы. Ну что ж... Я в свою очередь предпочел бы читать, а не писать. Почему же не вы автор этого эссе? При всех скромных его достоинствах я прочел бы его с величайшим вниманием и нашел бы, за что похвалить. Пыл ваш гаснет, я вижу, а жаль. Долг — перед самим собой и другими "гостями" — велит мне продолжать.

1. Лорд Генри Питер Блум (1778–1868), Эдмунд Берк (1729–1797), Сидни Смит (1771–1845) — английские политики, выдающиеся ораторы своего времени.
2. Печатается с сокращениями.
3. "Гость-хозяин" (*франц., итал., исп., лат.*).

Думаю, гости встречаются не реже, чем хозяева. Как знать, может, и вы к ним относитесь — приглядитесь к себе получше. Если так, вы будете мне благодарны за попытку ободрить вас. По моему мнению, и у гостей есть достоинства, так же как у хозяев есть недостатки.

Самые глубокие наши склонности, как хорошие, так и дурные, — те, что роднят нас с животными. Способность оказывать гостеприимство и пользоваться им человек приобрел в процессе саморазвития. Львы не приглашают в свои логова собратьев, птицы не устраивают приемов. Правда, иные совращенные человеком с пути естества волки и тигры пользуются нашим гостеприимством. Но разве собака, получив от вас кость, побежит к другой собаке делиться? И разве хочет кот непременно видеть с собою рядом других котов вокруг блюдца с молоком? Напротив — глубокое чувство собственности отличает все эти создания. Потребуются десятки сотен лет, чтобы у них появилось желание чем-нибудь поделиться с друзьями. И то еще — у собак оно, может, появится, а у кошек, пожалуй, никогда. Впрочем, не будем слишком строги в своих выводах. Природа некоторых обезьян сложнее и восприимчивее, чем природа любого тигра или волка, но даже наш путь к гостеприимству был долгим. Пещерные люди не знали, что это такое. Ну, может быть, в конце каменного века какой-нибудь просвещенный человек своего времени и говорил жене, ощипывающей пойманного накануне стервятника: "Наш сосед из той долины, по-моему, мирный, приличный человек. И довольно одинок, кажется. Почему бы не пригласить его сегодня к нам на ужин?" Вот он выходит из пещеры, идет к рыжему соседу и говорит ему: "Если вы свободны сегодня вечером, может быть, отужинаете с нами? Жена будет очень рада. Только я, она и вы. Без церемоний". "Премного благодарен, но... — мнется рыжий сосед, — ...как ни досадно, я сегодня в самом деле занят. Давнишнее официальное приглашение. Я донельзя щепетилен в подобных вопросах". Как видим, потребность оказывать гостеприимство появилась прежде потребности им пользоваться. Однако не следует смешивать их с простой потребностью отдавать и получать. Едва ли рыжий сосед отказался бы от кусочка стервятника, если бы ему просто его принесли. Еще менее вероятно, что его собрат попросту послал бы стервятника соседу. Хозяевам это несвойственно. Ими движет отнюдь не только альтруизм, но также гордость и самолюбие.

Кстати, почему рыжий сосед пустился в объяснения? Он почуял опасность. Не то чтобы он был от природы подозрителен, но по какой же еще причине, если не с целью убийства, его заманивают в пещеру? Весьма и весьма приятно побеседовать с кем-нибудь на открытом воздухе, но идти, когда стемнеет, в обиталище чужака — нет, ни за что! Вы презираете его за эти страхи? Не так уж они нелепы, как кажется. По мере развития цивилизации человек становился все более общительным, и гостеприимство вошло в обычай. Но и тогда гость не избавился от подозрений, поскольку обычай этот не был еще обнесен надежной оградой из неписаных законов, известных сегодня. В хрониках гостеприимства немало тягостных страниц, немало огромных черных клякс, которые ангел-летописец и рад бы, но не в силах смыть своей слезой. <...>

Шотландцы славятся гостеприимством. Путешествующий англичанин краснеет при мысли о том, сколь скупы и невнимательны хозяева в Англии по сравнению с шотландцами и американцами. Сначала именно шотландцы ввели в обычай гостеприимство, ставшее непререкаемым кодексом чести, основной принцип которого — безусловное уважение к

гостю и защита его любой ценой. История якобитов сплошь состоит из рассказов о героической жертвенности хозяев, причем они готовы были жертвовать ради гостей не только личной безопасностью, но даже политическими убеждениями, чтобы не нарушить хоть сколько-нибудь свой священный кодекс. Что явилось причиной этого благородного педантизма? Шекспировский "Макбет".

Возможно, будь Англия страной унылой и неприютной, как Шотландия, или новой, как Америка, чужестранца здесь окружали бы заботой. Чарующие пейзажи нашего края, обилие в Лондоне завораживающих, овеянных славой и романтикой памятников склоняют нас к несколько, может быть, поспешному выводу, что у гостя нет ни времени, ни желания попусту просиживать в гостиной. Без сомнения, радушие в англичанах развито в достаточной мере, и в том, что я назвал бы взаимным гостеприимством, мы достигли немалых высот. Французы, и итальянцы тоже, значительно реже навещают друг друга. В Англии гость-англичанин и впрямь очень неплохо проводит время, хотя в известном смысле и расплачивается за это, иногда выступая в роли хозяина.

В действительности абсолютного деления людей на две категории — гостей и хозяев — не существует. Но психологически гость остается гостем, а хозяин хозяином даже когда первый дает обед, а второй на него приглашается. Как часто принимать на себя роль хозяина гость решает, повинуясь лишь голосу совести. Он вскоре обнаруживает, что, как бы редко он сам ни приглашал гостей, его в ответ не приглашают реже и что, даже не зови он их к себе вовсе, в гостеприимстве ему не откажут. Как часто он им пользуется, целиком зависит от его покладистости. Гордость подчас превращает его в хозяина, но эта роль не для него. И хозяевам вовсе не хочется, чтобы он ее играл. Если они и принимают его приглашение, то лишь из деликатности. В гостях они чувствуют себя как рыба на берегу.

Конечно, условия жизни влияют на характер. Обыкновенно богатые дают, а бедные берут. Бедность воспитывает в вас гостя, богатство благоприятствует развитию наклонностей хозяина. Но сильные инстинкты следуют собственным законам. Не обязательно все, кто нуждается, — гости, а все состоятельные — хозяева. Окончив, с Божьей помощью, обучение, я прожил в Лондоне шестнадцать лет — с двадцати двух до тридцати восьми — и повстречал за это время немало разных людей. Среди них были "скупого очень нрава" богачи, которые, подобно хозяину пастуха Корина, не стремились "к небу путь найти делами доброго гостеприимства"[1], но знал я также неисправимо гостеприимных бедняков. <...>

В детстве все мы потенциальные гости. Лишь по мере взросления некоторые из нас приобретают твердость хозяев. Если бы я был богат, моя природная склонность пользоваться гостеприимством могла бы измениться и, повзрослев, я мог бы стать кем-то вроде хозяина. Возможно, из меня вышел бы толк. Впрочем, я вполне справлялся с этой ролью, когда приглашал на обед друзей в свой лондонский период жизни. Но мне не слишком дороги воспоминания об этих обедах, особенно тех, что давались в знаменитых ресторанах. Пока я пытался вести остроумную беседу, в глубине души меня не оставлял страх, что я взял с собой недостаточно денег. Я не позволял ему одержать надо мной верх. Я никогда не спрашивал гостя: "Вы будете ликер?", а только: "Какой ликер вы будете?" Но я как мог отдалял ужасную минуту, когда придется спросить счет. Потребовав же его свет-

1. Аллюзия на комедию Шекспира "Как вам это понравится?" Перев. Т. Щепкиной-Куперник.

ским, небрежным (очень надеюсь) тоном, я всякий раз желал, чтобы это не был сложенный листок, подаваемый мне на тарелке так, словно счет несообразно велик и сообщить его можно только конфиденциально. Листок приносили. Мне хотелось узнать худшее немедленно, но я делал вид, что увлечен разговором и счета не замечаю; наконец, никоим образом не прерывая беседы, я приподнимал край сложенного листка и бросал на цифру, надеюсь, беспечный взгляд. В действительности она была куда меньше, чем я боялся. Пессимизм — залог счастливых мгновений. <...>

Хозяин в роли гостя куда хуже, чем гость в роли хозяина. Здесь от него толку не будет. Гость, по своему природному складу, обладает известной гибкостью, позволяющей ему притворяться хозяином более или менее убедительно. Хозяин же, поскольку натура его позитивна, даже не пытается перенять обходительность гостя. Говоря "обходительность", я не имею в виду нечто искусственное. Манеры гостя как лесные цветы, выросшие на доброй почве — почве истинной скромности и признательности. Он рад, что его пригласили, и в ответ искренно стремится угодить. Его удивляет, что люди с ним так любезны, и поэтому, даже не подозревая об этом, он сам любезен по отношению к ним. Но хозяин, как я говорил, становится гостем вопреки своей натуре. Именно в этом причина разлада. Он чувствует, что нет большего счастья, чем ...etc., etc., и что это скорее он оказывает любезность, нежели любезность оказывают ему. Он никак не может освоиться. Постоянно выходит из роли. Сам ведет разговор. Радушно развлекает вас беседой. Никогда не хвалит вино и блюда. Бесцеремонно смотрит на часы и заявляет, что ему пора уходить. Не выражает признательности за приятно проведенное время. Его место и впрямь во главе стола. <...>

Меня учили, что всякая добродетель есть среднее между двумя крайностями, и, думаю, мы лучше поймем ее природу, если рассмотрим соседствующие с ней пороки. Гостеприимство занимает промежуточное положение между нелюдимостью и бахвальством. Левее от хорошего хозяина находится тот, кто ничего ни о ком не хочет знать, правее — тот, кто хочет, чтобы о нем знали все. Теперь рассмотрим пределы, в которых помещен хороший гость. Слева мы видим приживала, справа — вновь нелюдима. Но как прекрасен и желанен срединный характер! Излучающий благодарность, но не чрезмерную, ненавязчивый, но отзывчивый, сохраняющий достоинство, но мягкий, спокойный и живой; он не вторит, но дополняет, не противоречит, но указывает дорогу к истине, он и одушевляет, и украшает всякое собрание. Таков его портрет. Но с кого он писан? Увы, недостаток признать легче, чем притязать на достоинство. Я сказал вам, что был плохим хозяином в лондонскую пору моей жизни и не стану претендовать на звание идеального гостя. Я и правда идеальным не был. Но был хорошим. Впрочем, оглядываясь назад, я вижу себя совсем не в середине: то чуть левей, то ближе к "нелюдимому" пределу. Порой я бывал чрезмерно тих, порой отчаянно противоречил. И хоть я любил получать приглашения, я нередко предпочитал оставаться дома. Если бы кто-нибудь прочел все мои ответы на приглашения, боюсь, он решил бы, что моего общества искали постоянно, я же, будучи вечно в разъездах, в то же время не покидал своего домашнего кресла.

1918

Переводы А. Власовой

Наталья Старосельская

F*abula rasa*

Это история без начала и конца, потому что завязка ее принадлежит Вечности, а финал зависит от Времени, в которое исторгает нас, независимо от нашей воли, Вечность. И каждый миг обладает неповторимой, собственной оболочкой; в ней, в этой оболочке, все и разрешается всякий раз по-разному — в варианте мужском, жестком, трагичном; в варианте женском, более мягком, примиряющем. Или в каком-нибудь другом, еще неведомом нам варианте.

Так считает сербский писатель Милорад Павич, покоривший едва ли не весь мир своими книгами, которые, строго говоря, являются одной-единственной книгой с бесчисленными вариантами, сюжетными поворотами, но, в сущности, представляют собой заранее обреченную попытку уловить Вечность, подобно тому, как ловят чужие сны его персонажи-ловцы. Поэтому, предваряя "Хазарский словарь", Павич сразу определяет, что в этой книге нет ведущего и ведомого; есть тот, кто добровольно и очень индивидуально вошел в круг вечных проблем: "Каждый читатель сам сложит свою книгу в одно целое, как в игре в домино или карты, и получит от этого словаря, как от зеркала, столько, сколько в него вложит, потому что от истины — как пишется на одной из следующих страниц — нельзя получить больше, чем вы в нее вложите... Чем больше ищешь, тем больше получаешь..."

Так вслед за Милорадом Павичем считает и режиссер Владимир Петров, дебютировавший в Москве на сцене МХАТа им. А. П. Чехова спектаклем "Вечность и еще один день" по пьесе Павича, созданной на основе фрагментов "Хазарского словаря", ставшего едва ли не культовой книгой для сегодняшней молодежи, и "Пейзажа, нарисованного чаем".

Владимир Петров — режиссер, наделенный незаурядным интеллектом и театральной изобретательностью. Работая на протяжении десятилетий в Риге, Севастополе, Киеве, Харькове, Омске, он поставил около пятидесяти спектаклей. В Омской драме Петров осуществил постановку романа Кобо Абэ "Женщина в песках" (за которую был удостоен национальной театральной премии России "Золотая маска"), а затем пьесу Карлоса Фуэнтеса "Церемонии зари". В соединении с "Вечностью..." Милорада Павича эти спектакли могли бы составить своеобразную трилогию театрального освоения особого пласта культуры. Друг от друга внешне изолированные, на глубине, по справедливой мысли режиссера, они связаны нерасторжимо и очень тесно.

Если не знать даты рождения Милорада Павича, можно легко обмануться, представив его человеком "компьютерного сознания"; каждая его книга складывается из историй, казалось бы, ничем не связанных, кроме какой-то метафизической, даже мистической нити. Его сюжеты рождены ощущением истории культуры как живого и логически организованного постижения человеком себя в мире и мира в себе, они пронизаны собственными и чужими снами, их переплетением, их бесконечной повторяемостью.

Они рождены совершенно особенным, обостренным чувством Времени и Вечности: "...для каждого мгновения... в качестве материала использованы потертые мгновения

© Н. Старосельская, 2002

прошедших веков, прошлое встроено в настоящее и настоящее состоит из прошлого, потому что другого материала нет. Эти бесчисленные мгновения прошлого по нескольку раз на протяжении веков использовались как камни в разных постройках; и в нашей нынешней жизни, стоит только присмотреться повнимательнее, можно совершенно ясно распознать их, так же как мы распознаем и вновь пускаем в обращение золотую монету времен Веспасиана", – пишет Павич.

Не случайно, работая над спектаклем, Владимир Петров не удовлетворился лишь пьесой "Вечность и еще один день". Поняв умом и чувственно ощутив, до какой степени связаны книги Павича не только сюжетно, но в первую очередь внутренне, этим глубоким, обостренным поиском "золотого сечения", режиссер максимально использовал и другие произведения писателя, заимствуя из них не отдельные фразы или сюжетные ходы, но тот угол и объем зрения, что возникают как единственно возможные.

Поистине — "Чем больше ищешь, тем больше получаешь..."

В предисловии к пьесе Милорад Павич предлагает тому, кого заинтересует "Вечность и еще один день", использовать различные варианты сочетаний, при которых неизменной остается лишь "основное блюдо" его театрального меню – история о Петкутине и Калине. "Закуски" и "десерт" каждый волен выбирать по-своему, в результате чего может получиться девять вариантов одной пьесы.

Разумеется, это игра, которую сербский писатель высоко ценит и искренне любит. Но игра отнюдь не самоцельная; она дает право выбора – иллюзорное, ведущее к бездне самообмана, но все же... Кого не искусит, не соблазнит хотя бы и призрачная возможность выбора своей судьбы?.. Тем более что эта возможность в равной мере относится к режиссеру, артистам, зрителям – так же, как не отделяет себя от читателя Милорад Павич, не отделяет себя от зрительного зала сцена театра.

Владимир Петров поставил фактически два спектакля – женскую и

мужскую версии, и, твердо соблюдая правила игры, придумал "для чистоты эксперимента" анкетирование зрителей. Когда вы входите в театр, вам предлагается проголосовать за ту версию, которую вы хотите увидеть. Перед самым началом голоса подсчитываются, и артисты, занятые в спектакле "Вечность и еще один день", узнают вместе со зрителями, что́ им предстоит в этот вечер играть.

Прием абсолютно в духе Павича, написавшего в романе "Внутренняя сторона ветра": "В те дни ждала Леандра его fabula rasa, его "пустая история", и умоляла о том, чтобы он наконец в нее вселился". Поэтому вдвойне трудно удержаться от соблазна и не попытаться вставить себя самое в эту удивительную "пустую историю", которая происходит на сцене МХАТа им. А. П. Чехова каждый раз по-разному.

Итак, вариант первый – "Засахаренные фиалки".

Эта история берет свое начало в выстроенном художником Валерием Левенталем черном пространстве, плотно обступившем освещенный прямоугольник, где священнослужитель хазарского храма Мокадаса Сафер (Виктор Гвоздицкий) поучает юных и неискушенных послушников и послушниц. Потом поле ее расширится – возникнет фрагмент лестни-

Наталья Старосельская. Fabula rasa

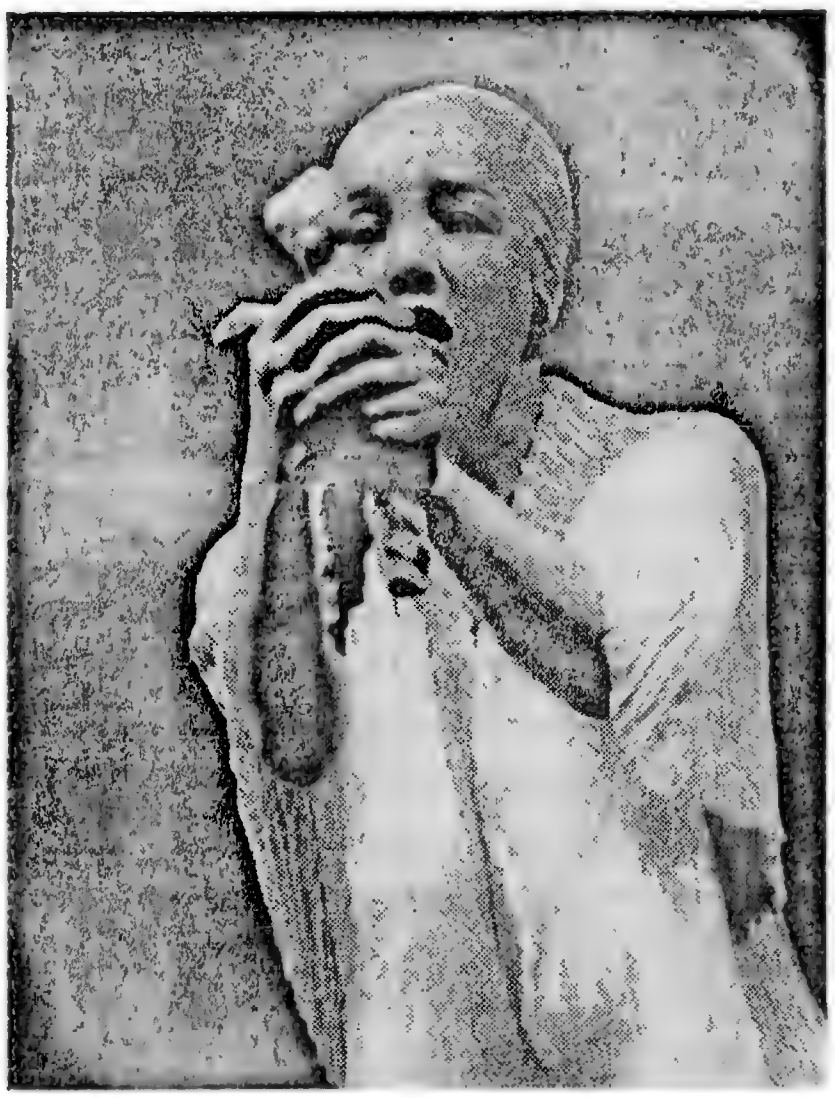
цы, сидя на котором девушка Калина (Дарья Мороз) будет водить смычком по струнам виолончели и мечтать о возлюбленном. Это Душа будет звать Плоть, чтобы слиться не во Времени, но в Вечности, и потому ничто не станет постыдным в этих страстных мольбах, в этой чувственной пластике.

Магия колдовства и красота старинных обрядов, музыкальные переплетения, в которых слышатся то простой звук пастушеского рожка, то струнная мелодия, то мерный перестук пляски, то легенды и вымысел — все это переплавлено Милорадом Павичем — а вслед за ним удивительно чутким к мотивам вечным и временным Владимиром Петровым — в Космос, строго и жестко организованный свыше, потому что только там известно, где с первым, вторым и третьим ударами колокола должно оказаться тело, не ведающее своего имени. Душе дано знать все немного раньше, ей дарована сила пророчества и ясновидения, но сама по себе она ничего не может. Телу дано ощущать, действовать, но и оно само по себе ни на что не способно.

Этой тайной владеет граф Авраам Бранкович (Сергей Колесников) — колдун, который, вероятно, именно за свой дьявольский дар наказан Богом: у его старшего сына Гргура руки по локоть в крови, а младшему сыну Виду не суждено жить, продолжать род, потому что он одержим непонятной болезнью. И тогда Бранкович создает из глины юношу-сына Петкутина, в которого вдыхает жизнь.

Это пока еще тело без души, не опаленное чувствами, не обремененное ни опытом, ни культурой, ни традицией, а значит — по Павичу, — не ведающее себя. Егор Бероев играет Петкутина настолько органично и просто, что с момента его появления напряжение словно возрастает само по себе — сложный мифологический мир упрощается и... удивительным образом очеловечивается. Из Космоса мифологических сцеплений мы перемещаемся в мир простой человеческой истории любви — пластически решенная любовная сцена героев настолько красива, дышит такой страстью и нежностью одновременно, что дух захватывает!.. Петкутин и Калина обретают друг друга ненадолго, их свадебное путешествие в развалины античного театра закончится трагически: почуяв запах свежей крови, бесшумные тени мертвецов превратятся в вампиров и разорвут не Петкутина, порезавшего руку, но его душу, Калину, потому что в самый страшный час Душа заслонит собой Тело, ради которого живет. И будет тело обречено на странствия во Времени и Вечности...

С момента встречи и любовной сцены Петкутина и Калины все в этой истории захватывает, становится как будто пережитым когда-то; магия снов, предвидений, тяготы расставаний властно забирают в свой плен, провоцируя собственные переживания и воспоминания. И с этого же момента всё в спектакле Владимира Петрова становится живой болью. Болью встречи, узнавания, потери и — путешествия в Вечности, когда поиск покинувшей Тело Души не прихоть, не минутный каприз, а горькая, очень горькая необходимость. Потому что нет ничего страшнее Времени, которое жестоко и грубо обрывает течение Вечности. Нет, не обрывает — приостанавливает, и это оказывается еще страшнее, потому что недолгая остановка — может быть, самое мучительное страдание



и самое жестокое испытание для тех, кто должен продолжать жить...

Спектакль В. Петрова изысканно красив, от него исходит особый, пряный аромат; четко сформулированная мысль и тонкие чувства связаны так же прочно, как Душа и Тело в истории, рассказанной М. Павичем. В финале женской версии Петкутин покупает у лавочника-еврея яйцо, в котором скрыт "еще один день". Он раздавливает его и оказывается в древнем амфитеатре, заполненном нынешней молодежью. Среди этих людей он находит свою душу, Калину. И безучастно движется в центре площадки маятник, востановивший равнодушный ход, прибавивший к Вечности всего лишь один день... Надолго ли слились вновь Тело и Душа? — скорее всего, нет.

Вариант второй. "Кофе без сахара".

Начало этой истории: за роскошно накрытым столом, где госпожа София (Наталья Егорова) принимает своих гостей — Тело и Душу, столь же неискушенных, как и послушники Мокадасы Сафера. Вычитывая знаки будущего, а может быть, и прошлого на столовых приборах, оба они обречены на изгнание: Душа за то, что не отгадала загадку госпожи Софии (Мудрости), Тело — за то, что угадало ее тайну. Это изгнание подобно изгнанию из Эдема. Здесь начало гораздо жестче, чем в женской версии, оно сразу же определяет круг страданий, по которому вынуждены будут кочевать в веках разлученные Душа и Тело, потому что именно в сконструированной Владимиром Петровым мужской версии спектакля прозвучит горькая и безысходная мольба: "Душа моя, я устал. Отпусти мое тело и дай ему отдых".

Эти слова во всей своей жестокости отзовутся в эпилоге, который будет совсем не таков, как в женской версии. "Засахаренные фиалки" счастливого финала, сладковато-терпкий десерт женской версии станет горьким и крепким кофе без сахара, поданным на десерт в версии мужской. Владимир Петров идет в своей игре дальше Павича — если версии "Хазарского словаря" отличаются несколькими фразами, версии "Вечности и еще одного дня" действительно выглядят как мужское и женское восприятие мира, жизни, любви.

Петкутин женской версии, узнав тайну куриного яйца, попытается переиграть прошлое. Калина мужской версии вызовет графа Бранковича на свидание и потребует у него "еще один день" для того, чтобы самой провести эксперимент и создать глиняного Петкутина, который вспомнит, что она — его Душа. И ее не пугают предостережения Бранковича, что, скорее всего, из ее попытки ничего не получится.

Эксперимент не удастся, из разбитого кувшина вырвется красное пламя, глиняная кукла останется куклой с безвольно висящими конечностями. И тогда произойдет страшное. На наших глазах героиня, опустив на миг голову, натянет на нее облегающую шапочку — так, по пьесе, опадут с нее роскошные волосы и она вновь и уже навсегда обратится в тень. Когда Калина поднимет голову — на зрительный зал взглянут мертвые глаза...

Потому что, как сказано в "Хазарском словаре", "если от Бога можно потребовать и даже получить вечность, то противоположное вечности — время — мы можем взять только у Сатаны..."

В неизменной основной части есть примечательный эпизод. Когда мать Калины приходит за советом к старому другу умершего мужа отцу Элеазару (Виктор Гвоздицкий), он рассказывает ей историю Петкутина и объясняет, зачем нужна генная инженерия, которой занят граф Бранкович. В разных версиях Виктор Гвоздицкий по-разному произносит одни и те же слова: то поэтично, то иронично. И его откровенная ирония в мужской версии вызывает неожиданную реакцию: "Мы хотим отказаться от некоторых наших заблуждений, изменить представления о морали, само понимание жизни, — говорит отец Элеазар. — Нам придется усвоить, что мы одни в мироздании, и от нас будет зависеть, используем ли мы это знание во благо или во зло. Нам придется догово-

риться о том, каким путем пойдет человечество. Возможно, мы приблизимся к пониманию проблемы жизни во Вселенной вообще..."

Неужели это единственное, что нам осталось после того, как сами по себе изменились представления о морали и понимание жизни? Чему же в силах помочь тогда генная инженерия? И насколько она научна, если невозможна без "поиска первого человека, Адама, душа и тело которого огромны"?..

Милорад Павич во всех своих изощренных играх с сюжетами, сопряжением несовместимых линий, эпох, народов все же остается автором глубоко лиричным. Его "компьютерное сознание" — тоже игра, рассчитанная на тех, кто уже давно отвык разговаривать на другом языке и читать простые, древние, как мир, человеческие истории. Вступив в эту игру, начинаешь ощущать какой-то иной объем жизни. Это происходит и в книгах Павича, и в спектакле Петрова, и становится самым главным, самым дорогим в общении и с театром, и с книгой.

В предисловии к "Хазарскому словарю" сказано: "Писатель не советует читателю браться за эту книгу без бóльшой необходимости. А если уж он захочет поинтересоваться ее содержанием, то делать это нужно в такой день, когда чувствуешь, что ум и осторожность способны проникнуть глубже, чем обычно. Читать ее следует так, как треплет человека горячка или жар лихоманки, болезни, которая приходит приступами, через день..."

Можно было бы с раздражением подумать о кокетстве Павича, если бы не одно "но". Я начинала читать "Хазарский словарь" несколько раз и не могла преодолеть чего-то в себе. Может быть, ум и осторожность действительно были в те дни недостаточно обострены и не стремились проникнуть глубже, чем обычно. Не знаю... Но после женской версии спектакля я поняла, что не в силах расстаться с миром, созданным для меня Милорадом Павичем и Владимиром Петровым. Этот мир захватил меня в свой плен, закружил в вихре вопросов, ответы на которые никто не подскажет. Fabula rasa требовала наполнения моими мыслями, чувствами, нервами, кровью... И я вошла в нее. Видимо, уже навсегда.

Между футуризмом и модерном: двуязычное издание Аполлинера

Гийом Аполлинер. *Мост Мирабо.* Перевод, статья, комментарии, составление Михаила Яснова. Санкт-Петербург, "Азбука", 2000

Французский поэт Гийом Аполлинер (1880—1918) уже давно знаком нашему читателю. Напомним, что его стихи были "канонизированы" еще в 1967 г. в превосходном научном издании серии "Литературные памятники", которое было одновременно и подведением итогов изучения творчества Аполлинера в нашей стране, и стимулом для появления все новых и новых переводов и, конечно же, новых исследований.

Поэзия Аполлинера стала фактом российской культуры. Не одно поколение школьников, не говоря уже о студентах, изучающих французский язык, выросло на стихотворении "Мост Мирабо" (которое, кстати, и дало название данному сборнику). Да и сама судьба этого французского поэта со славянскими корнями, кажется, совпала с нашими представлениями о светлом поэтическом гении, трагически погибшем в самом расцвете сил. Разумеется, время меняло акценты. "Советский" Аполлинер был скорее борцом с устаревшими формами буржуазной литературы во имя приближения к жизни, достижения своеобразного "реализма". В своем предисловии переводчик и составитель книги "Мост Мирабо" Михаил Яснов стремился представить совершенно иной образ Аполлинера — великого искателя любви и мистификатора.

Впрочем, лирику Аполлинера читали и любили у нас независимо от тех или иных интерпретаций. Вероятно, залогом этого успеха был сам строй его стихов, сама музыка его строк, в какой-то степени созвучные русской поэзии. С одной стороны, у Аполлинера редко встречается классический александрийский стих, столь естественный для французской просодии и несколько тяжеловесный в русском его варианте. С другой стороны, пусть Аполлинера и называют реформатором французского стиха, поэт, несмотря на свои декларации, не так уж и часто проявлял на практике абсолютную свободу от традиционного стихосложения, которой добивались многие французские авангардисты и которая стала нормой в современной французской поэзии — в русскоязычной же культуре XX века подобные эксперименты считались скорее чем-то маргинальным. Хотя Аполлинер и презирает синтаксис и пунктуацию, его стихи еще сохраняют, хотя бы частично, рифму и ритм, которые нет-нет да проскальзывают и в самых смелых верлибрах. Даже то, что мы сейчас назвали бы "визуальной поэзией", — аполлинеровские "Каллиграммы" — кажутся попросту сродни русским "фигурным стихам" XVIII века, а потому их новаторство вовсе не выглядит для нас чем-то провокативным. Конечно, все это ни в коей мере не приуменьшает роли Аполлинера как великого реформатора во французской поэзии и культуре, как провозвестника "Нового духа" (или, согласно формулировке М. Яснова, "нового лирического сознания"), как учителя не только сюр-

реалистов, но и многих французских поэтов нашего времени.

Вернемся к "русскому Аполлинеру". По-французски его стихи кажутся настолько "легкими", что порой складывается впечатление, будто они сами "идут" к переводчику. Конечно же, эта простота иллюзорна и множество переложений одних и тех же произведений Аполлинера лишь подтверждают невозможность отступить от соблазна состязаться в поэтическом переводе и недостижимость идеала. В нашей стране не одно поколение выдающихся поэтов и переводчиков посвятило себя освоению его творчества. Среди них, как напоминает в предисловии Яснов, были П. Антокольский; М. Ваксмахер, Э. Линецкая, Ю. Корнеев, М. Кудинов (именно он переводил для "Литературных памятников"), Г. Русаков, А. Гелескул, Б. Дубин, И. Кузнецова, Н. Стрижевская и многие другие. Но интерес к Аполлинеру пробудил поэт Бенедикт Лившиц, чьи переводы до сих пор не перестают завораживать, играя самыми разными тонами и оттенками: от витиеватых отголосков модерна — "Безумноустая медоточит луна" — до шокирующего примитивизма — "Кладут аэропланы яйца" — и уже совсем футуристических описаний женской красоты: "Твое лицо румяно гидропланом стать может твой биплан / И крутл твой дом где плавает копченая селедка"[1]... Любопытно, что наиболее далекими от оригинала — и наиболее привлекательными для русского слуха — являются именно "модернистские" транспозиции Лившица. А ведь эти слегка архаизированные (словно под "античность") стилизации русского переводчика не совсем соответствуют замыслу Аполлинера, который стремился ввести в поэтический язык как раз "современность", но они по-своему передают особую гармонию, обязательно присутствующую в его произведениях. Переводы Лившица не только упоминаются в предисловии — их дух витает и над некоторыми поэтическими переводами М. Яснова, хотя речь ни в коем случае не идет о каком бы то ни было подражании.

Переводчик и поэт нашего времени М. Яснов отдает на суд читателя своего Аполлинера, не побоявшись публично сопоставить русские стихи и французский оригинал. Вспомним о богатом советском опыте двуязычных изданий, которые чаще всего предназначались для изучающих иностранные языки и специалистов. Прагматическая направленность подобных книг обязывала к соблюдению некоего "списка" произведений, необходимых для учебной программы. Хотя, разумеется, в этой практике были и исключения, как, скажем, упомянутая Ясновым антология Е. Г. Эткинда.

Книга "Мост Мирабо" — совершенно чужда идее представить поэзию Аполлинера во всем ее многообразии. Напротив, Михаил Яснов выбирает для перевода стихи, сообразуясь с собственным вкусом, а не с обязательной университетской программой: в сборнике, например, отсутствуют хрестоматийные "Зона", "Безвременник" ("Les Colchiques "), "Музыкант из Сен-Мерри". И это очень удачный, как нам кажется, подход к поэтическому переводу, который невозможно "поставить на поток".

Французские и русские стихи здесь нередко звучат хором, почти в едином ритме, как, например, знаменитое и многократно переводившееся стихотворение "Мост Мирабо" из цикла "Алкоголи":

Под мостом Мирабо исчезает
Сена
А с нею любовь
Что же грусть неизменна
Уступавшая радостям так
смиренно.

Тьма спускается полночь бьет
Дни уходят а жизнь идет.

1. Цитируется по кн.: Бенедикт Лившиц. Полутораглазый стрелец. М., 1989.

Sous le pont Mirabeau coule la
Seine
Et nos amours
Faut-il qu'il m'en souvienne
La joie venait toujours après la
peine

Vienne la nuit sonne l'heure
Les jours s'en vont je demeure

В этом примере с оригиналом совпадает в какой-то мере даже графика русского текста. Еще более интересны графические решения М. Яснова в его переводах из цикла "Каллиграммы". Стихотворения "Дымы", "Рекогносцировка", "Времена года" зрительно повторяют очертание французских стихов, но, когда Аполлинер начинает играть с изображением, как в "Дожде", рисуя строками дождь, или в "Зарезанной голубке" — падающую птицу, М. Яснов отказывается копировать фигурные стихи и выстраивает свой текст традиционно.

А вот еще один из многих примеров удачной ритмической транспозиции редкого для аполлинеровской поэзии александрийского стиха с обязательной цезурой после третьей стопы в стихотворении "Рейнская ночь":

Рейн пьян в дымину пьян и
виноградник спит
Как золото в воде мерцая до
рассвета
А лодочник поет а песня все
томит
Зеленокудрых фей
зачаровавших лето.

Le Rhin le Rhin est ivre où les
vignes se mirent
Tout l'or des nuits tombe en
tremblant s'y refléter
La voix chante toujours à en
râle-mourir
Ces fées aux cheveux vers qui
incantent l'été.

Как говорил в свое время французский поэт Стефан Малларме, а вслед за ним немецкий философ Вальтер Беньямин, поэзия не в словах, а как бы над словами, над текстом, который при переводе может и очень сильно отдаляться от оригинала, — и такие случаи мы тоже найдем в переводах М. Яснова. В предисловии Яснов, вторя Эткинду, поднимает проблему принципиальной непереводимости некоторых языковых элементов. Яснов, сам будучи поэтом, оптимистически считает, что существует все же некое художественное целое, которое вполне поддается переводу.

Уже было сказано, для данного сборника переводчик выбирал стихи Аполлинера на свой вкус: он стремился показать Аполлинера как "завершителя классического периода французской поэзии". Аполлинер — предтеча авангарда интересует его меньше, чем Аполлинер — наследник Верлена. Но дело не только в субъективности выбора Михаила Яснова; возможно, здесь кроется и более глубокая культурная проблема: сама русская поэтическая традиция XX века, в отличие от французской, еще очень классична, и переводы тех авангардистов, которые последовали за Аполлинером, — Тристана Тцара, Андре Бретона, раннего Луи Арагона, — трудно "вписываются", по крайней мере пока, в наши представления о лирике, оставаясь неким любопытным историческим курьезом. И виноваты в этом не поэты, а их переводчики: ведь Элюар-сюрреалист прекрасно известен и любим российским читателем. И все же, история формальных исканий русской поэзии была такова, что своих общепризнанных вершин они достигли в постсимволистской культуре футуризма (но даже близкая ей "заумь" все-таки замкнулась в пределах творчества очень немногих мастеров поэтического слова), чем и можно отчасти объяснить "органичность" Аполлинера, близкого футуристической культуре (его обычно называют кубофутуристом) и к тому же переводимо-

го Лившицем, участником русского футуристического движения.

Сборник стихов Аполлинера в переводе Яснова — несомненно, большое событие в отечественной культуре еще по одной причине. Эта, казалось бы, "массовая" книга карманного формата удачно сочетает в себе элитарность переводческой и литературоведческой концепции и гармоничную легкость русского стиха.

Елена Гальцова

Речевые действа Михаэля Ленца

Michael Lentz. *Oder. Prosa.* Wien, edition selene, 1998
Michael Lentz. *Ende gut. Sprechakte.* Wien, edition selene, 2001
Михаэль Ленц. *Или. Проза.* Вена, эдисьон селене, 1998
Михаэль Ленц. *Хорошо кончается. Речевые действа.* Вена, эдисьон селене, 2001

Говоря о саунд-поэзии (сонорной поэзии), критики часто подчеркивают ее иконоборческий характер, противостояние саунд-поэтов линейности литературы, их радикальную оппозицию письму, увлечение высокими технологиями. Вместе с тем, творчество многих современных авангардистов ясно показывает, что находящаяся на грани литературы и музыки саунд-поэзия жизнеспособна именно тем, что, прожив пору иконоборчества, неуклонно движется вперед по пути пусть пока экспериментального, но созидательного творчества, утверждающего новые формы. Одним из примеров такого творчества являются произведения немецкого саунд-поэта Михаэля Ленца, в частности, его вышедшая в 2001 году книга "Хорошо кончается". Автор определяет жанр книги как "речевые действа" ("Sprechakte"). Некоторые из опубликованных в ней тектов — в исполнении самого Ленца и его единомышленников — записаны на прилагаемом к изданию CD.

Анализировать и оценивать эти произведения в отрыве от их звучания было бы бессмысленно. Иногда они напоминают традиционные белые стихи:

могу ли я что-то для тебя
    сделать.
могу я что-то для тебя
    сделать.
могу я что для тебя сделать.
могу я что сделать.
могу я что.
могу я.
могу я что.
могу я что для тебя то есть
    для тебя.
могу я то есть для тебя
    что-то.
могу я тут что-нибудь сделать.
могу я что сделать то есть тут
    для тебя так не выйдет.

Впрочем, никакой перевод не может дать истинного представления, так как в саунд-поэзии чрезвычайно значимы звуковые особенности родного языка.

В ряде композиций звучат только слоги, но будучи произносимыми с различной скоростью и громкостью, они создают единое речевое семантическое пространство, вызывают конкретные ассоциации и не кажутся бессмысленным набором звуков. Даже там, где голоса настолько искажены компьютерной обработкой, что произносимые звуки сливаются в нечленораздельный гул, он все равно остается речью и несет некое воспринимаемое не разумом, а, скорее всего, подсознанием сообщение. Композиционное сопоставление речевых звуков весьма различно: это может быть диалог двух голосов, произносящих слова; текст на фоне ритмически организованных слогов; шепот в сочетании с выкриками; иногда к голосам присоединяется музыка.

Многие номера построены по законам музыкальной композиции: два-три голоса при проговаривании текста звучат наподобие музыкального полифонического произведения, есть даже канон для любого числа голосов, который не поется, а декламируется. Интонация, скорость произнесения, ударные слоги, сочетания звуков – все приобретает новое значение в этом вербально-музыкальном семантическом пространстве.

Михаэль Ленц хорошо известен не только в Мюнхене, где он живет с 1987 года. Его творчество неоднократно отмечалось национальными премиями и стипендиями, последняя по времени – премия им. Ингеборг Бахман – получена в 2001-м. Помимо создания экспериментальных саунд-поэтических произведений, Ленц играет на саксофоне, пишет прозу, публикует свои исследования о саунд-поэзии (в частности, двухтомник о ее развитии после 1945 года), курирует существующую с 1996 года серию концертов "SOUNDBOX. Акустическое действо" в Зальцбурге и Мюнхене.

Следует сказать несколько слов о прозе Ленца, о сборнике под названием "Или". Эта проза также экспериментальна и рассчитана не только на чтение про себя, но и на декламацию. По преимуществу это небольшие ритмически организованные отрывки, часть из которых снабжена указаниями, как именно их следует озвучивать (например, убыстряя темп). Они имеют четкую семантическую структуру и создают яркие образы, как, скажем, "Cielo" (реакция на "Декабрь 38" Пабло Пикассо). Некоторые из отрывков напоминают "поток сознания" Джойса. У них нетрадиционная орфография (скажем, полное отсутствие заглавных букв или постепенное увеличение числа букв в слове: "или иили ииили ииилии ииилиии иииллиии..."). Даже если вы читаете их про себя, они все равно начинают звучать внутри вас.

Российские любители авангарда увидят в произведениях Ленца сходство с опытами В. Пономаревой в *поп-механиках* С. Курехина, с декламационными музыкальными выступлениями Д. Пригова совместно с С. Летовым и В. Чекасиным, А. Битова с А. Александровым и многих других. Кстати, стоит напомнить, что композиция Битова "Тишина" звучала в Германии в 1996 году на немецком языке в исполнении Розмари Тице.

Правда, насколько я знаю, нашим авторам пока не удавалось предпринять официальное издание на грани литературы и музыки: текст-книга–CD. Такое издание, наряду с полученными Ленцем премиями, свидетельствует, пожалуй, о том, что саунд-поэзия в Германии окончательно завоевала право считаться устоявшимся, пусть по сути своей экспериментальным, жанром. Не исключено, что на основе этого жанра, не только ломающего границы между поэзией и музыкой, но и активно использующего традиционные формы на новом материале, зарождается будущий синтез искусств, о котором мечтали эстеты с самого начала XX века.

Ииилиии?

Элина Драйтова

Австралия

Справедливость восстановлена

Дэвид Юнайпон, первый в истории Австралии писатель-абориген, у себя в стране до последнего времени был известен прежде всего как общественный деятель, проповедник, ученый и изобретатель — его портрет даже помещен на 50-долларовую банкноту. Однако главная его книга "Легенды и предания австралийских аборигенов" на протяжении почти восьми десятилетий издавалась под чужим именем. Некий Уильям Рамсей Смит, врач и антрополог-любитель, фактически украл у Юнайпола труд всей его жизни.

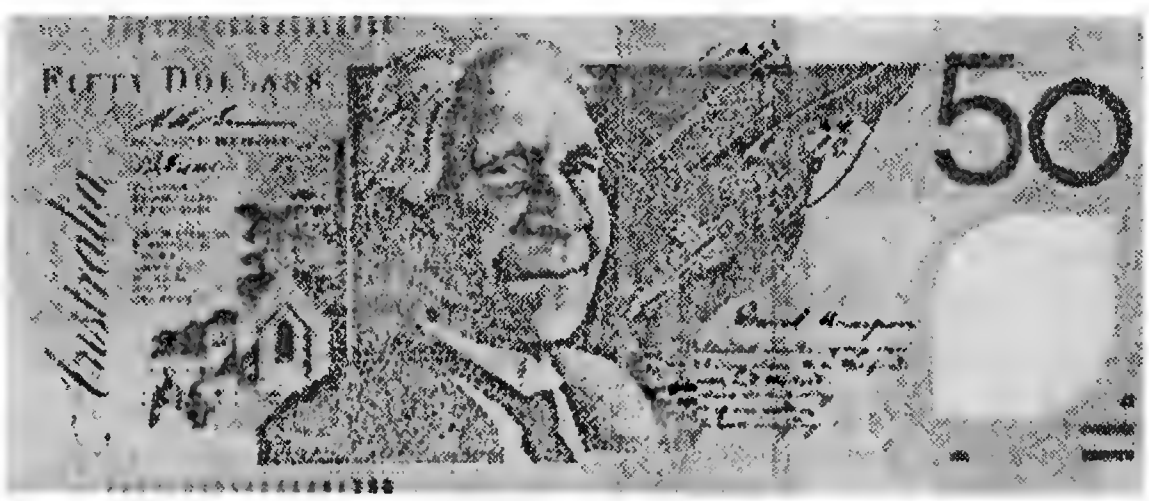
Теперь благодаря университетским преподавателям Стивену Мьюки и Адаму Шумакеру справедливость восстановлена: на обложке опубликованного в Аделаиде издания "Легенд и преданий" значится имя настоящего автора. Книга открывается обширным предисловием, в котором описывается историко-культурный контекст эпохи и подробно изложена история похищения работы Юнайпона и ее "репатриации".

Дэвид Юнайпон, которого называют отцом литературы австралийских аборигенов, родился в 1872 году в Южной Австралии. В 20-е годы по заданию университета он стал путешествовать по стране, собирая мифы и предания аборигенов, которые до того существовали лишь в устной форме и передавались из поколения в поколение...

В 1924 году Рамсей Смит, получив от одного английского издательства заказ на книгу фольклора аборигенов, случайно узнает от сиднейского издателя Джорджа Робертсона о том, что они собираются заключить контракт с неким автором, который занимается схожей тематикой. Рамсей Смит начинает хитроумную интригу, в результате которой ему удается приобрести у издательства "Энгус энд Робертсон" копию рукописи Юнайпона. Высланный последнему договор теряется на почте, проект замораживается, и издательство таким не слишком благовидным образом решает возместить деньги, выплаченные автору в виде аванса. Смит, внеся кое-какие поверхностные изменения, отправляет рукопись в Англию, где она и выходит в 1930 году в виде книги — без каких-либо упоминаний имени Юнайпона.

До самой своей смерти Юнайпон боролся за восстановление авторских прав (он умер в бедности в 1967 году), но так ничего и не добился, равно как и его родственники, уже после его кончины обивавшие пороги судов.

При подготовке нового издания составители использовали черновики Юнайпона, которые все эти годы хранились в одной из сиднейских библиотек. Кроме того, том содержит описание обычаев, традиций и верований аборигенов, рассказы об австралийской флоре и фауне, а также философские размышления автора, мечтавшего, что "когда-нибудь мифы и предания аборигенов станут такой же неотъемлемой частью австралийской культуры, как мифы Древней Греции и Древнего Рима — европейской".



Купюра с изображением Дэвида Юнайпона

Аргентина

Новая история аргентинской литературы

Первая "История аргентинской литературы" под редакцией Рикардо Рохаса увидела свет еще в начале XX века. Именно об этом труде Х. Л. Борхес с немалой долей иронии сказал, что он "объемнее самой аргентинской литературы". Вторая попытка относится к 60-м годам: тогда выход в свет книги, подготовленной издательством "Сентро эдитор де Америка Латина", стал настоящим культурным событием.

И вот теперь, на заре XXI столетия, вновь назрела необходимость обратиться к литературе страны, подарившей миру Хосе Эрнандеса, Хорхе Луиса Борхеса, Хулио

Кортасара, Эрнесто Сабато и многих других замечательных писателей. Возглавил работу по созданию монументальной 12-томной "Критической истории аргентинской литературы" один из самых известных и уважаемых аргентинских критиков Ное Хитрик, а всего в ней принимают участие более 250 специалистов — литературоведов, писателей и критиков. Выпуск труда, охватывающего двухвековую историю национальной литературы, планируется завершить в течение пяти лет.

Новое издание — это итог почти тридцатилетней работы; оно адресовано школьным учителям, университетским преподавателям и студентам, а также всем интересующимся латиноамериканской культурой. "Критическую историю аргентинской литературы" предполагается одновременно выпустить в Латинской Америке, Европе и США.

Бразилия

Библия на современный лад

Принадлежащее монахам-францисканцам издательство "Возеш" опубликовало новый португальский перевод Библии, сделанный с еврейского масоретского текста. Выход книги вызвал в Бразилии бурную полемику. Суть в том, что издатели замыслили сгладить в тексте "острые углы", сделав его "политически корректным", что, по мнению их оппонентов, искажает смысл библейских сказаний и представления о культурном контексте, в котором они создавались.

Например, в каноническом варианте книги Бытия (1. 26) есть такие строки: "И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему". В большинстве европейских языков, включая португальский, слово "человек" в одном из значений является синонимом "мужчины". По требованию феминисток в новом варианте "человек" был заменен неким бесполым "человеческим существом". Не угодил борцам за женское равноправие и апостол Павел, призывающий жен во время молитвы покрывать голову. В результате в Первом послании к Коринфянам появился стих более либерального содержания: "Посему жена и должна быть причесана надлежащим образом, для Ангелов".

В текст также были внесены новшества, касающиеся вопросов экологии. Так, согласно новому переводу, Бог сотворил людей не для того, чтобы они владычествовали над землей и обладали ею, как это сказано в Ветхом Завете, а для того, чтобы заботились об окружающей среде и братьях наших меньших.

Среди тех, кому не по душе "политически корректная" Библия, — известный психоаналитик Франсишку Даут, который считает подобный перевод — обыкновенной глупостью. По его мнению, издатели будто бы забыли, что текст писался две тысячи лет назад, когда люди рассуждали совершенно в иных категориях. "Так скоро придется исключить из Библии и притчу о том, как Господь требует от Авраама принести в жертву своего единственного сына Исаака. Не слишком ли жестоко со стороны Бога подвергать такому испытанию любящего отца? Давайте лучше оставим Библию в ее прежнем виде", — резонно заключает он.

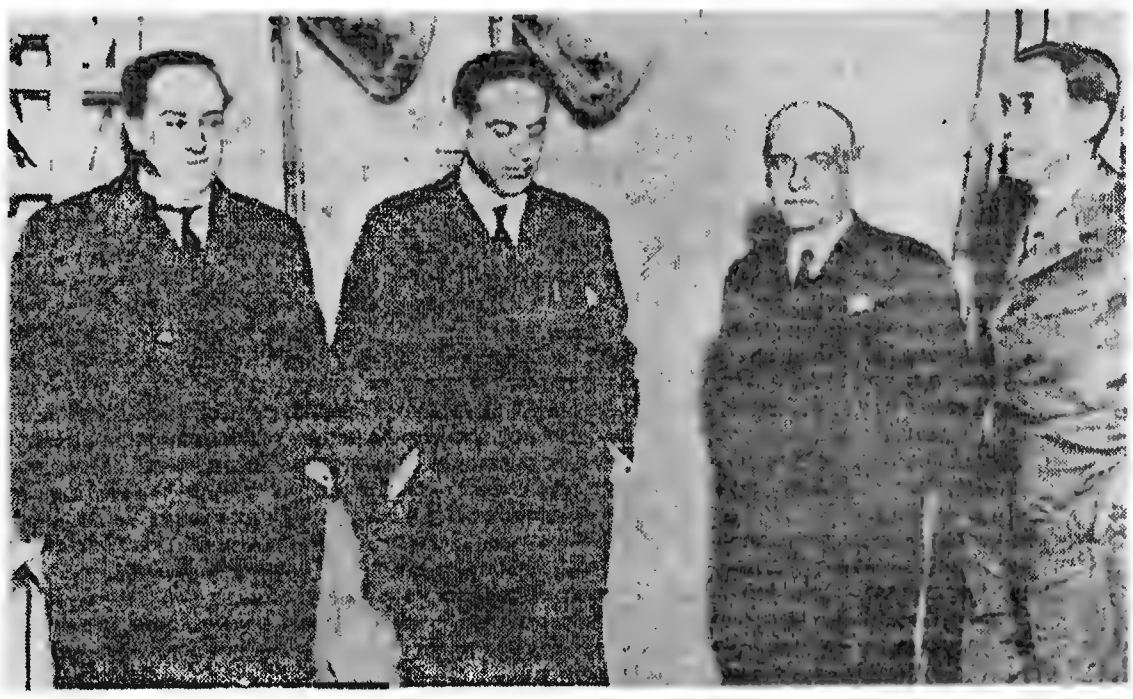
Испания

"Альтруизм — вот высший закон жизни"

Более двухсот пятидесяти статей, заметок, эссе, интервью, писем классика испанской литературы Антонио Мачадо вошли в книгу "Проза разных лет: 1893—1936", которую выпустило в свет мадридское издательство "Пахинас де Эспума". Собранные в хронологическом порядке, эти документальные свидетельства позволяют увидеть севильского поэта и философа "в ракурсе времени". Особенно ценны материалы, которые публикуются впервые, а их в книге почти треть.

Суждения Антонио Мачадо станут для одних откровением, для других — подтверждением собственных мыслей, для третьих — пищей для размышлений. В самом деле, как отнестись к его высказыванию о том, что страх перед смертью можно преодолеть, приняв участие в корриде? "Ведь этот страх есть не что иное, как эгоистическая любовь к жизни, — замечает поэт. — Чтобы убить "музу всех наших печалей", необходимо познать опасность. Потому предлагаю считать корриду видом спорта, который поможет нам справиться с сидящим в нас корыстолюбивым эгоистом. Ведь это из-за него мы постоянно трясемся за собственную шкуру..."

Пристрастие испанского классика к корриде вполне объяснимо. Но чем хуже, например, футбол? "Он неэстети-



Антонио Мачадо (слева), Грегорио Маранъон, Хосе Ортега-и-Гассет и Рамон Перес де Айяла

чен, — поясняет Мачадо. — К тому же, он закаляет тело, а не дух. Что толку иметь тело колосса, если в нем скрывается душа цыпленка?"

Любопытны также оценки, данные именитым писателям: "Лопе де Вега — светский ветрогон; Кеведо — бретер, пьяница и волокита; Сервантес — фантазер и сводник". И уж совсем нелестно отзывается Мачадо о политиках, вспоминающих о своих избирателях лишь тогда, когда им требуется поддержка, которую они выпрашивают как "подаяние". Но избиратели стоят вне политики, они заняты созидательным трудом, они работают на благо страны, меж тем как "скопище паразитов-политиков" проедает ее богатства. Не поддержки, а презрения заслуживают эти "пройдохи, захребетники, блюдолизы и махинаторы", — заключает Мачадо.

Преклоняясь перед людьми труда, он считает главными добродетелями щедрость и бескорыстие: "Нужно работать без расчета на выгоду. Нужно сеять для тех, кто придет после нас и будет жать. Альтруизм — вот высший закон жизни". К этим словам человека, который превыше всего ценил "красоту добра", нельзя не прислушаться.

Куба

Путеводитель по вселенной Хосе Лесамы Лимы

Значительным вкладом в осмысление произведений классика кубинской литературы является недавно вышедший в одном из валенсийских издательств 700-страничный труд под названием "Словарь. Жизнь и творчество Хосе Лесамы Лимы". Исследование подготовлено душеприказчиком писателя Иваном Гонсалесом Крусом.

Словарь состоит из девятисот статей и включает в себя основные даты и события из истории Кубы и жизни писателя, библиографию его произведений, список литературных персонажей, географический указатель, справочник по художественным стилям и течениям, мифам и религиям, флоре и фауне, список иностранных слов, обзор критики, а также дневник писателя, который он вел с августа 1956-го по июнь 1958 года.

Это необычное издание погружает читателя в мир писателя, который, несмотря на почти затворнический образ жизни, обладал невероятной эрудицией и широтой знаний. Словарь в полной мере отражает многогранность личности знаменитого кубинца и разносторонность его интересов. Вот, например, только выборочный перечень статей: андрогиния, Антонио Мачадо, барокко, Виктор Гюго, Возрождение, Гарсиа Лорка, древнегреческие мифы, древнеримская литература, дружба, затворничество, католицизм, китайская культура, коварство, колдовство, критика, мать, мифология, образ, платонизм, провансальская поэзия, романтизм, сексуальность, сны, Хуан Рамон Хименес...

Отныне, благодаря этому прекрасному путеводителю, у читателей появляется возможность лучше понять творчество Хосе Лесамы Лимы, не всегда простое для вос-

Хосе Лесама Лима (1956)

приятия, совершить захватывающее путешествие по вселенной одного из крупнейших кубинских писателей XX века.

Польша

Путеводитель по литературной Москве

Обложку специального "московского" номера журнала "Литература на швече" ("Литература в мире") украшает символическая панорама города — инфернальный фотоколлаж со светящимся высотным комплексом.

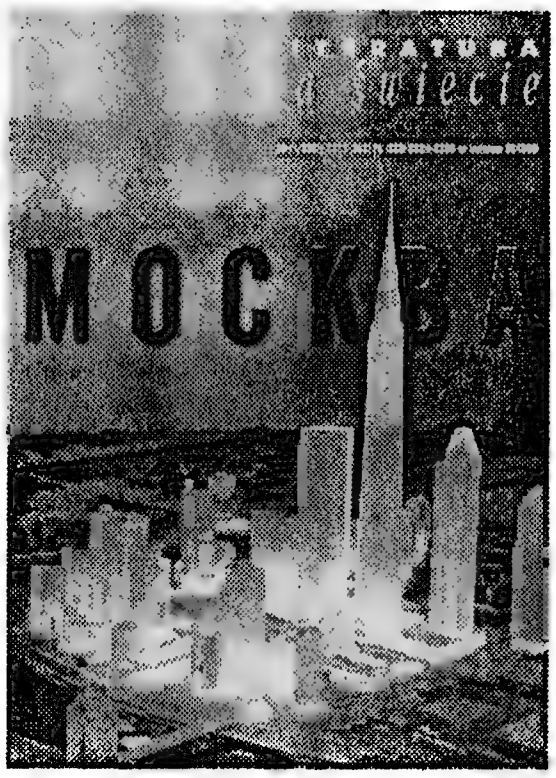
Начать путешествие по столице польскому читателю предлагается вместе с Андреем Белым, представленным на страницах ежемесячника отрывком из романа "Москва" и главой "Старый Арбат" из книги "Начало века. Воспоминания". В этом же разделе опубликованы выдержки из дневников 1926—1933 гг. П. Зайцева, близкого друга Белого, в конце жизни исполнявшего обязанности его литературного секретаря, а также посвященная роману "Москва" статья польского исследователя и переводчика Я. Гондовича.

Арбат Белого — улица-воспоминание, улица-прошлое с сохранившейся в памяти подробной топографией, архитектурными деталями, реалиями повседневности. По словам Гондовича, "Москва" — это роман-прощание: "Разразится война, революция, погаснут на московских улицах желтые газовые фонари... Когда огни эти зажгутся вновь, это будет другая страна, если не другая цивилизация..."

Эти слова довольно точно передают композицию московского номера. Перед читателем опять возникает Арбат, но уже увиденный взглядом Б. Ямпольского как "режимная улица". В полуфантастическом "дневнике" Дм. Пригова "Живите в Москве" город предстает центром космических катастроф, в отрывках из романов В. Пелевина — пространством, где смешались фантасмагория и реальность.

Еще один раздел — это своего рода "частный", "неофициальный" путеводитель по Москве: "Другая Москва (в семи зеркалах)". В эссе Е. Попова "Страстной бульвар" обрисованы различные исторические и литературные срезы "одного из самых значимых мест столицы". "Собачья площадка" Н. Малинина — это грезы о старой Москве, ушедшей безвозвратно. В "Кольце" Т. Кибирова остроумно описана экскурсия по кольцевой линии метро, "царству гармонии и порядка", в котором "воплотились чаянья и мечты Платона и Кампанеллы, Чернышевского и Плеханова".

Городские "зарисовки", сделанные молодыми писателями, служат иллюстрацией к статье польской исследовательницы К. Осиньской о связанных с Москвой и Петербургом стереотипах, метафорах и ассоциациях, их перекличке в русской литературе. В отличие от Петербурга, Москва не навязывает своего образа. "Отсутствие выраженной структуры, территориальная разбросанность, архитектурная хаотичность, и, наконец, культурная открытость делают Москву городом, образ которого каждый раз рождается заново: каждый "пишет" свою Москву". Вероятно, именно эти особенности сделали ее столь привлекательной для писателей конца XX века — эпохи размытых критериев, нечетких норм, эклектики и фрагментарности.



Обложка журнала "Литература на швече"

Франция

Самое главное — поменьше амбиций

Литераторы, работающие в модном жанре "альтернативной истории", обращаются не только к событиям, повлиявшим на ход мирового развития, но и к биографиям крупных исторических деятелей. В последнее время авторы из разных стран все чаще задумываются над тем, какой могла бы быть судьба Адольфа Гитлера, если бы... Так, у Джерри Юлсмана нищий художник Шикльгрубер умирает от голода в 1913 году; у Дэвида Дворкина Гитлера убивают в 1943-м на Восточном фронте; у Жана Мистлера он погибает в июле 1944-го во время покушения; у Жана Мазарена — кончает жизнь самоубийством, тем не менее ученые изобретают новое грозное оружие, и война продолжается. В некоторых сочинениях концовка более благополучная: у Роберта Харриса Гитлер отмечает свое 75-летие в Берлине в обществе пре-

зидента Кеннеди, а Норман Спинрад отправляет его в 20-е годы в Америку, где новоявленный американец австрийского происхождения становится популярным писателем-фантастом.

К группе сторонников "счастливого конца" относится также французский писатель Эрик-Эмманюэль Шмитт, который в своем романе "Часть другого" (издательство "Альбен Мишель") описывает параллельно подлинную жизнь Гитлера и его вымышленную судьбу. Он рисует портрет респектабельного живописца, принятого 8 октября 1908 года в Академию художеств. Автор напоминает основные эпизоды детства и юности фюрера, и читатели с удивлением видят перед собой обычную личность, наделенную всеми человеческими слабостями. "В этом, собственно, и состоит смысл романа, — утверждает Э.-Э. Шмитт, — показать, что чудовищами не рождаются, ими становятся. Одно время я даже собирался назвать книгу 'Археология чудовища'. Ведь у Гитлера когда-то была прекрасная мечта — стать художником".

Личные неурядицы, бедность в студенческие годы, поражение Германии в Первой мировой войне, позорный Версальский договор — все это вызвало озлобление, стремление отомстить. Автор прослеживает, как его герой постепенно погружается в кошмар безумия, которое обернулось для мира чудовищной трагедией и гибелью 55 миллионов человек.

Тем временем несостоявшийся фюрер, Адольф Г., просто радуется жизни, ухаживает за девушками, отправляется в Париж, где знакомится с Андре Бретоном и другими сюрреалистами... Это — человек без амбиций; единственное, к чему он стремится, это жить в согласии со своей эпохой, что, безусловно, для всех было бы наиболее предпочтительным.

Центр славянской культуры под Парижем

Во французском городке Мёдон, на юго-западе от Парижа, находится единственный во Франции Центр славянской культуры. Он занимает несколько небольших зданий бывшего интерната для детей русских эмигрантов. Рядом расположены церковь Георгия Победоносца, иконописная мастерская и библиотека славянской литературы, основанная в 1855 году князем Иваном Гагариным — бывшим секретарем русского посольства в Париже, который, перейдя в католичество, стал иезуитом. Сейчас в библиотеке хранится более 100 тысяч книг, в основном посвященных России, а также богатейшее собрание периодики XIX века и неопубликованные архивные материалы — в частности, переписка хранителей библиотеки со знаменитыми деятелями русской культуры.

История интерната для русских беженцев также примечательна. В начале 1920 годов в Стамбуле при содействии ордена иезуитов было организовано общежитие для молодежи, которое впоследствии переехало в бельгийский город Намюр, а затем, в начале Второй мировой войны, обрело постоянное место в Мёдоне. В то время в интернате проживало около ста пансионеров, которые получали образование на двух языках — русском и французском — с религиозным уклоном. К концу 1960 годов количество учеников сократилось и интернат был преобразован в Центр изучения русской культуры Святого Георгия Победоносца. Всякий раз, когда в СССР направлялась высокопоставленная делегация, участники миссии, в основном дипломаты и журналисты, непременно приезжали сюда, чтобы окунуться в русскую атмосферу.

После распада соцлагеря эта традиция постепенно угасла. Вообще, Центр сейчас переживает не лучшие времена. Тем не менее, по-прежнему выходит богословский журнал "Символ", издание которого было начато в 1978 году. Благодаря поступлению общеобразовательной литературы на русском и французском языках понемногу расширяются библиотечные фонды.

Затруднения, которые в настоящее время испытывает Центр Святого Георгия, связаны с тем, что в последние годы заметно уменьшилось число энтузиастов, оказывающих ему финансовую помощь. А поскольку географически Центр расположен очень выигрышно и его территория — это лакомый кусок для строительных компаний, неизвестно, удастся ли его сохранить как культурную организацию.

По материалам газет "Паис" [Испания], "Монд", "Фигаро" и "Фигаро литтерер" [Франция], журнала "Литература на швече" [Польша]."Фигаро литтерер" [Франция].

Авторы номера

Мишель Уэльбек
Michel Houellebecq
[р. 1958]. Французский писатель, поэт. Лауреат Гран-при по литературе [1998].

Автор эссе *Г. П. Лавкрафт* [*H. P. Lovecraft*, 1991], *Выступления* [*Interventions*, 1998], романа *Расширение пространства борьбы* [*Extension du domaine de la lutte*, 1991], повести и фотоальбома под общим названием *Ланзароте* [*Lanzarote*, 2000]. В *ИЛ* напечатана беседа с писателем [1999, № 10], роман *Элементарные частицы* [2000, № 10], эссе *Оставаться живым* и стихи из сборников *Смысл борьбы* и *Погоня за счастьем* [2001, № 5], эссе *На пороге растерянности* [2002, № 3].
Роман печатается по изданию: *Michel Houellebecq. Plateforme* [Paris, Flammarion, 2001].

Мириам Ван хее
Miriam Van hee
Фламандская поэтесса, славистка. Лауреат премии Фламандской общины Бельгии.

Автор поэтических сборников *Скромная трапеза* [*Het karige maal*, 1978], *Занесенные снегом* [*Ingesneeuwd*, 1984], *Деньги на дорогу* [*Reisgeld*, 1992], *За горами* [*Achter de bergen*, 1996] и др.
Публикуемые стихи взяты из книги: *Miriam Van hee. Het verband tussen de dagen. Gedichten 1978–1996* [Amsterdam, De Bezige Bij, 1998].

Франсин Проуз
Francine Prose
Американская писательница.

Автор романов *Охотники и собирательницы* [*Hunters and Gatherers*, 1995], *Мечты снежного человека* [*Bigfoot Dreams*, 1997], *Простые люди* [*Primitive People*, 2001]; сборника рассказов *Экскурсия по аду* [*Guided Tours of Hell*, 1997].
Публикуемый перевод печатается по изданию: *Francine Prose. Blue Angel* [New York, Harper Collins Publishers, 2000].

Эндре Ади
Endre Ady
[1877–1919]. Венгерский поэт, новеллист, публицист.

Автор более десяти сборников стихов, в т. ч.: *Новые стихи* [*Új versek*, 1906], *Кровь и злато* [*Vér és Arany*, 1907], *На колеснице Ильи-пророка* [*Az Illés szekerén*, 1908], *Наша любовь* [*A Magunk szerelme*, 1913], *Во славе мертвецов* [*A halottak élén*, 1918] и др. На русском языке его стихи публиковались в антологиях венгерской поэзии и выходили отдельными сборниками: *Стихи* [1958 и 1975] и *Избранное* [1981]. В *ИЛ* [1977, № 12] были опубликованы его стихотворения, взятые из разных сборников.
Предлагаемые переводы выполнены по двухтомному изданию: *Endre Ady. Összes Versei* [Budapest, Szöpirodalmi könyvkiadó, 1954].

Макс Бирбом
Max Beerbohm
[1872–1956]. Английский прозаик, литературный критик, карикатурист.

Автор романа *Зулейка Добсон* [*Zuleika Dobson*, 1911], сборников пародий, рассказов и др.
Публикуемые эссе взяты из сборников *Рождественский венок* [*A Christmas Garland*. London, William Heinemann, 1922], *Взгляд в прошлое и другие эссе* [*A Peep into the Past and other Prose Pieces*. London, Heinemann, 1972], *И даже теперь* [*And Even Now*. London, Heinemann, 1920].

Елена Валентиновна Ерасова
Филолог-англист.

Автор ряда статей по английской литературе.

Наталья Давидовна Старосельская
Литературный и театральный критик.

Автор монографии *Роман И. А. Гончарова "Обрыв"* [1984] и ряда статей по русской и зарубежной литературе. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Переводчики

Ирина Всеволодовна Радченко
Переводчица с французского.

В ее переводах издавались произведения Г. Флобера, Колетт, Л.-Ф. Селина, Б. Виана, Ж. Жене, А. Камю, Ф. Саган, Ж. Руо, Ж.-Ф. Туссена и др. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Дмитрий Владимирович Сильвестров
[р. 1945]. Переводчик.

В его переводе публиковались стихи немецких, английских, американских, голландских и фламандских поэтов XVII—XX вв., а также философские работы *Осень Средневековья* и *Homo ludens* Й. Хейзинги.

Вера Вячеславовна Пророкова
Филолог, переводчик с английского.

В ее переводе публиковались романы Т. Саутерна, Дж. Крэнц, В Кауи и др. В *ИЛ* напечатан ее перевод рассказов Тамы Яновиц [1998, № 3].

Олег Константинович Россиянов
[р. 1921]. Переводчик с венгерского, литературовед, доктор филологических наук.

Переводил романы и повести Т. Дери, М. Йокаи, Д. Костолани, Д. Круди, К. Миксата, М. Сабо и др., а также стихи М. Бабича, Ш. Вёреша, Д. Ийеша, А. Тота и др. Автор книг *Творчество Эндре Ади (Трагедия и романтика)* [М., 1967], *Реализм в новой венгерской прозе* [М., 1979], *Два века венгерской литературы* [М., 1997] и многих статей о венгерской литературе.

Александр Яковлевич Ливергант
[р. 1947]. Литературовед, переводчик с английского, кандидат искусствоведения.

В его переводе издавались романы Р. Чандлера, Д. Хэммета, У. Тревора, Ш. О'Фаолейна, эссе, статьи и очерки Б. Шоу, Дж. Б. Пристли, Г. Честертона и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Анастасия Николаевна Власова
Переводчица с английского.

В ее переводе публиковались рассказы Т. Капоте, Б. Мальцберга, Р. П. Уоррена. В *ИЛ* напечатаны ее переводы рассказов Р. П. Уоррена *Ежевичная зима* [2001, № 5] и Гиш Чжэнь *Это я — ирландка?* [2002, № 5].

non/fictionNº4

4 Международная Ярмарка интеллектуальной литературы

27 ноября – 2 декабря 2002

Тема Ярмарки - Литературная критика

Специальный гость Ярмарки - Скандинавские страны

Организатор: Компания "ЭКСПО-ПАРК Выставочные проекты"

119049, Москва, Крымский Вал, 10, офис 165

Тел./факс: (095) 238 4500/4516

E-mail: frost@expopark.ru

www.moscowbookfair.ru

ИЗВЕСТИЯ
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

книжное обозрение

ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ
EXPO-PARK

rinet

Быстрый доступ
Надежная связь
Качественный сервис
Rinet

Internet servis provider **www.rinet.ru**

Услуги подключения к сети INTERNET

- ❐ **Доступ по телефонной линии (dialup)**
- ❐ **Подключение локальных сетей жилых домов**
- ❐ **Высокоскоростной Интернет по выделенным каналам**
- ❐ **Создание и поддержка корпоративных WEB сайтов**

Подключение, консультации, прием платежей: с 10.00 до 22.00
Телефоны: (095) 238-3922, 232-1730, 916-7009
Адрес: Москва, 1-й Хвостов пер., д.11-А, оф. 105,111
E-mail: info@rinet.ru

В оформлении обложки использован фрагмент тайского рекламного плаката середины XX века.

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.

Компьютерный набор Евгения Ушакова, Расимя Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

109017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
E-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал можно приобрести в редакции, а также в книжном магазине "Библио-Глобус" — ул. Мясницкая, д. 6.

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 15.10.2002
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 1260.
Тираж 9 500 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов полиграфической фирмой "Красный пролетарий", 103473, Москва, Краснопролетарская ул., 16.

живопись скульптура графика
ЛИНИЯ-АРТ

галерея современного искусства, москва, пятницкая, 41

Некоммерческая организация культуры Галерея "Линия-Арт"
существует с 1997 года

В художественной программе Галереи различные направления выставочной деятельности:

наследие ряда московских художников,
искусство династий,
современная живопись, скульптура, графика, эмали.

Галерея экспонирует работы известных московских художников поколений 60-х, 70-х и 80-х годов.

Михаил **Р**удаков, **О**льга **Р**удакова,
Валерий и **А**лександр **В**олковы,
Анатолий **З**верев, **И**горь **К**ислицын,
Сергей **А**лферов, **А**лександр **Б**абин,
Ирина **Р**усакова, **И**горь **Е**рмолаев,
Гиви **А**наньев, **О**лег **С**лепов,
Евгений **В**ерещагин –

далеко не полный перечень ведущих авторов Галереи

С октября 2002 г. в Галерее читается курс лекций по истории мирового искусства

Наш телефон/факс: (095) 953 36 24
E mail: linlya-art@yandex.ru
Адрес: Пятницкая ул., 41, стр. 1

Посетить Галерею можно с 14 до 19 часов
по предварительной договоренности
с Администрацией Галереи

---

[12] 2002

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД “ПРОФЕССОР БРЭДБЕРИ” / ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС: СТИХИ И МИНИАТЮРЫ РАЗНЫХ ЛЕТ / РАССКАЗЫ ЭНРИКО МОРОВИЧА / “ДИАЛОГ” КАЕТАНА КОВИЧА В РУБРИКЕ “ВГЛУБЬ СТИХОТВОРЕНИЯ”

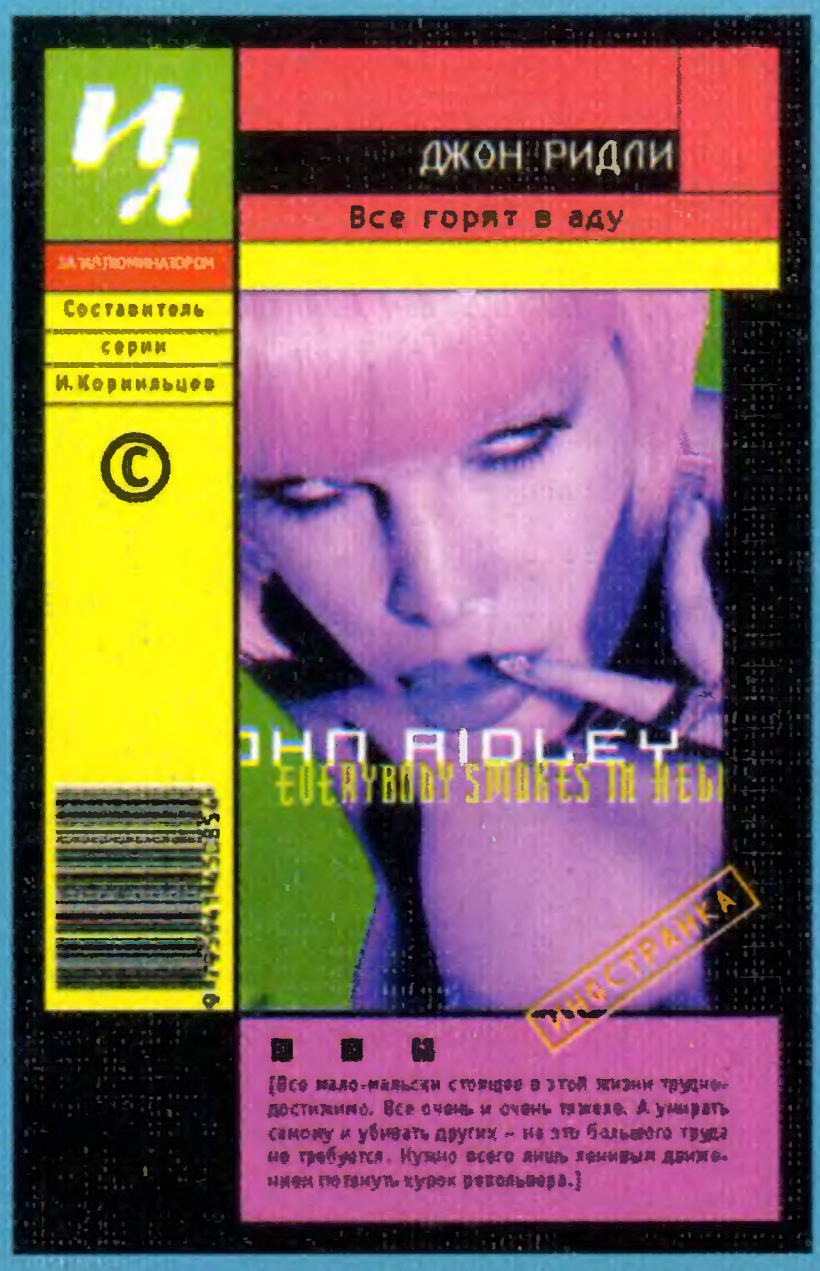
ИНДЕКС 70394

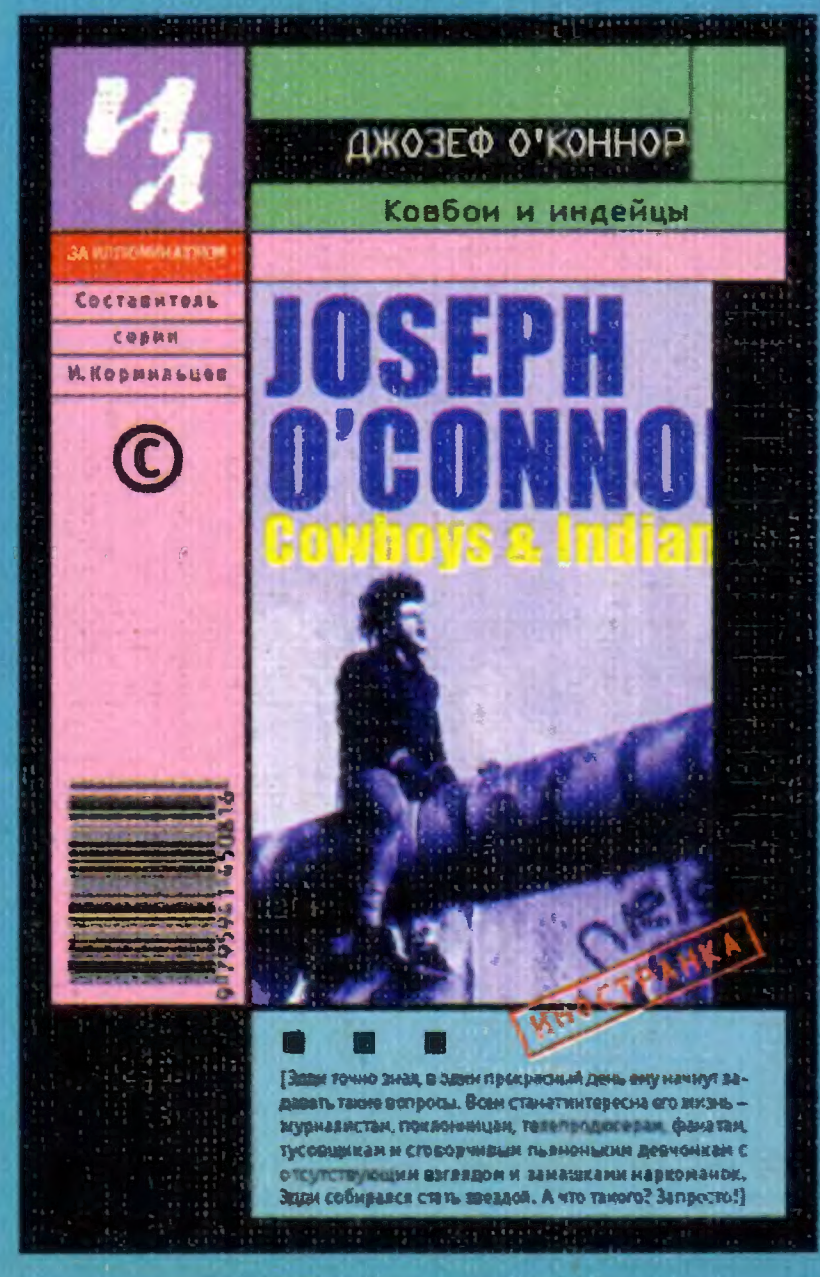
Новая серия издательства "Иностранка"

"За иллюминатором"

составитель Илья Кормильцев

"ИЛЛЮМИНАТОР" нового века





По вопросам оптовых закупок обращаться в издательство "Иностранка"
тел/факс: (095) 953 8814, e-mail: inostranka@rinet.ru
или по телефонам: в Москве (095) 289 0284; в Екатеринбурге (3432) 74 4423

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2002, №11, 1-288